

ISSN 0132-0637

Октябрь

Октябрь 1992

6 1992



РОСГОССТРАХ
**ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВЫХ УСЛУГ**

**РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ!**

Росгосстрах предлагает новый вид коллективного страхования —

**СТРАХОВАНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ
(РАБОЧЕГО МЕСТА).**

Договор страхования заключается между страховыми организациями и предприятием, учреждением или организацией, имеющими статус юридического лица сроком на 1 год или на неопределенный срок.

Размер страховой суммы устанавливается по желанию страхователя, однако не может быть ниже 1000 рублей.

Страховое пособие в размере страховой суммы выплачивается застрахованному работнику в случае потери им работы в связи с ликвидацией, реорганизацией производства, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата, банкротством предприятия.

Получить подробную информацию и заключить договор страхования вы можете в любой государственной страховой фирме или организации системы Росгосстраха.

Телефон для справок в Москве: 200-50-45

ПРАВЛЕНИЕ РОСГОССТРАХА



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1992

И Ю Н Ъ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир МАКСИМОВ. Как в саду при долине. Маленькая повесть . . .	3
Дмитрий БЫКОВ. Наши игры. Стихи	21
Анатолий АНАНЬЕВ. Лики бессмертной власти. Роман. Царь Иоанн Грозный. Окончание	24
Михаил КРЕПС. Глоток зимы. Стихи	116
Евгений ШТЕНГЕЛОВ. По следу. Повесть	119
Афанасий САЛЫНСКИЙ. Одиночка. Рассказ	140

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Товар — деньги — товар

Лариса ПИЯШЕВА.
Приватизация и мы. Беседу вел Сергей ВИНЮКУР 151

Гуманитарный факультет

Харви КОКС.
Религия в мирском граде. Перевод и примечания Ольги БОРОВОЙ. Послесловие Сергея ЛЕЗОВА 156

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Советская литература — новый взгляд

Бенедикт САРНОВ.
Что же спрятано в «Двенадцати стульях»? 165

Тамара ИВАНОВА.
Глава из жизни. Воспоминания. Письма И. БА-
БЕЛЯ. Продолжение 183

Страница редактора 208

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 07.05.92. Подписано к печати 27.05.92. Формат 70×108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 125 250 экз. Заказ № 1724. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Владимир МАКСИМОВ

К а к в с а д у п р и д о л и н е

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

*Генерал-полковнику в отставке
Ивану Дмитриевичу Ершову*

I

Сегодня мне шестьдесят пять лет. Пора, можно сказать, подбивать бабки. Переломил седьмой десяток, а вроде бы и не жил, лишь приглядываться начал к ней — этой самой жизни, хотя позади чего только не было: нужда сиротская, фронт от звонка до звонка, сума и тюрьма, крым и рым и медные трубы, но все, как во сне или в кино, в один моток спрессовалось, потому и кажется теперь, что не успел пожить. Да, видно, не у одного меня так, век людской, если подумать, воробьиного носа короче: не успел рот открыть, а уж пора челюсть подвязывать. Помню, отбила моя рота высотку под Дрогобычем, ее штрафники до нас трое суток держали, пока не полегли все. Скатился я тогда сгоряча в первую же траншею, прямо головой, будто в резиновую подушку, в чей-то живот. В память пришел, смотрю — лежит вдоль траншейки нездешним лицом вверх голый по пояс и стриженный «под Котовского», лет за двадцать носастый парень с линиялой татуировкой поперек опавшего живота: «Жизнь коротка и обосрана, как детская рубашка». Само по себе и не запомнилось бы, мало ли мне за войну мертвой плоти переживать довелось, а это вот, верно, из-за наколки той, не забылось, осело в памяти, чтобы нет-нет да и подкатить к сердцу прохватливым сквознячком: «Не гони лошадей, Ваня, за всем не утонишься!» Только ведь не я — жизнь, она меня гнала да так, что передохнуть, оглянуться минуты не складывалось, взащей толкала, рад бы остановиться, а неволен, хочешь не хочешь, иди, да что там иди — беги походной рысью и с полной выкладкой. Еще мать-покойница не раз, бывало, диву давалась, каким чудом обошла меня — сосунка — косая, когда в первую голодуху после гражданской из пятерых один я в люльке лежа выжил. Не выжил даже — выкричал до нового хлеба. А потом пошло-поехало: под самую коллективизацию отец слег да и не встал уже, а настрогать до того успел еще четверых мал мала меньше, оставил нас опять же пятерых на шее у матери, оттого и ученью моему четыре года и пятый коридор, вот и все мои институты, пошел матери помогать, одной бы ей такую ораву не вытянуть. Сначала в колхозной конюшне при конюхах на подхвате, а потом в подпасках. К войне уже сам пастухом был, крутил буренкам хвосты да девок портил. Может, та моя луговая пора и осталась в моей жизни единственной отдушиной, когда трава не вяла и солнце не закатывалось, а небо над головой, как снятое молоко, — синим отсвечивало. Война переломила мой век надвое, одна половина осталась там, в деревне, а другая подхватилась и понеслась по свету, куда попутный ветер гнал. Я тогда действительную в Западном округе отслуживал, до демобилизации мне не больше месяца оставалось, меня дома деваха ждала, осенью

свадьбу сыграть намечалось, у меня, как у трехлетнего жеребца, от игривой дури промеж ног трещало, я не то что дни — часы по минутам считал, а тут на тебе: «враг будет разбит» услышал во Львове, а «дорогие братья и сестры» дослушивал уже в окружении под Киевом. Такие дни за годы считать можно: земля горела, и воздух плавился, и небо слепо от смоляного дыма. Фронта не было, тыла — тоже, текла во все стороны горластая людская каша. Текла, растекалась неизвестно куда и неведомо зачем, лишь бы течь да растекаться. Народу тьма, а никого не разглядеть, все на одно лицо, страхом будто золой припорошенные. И разило от каждого зверьем и тлением, как при зачатии и смерти. Я и сам шел, себя не помнил, плыл, как в тифозном жару, ног под собою не чувя. Перегорала во мне душа чадным пламенем, прелой корою опадала с меня прежняя плоть, а в обугленном костяке моем зарождался другой человек с тем же именем и фамилией, но с иными глазами и другим слухом. В общей мешанине вокруг я сразу увидел отдельные лица и в сплошном крике услышал разные голоса. Они оседали во мне, как горячий раствор в полном каркасе, я словно заново складывался из них в другое, незнакомое еще мне самому существо. Тащились мы тогда на восток слепым табунком, почти без оружия, без знаков различия, со споротыми петлицами, ели, когда было что, и пили, где доставалось, больше по ночам, днем «мессера» секли на брекующем все живое под собой, за одиночками охотой не брезговали, не жалели свинца и секли, будто баловались в незащитном небе от нечего делать. Помню, проснулся я как-то в куцем подлеске ни свет ни заря, а они уже елозят над головой, высматривают добычу, стервятники. И такая меня вдруг злость взяла, такая ярость, что не выдержал я, распечатался трехэтажным матом. «Ребята, — кричу, — так дальше дело не пойдет, мы что же, как кроли, на своей земле свету белого боимся, мы военное подразделение или бродяжья ватага?» Знал я наверняка, были среди нас старшие по званию, но никто не заартачился, что солдат командует, видно, мало кому светило в эдакую пору такой груз на себя брать. Под вечер выстроил я свое воинство и выкладываю: «Рота, слушай мою команду. Привести себя по возможности в божеский вид, вооружиться подсобным порядком, кому не по нраву, может мотать на все четыре стороны, но кто по дороге дрогнет, пристрелю, как собаку». Нет, что там говорить, нужен человеку поводырь, нужен, без поводыря человек, как нитка без иголки, — ни туда, ни сюда, в собственных ногах запутается. Оттого, когда почует он в ком силу, за тем и тащится, так ему — человеку — спокойнее. Потому и за мной тогда потянулись, что только и ждали, на кого свои заботы свалить и ни о чем больше не думать. Окажись на моем месте кто погорластей, и за ним пошли бы. Тут главное — вовремя объявиться и верные слова отыскать, остальное само приложится. Много у меня за войну передрыг случилось, не раз с косой, можно сказать, в обнимку лежал, но того адского броска через приднепровские перелески мне до гробовой доски не забыть. Одних хоронил, других на себе вытаскивал, ремни на баланду резал и воду пополам с кровью хлебал, стрелять нечем было, штыком пробивался, а вывел-таки роту из кольца. Рота, правда, громко сказано, в живых осталось — полтора взвода не наскрести, но уж с теми, кого Бог миловал, можно было после этого в огонь и в воду с закрытыми глазами. Вышли, будто прицеливались, прямо на охранение командного пункта армии. Не успели мы со своими словом перекинуться, как из ближней землянки высыпал нам навстречу комсоставский гомонок: видно, успели уже доложить. Смотрю, впереди рослый, в «полтора Ивана», цыганистый мужик в расстегнутом у ворота генеральском кителе, идет, словно землю раскачивает, с эдакой упористой перевалочкой. Я на полусогнутых к нему, начальство первым делом опередить важно, потом не отбрешешься. Докладываю по уставу, вытягиваюсь как положено, в собачьей готовности, а он глядит на меня красными, с большого недосыпа глазами, и чувю: в масть попал, оттаивает мужик, одобряет, значит. «Рядовой, говоришь, — гляжу, совсем повеселел, — вывел, говоришь, роту в половинном составе, а раз вывел, значит, ротным и останешься, определяйся с людьми в мое охранение. — И себе за плечо, наугад: — Заготовьте приказ!» Так вот, по случаю, и завязалась моя армейская судьба. Только повоевать мне с этим командующим так и не пришлось, той же ночью новый немецкий прорыв разметал нас в разные стороны, и лишь после войны узнал я из офицерских разговоров, что, оказывается, после нашей встречи на днепровском берегу не прожил он и трех дней, не стал трибунала дожидаться, пустил себе пулю в лоб. Война меня

по таким кочкам протащила, что ни в сказке сказать, ни пером описать: две осколочные, одна пулевая, четыре контузии, и за каждой история почище кино будет. По дороге ничем не брезговал: валил впереди себя все, что шевелилось, — от живота веером, баб шерстил, ни имени, ни нации не спрашивал, чужого добра не жалел, пей — не хочу, и трещала подо мной человечья арматура, как яичная скорлупа. Трезвым себя в ту пору не помню, пьяной чумой катился я по Европе, ты меня видишь, я тебя — нет, с утра до вечера море по колено, пускал, как Змей Горыныч, сивушные пары во все стороны, и расступались у меня впереди народы и государства от одного моего запаха. Домой не ехал — тек винным паводком от Эльбы до родной деревни да еще и там с месяц куролесил, гуляй, братва, однаво живем, трофейного барахла не жалко, а когда очухался, оглянулся, мать моя матушка, нищета вокруг допотопная, голь на голи и нуждой погоняет! Дóма с отрубей на крапиву перебиваются, из худой рванины годами не вылезают, зимой одни валяные опорки на всех, и те прелые. «Ну, нет, — думаю, — так дело не пойдет, не за то я четыре года кровь проливал, чтобы моя родня тут с голоду околевала!» Облачаюсь как-то чин-чином, форма с иголки, на дорогу по заказу у дивизионного портного шил, на груди иконостас в двенадцать блях, пять нашивок за увечья, четыре капитанские звездочки на погонах — и к председателю. Колхозное правление у нас, правда, тоже не дворец, изба как изба, одна слава, что под железом. Захожу я туда, а там мебели всей — две табуретки да стол канцелярский, хоть сейчас на дрова, и сидит за этим столом самый захудалый мужичонка на деревне — Спирия Полынков, я у него до войны в подпасах ходил, от призыва он по колченогости отвертелся, а на беспитчие и сам станешь раком, вот председателем и заделался, пока мужики европам мозги вправляли, со всеми бабами переспал: Настасью, невесту мою бывшую, тоже не обошел, загнал ей шершавого. Сидит он это за тем столом вполпьяна, увидел меня, ухмыляется. «Здорово живешь, — говорит, — герой, зачем пожаловал?» «Пожаловал, — говорю, — спросить у тебя, долго ли еще деревня бедовать будет?» «А это, — говорит, — не твоего ума дело, парень, об этом партия и правительство без тебя думают». «А сам-то ты, — говорю, — зачем тут поставлен?» «А это, — говорит, — тожеть не твое дело, не тобой поставлен, не тебе и спрашивать». «Ты разуй глаза, — говорю, — с кем разговариваешь, с офицером Советской Армии разговариваешь!» «А таких охвицеров, — говорит, — нынче как собак нерезаных, крутил хвосты у меня в подпасах, туда же и сызнова пойдешь». Вот тут-то и не взвидел я света белого. «Ах ты, — кричу, — сучье вымя, я четыре года вшей в окопах кормил и кровью умывался, а ты меня, падаль тыловая, на горло?» Кричу, в глазах цветные шарики плавают, и пол как живой, а морда председательская под моей рукой в кровавую кашу растекается. Потом уж до меня стороной дошло, что отдирало меня от него бабье чуть не всей деревней, еле отодрали. Опамятовался я только в своей избе, пораскинул мозгами и высчитал, что не дадут мне тут жизни, замордуют до полной убогости, затопчут в мелкую крошку. Побросал я в вещмешок последнее барахлишко — и в Тулу, другой доли искать. Завернул к военкому, а тот мне: «Куда мне тебя девать, капитан, — говорит, — ума не приложу, у меня фронтовых офицеров на учете тысячи и больше половины без профессии, хоть караул кричи». Вижу, тут горлом брать бесполезно, у него у самого три красные нашивки и нога на протезе. «Чего же мне теперь, — говорю, — грабить, что ли?» «Вербуйся, — говорит, а сам глаза прячет, — на Крайний Север, туда сейчас без разбора берут, лишь бы руки-ноги целы были, могу направление дать». «Ладно, — говорю, — спасибо и на этом, как-нибудь устроюсь». Выхожу от него на улицу, жарича — земля трещит, тоска на душе зеленая, что мне теперь, думаю, делать, куда податься? Ну и махнул я с этой тоски на станцию — остатки пропивать. Спустил на толчке кой-чего из тряпья, засел на вокзале в ресторане и, завейся горе веревочкой, пошел с самим собой наперегонки одну за другой. На большом уже градусе, слышу: «Разрешите с вами за компанию, товарищ капитан?» Гляжу, маячит напротив молодой совсем лейтенантик, ржаной чуб из-под пилотки, на конопатом лице глаза васильковые и нос запятой. Если бы не этот чуб, можно бы и за девку принять. С первого виду — по тылам не ошивался: две «славы», «красная звездочка» и медалей порядком. «Садись, — говорю, — гостем будешь». Слово за слово, хером по столу, оказалось, из одной дивизии, он у меня по соседству полвойны «сыном полка» провертелся, а под самый шабаш закончил, с чего я начинал — ротным.

Теперь вроде меня, ни кола ни двора, рад бы где окопаться, да негде, специальности нет, а без нее только на подсобные, при офицерском-то звании, вот и думай, как жить. Загудели мы с ним тогда почему зря, пили ночь напролет без удержу, пока потолок с полом впритык не сошлись и тьма не накрыла меня с головой. Прочухался на другой день, головы повернуть не могу, не голова — гиря пудовая, звенит, как церковный колокол, во рту — колхозная конюшня, и не то что рукой-ногой, языком шевельнуть неумоготу. Только слышу: «На-ка, служивый, глотни, легче станет». Выруливает к моим губам чья-то рука со стаканом, меня уже от одного вида его наизнанку выворачивает. «Пей, пей, капитан, — кто-то голову мне поднимает, — без этого не сгруппируешься». Огненной лавой обвалилась в меня эта похмелка, помоталась внутри тошнотворной зыбью, потом улеглась теплой заводью, и белый свет вокруг понемногу стал подыматься на четыре копыта, а когда явь вконец прорезалась, увидел я перед собой пучеглазого мужика лет за сорок, с бритым черепом, в исподнем белье и в стоптанных калошах на босу ногу. Сколько лет прошло, а до сих пор не забыл: висит у него на соплях ржавая пуговица на вороте рубахи. Мне эта пуговица его частенько по ночам мерещится. От него-то я и узнал в то утро, где очутился, как сюда попал и с кем по пьянке связался. Оказывается, отсыпался я после ночного загула на нарах в жилом вагоне железнодорожного стройотряда, подобрали нас с давешним лейтенантником и затащили сюда здешние ребята, и занят тут народ не столько путевыми работами, сколько ночным промыслом по груженным составам. Подобралась братва из одних фронтовиков, мужики как на подбор, таким не только в темном углу — среди белого дня света не засть, сметут, бритый у них и за бригадира, и за пахана, сам же он бывший замкомполка с Третьего Украинского. «Такие пироги, служивый, — потчевал меня майор чайком на закуску, — встретила нас мать-родина, своих спасителей, прямо скажем, мордой об стол, куда ни кинь — всюду клин, так что терять нам нечего, если сами себе не поможем — никто не поможет, больше — сотрут. Я тебе, капитан, все сказал, теперь сам решай: не подходит, вот тебе порог, подходит — оставайся, не обидим, помирать, так с музыкой». По правде говоря, взяла меня поначалу оторопь, шуточное ли дело при четырех звездочках на погонах в ночной разбой подаваться! Однако, думай не думай, деваться некуда, кругом по нулям, а тут еще мама надвое сказала, глядишь, перебьюсь, обойдет меня тюрьма стороной. «Ладно, — говорю, — майор, двум смертям не бывать, где наша не пропадала, зачисляй на довольствие». И завертелась карусель моей жизни без остановок и тормозов на предельной скорости, только успевай шестеренки менять. Все кругом в такой клубок сматалось, что не разобрать, где день, где ночь. Озоровали посменно: полбригады на участке, другая половина отсыпается, и по ночам то же самое. Совесть меня тогда особо не угрызала, если и подпирало часом, утешался: авось не чужое добро — казенное, задарма что ли кровь проливали, но, если уж совсем неумоготу делалось, горькою заливал, благо деньги не переводились, было на что. Одно только поедом ело: чем это все кончится и кончится ли когда? Майор наш — мужик глазастый, чужал, видно, во мне эту слабину, вызывал мимоходом на разговор. «Не журысь, служивый, — обнадеживал он при случае, — доверяй командиру, командир выведет, припрут к стенке, собой заслоню». И заслонил ведь. Башковитый был майор этот, ему бы, по его голове, армией командовать, а он вон до чего докатился. Вернее сказать, докатили те, кому по чину за нашего брата думать полагалось. Только, видно, они не о нас, о своей шкуре больше думали, вот и осталось нашему брату на большую дорогу идти. Что ж, как говорят, сколько веревочке ни виться... И захлестнулась эта самая веревочка вокруг нашей малины милицейской облавой. Захлестнулась ночью, среди сна, но враспloch не застала, майор наш по военной привычке всегда на ночь боевое охранение выставлял. Заняли круговую оборону и отстреливались вслепую, пока половина не полегла и мой лейтенантик с ними. Тогда повернулся майор к ребятам марлевым лицом и скамандовал: «Приказываю: выскакивай по одному — и врассыпную, беру огонь на себя». Дошла до меня очередь, выбросился я в темь, как в прорубь, даже не обернулся напоследок, до сих пор из-за этого, как вспомню, стыд берет. И дернул по путям под вагонами куда глаза глядят. Несусь и Бога молю: «Спаси и прonesи, Господи!» Вот ведь человек, скотина какая, как ему плохо, так сразу Господа вспоминает, а как хорошо, так сам себе голова. Но не услышал, видно, Бог молитвы моей, захомутали меня по дороге, навали-

лись кучей, повязали и понесли по кочкам до самой тюрьмы; били, когда вели, били, когда добрашивали, потом в камере доколачивали. Как я тогда жив остался, и сейчас в толк не возьму. У меня с той поры все ребра наперекосяк срослись и пробоина на темени. Я после этого еще с месяц кровью харкал и сукровицей на двор ходил. Очухался я только в тюрьге на нарах, в ожидании трибунала. Лежал и век свой короткий по часам перебирал: чего у меня там было-то, на этом веку? Выходило, что ничего там не было, кроме синяков и шишек с сиротским бесхлебьем впридачу. Война вроде вынесла меня на простор, но и тут беда поперек встала. Война кончилась, штрафной не отделаешься, и маячила у меня впереди одна мера — вышка. Когда выкликнули меня наконец, обвалилась во мне душа ледяной сосулькой в ватные пятки, пришел, думаю, твой час, парень, молись напоследок. В тюремный двор вывели, с непривычки от полного света в глазах резь, обывкаю. Гляжу, около ворот не «воронок» — простая полуторка с газогенератором стоит, а в нее народ грузят, если по обмундировке судить, сплошь фронтовая братва. Ведут и меня туда же. «Залезай, — говорят, — в кузов, теплее будет». Конвой шутки шутит, а я прикидываю: на трибунал вроде не похоже. И вспорхнула моя душа майским жаворонком в обратную сторону: неужели амнистия? По пути разговоры об одном: куда, да зачем, да что стряслось? Чего только не нагадано было: может, на вербовку, может, амнистия, а может, война с Америкой и опять на передовую? А привезли, вот и угадай попробуй, в облвоенкомат, сгрузили во дворе, выстроили, ждите, говорят. Не успели разобратся, хромает к нам с крыльца знакомый мне облвоенком, встает перед строем и говорит: «Что ж вы, сукины дети, думали, что товарищ Сталин о вас забыл? Не такой человек товарищ Сталин, чтобы забыть о людях, которые Россию спасли. Пока вы, обормоты, уголовный кодекс попирали, наш любимый вождь думал о вашей судьбе. — И затвердел обликом, как на параде. — Приказ Верховного главнокомандующего отправить вас на переподготовку в военные учебные заведения, ура, мерзавцы!» Доводилось мне в рукопашную ходить не раз, кричал я это самое «ура», да так, что уши от натуги лопались, а «за Сталина» кричал еще громче, но вот так — всем нутром, кишками всеми, жилами, — никогда еще. Что бы теперь ни толковали, а скажи мне тогда: умри за него, парень, за счастье бы почел. Эх, да что там говорить! В общем, очутился я снова в армии, женился вскорости, семья пошла, и пустился, как все, карьеру делать, не знаю, сделал бы, но пофартило, свел случай с бывшим командиром нашей дивизии, к тому времени он уже полным генералом был, замминистра по сухопутной части. В конце я на большую орбиту вышел, в перспективе маршальская звезда светила, но человек полагает, а Бог располагает. Рухнуло однажды все разом, и оказался я в отставке при своих пенсионных интересах. Спроси меня нынче: жалею ли я о том? Сначала жалел, сейчас — не жалею. Ни о чем теперь не жалеет генерал в отставке Иван Никанорыч Воробьев, уроженец деревни Торбеево Узловского уезда Тульской области.

2

Седьмой десяток переломил. Говоря по чести, полная старость, пролилась жизнь, как вода сквозь пальцы, а в той воде чистых капель с наперсток наберется ли, все остальное прочее — одна муть с дерьмом и кровью вперемешку, вспоминать тошно. И только пора моя деревенская, хоть и была она у меня голодной, сиротской, светится издалека луговым пятном, словно зеленый островок посреди обгорелой пустоши. Бывает, помаячит во сне, и душа вдруг взлетит в таком сладком томлении, что, и проснувшись, все еще долго вибрируешь от нечаянной радости, страшаешься опамятаться и остыть. Сколько лет я жил с этим, сколько раз наведать собирался, сколько раз чемодан укладывал, а собрался в конце концов лишь на материны похороны, когда уже самому следом за ней скоро. В каких ее на веку ступах ни толкло, какими стужами ни продувало, какой нуждой ни горбатило, но умерла она в своем дому не от тяжелой болезни — от старости. Даже, говорят, не умерла, а как бы затихла без мук и видений. Пятерых схоронила, столько же на ноги поставила, и все одна, двумя своими задубевшими в черной работе руками. Скрестили ей их напоследок, и казалась, вовсе не руки это, а две прокопченные насквозь клешни переплелись у нее на груди, чтобы уже никогда больше не расцепиться. Бывало, звал: «Хватит, мать, наkostenялась, пора охоло-

нуть. Или у нас, у пятерых, для тебя куска и угла не найдется? Перебирайся и живи себе не тужи около детей и внуков». Не дозволяясь, не пошла старая на такую перемену, не снялась с места, дожидаясь в своей избе и на подсобном иждивении. Получил телеграмму, я тогда на маневрах был, сразу сорвался, но только уже в самолете наедине с собой вдруг сквознячком подкатило к сердцу: стоп, Иван, не гони лошадей, спешить и впрямь дальше некуда. Вот тогда-то, в том пути на родину, и сложилось во мне, что то, что называется жизнью, прожито, что главное — дальняя дорога, казенный дом, крым, рым и прочее, — все позади, а впереди отныне и до гробовой доски одни медные трубы, да и те — на излете. И дошло до меня окончательно: не было в моей судьбе дороже и ближе человека, чем мать, вместе с которой слиняла с лица земли моя последняя кровная привязь, и остался я на этой земле сам по себе, будто сомкнулось за спиной смертельное окружение, оставляя меня лицом к лицу с собственным одиночеством до конца моих дней. Помнится, случилось это в самую распутицу: от военной базы, где мы приземлились, до нашей деревни чуть не сто верст, штабной вездеход навозным жуком барахтался в грязевых хлябях, отдышливо надрывался в колдобинах, выписывал вензеля на взгорках, пока не сорвал голоса и не затих намертво где-то уже километрах в пятнадцати от цели. Чего было делать, не куковать же среди этого потопа до первой погоды? Плащ-палатки на головы, ноги в руки — и пошла месить пешим порядком по дорожной обочине. С долгой отвычки нелегко дался мне этот марш, тяжелил меня генеральский жирок, забивал горло одышкой, пригнетал к земле, и не знаю, в одиночку осилил бы я, да, чуя сзади адъютантский напор, на одном самолюбии марку держал, пока, на мое счастье, не подобрала нас выплывшая нам наперерез с проселка шальная подвода. Возницей на ней беззубая, но крепкая еще старуха, поначалу только молча постреливала сторожким глазом в нашу сторону, потом не выдержала, просыпалась куцей скороговоркой: «Вы чего же, с району будете?» «Да нет, — говорю, — из Москвы». «И чего же к нам, в Торбеево?» «Да вот мать хоронить еду». И тут из-под мешковины, надвинутой у нее на самые глаза, будто крапивою меня по лицу смазала: «Вы чего же, Воробихин сын будете?» «Он самый». Старуха повернулась мешочным кулем в мою сторону и больше уже до самой деревни не возникала, а меня от этого ее колкого любопытства вдруг обожгло всего: «Не Настасья ли?!» Хотя, прикинул, старовата вроде, да тут же спохватился: «Седой черт, на себя в зеркало посмотри, сам шестой десяток пошабашил, а все еще в молодые норовишь, тебе бы ее жизнь каторжную, давно бы в кисель расквасился!» У околицы она придержала лошадь, ссадила нас, но не обернулась, так и осталась торчать мешочным кулем на передке, пока не слилась с дождевой завесой. «Она, не она ли, — думал я тогда, вслед ей глядя, — только если она, чего ж ей на меня зло держать, о душе пора позаботиться, нас теперь лета сквитали. Может, разговорить бы мне ее по дороге, да какой у нас с ней разговор мог получиться при постороннем, канитель одна, а то, глядишь, и пересечемся еще, поговорим». К тому времени деревни своей не видал я уже лет тридцать с лишком, и, хотя запомнил я ее в бесхлебице, оказалась она и того бедней и заброшенной. Поневолу душа в тоске съежилась: как же это может человек в полной силе и разуме жить здесь в этой убогости! С этим и переступил я отчий порог, а там тоже — одни бабьи платки по избе кружатся, шушукаются по углам, божатся исподтишка. Вошел я, едва в притолоку не уперся, не изба — блиндаж бревенчатый: «Здравствуйте», — говорю. Замолкли, опасно выставились на меня, а потом как по команде — в голос. Пошли причитать, будто прорвало их всех до единой, а я уже и не слушал, смотрел туда, где в дощатом пенале светилось белым пятном лицо матери, и все приговаривал про себя: «Вот и свиделись, мать, вот и свиделись». Только слышу, адъютант за плечом шепотом: «Товарищ генерал, вас просят». Бросил я на ходу «распорядитесь тут» и мимо него в сени, а там, гляжу, толчется в ожидании очкастый малый в брезентовом дождевике. «Здравствуйте, — говорит, — товарищ Воробьев, я тут в Торбеево председателем, Виктор Евсеич Горышев моя фамилия. А вы будьте так любезны, лишних денег не давайте, не балуйте народ». «А это уж, — говорю, — моя забота». «Нет, — говорит, — товарищ Воробьев, войдите и в мое положение, перепьются на дармовщину, мне их потом на работу ложками не вычерпать». «Кому тут пить-то? — спрашиваю. — Одни старухи». «К сожалению, — вздыхает, — старость им не помеха, гудят не хуже молодых, помоложе тоже найдутся, как узнают про вас, табуном набегут». «Так

и живете?» — говорю. «Так и живем», — отвечает. Лет ему от силы сорок на вид, но лицо, словно после больницы, отечное, с просинью, а под очками не глаза — тоска зеленая. «Надо бы вам, товарищ Воробьев, — говорит, — отдохнуть с дороги, обсушиться, чайку попить, жена моя быстро оборудует, хоронить все равно до завтрашнего утра не дадут, обычай такой — сутки дома пролежать должна, адъютант тут ваш сам похлопочет». Дом у председателя оказался не краше прочих, разве что под хорошим железом, хоромы тоже не Бог весть какие, правда, в обоях и с городской мебелью, опять же книжки в шкафу, вот и вся разница. Сели мы с ним полдничать, на столе — молоко, огурцы соленые, картошка на постном масле, такие председательские разносолы, и то, видно, из последнего. Глядит он на меня виноватым взглядом, щурится близоруко, оправдывается: «Думаете, наверное, прибудняюсь при большом начальстве, а у самого от съестного погреба ломаются?» «Да нет, — говорю, — чего уж там, сам вижу». «Видите, да не все, — говорит. — У моих людей, бывает, и этого нет, одним днем живут: есть — едят, нету — спать ложатся». «Что же так, — говорю, — колхозникам нынче большие права даны: и аванс, и зарплата, и пенсия, и в смысле подсобного хозяйства, руки бы только приложить». А он мне: «Аванс еще отработать надо, зарплата, как у нас говорят, ноль целых и столько же десятых, на колхозную пенсию кошку не прокормишь, а от собственного хозяйства отучились давно, хлопотно больно. Я как-то соседке своей бабке Шуре попенял, что, мол, коровку-то не заведешь, теперь, мол, с сеном легче, коси по прогалинам сколько осилишь, с молочком была бы, а она мне: «Мне, — говорит, — мил-человек, в моей вдовьей сирости лишний вес ни к чему, я чего не допью, то досплю». Вот и вся философия. Отвадили крестьянина от земли, махочей для него земля эта стала, не хочет он с ней больше дела иметь, попробуй заставь». «А чего же они у тебя целыми днями делают-то, — интересуюсь, — клопов, что ли, давят?» «В хорошую погоду в селпо сидят, подло-выгодным накачиваются, это у нас так плодово-ягодное вино прозвали, а в непогодь по избам, самогон наладились гнать». «Кто же работает-то?» «Минимум, конечно, всем приходится отрабатывать, иначе совсем по миру пойдешь, а что сверх, то проси не проси, не заставишь». «На чем же хозяйство твое держится?» «Сам удивляюсь, по всем законам экономики давно должны были бы в трубу вылететь, ан нет, выплываем, даже, смешно сказать, план даем, прямо чудеса в решетке». «Рыба с головы гниет, — говорю, — у тебя должность, тебе права дадены». И хоть бы обиделся. «А какой из меня председатель, — морщится, — смех один. Я ведь сюда директором школы по распределению назначен был после института, приехал, а ее — школу-то эту — закрывать надо, учить некого, не нарожали, да и кому здесь рожать и от кого, спрашивается, от рукопожатия с начальством, что ли? Вот и навязали мне это ярмо в порядке партийной дисциплины, а я толком бороны от лемеха не отличу и спросить с людей не умею, не тот характер. Вон к животноводческой ферме нашей не подойти, не подъехать, в невозной жиже, как в море, плавает, недавно две телки среди бела дня захлебнулись, но спросить совестно. Ведь ее, жижу эту, вывозить надо, а на чем, транспорта нету, бригадир на горбу не вывезет?» «Распустился народ, — говорю, — забыл хозяина!» Смотрю, заскучал председатель, скуксился. «Может, вы и правы, — говорит, — только сколько же можно все с народа и с народа, а народу-то когда? Народ наш уж сколько лет, считай, хлеба досыта не ел, мясо по большим праздникам и то не всегда, об остальном и говорить нечего. Вон ушла у нас вода подпочвенная, высохли колодцы все до единого, так, думаете, кто-нибудь наверху озаботился? Куда там! Уж я куда ни писал, к кому ни ездил, только когда чуть не до самого верха добрался, откликнулось: пригнали саперов, разворочали динамитом в лощинах четыре ямы, подровняли бульдозерами и оставили до первых дождей. С тех пор у нас по отчетам четыре водоема числятся: в одном технику моем, в другом скот поим, в третьем белье стираем и сами купается, а из четвертого воду пьем, прямо так, с головастиками, если вскипятить, вместо ухи употреблять можно, только солцы да укропу добавь. Оттого и бабы болеют, и дети в младенчестве мрут, а те, что растут, все с придурью. — Здесь он как бы даже задыхаться стал от переполнявших его слов. — Я почему вам все это говорю, мне ведь все равно терять нечего, семь бед — один ответ, а вы там в Москве в больших кабинетах бываете, на вас погоны генеральские, вас послушают, не то что меня, передайте вы им, нельзя так больше, нельзя, совсем ведь загibaемcя. — И тут же спохватился: — Да вы ешьте, ешьте, чем богаты, тем и рады. Извините меня,

спиртного не держу, даже для гостей, с нашим народом с утра пообщаешься, потом целый день только закусывай, да. Заправитесь, а потом можно и на боковую, жена вам уже постелила. Утро вечера мудренее». Долго я в ту ночь не спал, ворочался, все никак в толк не мог взять: «Как же это так,— думал,— до Москвы ездить, километров двести каких-нибудь, по хорошей дороге два часа езды на машине, а тут еще, как при царе Горохе, хуже того, как в каменном веке люди живут на седьмом десятке советской власти». По правде говоря, я и раньше кое-что замечал, когда мотался с инспекциями по округам, деревня наша даже на проезжий глаз особым довольством не отличается, о дорогах я уж и не говорю, да и по шефской линии кое о чем наслышан был, но все по казенной привычке считал, что это так, болезни роста, издержки большого разгона, а в общем и целом, как это в одной песне поется, мы впереди планеты всей. Сам тоже не без греха, случалось доклады делать, про сельское хозяйство соловьем пел в смысле небывалых урожаев, роста поголовья и всякого благосостояния. Вернее, не пел — повторял, как попугай, что мне наши щелкоперы из политуправления сочиняли, считал, им виднее, у них выкладки на руках. Только тут, в Торбееве, уткнул меня случай носом в самую плесень нашу, в самое ее нутро. Легко председателю советовать, куда мне ходить и к кому стучаться. А к кому? Там ведь, на верхах, тоже не лыком шиты, сами не лаптем щи хлебают, в чем-в чем, а в политике разбираются. Скажут: не суйся-ка ты, Воробьев, в чужой огород, разберись-ка ты лучше со своим хозяйством, у себя дерьмо разгреби. И в полном праве будут. В армии у нас тоже не Артек: пьют что ни попадя, дедовщина вконец озверела, липа на всех уровнях от Генштаба до взвода, греби — не разгребешь. Столкнула меня как-то судьба с одним из этих шишек, выше которых уже и нету в стране. Было это в чехословацкую кампанию, а я, положив руку на сердце, кампанию эту сам разрабатывал, за что вторую звезду на погоны спроворил, поэтому и въехал туда на головном танке вместе с деятелем, который тогда за эту операцию отвечал по поручению Политбюро. По дороге, куда ни помотришь, глаз радуется: поля ухожены, скотный двор стоит, сам бы в нем пожил, жилье в деревнях — мне бы такое. В любую лавочку, в любую забегаловку заглянешь — птичьего молока только нету, для меня, без привычки — молочные реки, кисельные берега! Не выдержал, поделился с начальством: «Нам бы так, Кирилл Трофимыч!» Срезал он меня искоса ленивой усмешечкой и только вздохнул: «Нам до этого, Иван Никанорыч, лет сто еще, не меньше». Мужик он, надо сказать, неглупый был, знал что почем, недавно сняли, погорел на чем-то, может, на уме своем и погорел. Вот после этого и стучись к такому деятелю, ему и без твоих подсказок тошно. Пошлет такой тебя куда подальше, а то еще и прихлопнет за критиканство. Однако и смолчать больше терпения нету: не съел же я свою совесть с генеральским пайком! От одной торбеевской беды хоть криком кричи, а сколько их, этих торбеев, по всей России? А в них люди живут, те же самые люди, какие называются народом и из которых появились на свет и этот председатель, и баба, что подвозила нас до деревни, и старухи в доме, и я, и моя жена, и мой адъютант, и тот деятель, и те, кто над ним. Чем же мы хуже других? На Луну летаем, к Марсу собираемся, базы на всех материках стоят, а дома голь перекатная, сивушный сушок пьем, рваниной закусываем, за хлебом по заморским законам ходим. Какая черная порча нашла на нас, что возгордились мы белый свет осчастливить с пустым брюхом и голой задницей? Кто наслал на нас порчу эту? Может, она в нас самих гнездилась, только таилась до поры? Забылся я лишь под утро, когда петухи уже в раж вошли, спал прерывисто, проснулся с головной тяжестью. За ночь распогодилось, но под распахнутым настезь небом деревня выглядела еще приземистой и плоше. Председатель как в воду глядел: к выносу на кладбище больше половины провожающих оказалось на сильном взводе, видно, адъютант мой не поскупился. Бестолково толклись вокруг гроба, галдели наперебой, невпопад голосили, поглядывали исподтишка в мою сторону, как бы сверяли со мной: складно ли у них все получается? Заговаривать решались только те, кто по пьянее, всякий при этом норовил выказать, что с начальством ему знаться не привыкать, что с генералами он, в общем-то, на короткой ноге и что нас с ним политесам обучать нечего. «Держись, Никанорыч,— совал руку один,— все под Богом ходим». «Все там будем,— покачивался другой,— что в лаптях, что в калошах». А третий еле вязал: «Наше вам, со всем уважением». В свете погожего дня мать показала мне совсем усохшей и маленькой, похожей на морщинистую девочку, заснувшую незна-

чай после долгих хлопот и трудной работы. Подняли ее мужики в четыре плеча, и поплыла она над вчерашними хлябями в тесовом ящике, будто в лодке, чуть кружа и покачиваясь. Прощай, мать, бдительница моя, вечная моя печальница! Из родни, кроме меня, никто не добрался, как потом узналось, застряли в распутице, пришлось мне одному ее провожать. Пил я на поминках наравне со всеми, да так, что себя позабыл: с кем-то спорил, с кем-то целовался, кого-то по пьяной лавочке даже за уши таскал, но смертной своей тоски унять так и не смог. «Все, Иван, конец,— выжигала она меня,— отцвела твоя пора, осыпалась, теперь не жить — доживать осталось!» К утру пробился-таки вездеход ко мне на выручку, подхватился я на скорую руку, снял со стенки рамки с фотками, избу даже закрывать не стал, пускай берут, кому что годится, по правде говоря, рухлядь одна — и «прощай, моя деревня, прощай, мой дом родной», ни свет ни заря в путь-дорогу. К околице подъезжали, увидел я, стоит при дороге женщина, будто ждет кого-то, вроде бы даже принаряженная. «А ведь это она,— жарко окатило меня,— баба давешняя, Настасья моя, ясное дело Настасья!» На похоронах я выглядывал, ее не было, а сюда пришла. Пришла, видно, молодости своей в глаза поглядеть. Потянуло было меня остановиться, хотя бы напоследок словом перекинуться, но осадил себя, удержался: зачем, только душу травить. И за околицей даже не оглянулся, чего оглядываться, ничего уже не воротить. Да, может, все-таки не она это вовсе, кто знает?

3

Из коридора пробивается голос жены. С утра пораньше на телефоне. Снова, в который уже раз, обзванивает приглашенных. Звучит опасно: прошли те времена, когда в гости к нам напрашивались, теперь сами кланяемся. Генерал в отставке, да еще с таким привеском в анкете, уже не генерал, а старпер на пенсии, одна слава, что в чинах. Я еще и дела не приступал сдавать, а вокруг меня как шрапнелью выкосило, будто и не было у меня никогда друзей-приятелей, по-газетному, славных боевых товарищей. Я и не судил их сильно, сам бы, наверное, тоже не высунулся, будь я на их месте, так уж все кругом устроено: ты умри сегодня, я — завтра. Да и то сказать, какие уж там друзья-приятели, славные боевые товарищи, так — временные попутчики, сослуживцы одним словом. Начни сейчас перебирать, за всю свою военную лямку двух памятью не выделю, а то, говоря по совести, и одним обойдусь, но и того вот уж лет пять, как на погост снесли. Был он много старше, и свела меня с ним судьба уже в академии, он там оперативное искусство вел. Занятный старикан оказался, балагур, все побаски-прибауточки, выпить не дурак, правда, пил аккуратно, по столу не размазывался, любил поговорить под сурдинку, но больше байками обходился, в душу не пускал, словом огораживался. Бывало, напрочишься с ним посидеть, засядешь в поплавке в хорошей компании — и только ушами хлопай, такого понараскажет, хоть в книжку вставляй: и про первую империалистическую, куда он гвардейским поручиком ушел, и про гражданскую, где ему уже штабами довелось ворочать, и про отечественную, которую возле Сталина служил. Хотя, говорю, все больше вокруг да около, одна бывальщина, а чтобы с упором копнуть, того ни-ни, видно, для себя берег или людского подвоха опасался. Меня, правда, он от других сразу отличил, сам к себе зазывал, о жизни моей любопытствовал. Квартира у него была барская, с окнами на Москва-реку, но куковал он в ней бобылем, жена его еще в войну померла, детей у них не случилось, ухаживала за ним приходящая старушка — божий одуванчик, вроде дальняя родственница, седьмая вода на киселе. Как-то завернули мы к нему после лекции, сели за стол с глазу на глаз, под добрый обмен уговорили бутылочку и прорвало старика. «Я,— говорит,— Иван Никанорыч, тебя давно на примете держу, хватка у тебя есть, штабник из тебя получится великолепный. Но не в этом,— говорит,— дело, а в том, что земляки мы с тобой и не только земляки, но близкие соседи. Торбеево твое когда-то в наши земли родовые входило, а усадьба фамильная в десяти верстах от вас располагалась, в Батурине, там теперь областной дом инвалидов, или, лучше сказать, богадельня. Так вот,— говорит,— когда я это выяснил, любопытно мне стало: что за потомство выросло на наших бывших землях, чего оно добивается и чего оно стоит?» Я было завелся с пол-оборота. «Ну и можно узнать,— говорю,— какая мне цена?» «Отчего же нельзя,— отвечает,— очень даже можно, за сколько тебя ни взять,— говорит,— прямо скажу, Иван Никанорыч, не переплатишь, ты своего хлеба стоишь, а судьбе угодно,

то и далеко пойдешь». «Советская власть,— остываю,— мужику тоже дорогу открыла». «Не спорю,— говорит,— советская власть для мужика много сделала, но у кого голова на плечах была, тот и раньше мог немалых высот достичь. Деникин, Корнилов, Алексеев тоже из мужицкой среды вышли, да не одни они, к революции больше половины командного состава русской армии черная кость дала, не в этом суть». «А в чем,— подступил я к нему,— в чем же?» «А в том,— отвечает,— что для вас есть Россия?» «Как это,— перебираю я по привычке,— наша партия, социалистическая родина, советский народ». «Э,— морщится,— слишком общо, Иван Никанорыч, слишком абстрактно и ни к чему не обязывает». «А для вас что?» — спрашиваю. «В целом, может быть, то же самое, но без прилагательных, это гораздо конкретнее». «Оно, конечно, для вас эта власть чужая». «Власть,— усмехается,— как известно, дается от Бога, Иван Никанорыч, не нам о ней судить, меня в ней волнует только одно: служит она интересам русского государства или нет,— все остальное второстепенно». «Отчего же вы за ней пошли,— я уже в крик,— если она вам до лампочки?» «А оттого и пошли,— охлаждает он меня,— что какая она ни есть, только с ее помощью удалось русское государство в его имперских границах сохранить и даже несколько приумножить. Эх, Иван Никанорыч, молод ты,— понесло его вокруг стола,— не знаешь, во что превратилась Россия после Февраля! В распутную, пьяную бабу, которую кто хотел, тот и насиловал, в лоскую ее растаскивали, и каждый норовил отхватить кусок побольше и пожирнее, сердце кровью обливалось, глядя, как растекается в разные стороны то, что веками потом и кровью собиралось, и как глумится над нашими святынями безродная чернь со всего света. Земля стоном стонала. После всего этого Ленин нам, как дар Божий, с неба свалился, мы за ним готовы были в огонь и в воду, лишь бы не дал России пропасть, не предал на позор и поругание, а какая у него там философия, для нас это было безразлично. Лучшие из лучших с ним пошли — Брусилов, Клембовский, Сулейман, Снесарев, Зайончковский, Свечин, Верховский,— всех не перечислишь, цвет русской военной мысли. Не ради же сребреников переметнулись. Сребреников этих у того же последнего военного министра Верховского полно было, вся министерская казна, ради чести России своей честью поступились, а какой нам, кроме этого, был резон душу-то свою закладывать, ведь могли бы и бежать, возможностей выпадало множество, нет, остались и служили не за страх, а за совесть, хотя многим потом пришлось сложить понапрасну голову и отнюдь не на поле брани.— И вдруг спохватился: — Да ты не смотри на меня так, Иван Никанорыч, я это и Сталину как на духу говорил». Тут уж я поперхнулся: «А Сталин что?» «Да ничего, усмехнулся только и рукой махнул, будто табачный дым отогнал». Много у нас с ним было после вечерних застолий, немало он мне всякого порассказывал, на многое глаза разул, но тот первый наш откровенный разговор затвердился у меня в памяти резче всего. Годами он ровесник матери моей был, но сгинул не от болезни и не от старости, свалился на самолете в инспекционной поездке, одни пуговицы собрали, хотя это потом, а до того еще стряслось немало всякого. Без него скучно сделалось у меня на душе, не с кем стало весомым словом перекинуться, а от досужих разговоров я уже отвык, не тянуло меня обсуждать очередные производства и новые назначения, а кости сослуживцам перемывать — тем более. Поэтому знакомства, в основном, жена подогривала, ей видней, с кем мне знаться для пользы дела. Главное знакомство детьми повязалось, сын опекуна моего главного с моей дочерью в один класс ходил, сам даже при встречах пошучивал, что, глядишь, до свадьбы вместе дотянут. Остальные не в счет, еще бабушка надвое сказала, кто кому честь оказывает. Тут как раз по армии ропоток зашел: чехи балуют, контрреволюция голову подняла, Варшавский пакт под угрозой. Шорох шорохом, а на верхах тоже насторожились, как бы к самим не перекинулось, а тогда только держись, это тебе не европейская деланка, сунься, уйми такую громадину, костей не соберешь. Наверху, видно, решили не ждать у такого моря погоды, упредить события. Вскорости получают приказной звонок от министра: прибыть такого-то, в десять ноль-ноль в Цема партии, седьмой этаж, комната четыре. Соображаю: седьмой этаж — это самый верх, выше некуда, значит, разговор будет окончательный. Прикинул разные варианты, куда ни кинь, все сходилось на чехах. В нашем деле угадать ситуацию, что жар-птицу за хвост прищемить, лови момент, другого долго ждать придется, если опять же дождешься. В общем, прибываю в назначенный час, как говорится, во всеоружии, а там в приемной уже весь наш ми-

нистерский синклит во главе с начальником Генштаба сидит, тоже пальца в рот не клади, своего случая упускать не собираются, каждый не одну собаку съел на наших тайнах мадридского двора. Приняли нас минуту в минуту, на этом этаже время считать умеют. Встретил нас, на пару с нашим министром, тот самый деятель, можно сказать, третий человек в государстве, долго не размазывал, бросил вскользь насчет «угрозы социализму» и «происков реакции» и к делу. «Центральный Комитет, Политбюро и лично Генеральный секретарь партии поручают вам в течение месяца,— говорит,— ни днем больше, разработать план операции по оказанию дружеской помощи Чехословакии. Все смежные ведомства и организации с сегодняшнего дня в вашем распоряжении. Ровно через месяц, в это же время, прошу сюда с готовыми вариантами, секретность, как вы понимаете, полная. Все, можете идти». Министр наш при этом только вытянулся, хотя сам в Политбюро состоял. С этим мы и вернулись к себе на Кирова. В темпе обменялись мнениями, поделили епархии — и по кабинетам. Мне досталась вся оперативная часть. И началась такая гонка, какой я в своей штабной жизни не упомяну: дома сутками не показывался, со смежников семь шкур снял, пристяжные мои с утра до ночи в мыле бегали, сам носом землю рыл, но в срок уложился. Ровно через месяц в том же самом кабинете докладывал об исполнении. Еще через неделю получил державное «добро», а по выполнению задания и вторую генеральскую звезду вместе с назначением начальником штаба того же округа, который задействовал операцию. Округ в смысле продвижения считался в армии особенно надежным, отсюда уходили в отставку или по вертикали, перемещений обычно не было. Опекун мой так и сказал на прощание: «Наверху указано к тебе присмотреться, на большую орбиту выходишь, Иван, маршальской звездой засветило, хотя далеко еще, но не забывай, чем выше взлет, тем больней падать, у тебя теперь, как у сапера: по сторонам земли нет, шаг вправо, шаг влево — и ложками не соберешь». По всем приметам, не миновать бы тому, так все поначалу складывалось, лови, Иван, свою удачу, сама в руки плывет! Сама-то сама, только, если ей не подействовать, она тоже особа капризная, может и в сторону своротить. Я по мере возможности и содействовал, работал за троих, глаз с прицела не спускал, ухо держал востро, в моем положении, хочешь не хочешь, вовремя не сгруппируешься, сметут. С хозяином тамошним накоротке сошелся, он в Политбюро вхож был. Чему-чему, а видам руководства старался соответствовать без дураков, на всю катушку. Но, сказано, человек полагает, а кто-то там выше нас располагает. Сорвалась моя судьба в одночасье с заданной орбиты и пошла по совсем другой траектории, а где я теперь причалю, один Бог знает. Уж больно крутенок вираж, да.

4

Жена все еще хлопочет у телефона. Да, матушка, побоговала в свой час, теперь, на старости лет, твой черед выгибаться. Жалко дурочку, при ее-то гордости да так вибрировать, пропади они пропадом, гости эти! Так и подмыкает криком осадить: «Да пошли ты их, дармоедов, ко всем псам, одни посидим, вдвоем!» Чуть не сорок лет у нас с ней позади, а все не притремся, все примериваемся: кто — кого. Пора бы опаматоваться, укоротить норы, в наши годы каждый день, как подарок, сейчас не сталкиваемся, потом поздно будет. Чего нам нынче спешить, куда рваться, перед кем заискивать? Крыша над головой есть, по миру не ходим, никому не должны, чего еще надо? Сесть бы нам и впрямь сегодня повечеру вдвоем и посидеть между собой без постороннего гвалта. Вот именно, как в старину говаривали: рядком да ладком. Сорок лет — срок достаточный, есть что вспомнить. Молодость хотя бы. Ведь была, мать, она у нас с тобой — молодость, была. Может, не краше, но и не плоше, чем у других, да. Помню, закружлял я тогда свою военную подготовку на курсах под Москвой. Курсы курсами, муштра муштрой, а природа брала свое, молодая дурь голову кружила, первая забота — в увольнительную сорваться, гульнуть по буфету, побаловать своего шершавого, благо раздолье в этом смысле было для нашего брата полное: ребят моего призыва война через одного повыбила, любой колченогий за танцора шел, а уж о здоровых не говорю, какие там бабы, малолетки табунами бегали. Городишко сам громоздился деревянной рухлядью вокруг ремзавода и швейной фабрики, от них и жил с хлеба на квас при нашей команде вместо мужского подспорья. На все население две отдушины — расхристанный Дом культуры да городской парк —

тоже не райские кущи, — там мы и петушились, грудь колесом, посреди городского курятника. Углядел я ее в людской толчее сразу, уж больно она отличалась от местных краль походкой и обликом: видно было — пришлая и скорее всего из Москвы, так потом и оказалось, но сначала я даже подойти остерегался, не по плечу мне, решил, это деревце, не по чину, где мне — посконному рылу в калашный ряд, только издаലെка окусывался да сон потерял, такая порою тоска брала, что хоть давись или стреляйся. Попробовал было вином залить, не вышло, только пуще разбередило. Не знаю, чем бы это все для меня кончилось, но, видно, по этой части женский пол куда умнее нас, мужиков, как-то на танцах она сама ко мне подошла: «Слышите, — говорит, — объявляли, девушки приглашают, дамский танец». И понеслась, как говорится, душа в рай, только пятки сверкают: «Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок»... После танцев я провожал ее домой. По дороге само по себе объяснилось, что попала она сюда после пединститута по распределению, что в Москве у нее отец, в газете работает, а матери нет, еще до войны от них ушла, и что долго ей тут не задержаться, за нее в министерстве по отцовской линии хлопочут. Я же на радостях только хвост распускал, травил ей бывальщины-небылицы про дом, про фронт, про свои армейские успехи. О пастушестве своем, о своих коридорах-институтах смолчал, отпугнуть боялся. Провожались мы с ней тогда чуть не до утра, а после, дальше — больше, пошло-поехало, одним тем и жил, от встречи до встречи, выпивку побоку, разные письма-фотки «люби меня, как я тебя» в печку, планида моя крутым заходом на жеманьбу поворачивала. Друзья-приятели посмеивались, мол, добер хомут, легко ли носить будет, а я, знай отмахивался: не вам носить, не вам печалиться. Когда дошло до дела, повезла она меня в Москву — к отцу на смотрины. И, хоть звался мой будущий тестек, громко сказано, прессой, жил на семнадцати метрах в коммунальном клоповнике на шесть семей, одна невидаль — книжек много. Правда, и прессой он оказался без фамилии, и газетка его доброго слова не стоила, простынка ведомственная, но форсу ему было не занимать, гонором на писателя вытягивал. Встретил он молодых не шибко породственному, посмотрел на меня тяжелым глазом и спрашивает: «И где же вы, товарищ капитан, с молодой женой жить собираетесь?» «Да вот, — отвечаю, — закончу переподготовку — получу назначение, наше дело солдатское, куда прикажут — туда и поеду». «Ушлют вас, — говорит, — к черту на кулички, что там делать молодой женщине с высшим образованием?» «Дальше границы, — говорю, — никуда не ушлют, а учителя у нас в стране везде требуются». Он к ней: «Ты хорошо подумала?» В ответ она только острыми плечиками пожалала: какой, мол разговор. «Что ж, — вздыхает, — вам жить». На том и расстались, а за воротами она ко мне с утешением: «Ты его по внешнему виду не суди, это у него поза, защитный покров, а на самом деле он человек очень добрый, у него только после истории с мамой к русским предубеждение». «Как это к русским, — захлебнулся я, — а он кто, а ты?» «По отцу, — смеется, — еврейка, по матери — русская, что, не ожидал?» «Это мне без разницы, — говорю, — сама знаешь, только чем же русские ему не угодили?» «Он считает, что у вас нет семейных традиций». Хорошенькое дело, думаю, не знаешь, где врага наживешь. Но врагом моим тесть не стал, мужиком оказался по всем статьям правильным и потом, когда, хоть и коротко, пришлось ему хлебнуть тюремного лиха, всякое выдержал, не сломался, вернулся домой век доживать с чистой совестью. Свадьбу мы сыграли наскоро, в вокзальном ресторане, я к тому времени уже назначение в Среднюю Азию получил. Собрались все, кто в загсе был: отец жены, ее подруга с мужем, тоже военным, из слушателей Академии, и мой приятель по курсам с подругой. С ними и посидели до второго звонка без особой гульбы, по-семейному, я уж потом в вагоне с попутчиками добирал, благо до места почти пять суток езды оставалось. Только когда я по приезде прочухался, взяла меня черная оторопь: мать моя мамочка, куда ж тебя нелегкая занесла, Иван Никанорыч! Полсотни жилых ящиков, будто спичечные коробки плашмя по квадратам расставлены в петле из колючей проволоки, а кругом пещки, сколько хватает глаз, и ни деревца, ни травинки. Вода привозная, все прочее — тоже. Ветра держались неделями, отчего песок забивался везде: в еду, в белье, в волосы, даже, казалось, в самую кожу. Жарища летом вызванивала такая, что не то чтобы двигаться — лежать пластом невмоготу делалось, а от бесснежных холодов тоскиво щемило сердце. Народ дичал от всего этого, вызывался друг на дружку по делу и без дела, пил что под руку попадет, одеколон за марочный напи-

ток шел, и не было видно тому ни дня, ни просвета. Затянуло меня в этот мутный омут вместе со всеми, допивался я, бывало, до зеленых чертей, лютовал с подчиненными, но все равно не облегчало, только пуще наливалась душа чугунной тяжестью. Моя взялась было с местным женсоставом культработу налаживать да скоро отступилась: бабам здешним не до песен оказалось, семью обиходить бы, мужики на глазах от рук отбивались. День за днем, гляжу, жена места себе не находит, изводится молчком с утра до вечера, а ночью не подступись, стынет ледышкой, сна ни в одном глазу, о чем думает, спроси попробуй. Но, видно, самой невтерпеж стало, просьпалась как-то за ужином: «Не могу больше, Иван, какие мои годы, долго я здесь не выдержу, повешусь, отпусти домой, дай оглядеться, время лечит». Чую я и раньше, что этим кончится, однако слова ее мне, как удар под дых, пришлись, пригнула она меня к земле мимоходом, но вида не подаю, держу характер. «Я не пастух, ты не скотина, — говорю, — вольному воля, я тебя силком под венец не тащил». На том и порешили. Проводил я ее на поезд, а сам в первую забегаловку, откуда меня потом комендатура на руках выносила, отделался, правда, легким испугом, нагоняем в приказе и строгочом по партийной линии, кто в этой дыре у них не куролесил, привыкли, но тоски так и не унял, грызла она меня лютым поедом, не отступалась от меня ни днем, ни ночью. «Вот и вся любовь, — думал я, — не твоего, видно, поля ягода, Настасья бы не сбежала!» Но катилось время ленивой катушкой, день — ночь — сутки прочь, и все, как близнята — на одно лицо: казарма, столовая, койка, а с утра по-новой. Жил, будто во сне: ты меня видишь, я тебя нет, тянул строевую лямку, кружил, как заведенный, на одном месте, за часами не следил, суток не подсчитывал, что завтра случится, не гадал. Тащил я себя по земле, словно ящерица или змея с опавшей кожей голым мясом сквозь саксаульные заросли. Не знаю, чем бы все это у меня кончилось, может, спился бы или с ума сошел, только пригребаю я как-то с учений к себе, открываю дверь, сидит моя законная на своем месте за столом, а стол от московской закуски ломится. «Извини, — смеется, — без телеграммы, сюрприз тебе сделать хотела». Я от такого оборота поперхнуться не успеваю, а она мне: «Собирайся, — говорит, — Воробьев, в столицу, на днях вызовут». «Кто, — спрашиваю, — вызовет, кто по мне соскучился?» «Министерство, — не унимается, — в распоряжение отдела кадров поедешь». «Не тяни, — подступаю, — рассказывай, чьими молитвами?» «А моими, — обнимает она меня, — моими, Ваня, да еще мужа моей подруги, помнишь, они у нас на свадьбе угощались, он теперь в папаше ходит, кадрами в министерстве занимается. Встретила я, — рассказывает, — подругу в Москве, спасай, прошу, тоном, она меня и свела с мужем, а тот обещал». Хоть и сомневался я, обещанного, слышно, три года ждут, мало ли чего наобещать можно, лишь бы от бабьих слез отвязаться, рад-радехонек, что вернулась, остальное приложится, но вышло по ее: недели через две и впрямь вызвали в округ, а оттуда в распоряжение министерства. Месяца не прошло, как справили мы новоселье в комнате ведомственного общежития почти в том же составе, что и на свадьбе, только моего приятеля по курсам с подругой не было, на Дальний Восток услали. Судьбу мою гость наш, уже полковник, определил заранее: «Будешь в отделе у меня пока бумажки с места на место перекладывать, а там посмотрим». Работенка мне досталась действительно не бей лежачего: телефонные звонки да входящие с исходящими, отсиживал свои восемь с перерывом на обед — и сам себе хозяин, редко когда чепе баламутило, но и тогда ко мне это шло по касательной. Так и прокантовался я дуриком до того застоля, где с комдивом моим фронтовым лицом к лицу сошелся, а уже на другой день полковник мой с утра меня огорошил: «Есть указание, — говорит, — двигать тебя в Академию. Садись-ка, Иван Никанорыч, за учебники, долби гранит науки, на тебя у начальства виды, видно, в рубашке родился, не забывай нас, малых сих, когда чины раздавать начнешь». Дорого мне эта наука далась, не один пот с меня сошел, не одна шкура слезла, пока добрался до выпуска. По чести сказать, если бы не жена, не одолеть бы мне этой каторги с моим сиротским образованием. Закончилось бы как у Чапаева: кровь сдал, кал сдал, мочу тоже, а математику не принял. Жена меня в те годы будто из ничего вылепила заново, и пошел я с ее легкой руки по земле уже не слугой — хозяином. Открылся мне в том пути винтовой подъем под медные трубы, а что не состоялось, не ее вина, так судьба распорядилась. Много у нас с ней было за общий век всякого и вместе, и по отдельности, пускай попеняют, у кого не было, но сделала мы с ней за эти годы одной-единой сутью, какую уже не развести и не разделить... Голос же-

ны в коридоре вдруг глухо срывается, я слышу торопливые шаги, все ближе, ближе, а затем отрывистый стук в дверь: «Ваня, тебя... Наталья». Сердце падает во мне ватной слабостью: «Наконец-то».

5

Трубка, будто живая, пытается выскользнуть у меня из рук. «Да, да,— почти кричу я,— слушаю!» «Папа, это ты? — сквозь шум и треск тысячеверстной дали тоненько пробивается ко мне.— Здравствуй, папа!.. Поздравляю тебя с днем рождения!.. Как ты живешь?..» С утра я ждал этого звонка, а вот сейчас, когда наконец его дождался, слова у меня не склеиваются по порядку, налипают одно на другое, забивают глотку. «Спасибо... Здравствуй... Здравствуй, говорю... Думал, забудешь!.. Спасибо... Как ты там?» Слова перекрещиваются в пути, торопятся, как бильярдные шары, сталкиваются друг с другом, чтобы затем разлететься в разные стороны. Сбивчиво спешим поговорить о разных разностях, больше о житейском: здоровье, погоде, семье. О другом — главном, заветном, выношенном — не хочется. Знаю, что к нашему разговору уже прикипели чужие уши, ждут, стерегут, вылавливают желанную им крамолу для своих сыскных нужд. Нет, господа хорошие, не дождетесь. Иван Воробьев тоже не лаптем щи уминает, вашим премудростям давно обучен, не будет вам тут поживы! У меня, по совести, и нужды не было вызывать ее на особые откровенности, мне доставало и того, что я говорю с ней, просто так, без всякого умысла. Я слышал ее, знал, что жива-здоровая, чего мне еще хотеть оставалось? После смерти матери она сделалась единственным побегом моего кровного дерева, способным удержать на земле память о корневище, которое его породило. Наверное, поэтому и трясся я над нею с ее первого дня, как квочка над последним цыпленком. Росла она трудно, с детскими хворями, с долгим плачем, особенно по ночам, мать свою выматывала вконец, до точки. Тогда-то и приспособился я возле нее вместо няньки: укачивал ее среди ночи, стишков всяких, песенок по такому случаю тьму выучил, с ложечки поил-кормил, часом постирушкой не брезговал, хотя уже щеголял в полковничьей папаше. Жили мы к тому времени просторно, в безбедном достатке, отказа она ни в чем не знала, видно, оттого характером вышла не приведи Бог, чуть что не по ней — в слезы. Все на лету схватывала, когда хотела, любого могла приручить, а уж взглянет, о таких сказано, рублем подарит, гулять с ней ходили — пол-улицы оборачивалось. По правде говоря, ею одной и жил те годы, большего света у меня не было. Если случались по службе какие неурядицы, стоило мне вспомнить про нее, как рукой снимало: гори оно все синим пламенем, не так страшен черт! Не заметил, куда годы осыпались, гляжу, а девка моя уже невеста на выданье, охотники вокруг косяками крейсируют, норовят на буксир зацепить. Я и сам чуял: вот-вот приведет. Так в свой час и случилось: привела. Лоб объявился чуть ли не двух метров росту, волос светлый со ржавчинкой, глаз веселой наглецей поблескивает. «Разрешите представиться,— тянет он мне просторную лапу.— Островский Игорь Александрович, учусь на волшебника, специализируюсь по части зубных протезов, хобби — шахматы, второй разряд». За столом он держался гоголем, словно всю жизнь у одних генералов гащивал, пил наравне со мной, но ни в одном глазу, сидел пошучивал, похохатывал, а она — единокровная моя — глаз с него не спускала, ловила каждое его слово, будто манну небесную, и лишь тут окончательно до меня дошло: отзвенел мой отцовский праздник, и дочь моя уже отрезанный ломоть! И такая меня при этом тоска одолела, что не выдержал я, отпустил вожжи, а наутро жена ко мне с подначкой: «Везет тебе, Иван, на пятый пункт, сначала я ошастливила, теперь жених с прожидью». «А мне что? — отвечаю.— Ей жить». «Смотри,— говорит,— Иван, сейчас это не модно». «Модно — не модно,— отмахиваюсь,— ей бы хорошо было, а нам с тобой о душе пора думать». В общем-то шелестело вокруг на этот счет, дружно шелестело, только меня отроду не допекало, кто какой нации, людей по делам судил — хорош или плох, оттого и в войну про Ташкент не принимал, в том Ташкенте русских сачков куда больше слонялось. Конечно, от разговоров не укроешься, охотников поязвить много найдется, да на мне где сядешь, там и слезешь, язви себе на здоровье, пока рога не обломаю, а возможности к тому у меня всегда отыщутся, власть мне дадена, и немалая, сам не сумею, пособят, завязок мне наверху не занимать, как говорят, не первый год замужем. Свадьбу мы им сыграли барскую, я тогда уже на округе сидел,

мог себе много чего позволить. Неделю гуляли, местный иконостас в полном составе отмечился, полгорода перебивало. Жизнь молодым я оборудовал по первому классу: квартиру двухкомнатную, хоть и в новостройке, но схлопотал сразу, телефона в районе не было, саперную роту пригнал, спецлинию провели, по стране на военных самолетах курсировали, а тут еще они мне и внука спроворили, чего еще желать, живи — не хочу! На службе у меня тоже разгон шел на скоростях, возврат в Москву на глазах вытанцовывался, с номенклатурным повышением, можно сказать, судьба в самый зенит поднялась. Только судьба — она, известно, индейка, сегодня в князи, завтра в грязи, пересеклась моя дорога крутым обрывом на ровном месте. Является как-то ко мне зятек мой без обычных своих шуточек-прибауточек, озорной хохоток в сторону, тише воды, ниже травы. «У меня к вам мужской разговор, Иван Никанорович, — он меня отцом так и не назвал ни разу, — разрешите?» Поцапались, думаю, ну да милые ругаются — только тешатся, перемелется. «Выкладывай, — говорю, — что стряслось». Тут он меня и пригнул к полу: «Подая документы на выезд, всей семьей». «Куда это ты собрался, — складываю первое, что приходит в голову, лишь бы из себя жаркий воздух вытолкнуть, — чего ты там позабыл?» «На историческую родину, — отвечает, — а чего забыл, хочешь вспомнить». Ей-Богу, не о себе я в тот час жалел, в конце концов черт с ней, с карьерой, всех звезд не соберешь и в могилу с собой не захватишь, дочь жалко было, внука, к которому по-стариковски успел привадиться, как я без них буду, к чему мне тогда и звезды те? «Скажи, чего тебе не хватает? — взываюсь я, себя не помня. — Работа не по нраву, другую найдем, лучшую, машину новую хочешь, завтра на дом доставят, мир посмотреть, поезжай в любое время, зачем тебе совсем-то туда, а?» А он мне еще тише: «Не хочу по особой милости, Иван Никанорыч, хочу по праву, на равных». Я нутром почувял, с таким упором человека не переупрямишь, отступился. «Ладно, — говорю, — ты сам себе хозяин, но дочери я отпускной не дам, так и знай». «Это дело вашей совести, Иван Никанорыч, — подался он за дверь. — Но мы, уверяю вас, и это преодолеем». Не успел я его спровадить, ко мне жена с тем же. Видно, загадя сговорились. «Дочь у нас с тобой одна, Иван, перегнем — совсем сломается». «Так что же ты хочешь, — ору, — чтобы я на ней и на себе крест поставил?» «Не знаю, Иван, не знаю, давай подумаем, сам говоришь, нам доживать осталось, а ей — жить». Смотрю на нее и как бы заново узнаю, хоть и держит она себя в порядке, и годы свое берут: время по ней будто легкой паутиной мазнуло, одни глаза те же остались — зеленые, с дремотой внутри. Э, матушка, — резануло меня по живому, — похоже, и впрямь укатали нас с тобой наши горки, все прошло, как с белых яблонь дым, нам бы на покой теперь. Но решения своего не переменял: пускай в одиночку сматывается, перебежесся. Первого знака долго ждать не пришлось. Недели через две, сижу у себя в штабе, заглядывает в кабинет начпур, идеолог наш, из тех, кто мягко стелет, да жестко спят, и на тихих лапках ко мне: «Ну, как жизнь молодая, Иван Никанорыч, все ли выходит?» Но я тоже не пальцем сделанный. «Выходит, — срезаю, — хорошо, входит плохо, говори прямо, комиссар, с чем пожаловал?» У того даже очки от обиды вспотели. «К тебе по-товарищески, а ты в бутылку, я в отпуску был, всякое могло стрястись, вот и захожу ко всем по очереди потолковать, если не в настроении, в следующий раз зайду». И пушистым коlobком на выход. Знал я его лисьи повадки, без крайней необходимости никогда не зайдет, а уж если зашел, значит, держи ухо востро, жди какой-нибудь каверзы. Потом, спустя время, местный хозяин позвонил, тоже без особой нужды, опять про здоровье, про семью, про службу, про то да се, ничего определенного, только в конце приоткрылся: «Бывай, казак, не журысь, в случае чего обращайся, поможем». Легко сказать, поможем, а чем они могли мне помочь, засадить, что ли, его, сукина сына, или ее из института выгнать, а зачем мне, спрости их, зять-уголовник и дочь-тунеядка? Дома хоть не появляйся — на погосте веселей. Дочь глаз не кажет, даже по телефону, когда сам звоню, молчит, плачет в трубку по-ребячь, меня от этого, словно голый шкурой по наждаку, так больно. И хотя про себя полагал еще, что пройдет у нее, молодость свое возьмет, бабьи слезы коротки, на душе у меня кошки скребли: что-то с ней будет? Потом слышу, свалил за бугор зятек мой, тут, надо полагать, мои чиновные приятели расстарались, чтобы шуму лишнего не вызывать. Вздохнул я было от облегчения, но, оказалось, рано расслабился, катавасия моя только главный разбег взяла. В одночасье вызывает меня командующий, крутой был дядек. Царствие, как говорят, ему небесное, ростом

с Петра Великого и поперек себя шире, протягивает мне пачку радиоперехвата, а глаза в сторону отводит: «На вот, изучи на досуге, после обсудим, какой оборот делу дать». Сел я у себя, полистал сообщения и поперхнулся: Господи, мать моя Треручица, от фамилии моей в глазах пестрит, это зятек по всем «голосам» о нашей семье распространяется. Все в подробностях: и биография моя, и чин, и должность, и виды на будущее, а в заключение, по обыкновению, призыв ко всем, будь они неладны, людям доброй воли помочь ему воссоединиться с женой и сыном. Положение складывалось хуже губернаторского, куда ни кинь — всюду клин: опровергать — себе дороже, сдаться — засмеют и на покой выставят, смолчать — как руководство посмотри. Я опять к командующему, теперь без вызова: «Что делать?» «Пока молчи, — приказывает, — а там видно будет». Молчать-то я молчал, но вокруг меня как началось, так и не утихало, видно вражеской пропагандой никто не брезговал: шепотки, разговоры, ухмылочки искоса, занялась подо мной земля, когда остынет? Раньше я в этих «голосах» даром не нуждался, не слушал их никогда и ни в каком разе, загодя знал — брехня одна, голая антисоветчина, все не переслушаешь, а тут поневоле пристрастился: домой со службы приеду и сразу за «грюндиг», накручиваю волны на все стороны. Чуть не каждый вечер зятка своего вылавливал, заливался он соловьем по разным станциям, чистил нашу власть советскую во все корки, требовал отпустить к нему семью. Хотя и клял я его на чем свет стоит, а в душе за дочь радовался: значит, не стрекозел какой-нибудь ей в мужья подвернулся, любит, выходит, не забыл на чужой стороне, на мамзелей тамошних не полстился. Дальше — больше, в разговорах вокруг почти при мне не стесняются, на людях в мою сторону чуть ли не пальцем показывают, в берегах еле держусь, но говорят же, пришла беда — отворяй ворота, обвалилась на меня по тем же «голосам» новая ноша: слышу, объявила моя дочь сухую голодовку, тоже добывается выезда. Ясно стало: заодно действуют, а что мне по такому случаю делать, ума не приложу, не хватало нам только в семье диссидентов. День жена молча выходила, второй, на третий, за ужином, прорвало: «Если с Натальей что случится, мне с тобой под одной крышей не выжить, Иван». Я и сам чую, край наступил, долго не выдержу, сорвусь, костей тогда не соберем, решать нужно: или — или. Утром, едва у себя на службе порог переступил, звонок: ласково эдак просят срочно явиться в высшие инстанции. Одна нога здесь, другая там, хозяин на меня даже глаз не поднял. «Дочь, — отрубил, — уедет, подавай в отставку, выступишь — за партией не останешься. Все, не задерживаю». С тем и объявился я затем у дочери, вошел, обликнул было тихонько, но тут же осекся. Лежала она на тахте, свернувшись калачиком, лицом к стене, видна была только часть щеки с налипшей на нее каштановой прядью. На голос мой не откликнулась, лишь вяло острым, в мать, плечом повела: не надо, мол, устала. Стоял я над ней и не видел в ту минуту ничего, кроме этой вот мокрой пряди на меловой щеке, и душа моя медленно выворачивалась наизнанку: да провалилась она, служба эта, вместе с генеральскими звездами и маршальским кителем в преисподнюю, видел я канитель эту в гробу, в белых тапочках, вот она, рядом со мной — награда моя единственная, и нет такого соблазна на земле, чтобы мог заставить меня от нее отказаться! Вернулся домой, вызвонил командующего и сложил, как отрезал: «Попадаю на пенсию». И так мне вдруг полегало на сердце, так осветило кругом, что не усидел я на месте, переделся в штатское и вдарил по городу вольной птицей, куда глаза глядят, без казенной узды, на своих двоих. Долго кружил по улицам, удивлялся, не один год жил здесь, а города толком так и не видел: все проходя, все мимоездом, пока уже под вечер не услышал у себя за спиной чью-то короткую скороговорку: «Чтой-то стало холодать, отец, может, скинемся по лысенькому на мерзавчика?» Оборачиваюсь, пристроился за мной парень не парень, мужик не мужик, так, серединка на половинку, тощее лицо гармошкой, вроде жеваной рублевки, щерится щербатым ртом, заискивает: «Может, обознался, тогда извиняюсь, а то, вижу, солидный человек один скучает, дай, думаю, предложу компанию». Хотел было я отмахнуться, да вдруг спохватился: да что в самом деле всю жизнь в узде ходить, почему не расслабиться по-человечески? «Давай, — достаю деньги, — ноги в руки, мерзавчиком не мелочись, бери полбанки и зарызь не забудь, я тебя здесь подожду». Обернулся он, словно на ковре-самолете, провально осклабился, подмигнул: «У меня тут налажено, по депутатскому разряду обслуживают». «Где пить-то будем, прямо здесь, что ли?» «Можно и здесь, вон на лавочке во дворе, никому не заказано, а можно и ко

мне нырнуть, я тут при доме и за истопника, и за дворника, в котельной и живу, тепло, светло, и мухи не кусают, если не побрезгуешь, конечно». В котельной у него оказалось и впрямь опрятно и сухо. К гостям хозяину, заметно, было не привыкать, закуску из кушленных сырков и подручной луковицы он оборудовал в два счета, разлил по-снайперски, после первой полубопытствовал: «Ты, видать, отец, нездешний, я тебя в наших краях раньше не видал?» «Да так, случайно завернул». «По одежде судить — начальник?» «Какой там! На пенсии». «Значит, пенсия не бедная». «Хватает». «Я и гляжу». «А ты, видно, насчет выпить не промах?» «По мне, с утра выпьешь — целый день свободный. И богат, и лохмат». О себе, слово за слово, выложил, что сам из деревни, остался в городе после армии, устроился по лимиту, благо на черную работу нынче местного днем с огнем не сыщешь. Сообразили еще одну, потом еще, дальше не считали, а когда закружилась явь цветной каруселью, само собой у нас с ним сложилось: «Как в саду при долине пел соловей, а я, мальчик, на чужбине позабыт средь людей»... Не было тогда в той домово́й котельной на городской окраине ни генерала, ни истопника-дворника, тянули там на два голоса свою нутряную тоску два деревенских мужика, затерянных в огромном и чужом для них мире. «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могила моя. И никто не узнает, и никто не придет, только раннею весною соловей пропоет»... Много певал я и до этого, и потом, но вот так, в таком полном согласии, больше не доводилось. С того вечера все в моей жизни завязалось как бы заново, и живу я теперь от одного письма до другого, от одного телефонного звонка до следующего, на завтра не загадываю, всякое может быть. «Алло, папа, ты слышишь меня? — прорывается ко мне сквозь версты и версты. — Слышишь?» «Слышу, слышу, — зарожено откликаюсь я, — говори». «Я люблю тебя, папа, береги себя». В трубке раздается короткий щелчок, и пространство в ней умолкает. Я кладу ее на рычаг: «Накрывай, мать, ужинать».

6

После ее звонков и писем я подолгу не могу успокоиться. Не так уж и далеко он, этот Израиль, по прямой не дальше нашего Свердловска, а кажется, за тридцать земель или вовсе на другой планете. Если смотреть по карте — тощенькая полоска земли, прижатая к морю, но не этим она живет во мне, а тем, что дышат там и ходят по ней моя дочь и мой внук нашего воробьевского роду. Скажи мне еще недавно, что у меня родственники в Иерусалиме окажутся, в толк бы не взял, а теперь вот только успеваю писать да отзванивать. По бывшей моей должности я знал об этой земле немало: климат, рельеф местности, стратегические объекты, людские ресурсы и военные возможности могу изложить на память. По боевым качествам им среди нынешних армий давно равных нет. Я себе в своей чехословацкой операции их Шестидневную войну за образец положил, только мне пришлось играть в одни ворота, а они на равных, даже с минусом в численности. Понятное дело, дрались и за страх, и за совесть: своя земля и собственная жизнь на кону стояла. Как у нас в сорок первым было, знали: или Гитлер нас, или мы его, добром не разойтись, вот и шли на пулеметы с голыми штыками: «За Родину! За Сталина!», не к ночи будет помянуто! Разобраться бы нашему брату, за что, за какие-такие волшебные коврижки мы теперь животы надрываем? Все белый свет уму-разуму учим, все помогаем в борьбе, все братскую руку дружбы протягиваем. А спросить бы сначала себя: а нужна ли она кому, эта рука наша братская? Может, от этой руки кой у кого уже кости трещат и ноги подламываются? Помню, в шестьдесят восьмом в Праге уговорил меня один наш посольский чин в городе за бутылочкой посидеть. «Есть, — пообещал, — одно занятное местечко, «У маркиза» называется, сервис на высшем уровне, и к нам — к русским — с полным почтением». Завернули, устроились, смотрю — и в самом деле место подходящее: заведение небольшое, человек на двадцать, в старинном дереве с бронзовой подсветкой по стенам, тихая музыка, обслуживание, как в кино, хозяин к нам со всем расположением: хлопчет около нас, смазанным пробормом поблескивает, лошадиными зубами поигрывает, не знает, чем угодить. «Вот, — отогреваюсь, — выходит, не все к нам с вилами, есть кто с песнями, значит, не зря старался генерал Воробьев». Засиделись мы за полночь, расставались — расстаться не могли, чаевые я такие отвалил, что он нам до самой двери кланялся, но уже на пороге обернулся я ненароком, и тут будто кипят-

ком меня ошпарило: стоял позади меня хозяин с моими чаевыми в кулаке, и такая из него злоба клубилась мне в спину, что, думаю, был бы у него в руках автомат, прошелся бы он по мне косою очередью до самого последнего патрона. Долго мне потом эта его лютость мерещилась. А сколько ее — такой лютости — к нам со всех сторон света тянется, не захлебнуться бы нам в ней в одночасье. Жаль, не дожид до этой поры старый учитель мой по Академии, пришел бы я к нему сейчас и спросил: «Ради какой России переступили вы через присягу, лили братскую кровь на гражданской, гибли потом и в боях, и в подвалах пыточных и доживали свой век на генеральских пенсиях? Ради вот этой, где черный люд забыл, когда хлеба ел досыта, где человек на ночь не ведает, проснется ли утром у себя дома, где сивушная ржа не только душу — землю проела и что перестоявшей квашней расплзается во все концы земли, разбедает все сущее на ней своим страхом и собственной нищетой?» Если так — то лучше ей не быть вовсе — такой России. Встряхнуться бы нам всем миром, встать с карачек и осадить себя, пока не поздно: хватит! «Ишь ты, как поумнел, — казнию я. — О чем же ты раньше думал, когда на коне красовался, на обочине все умники». И то правда. Ведь сколько нас, таких воробьевых, на разных командирских насестах кукарекает. И каждому без очков видно: не туда гребем, не по себе ношу взвалили, вот-вот надорвемся, а тогда конец — со святыми упокой, никто, никакой Бог не спасет. Сговорились бы мы да и прикрыли эту лавочку, я со своим округом и то мог бы, но нет, ни один не спохватится, голосят, словно заведенные, в ту же дуду: вперед, заре навстречу! И я голосил, а как иначе, сорвешь голос или смолкнешь, заключут, такой задан порядок. «Ну, а если, чем черт не шутит, позовут снова, — поддразниваю я себя, — взойдешь, Иван Никанорыч, не отступишься?» Позвать, знаю, не позовут, в такую речку дважды не окунешься, но, уверен, стрясись чудо, вожжей бы не упустил, повернул бы телегу на ровный большак. «Бодливой корове Бог рогов не дает, — посмеиваюсь я над собой. — Если бы да кабы, грибов бы завались стало». И снова из коридора, следом за телефонной трелью, я слышу жену: «Иван, тебя!» «Опять с поздравлениями, — с неохотой беру я телефонную трубку, — надоело». Но голос оттуда заставляет меня мгновенно сгруппироваться. «Здравствуй, друже, — по легкому украинскому акценту с барственными переливами я сразу узнаю местного босса, — чога глаз не кажешь, негоже старых друзей забывать». «Мне теперь, — осторожно отшучиваюсь, — до Бога ближе, чем до тебя». «У нас, сам знаешь, — не унимается тот, — сегодня я тобой команду, завтра ты мной погоняешь, слушай меня в оба уха, Иван Никанорыч, командующий наш долго жить приказал, заступай на его место, с Москвой согласовано». В ответ я долго ничего не могу сложить, только жадно глотаю раскалившийся вдруг воздух. «Бери свое, пока не поздно, Иван, — перекачивается в трубке, — завтра в десять ноль-ноль ко мне. Бывай». Я было выталкиваю из себя первые сложившиеся во мне слова, но тут же просыпаюсь: жена легонько трясет меня за плечо. «Хватит спать, именинник, — посмеивается она, — гости собрались, ждут». Я встаю и покорно иду за ней, а в голове у меня будто пластинка заезженная крутится: «Пока не поздно... Пока не поздно... Пока не поздно...» Но звук этот вдруг обрывается жгучим и резким толчком в сердце: поздно, Иван, поздно, слишком поздно. Ничего уже не спасешь. И никого.

Дмитрий БЫКОВ

Н а ш и и г р ы

...И вот американские стихи.
Друг издает студенческий журнал
Совместный — предпоследняя надежда
Не прогореть. Печатает поэзы
И размышления о мире в мире.
Студентка (фотографии не видел.
Но представляю — волосы до плеч
Немытые, щербатая улыбка,
Приятное открытое лицо,
Бахромчатые джинсы и босая)
Прислала некий текст. Перевожу.

Естественно, верлибр. Перечисленья
Всего, на чем задерживался взгляд
Восторженный: что вижу, то пою.
Безмерная, щенячья радость жизни,
Захлеб номинативный: пляж, песком
Присыпанные доски, мотороллер
Любимого, банановый напиток
С подробнейшею сноской: что такое
Банановый напиток. Благодарен
За то, что хлеб иль, скажем, сигарета —
Пока без примечаний.

В разны годы
Я это слышал! «Я бреду одна
По берегу и слышу крики чаек.
А утром солнце будит сонный дом,
Заглядывая в радужные окна.
Сойду во двор — цветы блестят росой.
Тогда я понимаю: мир во мне!»
Где хочешь обрви — иль продолжай
До бесконечности: какая бездна
Вещей еще не названа! Салат
Из крабов; сами крабы под водой,
Еще не знающие о салате;
Соломенная шляпа; полосатый
Купальник и раздвинутый шезлонг...
Помилуйте! Я тоже так умею!..

И — как кипит завистливая желчь! —
Все это на компьютере; с бумагой
Опять же ноу проблем, и в печать
Подписано не глядя: верный способ
Поехать в гости к автору! Меж тем
Мои друзья сидят по коммуналкам
И пишут гениальные стихи
В конторских книгах! А потом стучат
Угрюмо на раздолбанных машинках,
И пьют кефир, и курят «Беломор»,

И этим самым получают право
 Писать об ужасе существованья
 И о трагизме экзистенциальном!

Да что они там знают, эти дети,
 Сосущие банановый напиток!
 Когда бы грек увидел наши игры!
 Да, жалок тот, в ком совесть нечиста,
 Кто говорит цитатами, боясь
 Разговориться о себе самом,
 Привыкши прятать свой дрожащий ужас
 За черною иронией, которой
 Не будешь сыт! Что знают эти, там,
 Где продается в каждом магазине
 Загадочный для русского предмет:
 Футляр для установки для подачи
 Какао непосредственно в постель
 С переключателем температуры!

Но может быть... О страшная догадка!
 Быть может, только там они и знают
 О жизни? Не о сломанном бачке,
 Не о метро — последнем, что еще
 Напоминает автору о шпротах, —
 О нет, о бытии как таковом?
 Как рассудить? Быть может, там видней,
 Что, Боже мой, трагедия не в давке,
 Не в недостатке хлеба и жилья,
 Но в том, что каждый миг невозвратим,
 Что жизнь кратка, что тайная преграда
 Нам не дает излиться до конца...
 А все, что пишем мы на эти темы,
 Безвыходно пропахло колбасой —
 Столь чаемой, что чуть не матерьяльной?!

А нам нельзя верлибром — потому,
 Что эмпиричны наши эмпиреи.
 Неразбериху, хаос, кутерьму
 Мы втискиваем в ямбы и хорей.
 Последнее, что нам еще дано
 Иллюзией законченности четкой, —
 Размер и рифма. Забрано окно
 Строфою — кристаллической решеткой.
 Зарифмовать и распахать бардак
 По клеткам ученических тетрадок —
 Единственное средство кое-как
 В порядок привести миропорядок
 И прозревать восход — или исход? —
 В безумной тьме египетской, в которой
 Четверостишье держит небосвод
 Последней нерасшатанной опорой.

* * *

Наше свято место отныне пусто. Чуть стоят столбы, висят провода.
 С быстротой змеи при виде мангуста кто могли, разъехались, кто куда.
 По ночам на небе видна комета — на восточном крае, в самом низу.
 И стоит такое тихое лето, что расслышишь каждую стрекозу.

Я живу один в деревянном доме. Я держу корову, кота, коня.
 Обо мне уже все позабыли, кроме тех, кто никогда не помнил меня.
 Что осталось в лавках, беру бесплатно. Сею рожь и просо, давлую вино.
 Я живу, и время течет обратно, потому что стоять ему не дано.

Я уже не дивлюсь никакому диву. На мою судьбу снизошел покой.
Иногда листаю желтую «Ниву», и страницы ломаются под рукой.
Приблудилась дурочка из деревни — забредет, поест, споет на крыльце,
Все обрывки песенки, странной, древней, о милóm дружке да строгом отце.

Вдалеке заходят низкие тучи — повисят в жаре, пройдут стороной.
Вечерами туман, и висит беззвучье над полями и над рекой парной.
В полдень даль размыта волнами зноя, лес молчит, травинкой не шелохнет,
И пространство его резное, сквозное на опушке светло, как липовый мед.

Иногда заедет отец Паисий, что живет при церковке, за версту, —
Невысокий, смуглый, с усмешкой лисьей, по привычке играющий
в простоту.

Сам себе попеняет за страсть к винишку, опрокинет рюмочку — лепота, —
Посидит на веранде, попросит книжку, подведет часы, почешет кота.

Иногда почтальон постучит в калитку — все, что скажет, ведаю наперед.
Из потертой сумки вынет открытку — непонятно, откуда он их берет.
Все не мне, неизвестным, — еры да яти, то пейзаж зимы, то портрет царя,
К Рождеству, дню ангела.

Дню печати,
с Валентиновым днем, с Седьмым ноября.

Иногда на тропе, что давно забыта и, не будь меня, уже заросла б,
Вижу след то ли лапы, то ли копыта, то ли птичьих, то ль человеческих лап,
И к опушке, к темной воде болота, задевая листву, раздвинув траву,
По ночам из леса выходит кто-то и недвижно смотрит, как я живу.



Лики бессмертной власти

РОМАН

ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

CVI

Бездеятельность одинаково губительна как для простого смертного, так и для венценосца. Лишенный главной потребности жизни — труда (ведь лень сладка чаще не от барства и праздности, а от обилия дел, которых, как у землепашца по весне или по осени, делать не переделать) — человек невольно опустошается душой, и к нему является та страшная болезнь, называемая одиночеством и тоской, которая, если не унять ее, достигнув криза, оборачивается либо безудержным озлоблением на всех и вся без разбора, как это, впрочем, и случилось с Иоанном (в самую пору зрелости, добавим), либо тихим, открывающим путь к иночеству и отшельничеству помешательством, когда из мира реальностей происходит добровольное перемещение человека в мир грез и несбыточных идеалов. Отрешившись от державы и трона — пусть на время, для виду, из амбиций, что ли, если точнее, — Иоанн лишил себя той повседневной государственной жизни, той деятельности, какой подменялась потребность труда, и он теперь не то чтобы слонялся по палатам дворца, отыскивая, к чему бы (условно говоря) приложить руки, — нет, в этом внешнем проявлении он оставался царем, самодержцем, коему непозволительно выказывать душевную слабость перед холопами, пусть и вельможными; но, как и всякая болезнь, загоняемая в глубь тела, только расшатывает и подрывает здоровье, так и мучительное состояние Иоанна, в чем он не хотел и не мог никому признаться, его поиски истины и отчужденность делали пребывание в Коломенском невыносимым (может быть, потому-то позднее он и возненавидел сей дворец и сие место, переключив симпатии и любовь на Александрову слободу); он и в самом деле то сидел в гостиной, то отправлялся посмотреть сундуки с казной и драгоценностями, взятые им из Москвы, то заходил в кабинет, где прежде выслушивал доклады Адашева, разбирал местнические тяжбы бояр и где теперь все было мертво, глухо, кроме разве горевших свечей, заживавшихся сейчас же, как только он приближался к двери. Как и в гостиной, он усаживался в кресле (за письменным столом ему и в самом деле нечего было делать), и прежние встречи и разговоры оживали с такой ясностью, что, казалось, он слышал голоса то воевод, то Адашева, то митрополита Макария, без которого не решалось ни одно государственное дело. Макарий не брал ни сторону Адашева, предлагавшего воевать Крым и не ходить пока, до времени, на Ливонию, Литву и Польшу, ни сторону воевод, которые, согласуясь с устремлениями самого Иоанна, склонялись в пользу войны северной. Им представлялось (по тому, как сдавались им крепости

и города ливонские), что Россия здесь сильнее, что за Крымом стоят турки, занявшие к тому времени уже почти половину Европы, и что, наконец, переброска войск с севера на юг займет много времени, да к тому же откроется фланг, то есть простор, для Сигизмундовых и Радзивилловских полков; Иоанн слышал эти голоса, возвращавшие его к тем недавним еще временам, когда, занятый добыванием воинской для себя славы, какой, казалось, так недоставало ему как Государю всея Руси и самодержцу, он во главе войск уходил в походы и неделями, если так можно сказать, не слезал с коня и не снимал доспехов; но теперь — походы те не волновали его, как не волновали и споры, в которых выстраивался стратегический курс державы и которыми все минувшее десятилетие определялась его государственная жизнь; перед ним возникали теперь иные проблемы, иная цель — укрепление собственной в стране власти, — и в соответствии с этой целью настраивались все его нравственные и мыслительные возможности.

Воображение вновь переносило его к тем годам, когда правила его мать, поддерживаемая и наставляемая ее опекуном и любовником — князем Иваном Овчиной-Телепневым-Оболенским. Иоанн не то чтобы осуждал мать за эту связь ее с белокурым временщиком, оставившим о себе лишь палаческую память, — нет, чувства его в этом плане были более чем противоречивы; с одной стороны, он не верил в самую возможность подобной связи, унижавшей мать, и относил все к злым языкам, к наговорам, на кои, он знал, столь горазды люди, включая, разумеется, и бояр, и князей (такое наворотят, что и ума не приложить!), а с другой — если бы это и было правдой, не хотел, чтобы она распространялась в народе, и не позволял ни себе, ни другим укрепляться в ней. Но скрыв одно, что было связано с матерью и временщиком, Иоанн не мог скрыть другого — весьма странной, если не сказать загадочной смерти матери. Случилось это весной, в теплый апрельский день, когда ему было семь лет от роду. С утра Елена казалась веселой, принимала бояр и даже продолжительнее, чем обычно, беседовала с ними, потому что осложнились дела с Казанью да и накопилось много иных, требовавших внимания, но затем, ближе к обеду, занемогла, слегла в постель и во втором часу дня, не успели два немца-лекаря посоветаться и сообразить, что с правительницей, чем помочь ей, как она скончалась. Немцев-лекарей отстранили от покойницы, тут же, словно из-под земли, вырос в ее палате боярин князь Василий Васильевич Шуйский, взявший на себя роль распорядителя похорон. Ни в одном из летописных сводов не говорится, чтобы митрополит отпевал ее тело, зато из всех свидетельств следует, что не прошло и четверти часа, как усопшая была омыта, наряжена и уже лежала на одре, что все сделалось так быстро, словно смерти ее ждали и готовились к ней. Князь Овчина-Телепнев-Оболенский, как это, впрочем, и происходит в подобных случаях, узнал обо всем последним; он примчался во дворец, когда Елену готовились положить в гроб, и, как замечают очевидцы, один он только и лил слезы по усопшей, потому что терял все, что стараниями сестры и своими было обретено им, да надрывался в рыданиях маленький Иоанн. Когда Овчина-Телепнев-Оболенский вошел к покойнице, Иоанн сейчас же, словно за спасением, бросился к нему. Это не понравилось боярину Шуйскому, но он только гневно сверкнул глазами и не стал ничего предпринимать, потому что судьба белокурого временщика, старавшегося через сестру, няньку Иоанна Аграфену Челяднину, сблизиться с малолетним Великим Князем, что как раз и вызывало неприятие у Шуйского и других думных бояр, — судьба временщика, в сущности, была предрешена. Иоанн хотя смутно, но помнил те минуты, когда кинулся от одра к князю; и если теперь, когда понимал все, поступок тот представлялся ему омерзительным, то тогда, в тот траурный день, он только и мог поступить так, как поступил. Чтобы успокоить малолетнего Государя, его увели в детскую, а спустя час гроб с телом матери уже опускали в свежевырытую могилу на кладбище в Вознесенском монастыре.

Всех последующих исследователей, как и Иоанна, когда он, как было с ним сейчас, мысленно возвращался к тому осиротившему его дню, удивляла и приводила в недоумение поспешность, с какой, словно желая отделаться от чего-то неприятного, что, даже уснув, продолжало осквернять дом, бояре во главе с Василием Васильевичем Шуйским похоронили пра-

вительницу. Тут же, по смерти, как делается только на войне, ее предали земле, не позволив святителям совершить над ее телом всех тех христианских обрядов, предусмотренных церковными канонами, без которых душа покойницы обрекалась на вечные скитальческие муки, и сколько же надо было иметь ненависти, чтобы поступить так. Однако боярин князь Шуйский поступил именно так, не побоявшись ни будущего царского гнева и мести, ведь малолетство Иоанна когда-то же, но должно было кончиться, ни гнева Божьего, перед которым, как это, видимо, казалось ему, надеялся оправдаться (но более, наверное, от крутости характера, как увидим позднее); да, все говорит о том, что Елена умерла не своей, а насильственной смертью, а проще, была отравлена, и можно даже предположить, на что рассчитывали отравители, идя на сей шаг, — на недовольство за ее литовское происхождение и за то, что, не умея соблюсти себя как женщина перед лицом православного мира, пригрела возле себя, в постели, любовника и не по заслугам вознесла его над родовитыми боярами и князьями; разумеется, Иоанн понимал это, вернее, не мог не знать и не понимать, и с точки зрения обычной логики естественной было бы, если бы, повзрослев и окрепнув на троне, принялся мстить прежде всего тем, кто был или мог быть причастным к ее смерти; но, как свидетельствуют источники, дошедшие до нас, подобного не произошло; Иоанн не только не мстил за мать, но и ни устно, ни в ответах князю Курбскому, в которых более чем где-либо позволял себе откровенничать, не затрагивал этого болезненного для себя вопроса. Историки на этом основании (и они по-своему правы) высказывают предположение, что либо Елена не была отравлена, либо Иоанн ничего не знал и не хотел ни на кого наговаривать (Боже, этот-то царь, этот-то самодержец, столь многократно главивший и возводивший напраслину?!); нет, на мой взгляд все обстояло куда как проще; Иоанн знал, знал все в подробностях, но, дорожа честью матери, мстил боярам не за нее (иначе пришлось бы оглашать причину отравления), а за те мелочные, конечно же, в сравнении с убийством обиды, о которых в обилии рассказывает все в тех же своих посланиях к Курбскому; Иоанн схитрил тут не только перед современниками, но и перед историей, и разве что — не вполне осознавал масштаб сей своей хитрости, вспомнив теперь здесь, в Коломенском, о том страшном дне своего сиротства.

CVII

На кладбище в Вознесенском монастыре еще скрипели лопатами, подребая землю, ровняли крест, возведенный над могилой, и тихие и слезливые инокини, пришедшие проводить правительницу в последний путь, еще дочитывали молитвы, когда в тронном зале дворца, собрав думных бояр, старейший из них боярин князь Василий Васильевич Шуйский (глава переворота, как мы бы назвали теперь), занимавший первое в совете место еще при Василии III, а затем при Елене (номинально, правда, потесненный временщиком), держал тронную или почти тронную перед всеми речь. Он говорил, что Государь мал, что держава не может оставаться безглавой, и, напомнив о предках своих, суздальских князьях, объявил себя Главою Правления, то есть «на высшей ступени трона», если по-летописному, со «свойством с Государем». Только один человек мог в соперничестве противостать ему — тоже старейший боярин князь Дмитрий Бельский, родственник Иоанна. Но боярин молчал. Молчал потому, видимо, что клан Шуйских в то время был куда многочисленнее клана Бельских и потому еще, что знал о крутом нраве новоявленного временщика и опасался с его стороны непредсказуемых, как это обычно и бывает в минуты беззаконий, жестокостей. Впрочем, Василий Васильевича Шуйского опасались почти все при Дворе, помня о том, как он отстоял Смоленск после известной, с поляками и литовцами, Оршанской битвы. Когда поляки и литовцы, подойдя к Смоленску и осадив его, приготовились было уже к штурму, князь Василий Васильевич Шуйский, бывший тогда воеводой в Смоленске, велел в ночь переловить в городе всех богатых смолян (польского, как уточняют некоторые летописцы, происхождения), тайно ли, явно ли державших связь с королем Сигизмундом и готовившихся сдать ему город, и всех их — более тысячи человек — приказал повесить на крепостной стене. Утром,

когда сошел туман, открывшееся сие ужасающее варварство настолько ошеломило польских и литовских воевод и ратников, что они не решились на штурм и к вечеру отошли от города, лишь пограбив и спалив прилегавшие к нему посады и монастыри. Повешенных долго не снимали с виселиц — для устрашения, как говорил успешный уже прославиться жестокостью смоленский воевода князь Шуйский; на площади перед смоленским кремлем его чествовал народ (по своего рода известному заблуждению), затем чествовали в Москве, приняв с торжеством, пожаловав боярство и посадив чуть ли не первым (уже тогда!) советником в Думе. Широкий в кости, с крупными чертами лица и богатырской осанкой, как можно было бы сказать еще, глядя на него со стороны, князь Шуйский и в придворных делах, усвоив однажды, что перед силой и дерзостью гнется все, как трава под ветром, действовал сим же испытанным методом и как провинциал, гордящийся неотесанностью, всячески старался поддержать эту сложившуюся о нем дурную, но казавшуюся полной достоинства, мужества и справедливости славу.

Уравнявшись в значимости с Государем, правда, пока лишь провозглашением, Шуйский, однако, не посмел занять пустовавший трон (из-за смерти матери да и по малолетству Иоанн не был приглашен на этот важнейший государственный совет), а стоял возле, одетый отнюдь не по-траурному, а во всем блеске своего богатства и положения, и громовым, трубным голосом оглашал свои заготовленные доморощенные мудрости. Ведь ничто, сменяясь, не движется к лучшему; так происходит и с временщиками, жаждущими власти и славы; как ни казался коварным и жестоким Овчина-Телепнев-Оболенский, но уже по первым предпринимаемым действиям Шуйского было очевидно, какая взамен прежней и вроде бы даже сносной сила грозилась теперь утвердиться при малолетнем Государе. Шуйский, поскольку равен с Государем, а как же, действовал по-воински решительно, быстро. Прежде всего послал освободить невинно отбывавших наказание князей Андрея Шуйского и Ивана Бельского, в свое время схваченных по распоряжению Овчины-Телепнева-Оболенского, а самого бывшего временщика вместе с сестрой Аграфеной приказал изловить, заковать и отправить в темницы. Из опасения именно, что его схватят, Овчина-Телепнев-Оболенский не решился ночевать дома, а пришел к сестре, мамке Иоанна боярыне Аграфене, полагая, что вблизи Государя заговорщики не посмеют с колодой и цепями приступить к нему. Но, выйдя на путь насилия, мог ли боярин князь воевода Шуйский положить предел для себя в сем деле? Не найдя князя Овчину-Телепнева-Оболенского в доме, он с княжатами и детьми боярскими кинулся во дворец; ему более чем ведомо было, где искать этого белокурого выскочку, и, с криком ворвавшись на женскую половину дворца, в покои Аграфены, люди Шуйского набросились на Телепнева, свалили на пол и, нещадно, зверски избивая, принялись заковычивать в колоду. Боярыня Аграфена была в это время в детской. Она выскочила на шум и кинулась было защитить брата, за ней выскочил и маленький Иоанн в ночной рубахе (он готовился уже отходить ко сну); в порыве детской справедливости он тоже бросился было заступиться за мамку, на которую, сбив ее с ног, надевали колоду, хватал боярина Шуйского за полы, кричал, просил, требовал со слезами, чтобы отпустили Аграфену и Телепнева, но на него не обращали внимания; лишь кто-то из детей боярских по указанию, видимо, Шуйского сгреб его в охапку, отнес в детскую и запер там. Иоанн хорошо помнил, как стоял на коленях перед дверью, прислушиваясь к возне, шуму и крикам, доносившимся до него, как затем все стихло и к нему явилась новая мамка, присланная новым временщиком.

Есть обиды государственного масштаба, наносимые не столько тому или иному правителю, сколько народу, трону, но есть и мелочные, ущемляющие лишь частный интерес, и государям, конечно же, не к чести замечать их и тем более болезненно реагировать на них. Казалось бы, чего проще, ибо достоинство Великого Князя и Государя превыше всего; но тем, может быть, и непредсказуема, парадоксальна и интересна жизнь, что редко когда укладывается в схему логических построений (или предположений, если кому-то хочется так); не отравление матери, не арест и заточение чтившегося ею князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского (его уморят голодом и спустя несколько месяцев предадут земле в одной из

безвестных подмосковных обитателей), не судьба мамки, боярыни Аграфены, о которой Иоанн до конца дней будет вспоминать с теплотой и любовью (ее насильственно постригут и заточат в Каргопольский монастырь), наконец, не узорпаторство Шуйского, его провозглашенное равенство с государевой особой (кстати, не пройдет и года, как сей временщик скончается — скоропостижно, неведомо отчего, будучи в полном как будто бы здравии, а на его место, место временщика, явится брат, князь Иван, еще более честолюбивый и дерзкий), — нет, не это, что затрагивало интересы державы, а совсем другое, личное, мелочное, выраженное лишь в том, что отнесли в детскую, заставили стоять на коленях перед дверью и, не поговорив и не получив согласия, прислали новую, незнакомую и неприятную ему (из клана Шуйских) мамку жгло теперь уже огрубевшую царскую душу Иоанна. Он не мог оставаться в кабинете, где тяготили его эти, мелочные воспоминания; и перед современниками, и перед историей, и перед самим собой он хотел представлять натурой крупной, когда все, к чему бы ни прикасались его чувства и ум, — все должно измеряться мерой державной власти. Но изначально заложенная в человеке суть не всегда согласуется с позднейшими, пусть даже благими его желаниями. Не как царь, а как человек, да, именно как человек, Иоанн был мелочным; и хотя история не оставила явных свидетельств, насколько мелочность эта проявлялась в быту (да ведь как посмотреть?), но зато более чем щедро Иоанн сам в переписке с Курбским приоткрыл перед нами сию свою слабость. Он жаловался беглому князю, что, дескать, «нас с единокровным братом моим, святопочившим в бозе Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем воли не было... Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую кичливость? Как исчислить подобные бесчисленные страдания, перенесенные в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя». Иоанновы биографы любят приводить эту цитату. Одни для того, чтобы подчеркнуть боярскую вину перед грозным самодержцем и таким путем хоть частично, но все же оправдать царскую свирепость к ним, хотя, если глубже и основательнее взглянуть на дело, бояре в этот именно период своего правления более были виноваты перед народом, который бесконтрольно и нещадно угнетали и разграбляли, чем перед царем, пусть даже и малолетним (а что запускали руку в государеву казну, так ведь кто из временщиков и в какие времена не запускал в нее руку?); другие же — из тех лишь соображений, чтобы указать, на что восприимчива детская память и сколь зорким и чувствительным мальчиком рос Иоанн. Но сам Иоанн более чем болезненно переживал свою мелочность; вспомнил теперь (в который раз!), как в ответном послании Курбскому пожаловался, словно прося снисхождения, на свое сиротское детство, Иоанн нервозно, как с первого же дня позволял себе здесь, в Коломенском, поднялся с кресла и решительно направился из кабинета.

CVIII

В неприкаянности человек страшен; неприкаянность царская страшна вдвойне, потому что обращивается гневом. Чем дольше оттепель задерживала Иоанна в Коломенском, тем мучительней переносилась им затаянная уже неприкаянность, которая вырастала в безудержную на всех озлобленность: на вельмож, слуг, царицу, державу, наконец на святителей, не уmeshших, казалось, и службы-то как следует отслужить, как служат митрополиты в Москве (да ведь на то они и митрополиты!), и если бы не глобальный замысел перемен, занимавший воображение и душу, не исклечено, что мрачное состояние самодержца давно вылилось бы гневом на ближних и кто-то был бы уже обезглавлен, или корчился на дыбе, оговаривая себя и других, или насильственно пострижен в монахи, сослан, заточен, пущен под лед или посажен на кол, как любил еще иногда «разряжаться» Иоанн, прибегая к сей азиатчине (и чтобы жена, дети непременно взирали на мученическую смерть родного им человека), — да, да и еще раз да, вылилось

бы гневом на ближних, изломав судьбы, оборвав надежды и жизнь, окажись Иоанн хоть на час свободным от дум, то уносивших его в прошлое, в будущее, то возвращавших к действительности, в которой так недоставало ему того монолита, того единства, то есть того спущенного с небес (монашеского, добавлю, для всех) устава, которым бы раз и на все времена закреплялась над людьми незыблемость державной власти. Он думал об этом и днем, и ночью; и когда в гостиной являлся ему Сильвестр, и когда затем, перейдя в спальню, лежал на кровати, не смыкая ни при свече, ни в темноте глаз; и когда выходил к заутрене, обедне, садился за трапезный стол или заглядывал к царице, чтобы найти успокоение; но успокоения не было, спущенное с поводов воображение, как тот самый конь под царской кумачовой попоной, что просился в намет, — воображение ставило вопросы, заставляло искать ответы, являло жизнь минувшую и грядущую, сталкивая страсти, перемешивая краски и тасуя события с ловкостью игрока, взявшего в руки затасканную уже, с краплеными (на выигрыш) картами колоду.

Но кто из придворных коломенских обитателей мог проникнуть в душу Иоанна, постичь тайну тайн его мучительных переживаний, цель и смысл которых, определившись в чертах общих, не были еще в деталях ясны самому самодержцу, да и кому вообще из холопов, пусть и вельможных, приходят или могут приходиться подобные, равные царским мысли, которые (согласимся ли, не согласимся ли), как плоть от плоти, передаются венчосцам от древа власти, как гены жизни или выживания, помеченные бездушной, бескомпромиссной, смертной схваткой за трон? О правителях, как о покойниках, не принято в народе говорить плохо; обычная вера в справедливость в сознании простого человека переносится на правителя, и хотим ли мы или не хотим признать, но как раз этой извечной людской добротой, этой несбыточной в сути своей надеждой, от которой вроде бы и сносней, и теплей становится жить и переносить тяготы, — этой-то добротой, познав ее естественную неисчерпаемость, столетиями манипулировали и манипулируют во дворцах, как агнцев, обманывая и каждый раз с большей основательностью закабалая народ (разумеется, не исключая и наше время и несмотря на возросшую будто бы просвещенность и цивилизованность). Но, как уже отмечалось, история, к великому сожалению, еще ничему не научила люд; знания знаниями, а в обыденности человек всегда остается столь же прост и доверчив, полагаясь на изначальность и верховенство добра и справедливости, как, наверное, века и тысячелетия назад, и, может быть, на этом не во всем, видимо, беспорном основании я и позволю себе сделать относительно Иоанна и его окружения в Коломенском некоторые обобщения. Если все более или менее одинаково старались услужить Иоанну — вельможи, святители, просто холопы, — то не все, надо полагать, одинаково хорошо думали о нем; одни — от боязни подвергнуться гневу, другие — от ревности, что возвысил не их, а противников, третьи — за некое скряжничество, какое замечали за самодержцем, четвертые — лишь оттого, что недовольны были этой невесть за чем и для чего затеянной поездкой в зиму, доставлявшей им теперь, здесь, в Коломенском, массу непредвиденных (по многолюдству) неудобств, пятые, шестые, седьмые — каждый хоть что-либо находил для себя неприемлемое, стеснительное, но вместе с тем над всеми словно бы витала одна поглощавшая всех мысль, что царь Иоанн, как только покинул Москву, вроде бы поостыл от гнева, притих, отдался Богу и обстоятельствам и что — словно бы повеяло от него той благочестивостью, той, так сказать, домашностью, которая в сознании бояр, князей, духовенства, народа связывалась с именем царицы Анастасии, ее добросердием и основательностью. Иоанновы угрюмость, мрачность, замкнутость, тяга его к уединению — все это, замечавшееся за ним, представляло перед всеми обманчиво обеленным, и мало того, что так думали о самом Иоанне, но начинали думать и о Марии, находя в ней перемены к лучшему, и даже отслужили молебен в честь ее духовного выздоровления. «Слава Богу! Господь все милостив!» — если не вслух, то хотя бы взглядами, встречаясь, выражали свое удовлетворение придворные. Правда, как исключение, находились и такие, кто не верил ни в душевное исцеление царицы, ни тем более самого Иоанна, и к таким в первую очередь относились либо те обычно скромные, державшиеся в тени третьестепен-

ные, как о них еще можно сказать, люди, коих немного бывает при Дворах, и они ведут летописные книги, или дневники, как это называется теперь, либо подобные Левкию, всегда готовые (со своим пониманием) на злорадство, особенно если предвидят или предугадывают беду относительно вельмож, народа, державы; чудовский архимандрит, какую уже ночь проводивший под дверью Иоанновой гостины и знавший, пожалуй, если не считать царицы, более чем кто-либо о душевном состоянии Иоанна, — чудовский архимандрит, в каком бы обществе теперь ни появлялся, смотрел на всех с той радостно-зловещей улыбкой, не сходявшей с его лица, которую можно было бы расшифровать, если бы не ряса и не святительский сан, коими раз и навсегда определилось к нему отношение, как злорадство по поводу предстоявших расправ. Он понимал Иоанна, хотя и боялся своего понимания; и в складывавшейся ситуации, как никогда прежде, видел ясную для себя возможность получить из царских уст благословение на Первосвятительский сан.

Мир един, материален, и трудно предположить, чтобы существовала еще какая-либо ипостась, в которой возможно было бы пребывание человека. Однако Иоанн, если бы в этом только и заключалось дело, коломенским житем своим вполне мог бы доказать, что жизнь, во-первых, не одна и, во-вторых, не всегда материальна, что есть мир реальный и есть вообразенный и что неизвестно еще, какой из них способен доставить человеку больше хлопот. Суть не в материальности или нематериальности; и то, и другое сопряжено со страстями, с мыслями и чувствами, изменяющимися в конце концов материальный лик мира, и в этом плане, может быть, существует и в самом деле единство, подчиненное некой не известной нам высшей цели; но — что было Иоанну до этих философских формул, его звала своя цель, и, чтобы достичь ее в реальном мире, то есть в действительности, надо было пройти через испытание прошлым, и, проходя теперь через это испытание, он настолько был весь поглощен им, что все окружавшее его — люди, вещи — воспринималось лишь как та домашняя недвижимость, которая, смотря по настроению, то представляется удобной, уютной, радующей глаз, то вызывает желание поскорее освободиться от нее. В церкви, когда Иоанн выходил к заутрене и когда блеском свечей, окладов, риз на иконостасе и святительских облачений приглушались его ночные кошмары, он недолго оставался в этом реальном мире; вместо общения с Богом, что разумелось, если отдаваться молитве, через минуту-другую вновь уже был в плену своих постоянных теперь дум, и на лице застывала отчужденность, которая и производила на всех обманчиво-благостное впечатление. Почти то же происходило и за трапезным столом, за которым сживало обычно до двух, трех десятков вельмож, не считая любимцев, привносивших своей молодостью и беспечностью в общую торжественность обеда некую забубенность; разумеется, не обошлось и тут без чудовского архимандрита Левкия, начавшего уже распространять о себе слух как о царском духовнике, хотя Иоанн не объявлял и не собирался объявлять этого; он и на Левкия смотрел, как на предмет обихода, видя и не видя его обеспокоенное личико, как не видел и всех иных, занятых либо разговором, либо едой, которую блюдо за блюдом подавали здесь куда с большей будто бы щедростью, чем за подобным царским обедом в Москве. Иоанн же, любивший выпить и хорошо поесть, казался равнодушным, безучастным; иногда он вдруг посреди обеда в задумчивости вставал из-за стола и покидал трапезную, иногда, напротив, засиживался, хотя пора было уходить, и все в ожидании смотрели на него, не смея нарушить его умиротворенности; да, именно так и воспринималось и, возможно, продолжало бы восприниматься это, если бы не те физические перемены — бледность, худоба, — которые с каждым новым днем все резче проявлялись на державном лице царя.

СIX

Иоанн как будто старел на глазах. Но сам он не замечал этого. На голове еще черной шапкой держались волосы, начавшие, однако, кое-где уже выпадать клочьями, и черная борода еще густо обрамляла лицо, величественное теперь не довольством и сытостью, не спокойствием, с каким венценосцы обычно взирают на подвластный им мир, а, напротив, той сменой

страстей, желаний и мыслей, той, если хотите, одержимостью в поисках своей и для себя истины, какой как раз и наполнено было его коломенское бытие; и хотя затягивавшаяся оттепель и раздражала Иоанна, но все складывалось так, словно природа давала ему шанс на обдумывание и он должен был решить: либо войти в историю государем справедливым, добрым, великим, либо крутым на расправу самодержцем, грозным, безжалостным и жестоким, способным кровью залить державу; да, природа давала шанс, и, выбирая доброту и справедливость, как он понимал это, вернее, как диктовалось выживанием древа власти, Иоанн выбрал в итоге расправы и казнь, потому что стезя правителей predetermined, они не делятся на плохих и хороших и распределяются в исторической иерархии по степени разоренных ими народов, чужих ли, своих ли, что для нашей страны имеет особый смысл, по количеству захваченных и розданных вельможам богатств и земель да величественности дворцов, символов могущества власти, возведенных на средства обобранных (опять же своих ли, чужих ли) народов. Историки констатируют, что характер Иоанна складывался как раз в те годы, когда из-за его малолетства страной управляли бояре. Период этот так и назван боярским правлением. Именно они, бояре, дескать, преподнесли ему тот кровавый урок борьбы за влияние и власть, который был затем сполна усвоен Иоанном, и что, дескать, получи будущий самодержец иное воспитание, то есть иной пример, народ и держава не испытали бы всех тех страшных потрясений, от которых, как показывает жизнь, мы до сих пор не можем оправиться. Но ведь и боярам кто-то преподносил урок, и те, что преподносили боярам, тоже усвоили от кого-то, а те, дальние, еще от кого-то, и — к каким же корням ведет сия связующая цепочка, сия наука зверствования людей над людьми, дошедшая в неизменности и до нас и готовая в какой уже раз только за нынешнее столетие обогреть кровью русскую землю? Я денно и ночью задаю себе этот вопрос, будто ответом на него и в самом деле можно решить проблемы страдающего человечества; и хотя, в сущности, ответ есть и он прост, как проста жизнь, которая — либо она есть, либо ее нет, но, как и всем, мне страшно признать его, настолько в оголенности своей он обезоруживающе грозен и неумолим. Он отбирает надежду, тогда как люди не могут, не видя просвета, идти вперед; признать — значит заслонить просвет и отобрать надежду, не признать — народам не выбраться из нищеты и закабаления. Ученые утверждают, что в природе происходит круговорот материи; в представлении же простых людей — одни поедают других, тем и жива природа, и сей изначальный инстинкт поедания и выживания, как и во всем сущем на земле, заложен и в человеке, и, как показывает история, он невытравим и повторяем до бесконечности в мелком ли воровстве, разбойных ли нападениях или дворцовых переворотах, и ни религии, ни культуре, ни всем иным идеологическим наслоениям не удалось за века ничего изменить в сей страшной изначальности. Я не хочу верить в это, гоню разрушительную мысль, но — истину не прогонишь; минули столетия со времен великокняжеских, времен Иоанна, а что, давайте спросим себя, изменилось в том отгороженном от народа, от России кремлевском пространстве, где временщики, те же бояре, только бритобородые и поименованные иначе, столь же алчно суетятся у властных кормил, столь же, как и в малолетство Иоанна, смертно бьются за должности, дающие привилегии, интригуют, доносят, организуют, имея уже власть (и достаточно уже пограбив народ), заговоры, перевороты, путчи; они огораживают себя войсками, как будто мало им высоких кремлевских стен, и — кто же, какие бояре преподнесли им урок, какую (и, главное, с чьей подачи и для чего?) школу прошли они, — комсомола, профсоюзов, компартии или Советов? — чтобы столь в деталях повторилась, вернее, повторялась история? Есть вопросы, нет ответов; и потому, видимо, нет, что сильный и слабый — это одна ситуация, то есть сильный правитель и слабый, непросвещенный, задавленный нищенским бытом народ, а сильный, и сильный — это другая, когда уравниваются чаши весов — народа и власти — и в силу вступает не страх перед государем-самодержцем, не перед его вседозволенностью, а смирение перед законом. Как же все просто, Боже (на словах, разумеется, только на словах!), и, кажется, стоит лишь усвоить истину и следовать ей; но есть тысячи средств, чтобы истина сия не дошла до народа и не была усвоена им, и средства эти, припудренные обещаниями то рая

вечного, то в будущем, неизменно производят свое воздействие на народ. И тут вольно или невольно приходит на ум то в какой-то мере даже мистическое предположение, что цитадель нашей государственности, заложенная Иваном III, — Кремль с его дворцами, соборами и всеми другими атрибутами власти, — за минувшие столетия настолько пропитался самодержавным духом, настолько все уголки его заполнились биотоками царских или, скажем, царствовавших натур вкупе с развратным их окружением, что каждый новый властитель, будь то генсек, президент, премьер, и с какими бы намерениями ни являлся он под сии стены, невольно подвергается сей дьявольской обработке, и, чтобы разрубить непрерывающуюся цепь, нужно не день, не два, а десятилетие, может быть, денно и нощно святой водой и молитвой очистительно обрабатывать его. Но вернемся, однако, к малолетнему Государю и боярскому при нем правлению.

СХ

Боярское правление, если кратко и обобщенно сказать о нем, представляет собой, в сущности, борьбу двух могущественных по тем временам княжеских семейств, или кланов, с которыми именно по их могуществу вынуждены были считаться и Иван III, и Василий III, — клана Бельских (Гединовичей), выходцев из Литвы, но давно и прочно обосновавшихся на московской земле, и клана Шуйских, прямых потомков князей суздальских, изгнанных, как значится в летописных источниках, еще сыном Дмитрия Донского со своих наследных земель; и если у Бельских вроде бы не было причин для недовольства на московских Государей, а, напротив, представители этого семейства стремились, и не безуспешно, как свидетельствует история, породниться с великокняжеским Домом (глава клана Федор Бельский сумел жениться на княжне рязанской, родной племяннице Ивана III), то у Шуйских, лишившихся вотчин и примкнувших к Новгороду (они избирались там воеводами, и последним из воевод, пытавшимся защитить новгородскую волюницу, был князь Шуйский-Гребенка), имелись более чем веские основания для затаенной, исторической, сказать точнее, ненависти к своим московским притеснителям, и если и служили Великим Князьям и Государям всея Руси, то лишь из необходимости, потому что некому и негде было еще служить им. По осознанию ли своих корней, по смелости и воинственности (по крайней мере воеводами они были отличными и немало способствовали упрочению державной воинской славы) князья Шуйские, начиная от боярина князя Василия Васильевича, провозгласившего себя равным в значимости с Государем, действовали при Дворе открыто и с присущей им ратной прямоотой усиливали свой клан; Бельские же, защищенные будто бы родством с Государем и полагавшиеся на это родство, внешне, казалось, ничего не предпринимали, хотя и не дремали, как затем показало время, а, как и Шуйские, только скрытно, с расчетом на неожиданность старались укрепить свое влияние и власть. Они решили действовать через малолетнего и не разбиравшегося еще ни в чем Государя, то есть тем изощренным коварством, с каким обычно наносится удар в спину (да и в тот момент, когда этого удара противник не ожидает), и во главе этого первого к заговору шага, оттеснив нерешительного и трусоватого старшего брата Дмитрия, встал только что освобожденный из заточения князь Иван Федорович Бельский. Придворная изощренность должна была столкнуться с прямоотой кавалерийского рубаки, и в этой схватке, как и во всякой иной при дележе власти, было очевидно, что не обойдется без пролития крови; в дворцовых палатах за кремлевскими стенами, где не остыли еще страсти четырехлетнего Елениного правления, начинался новый, а вернее, очередной виток смертных за власть схваток, и — что сулило это народу (разве лишь ужесточение кабалой и разорительными поборами?), какими потрясениями должно было обернуться для малолетнего Государя (исследователи для самоуспокоения говорят, что у него открывались глаза на алчность и жестокость мира), было еще неясно, скрыто за шторой торжествующих пиров, на которых многочисленный род Шуйских, гордившийся расправой над временщиком и правительницей из чужеземного и ненавистного всем рода, предвкушал уже свое великое возрождение. Но, с одной стороны, эти победные пиры, а с другой — тайная озабоченность и созревание тех самых интриг, того коварства, а еще вернее, удара, какой

Бельские и их сторонники готовились нанести воинственным потомкам суздальских князей. В палатах боярина князя Ивана Федоровича Бельского сходились по ночам его братья: старший Дмитрий и младший Семен, кстати, тоже, как и Иван, имевший характер дерзкий, строптивый (именно он сразу же после кончины Василия III начал добиваться для себя, правда безуспешно, Рязанского княжества); непременно участниками этого тайного сговора были князь Михаил Тучков, митрополит Даниил и дьяк Федор Мишурин. Дьяк этот, игравший почти государственную роль при Василии III и явно и тайно всегда действовавший против Шуйских, — дьяк Мишурин, словно архимандрит Левкий в позднейшей уже с своей компании, был, в сущности, душой, мотором, говоря по-современному, заговора. Он торопил и Бельских, и Тучкова, и Даниила, пока, дескать, еще не опомнились, еще пируют пресловутые суздальские претенденты, и в один из теплых майских дней, ведомая как будто бы князем Иваном Бельским, но, в действительности, дьяком Мишуриным компания заговорщиков направилась во дворец к малолетнему Государю.

Они застали его в саду. Мамка (из Шуйских), следившая за ним, отошла попить чаю, что как раз и нужно было Бельским, Тучкову, Даниилу и Мишурину. Они пригласили Иоанна в беседку. Государь, только что беззаботно игравший и теперь недовольный тем, что его оторвали от его детских занятий, явился настороженным, пасмурным; после того, как на его глазах были схвачены и закованы в колоды Овчина-Телепнев-Оболенский и мамка Аграфена, он опасался бояр; но, увидев, что это были не те, что хватали близких ему Аграфену и Телепнева, не боярин князь Василий Васильевич Шуйский с детьми боярскими и ратниками, а другие, которые обычно, как это казалось ему, бывали с ним добрыми и ласковыми, увидев, главное, митрополита и дьяка, к которым, он знал, как относились отец и мать, принимая их и советуясь с ними, то есть которых он чаще других встречал во дворце и оттого имел к ним доверие, — увидев именно этих близких, как подсаживала тогдашняя осведомленность, людей, он кротко, по-детски мило улыбнулся им и, получив благословение от митрополита, через минуту уже сидел на коленях у Бельского и принимал почти родительские от него ласки. Бельский гладил его по головке, одновременно говоря, что для устройства державных дел надо бы князя Юрия Михайловича Голицина (Патрикеева) пожаловать боярством, а Ивана Хабарова возвести в окольничьи; для малолетнего Иоанна просьба сия казалась сущим пустяком, тем более что исходила еще и от митрополита, тогда как сторона Бельских получала очень важное для себя подкрепление. Иоанн, улыбаясь, дал государеву согласие и, спрыгнув с колен, умчался к своим забавам, удовлетворенные просители покинули беседку, и, когда явилась Иоаннова мамка, никого из них ни в саду, ни во дворце уже не было.

Воля государева, как известно, есть воля непрекословная. И хотя первым порывом боярина князя Василия Васильевича Шуйского, когда он узнал о государевых пожалованиях, было пойти к Государю и объясниться с ним, но что проку толковать с несмышленищем, да и в Государе ли дело? Суть в другом: Бельские дерзнули бросить вызов боярину из старшего рода, по значимости сравнивавшемуся с Государем, и должны нести ответ за сию свою дерзость. Герой Смоленска, словно бы вспомнив о своей ратной молодости, велел достать прежние воинские доспехи и, облачившись в них, грозным воеводой (но с добавлением государевой «значимости») вышел во двор к собравшимся там детям боярским и ратникам. Он не хотел медлить; обдумывать, заводить разговоры было не в его правилах; тут же, в ночь, он приказал своею, то есть Государевой, как надо было полагать, волей Андрею Шуйскому с детьми боярскими схватить главного заговорщика князя Ивана Бельского и отправить в ту же темницу, из которой не прошло и полугода, как он был освобожден, советников же сего злодея тоже похватать и разослать по отдаленным глухим деревням, а что касалось дьяка Мишурина, как самого зловредного, чтобы не ускользнул паче чего, князь Василий Васильевич брал на себя. Меры представлялись решительными, во всяком случае, так казалось всем. Нетронутым оставался лишь один из заговорщиков — митрополит Даниил. Трудно сказать, что подтолкнуло бывшего Смоленского воеводу на такую снисходительность; боязнь ли, нежелание ли тягаться с церковниками (ведь чтобы лишить Даниила сана Первосвященителя, пришлось бы созывать архиепископов, епископов и архимандритов)

или убежденность в том, что митрополит неповинен или почти неповинен (что, разумеется, весьма и весьма сомнительно), но только когда Андрей Шуйский, успевший, однако, тоже получить боярство, осмелился было усомниться в подобной снисходительности к митрополиту Даниилу («Служито Богу, да прислуживает дьяволу», — резко заметил он), — главный по старшинству, хорошо, видимо, понимавший, что все, что ни произойдет теперь, ляжет на него, решительно отклонил возражение, затем сел на коня и до утра уже не слезал с него.

Ночь та выдалась в Москве теплой, темной, луна не восходила, звезд на небе не было видно, их заслоняли тучи, набрякшие весенним дождем; зарождаясь где-то за китайгородской стеной, они ползли над Кремлем, напарываясь подбрюшьями на кресты куполов и башен, и вся эта предгрозовая атмосфера ночи казалась настораживающей, словно приготовленной, как тьма для татей, для коварных, жестоких дел. Но ни Василию, ни Андрею Шуйским, ни детям боярским и ратникам, воинственно галдевшим во дворе, замышленное не представлялось несправедливым или незаконным; поименованный равным с Государем боярин князь Василий Шуйский, вновь как бы ощутивший себя в осажденном Смоленске, и в самом деле казался Государем, сытый, лоснившийся крупом конь играл под ним, перебирала ногами, просил повод, и в свете зажженных факелов картина предвела еще более величественной. Так же, как настроение паническое, возникнув у одного бойца, у другого, с быстротой молнии передается войску и войско бежит с поля сражения, бросая все, давя друг друга и погибая больше от этой давки и неразберихи, чем от вражеских стрел, мечей, пуль, так же распространяется и шапкозакладательский дух, особенно если он исходит от полководца. Шуйские чувствовали за собой силу, самонадеянность их была подкреплена тогдашнею расстановкою сил при Дворе, они не только верили в свой успех, но даже в мыслях ни секунды не колебались в нем, как, впрочем, и в правоте и дозволенности затеянного; разбившись на отряды, они с зажженными факелами в руках ринулись по московским улицам к наменным подворьям и обложили их; у ворот и у входа во дворец Бельских возникла сеча, многие пали с той и другой стороны, иных хватили, били, волокли со двора, князя Бельского застали в спальне, он попытался было отбиться, но потом бросил меч, его заковали и отправили на подворье Шуйских, а дом и кладовые нещадно разграбили; «многие богатства», как замечают летописцы того времени, были унесены детьми боярскими и ратниками, и клан Шуйских значительно прибавил в богатстве и могуществе. Подобное же происходило и в доме князя Тучкова, да и в домах других соучастников, что помельче, а дьяка Мишурина изловили уже за Яузой; полураздетого, с потеками крови на теле, его привезли на подворье, когда начало светать и когда Бельского, погруженного на подводу, под усиленной охраной уже вывозили из Москвы.

СХІ

Иоанн стоял на заутрене, митрополит Даниил вел службу. Надо сказать, в великокняжеском дворце никому не дано было нарушать раз и навсегда положенный распорядок жизни. Чуть свет обычно вся великокняжеская семья выходила к заутрене, так было и при деде Иоанна, и при отце, и при Елене; трехлетнего Великого Князя и Государя всея Руси Иоанна, правда, тогда, при матери, еще щадили, и мамка Аграфена, боярыня Челяднина, стеной вставала за своего воспитанника; но теперь, когда Иоанну шел уже восьмой год, и ни матери, ни боярыни Челядниной рядом не было, и некому было подать за него голос, к нему относились (но только лишь в этом плане пока) как к царствующему венценосцу, будили чуть свет и уводили в церковь, где он, стоя у алтаря на великокняжеском месте и в царском, разумеется, одеянии, должен был часами повторять молитвы, креститься и слушать тяжелый, хотя и мелодичный будто, напевный голос митрополита. С заутрени шли на завтрак, потом разрешался короткий сон, после которого опять благодарения Господу, второй завтрак, и, смотря по обстоятельствам, либо вели Иоанна в тронный зал для решения державных дел, где он еще больше тяготился и скучал, чем в церкви, либо отпускали для развлечений и игр, что с верховенством Шуйских сделалось почти нормой, но и таило в себе, для Шуйских, разумеется, определенную, скры-

тую до времени опасность. Ведь восприятие обид всегда адекватно восприятию мира, и болезненность Иоанна к оскорблениям мелочным, за которые, впрочем, он затем отплатил круто, полной мерой, вовсе не связана с какой-либо особенностью его натуры; как и всякий подросток, он запоминал и накапливал в себе лишь то, что ущемляло его детско-юношеский интерес жизни, и недоспать, недоесть или недоиграть ставилось им куда выше любых государственных дел, в кои он пока еще по возрасту своему не хотел и не мог вникать. Все это говорит лишь о том, что будущий самодержец России рос вполне нормальным ребенком, пробуждался и вставал с постели с неохотой и с еще большей неохотой шел в церковь; бывали даже случаи, когда во время службы сон настолько одолевал его, что святители, бывшие рядом, едва успевали подхватить его, чтобы он не упал; детская чернокудрая головка его клонилась на грудь, и уже ни огоньки свечей, ни переливчатый отблеск окладов и риз в свете этих огоньков, ни взлетающий под купол голос служителя — ничто не воспринималось по отдельности, а, слившись вместе, как некая умиротворяющая, что ли, благодатная музыка ватно окутывала и взгляд, и душу и словно бы опускала куда-то в уютное и теплое небытие.

В таком состоянии Иоанн пребывал и в это утро, стоя у алтаря и слушая митрополита. Время от времени он то проваливался в то самое уютное и теплое небытие, убаюканный видом горевших свечей, блеском икон и голосом митрополита, то вдруг, словно вынырнув из глубины ватного блаженства, открывал глаза, чтобы через мгновение опять погрузиться в небытие; ему казалось, что все на заутрене было так же, как и вчера, и третьего дня, и неделю и две назад; и разве что сильнее откуда-то тянуло сыростью, то ли от пола, то ли от стен, еще не успевших просохнуть и отогреться после зимы, и только чуть дольше обычного длилась служба, как будто то ли недомогал митрополит, то ли введено было им же и по своему усмотрению какое-то усложнявшее ритуал новшество. Хотя все при Дворе уже знали о дерзкой ночной вылазке Шуйских, что схвачен ими князь Иван Бельский и схвачены Тучков и Мишурун, и более чем осведомленный в подробностях митрополит Даниил не столько вел службу, сколько каждую минуту ожидал, что вот-вот люди Шуйских ворвутся в церковь и схватят его (вся надежда была только на малолетнего Государя, дескать, при нем не посмеют самовольничать, и что Государь в конце концов на то и Государь, чтобы держать справедливость), — Иоанн оставался в полном неведении; бывший смоленский воевода боярин князь Василий Васильевич Шуйский, повелев не тревожить державного отрока (на том будто основании, что, во-первых, не поймет и, во-вторых, мал еще до подобных государственных дел), опыаненно довершал на своем подворье начатое ночью дело. Бельский был уже отправлен к месту своего заключения; отправлены и Тучков, и другие его ранга соучастники, и только не был еще решен вопрос с дьяком Мишуриным. Боярин князь Василий Васильевич Шуйский, помня злобредность дьяка еще в бытность Государя Василия III, отца Иоанна, не хотел так просто расставаться с сим страшным, как думал о дьяке, человеком. Полураздетого, растянутого на веревках, словно разъяренного быка, хотя дьяк едва держался на ногах, его поставили в центре двора; с одной стороны, со стороны ворот, полукольцом окружив его, выстроились дети боярские и ратники, а с другой, со стороны крыльца, на вспененном коне и в доспехах победно гарцевал боярин князь Шуйский; он то не в силах будто справиться с конем наезжал на дьяка, то разворачивался и уже конским задом под смех и рогот теснил его; затем, натешившись таким образом, напустил на Мишурина ратников, и те принялись бить его нещадно кулаками, ногами, палками, а когда дьяк, как мешок с овсом, рухнул на землю, раздели донага, облили водой и через весь город повели к тюрьме. Было уже светло, в церквях по Москве и в Кремле люди уже отстояли заутреню, малолетнего Государя повели на завтрак, Даниил же в парадном облачении еще не покидал церкви, каждую минуту оглядываясь на дверь и ожидая непоправимого, поднятые им монахи (из Чудова, конечно же, монастыря, как и всегда) попеременно доносили о том, что творилось в городе и на подворье Шуйских, а боярин князь Василий Васильевич, упоенный успехом, как и в то памятное утро, когда отстоял для России Смоленск, ехал на коне впереди всей этой ужасающей, шумной процессии, окруженный верными ему боярами, детьми боярскими и ратниками. Обыч-

но многолюдные — улицы Москвы были пусты перед ним, горожан, словно ветром, сдувало с них, и только из окон, через щели оград и из подворотен выглядывали их испуганные лица; люди, крестясь, вопрошали друг друга; не крымцы ли уж, не казанцы ли, не Литва ли с Польшею подступили к городу и обложили Кремль?

Возле тюремных ворот шествие остановилось. Дьяка Мишурина опять поставили в центре, держа на растянутых веревках. Боярин князь Шуйский, словно ему не хотелось или жаль было расставаться с жертвой, над которой не сполна еще, как полагал, наверное, успел натешиться и поизмываться, — боярин князь Шуйский, подогреваемый смоленским своим молодечеством, о котором не раз за эту ночь и утро бояре и дети боярские напоминали ему, опять под гогот и крики воинствующей толпы то наезжал на несчастного дьяка, тесня его лошадиной грудью, грозясь опрокинуть и затоптать, то, разворачиваясь, теснил конским задом, а затем, отъехав и преобразившись, даже привстав на стременах, как перед атакой, горланно взревел: «Плаху!» Он несколько раз повторил это слово, сурово с гарцующего под ним коня обводя взглядом ратников и детей боярских, и, как испокон и доныне ведется у нас на Руси, — те из первых рядов, на кого падал взгляд бывшего смоленского воеводы, а ныне уравниного по значимости с Государем первого боярина, ретиво кинулись исполнять приказание; плахи, разумеется, ни в тюремном дворе, ни где-либо поблизости не нашлось, как не было и материалов, из чего бы соорудить ее, и исполнители — прояви смекалку, умри, а выполни, как это поощряется и поныне и объявляется доблестью — бросились к первым оказавшимся на виду воротам, свалили их, доски и стойки приволокли на площадь, и вот уже вскинулись топоры, полетели щепки, и к свежеооруженной плахе, заламывая и без того связанные уже за спиной руки, потащили едва живого, обезумевшего дьяка. Шуйский слез с коня, подошел ближе, вглядываясь, как пульсировали набухшие кровяные жилы на шее обреченного, потом взмахнул рукой — и голое тело дьяка судорожно дернулось, голова отлетела, и кровь, хлынувшая будто из горла, окатила одежду князя. Шуйский брезгливо, ладонью, соскреб липкую красную жижу, затем поднял руки, призывая всех к торжеству, и воинственно опьяненная победой толпа детей боярских и ратников ответила дружным, ликующим кличем.

СХІІ

Затем участники сего страшного, беззаконного ночного дела направились к подворью Шуйских, где к середине дня уже буйно шумело пиршество. На задах, за сараями, забивали бычков, кололи кабанчиков, тут же горели костры под котлами, и расторопные, вспотевшие и раскрасневшиеся холопы едва успевали подносить гостям питье и еду. Даже когда начал было накрапывать теплый весенний дождь, разгулявшееся воинство, ожидавшее, видимо, обещанных подарков, долго еще не расходилось со двора. Сам же боярин князь Шуйский был в это время в великокняжеском дворце у малолетнего Государя. Он отправился в Кремль сразу же, как только на площади перед тюремными воротами все было покончено с дьяком (голое, окровавленное, обезображенное тело несчастного было выброшено собакам, а голова нанизана на крюк над воротами); ему не то чтобы надо было успокоить Государя, — нет, бывший герой Смоленска, а теперь герой московских ночных расправ был далек от каких-либо и с кем-либо объяснений; он полагал, что восстановил справедливость, то есть совершил то, что все, да, да, все, и я не удивляюсь подобному преувеличению, ожидали от него (а разве нынешние временщики не объявляют свои деяния требованием народа?), и только по холопской привычке докладывать о содеянном, по которой так ли, иначе ли всех нас тянет предстать начальством в минуты победных торжеств, — да, лишь по этой холопской привычке, от рожденья будто бы сидевшей в нем (несмотря на воинственность и на то, что был теперь уравнен в значимости с Государем), как раз и торопился предстать перед Иоанном.

Торжественно прошагав через анфиладу дверей, услужливо распахивавшихся перед ним, он ступил на ту половину дворца, где была детская и где после мамки Аграфены, боярыни Челядниной, и в тех же палатах хозяйничала ставленница Шуйских боярыня Евдокия, происходившая то-

же будто из знатного, но довольно захудалого рода и оттого дорожившая своим нынешним возвышением. Она не то чтобы ждала, но чувствовала, что кто-то из Шуйских непременно должен зайти если не к малолетнему Государю, то хотя бы к ней, чтобы удостовериться, что державному отроку не донесено превратно о заточении князей Бельского и Тучкова и о расправе над дьяком Мишуриным, что отрок не омрачен, не гневен (малолетство-то малолетством, но ведь — восьмой год!), что во дворце спокойно и что она, мамка боярыня Евдокия, твердо держит наказ; она чувствовала, что вот-вот кто-то должен явиться, и, едва послышались тяжелые, грузные шаги, по которым нетрудно было догадаться, кто приближался к детской, кинулась к двери. Она столкнулась с боярином князем Василием Васильевичем, когда тот уже переступил порог, и, торопливо оглянувшись на игравшего Иоанна, выражением лица, глаз, движением губ, то есть всем, чем только и передаются обычно сведения, когда их нельзя произнести вслух, дала понять скорому на расправы и гнев боярину, что малолетний Государь в неведении, что вообще во дворце тихо, спокойно и что высокочтимый ею князь Василий Васильевич и впредь может полагаться на ее верную службу. Шуйский кивнул головой, что понимает и принимает, и, делая на ходу знаки Иоанну, чтобы продолжал играть, прошел в глубину детской и грузно опустил свое уставшее тело в кресло; и с этой минуты и до той, когда боярин князь Шуйский покинул комнату, ничего, в сущности, не сказав Государю, а выразив только удивление, что держат его здесь, в затворе, что мамка боярыня Евдокия не вывела его в сад погулять в такое весеннее, майское утро (чем насмерть перепугал эту самую боярыню и заставил искать оправдание, что, дескать, ей показалось, будто на дворе хмаро, сыро и может пойти дождь), — до самого ухода Шуйского царил та напряженная тишина, в которой три человеческие судьбы, три совершенно разных мира, объединенных лишь местом и временем пребывания, определяли значение и цель своего земного бытия: мир временщика с его иллюзорной (в глубине души он, конечно, сознавал это) властью, детский (на переломе взросления) мир будущего самодержца, уже начавшего, хотя смутно и не до конца еще осознавать свое историческое наследное на державу право, и страшный, зависимый и заискивающий мир вельможной холопки, готовой и на унижение, и на ответный удар. В подобном раскладе, разумеется, нет ничего исторического; состояние души, что ж, его не рассмотришь на срез, когда не то чтобы души, но и тела тех горевших страстями людей давно обернулись прахом; и все же, если бы происходившее относилось только к тем трем лицам и не имело бы далеко идущих последствий, — это одно, но коль скоро отсюда, от этих пусть малых еще потрясений начинал складываться характер будущего беспредельного властелина России, сцена обретает, во-первых, оттенок примера или урока, дающего ключ ко многим зловещим явлениям нашей истории, и, во-вторых, некой роковой, что ли, обреченности, когда эгоистические интересы отдельных личностей, сталкиваясь, определяют судьбу миллионов, ввергая их в пучину несчастий и бед.

Боярин князь Шуйский, забыв, видимо, в радостной суете, что одежда и доспехи его обрызганы кровью дьяка и что следовало бы прежде переодеться, чем являться сюда, к Государю, — боярин князь Шуйский, как это и бывает с людьми, пытающимися скрыть беспокойство (как-никак, а последствия совершенного настораживали его), старался выглядеть самоуверенным и, переигрывая в этом своем старании, как раз и допускал те неподвольительные в присутствии будущего самодержца и болезненно заминавшиеся им вольности, о которых, как уже отмечалось, Иоанн и написал в ответном послании Курбскому; мало того, что бывший смоленский воевода полулежал теперь в кресле, словно был не в великокняжеском дворце, а у себя дома, где можно было расслабиться и отдохнуть, но и позволил положить ногу на царскую постель, примяв шитое золотой ниткой покрывало, так что и мамка боярыня Евдокия, смотревшая то на кровавое пятно, то на вытянутую поверх покрывала ногу и не смевшая ничего сказать, и Иоанн, всегда теперь испуганно собиравшийся в комок при появлении сего развязно-громогласного боярина и тоже смотревший и на пятно, и на ногу, словно онемев, как обреченные, ждали дальнейших от него действий. Но Шуйский не замечал этих испуганных лиц, ему было не до них; в душе его шла борьба между привычкой холопства, словно бы

(как, впрочем, и у всякого человека) врожденной в нем, и желанием свободы и вседозволенности, то есть осознанием власти, которой только что, казалось, насладился сполна, и задавался вопросом, к чему склониться, к холопству или свободе и власти, единственно будто бы позволяющим познать достоинство бытия; холопство (да что ж это за холопство в боярском-то звании?), он понимал, предполагало, если сказать обобщенно, жизнь ровную, спокойную, благополучную в делах семьи и в делах службы, когда богатство и слава, прирастая малыми долями, лишь к концу жизни достигают неких означенных высот, тогда как обладание свободой и властью способно принести плоды мгновенные и в любых желаемых (по крайней мере, так кажется) размерах; он понимал также, что стезя холопства, чтобы двигаться по ней, не требует усилий, а надо лишь вовремя унизиться и подчиниться, в то время как власть, вернее, обладание ею — дело зыбкое, требующее постоянных подкреплений, и, убрав князя Бельского и дьяка Мишурина, надо было теперь убирать и этого несмышленища Государя, дабы избежать опасений. Мысль эта, и прежде приходившая беспокойному боярину, теперь, минутами, настолько неотступно овладевала им, что он, чтобы не накинуться на исподлобья смотревшего на него Иоанна и не навредить бед, опустил голову и усиленно ладонью тер лоб, чтобы отогнать от себя сие страшное искушение. Временами бородатое лицо его вдруг оскаливалось какою-то будто зловещей улыбкой, он встряхивал головой и, произнося что-то невнятное, наподобие «а-а, трын трава» или «где наша не пропадала», рубил ладонью воздух, чтобы через минуту, словно бы спохватившись, вновь начать ею растирать лоб. Смотревшая на него со скрещенными на груди руками боярыня Евдокия, казалось, вполне понимала его, и первым и невольным порывом ее было — броситься к Иоанну и защитить его; и она, не раздумывая, сделала бы это, несмотря на только что высказанное боярину заверение, что готова служить ему, и ожидала лишь, чтобы он хоть чем-либо (и открыто, разумеется) проявил свое намерение; но он не проявлял, и Евдокия оставалась у двери — на той грани душевного напряжения, которое, как струна, натянутая до предела, разорвавшись, могла бы наделать не меньше бед, чем неумное боярское властолюбие. В конце концов именно у нее первой не выдержали нервы, и она, подойдя к Иоанну, спиной заслонила его. В ней, видимо, верх одержала обычная женская дальновидность, ясно подсказавшая ей, что ложно, временно и непрочно и что законно и долговечно, и на основе этого инстинктивного вывода готова была стеной встать за своего державного воспитанника. Никто ничего не говорил, слова не произносились; через них оголились бы намерения, тайное сделалось явным и невозможным; но боярин князь Шуйский продолжал, словно это доставляло ему наслаждение, искушать и себя, и других и вскидывал прищуренный взгляд то на боярыню Евдокию, то на малолетнего Государя, вернее, его головку, высунувшуюся из-за ее спины.

СХІІІ

Нет прошлого, которое с годами не обрастало бы в сознании человека новыми, иногда совершенно неожиданными подробностями. Иоанн, вспоминая, старался быть правдивым хотя бы перед собой; но несмотря на это старание и вроде бы даже вопреки ему давнее, реальное, и теперешнее, воображенное и домысленное, виделись не иначе, как целостным состоянием жизни, и если что-либо прибавлялось к этому целостному, то не разрушало, а, напротив, лишь укрепляло его. К событию, когда боярин князь Шуйский, обрызганный кровью и не остывший еще от своих ночных громных дел, ввалился в детскую, Иоанн не то чтобы в разное время относился по-разному, — нет, он однозначно не мог простить Шуйским их разнузданной вседозволенности; но сама та немая утренняя сцена в палате, когда жизнь его, казалось, висела на волоске, — сама сцена та представляла перед ним как бы в трех измерениях: как все виделось и воспринималось тогда, в малолетстве, как виделось и воспринималось затем, когда писал Курбскому, чтобы обвинить бояр и оправдать свои мстительные меры по отношению к ним, и как увиделось уже здесь, в Коломенском, когда прошлое и пережитое подвергалось им пересмотру и оценкам. Испуганно выглядывая в то майское утро из-за спины мамки Евдокии, ма-

лолетний Иоанн чувствовал лишь стихийную, необузданную силу в Шуйском и свою перед ним беспомощность и, съеживаясь в комочек от этой своей беспомощности, прижимался к мамке Евдокии, надеясь защититься возле нее; ему было не до кровавых пятен на одежде боярина, и думал он вовсе не о смертельной опасности, нависшей над ним, а лишь боялся боли, какую, притянув к себе, чтобы приласкать, мог причинить самозванный (по выражению самого же Иоанна) радетель и опекун. Обида была, в сущности, детской, но, возведенная до державного почти оскорбления, она долгое время не давала покоя Иоанну. Он скапливал на Шуйских все, что только значилось или могло значиться за ними, приписывая им и прямое узурпаторство власти, — «воцарились», «сами стали царствовать», — и что тех, кто «более всех изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к себе», а «доброжелателей нашего отца и воевод перебили», и что, поселившись «на дворе нашего дяди», устраивали там сборища «подобно иудейскому сонмищу», а «бесчисленную казну деда нашего и отца нашего забрали себе и на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертили на них имена своих родителей, будто это их наследное достояние», и что затем, не насытившись этим, «нападали на города и села и подвергали жителей различным мучениям, без жалости грабили их имущество». Сколько здесь было воображенного и сколько действительного, и верил ли сам Иоанн во все это, когда диктовал ответное послание Курбскому, вряд ли кто может установить уже потому, что уверенность внешняя, то есть та убежденность, с какой он обычно подавал свои царские соображения, не всегда и не во всем соединялись с убеждениями душевными; он мучился этим несоответствием так же, как мучаются все люди, и только выход находил не в собственном очищении, а в очищении пространства вокруг себя от всех тех — бояр, князей, воевод, — которые, как это казалось ему, создавали для него неудобства жизни. Отношение к Шуйским хотя и являлось лишь малой частицей в общем его теперешнем гневе на всех и вся, то есть на державу, которую он решил наказать своим отъездом из Москвы, но — с этой-то малой частности как раз и начиналось все теперешнее его страшное состояние, и если бы даже не Сильвестр, видением являвшийся к нему по вечерам, и не его возбуждавшие память вопросы и упреки, что, дескать, руки-то с малолетства в крови, Иоанну все равно пришлось бы непременно искать новые и более веские обоснования для своих всеохватных, а не только по отношению к Шуйским, мстительных замыслов.

Но — у воспоминаний нет выбора; они тождественны или почти тождественны пережитому; и потому — как ни покажется нам теперь бессмысленным топтание Иоанна, то есть непрерывное возвращение к одним и тем же будто эпизодам жизни, в которых, как в чердачном хламе со свечою в руках человек иногда сутками роется и не находит того, что ищет; нет, искомое было у Иоанна в руках, и он вглядывался в пережитое только с одной целью, чтобы получить еще и еще доказательства правоты своим свершенным мстительным злодеяниям. Если верить биографам, то Иоанн только и делал, что обвинял бояр, что они будто бы покушались на его жизнь. Ведь за подобное преступление надлежало безоглядно казнить смертью, да и святителям не всегда с руки было вступить за обреченного. Другое дело — являлись ли обвинения правдивыми или составлялись, придумывались часто даже самим Иоанном или его окружением, но ему же в угоду; история по крайней мере отвечает на этот вопрос однозначно: Иоанн знал, на кого и для чего возводилась ложь, и потому провозглашал ее с легкостью; провозглашал и тут же забывал о провозглашенном; но в столкновении с Шуйским он видел теперь, что жизнь его и в самом деле держалась на волоске, и впервые — не тогда, а теперь, когда истина в полной мере, как полагал, открылась ему — ощутив не то чтобы близость смерти, но самое дыхание могилы, дыхание небытия, был настолько подавлен этим открытием, что не вышел ни к вечерней молитве в церковь, ни к ужину в трапезную; более того, даже не находил сил перейти из кабинета в гостиную, где было куда уютней, горел камин, зажжены были свечи и где поджидал уже, наверно, невеста откуда и как являвшийся туда иерей Сильвестр. Отсутствие Государя, как и должно, вызвало переполох, чудовский архимандрит Левкий неотлучно фланировал теперь у двери кабинета, за которой, словно притаившись, находился Иоанн; то поодиночке, то

группой к архимандриту вваливались Иоанновы любимцы, встревоженные недомоганием царя, Алексей Басманов, как старший, предложил даже отменить намеченное на этот вечер собутыльничество и велел послать за немцами-лекарями, все эти дни лечившими ослабевшую царицу. Иоанн, неподвижно смотревший перед собой в стену, холодно обернулся на них, как и на Басманова и на чудовского архимандрита, вошедших вместе с лекарями; занятый своими догадками и разбирательствами, он был настолько далек от действительности, что ни в самый момент явления врачей с Басмановым и архимандритом, ни позднее, когда немцы-лекари приступили к осмотру, не мог постичь значения происходившего; глаза его то наливались гневом, едва только, возникнув в очередной раз, боярин князь Шуйский в обрызганной кровью одежде входил в детскую (не повторялась, однако, сама та немая сцена, в которой все до конца теперь было ясно Иоанну, а жгла досада, что Шуйские не получили от него тех наказаний, каких заслуживали), то вдруг гнев угасал и на смену являлись испуг и беспомощность, и он, как и на Шуйского из-за спины мамки Евдокии, смотрел сейчас на лекарей и на Басманова с архимандритом, которые, в свою очередь, словно им по службе вменено было это, следили за действиями лекарей. Точно так же, не поняв всей значимости ее появления, оглянувшись Иоанн и на вошедшую к нему царицу, и продолжал затем бессмысленно будто смотреть на стену перед собой, в то время как Мария, опустившись возле него, гладила его лежавшую на подлокотнике кресла руку и порозовевшей щекой прижималась к ней.

Действия людей никогда не бывают беспричинными или неизъяснимыми; беспричинны и неизъяснимы они только для окружающих, которым открыта лишь внешняя сторона, то есть сам поступок, но неведомым и загадочным остается душевный мир, как это и было теперь с Иоанном, придворными и женой, пришедшими помочь ему. Движимый лишь видениями и страстным желанием бросить Сильвестру, что бывший духовник не прав в своих упреках, и что кровь не на государевых руках, а на руках и совести бояр, и что нечего изображать их праведниками и мучениками (перед глазами как довод стоял во весь рост боярин князь Василий Васильевич Шуйский), — движимый лишь этим порывом, как если бы, уличив в неправде иерея, Иоанн разом оправдывался перед всеми, он вдруг решительно поднялся и, расталкивая всех и не произнося ни слова, а только гневно глядя на дверь, устремился к ней. Он шел настолько уверенно, что ни о каком недомогании не могло быть и речи, и, когда немцы-лекари, Басманов и некоторые другие из Иоанновых любимцев, проникшие в кабинет, двинулись было за самодержцем, чудовский архимандрит, забежав вперед на правах будто бы царского духовника, остановил их; он дал понять, что нельзя было теперь тревожить царя, что недомогание его нравственное, что государева душа требует уединения, дабы пообщаться с Богом, и что он как духовник и как близкий и желанный Иоанну человек (Господи, ни хитрости, ни лукавству, даже святительскому, нет предела) побеспокоится об этом. Вместе с Басмановым и подоспевшим сюда братом царицы князем Черкасским он проводил Марию в ее покои и затем вернулся на свое привычное уже дежурство под дверью гостиной, возле которой на лавке — сколько же разных планов, великолепных, кощунственных и неосуществимых, было продумано им для своего возвышения.

SXIV

Видения — существа капризные; может быть, даже более капризные и своенравные, чем люди. Едва войдя в гостиную, Иоанн кинулся к креслу, в котором должен сидеть Сильвестр; но Сильвестра не было в нем. Взглядом безумца, желавшего что-то совершить, но не знавшего что, Иоанн принялся осматривать все вокруг. Но вокруг — все стояло и лежало на своих местах, горел камин, вздрагивали огоньки свечей, перебрасывались бликами рамы картин, оклады, ризы, золоченые на столе и стенах подсвечники, и в теплом, всегда располагавшем к спокойствию и отдыху красном свете гостиной, словно бы сгустившись в крутой, трогаящий душу замес, чувствовалась всегда радовавшее Иоанна прежде, как радовавшее (в воспоминаниях об Анастасии) и теперь царское семейное благополучие. Он смотрел, смотрел, переводя взгляд с предмета на предмет, и жесто-

чившаяся было душа его размягчалась, приходя в норму, да и сам он, будто из небытия, возвращался из прошлого, вернее, из воспоминаний в ту реальную действительность, в которой, однако (и каждый хорошо знает это), всегда неизмеримо больше проблем и волнений, чем в любом, с каким бы реализмом ни представлял он перед нами, воображенном мире. Иоанн вспомнил, как дважды в этот день докладывали ему о людях, прибывших будто бы от митрополита Афанасия из Москвы (один из этих людей посылался архимандритом Левкием и Малютой Скуратовым-Бельским; как и архимандрит к сану Первосвященителя, Малюта все основательней примеривался к роли доносителя и палача при Дворе), но Иоанн не захотел принять их; Москва не то чтобы не интересовала его, но надо же было выдержать свое так называемое отречение, и, чувствуя себя как бы в мышеловке, самим же поставленной на себя, и раздражаясь от этого неудобства, он вновь, как и во время разговора с чудовским настоятелем и Малютой, гневно сморщился, как если бы не он, а они были виноваты в этом неудобстве. «Так где же Сильвестр?» — вспомнив, для чего он пришел в гостиную, подумал Иоанн. Затем, постояв еще некоторое время, опустил в свое насиженное кресло перед камином, откуда хорошо было видно, как горели поленья, отдавая теплом лицо, грудь, ноги, и видно было то кресло напротив, в котором, как и в бытность Анастасии, каждый вечер теперь являясь сюда, сживал отвергнутый и желанный иерей; но кресло оставалось пустым, сколько ни всматривался в него Иоанн, и только когда после мягкого и глубокого забытья вдруг открыл глаза, — видение в образе Сильвестра, какую уже ночь сопровождавшее раздумья и поиски самодержца, вновь с ясностью предстало перед ним. Сильвестр пребывал в той минуте радости, в какой некогда преподносил Иоанну свой многолетний, «зело вымотавший душу» труд — «Домострой». Иерей был тогда еще достаточно молод, безвестен, хотя и служил уже в Благовещенском соборе Московского Кремля, считавшемся царской фамильной церковью, но не от тщеславного стремления выдвинуться, в чем некоторые современники упрекали его, а из одной лишь болезненной почти потребности обустроить на началах послушания и благочестия русскую жизнь сочинил он это свое творение и явился затем с ним к тоже молодому, только-только собравшемуся венчаться на царство Иоанну. Эпизод сей был такой давности и так переживался множеством других, куда более значительных (в том числе и событиями в Воробьеве, принесшими Сильвестру и возвышение, и гибель), что Иоанн не сразу вспомнил, где, когда и при каких обстоятельствах видел столь одухотворенное счастьем лицо иерея, а когда вспомнил, уже не желание укорить за неправду, что, дескать, «руки царские с малолетства обагрены кровью», а совсем иное чувство охватило Иоанна; ему захотелось разрушить и как можно скорее это счастливое состояние бывшего своего духовника (да кто и чему может радоваться, если царь мрачен?), и он решил напомнить зарвавшемуся иерею, что и на его руках кровь безвинных. «Других оберегал, отвращал, а сам? Отчего же сам-то не уберегся?» Словно игрок, получивший козырную карту, Иоанн весь торжествующе вспыхнул; несмотря на то, что во всех случаях жизни ему привычно было быть правым, а иногда и вовсе заканчивать спор казнью противника, — аргументированность, то есть победа умом, словом, доводами доставляла ему особое удовлетворение; именно такую победу, умом, доводами, и хотелось теперь одержать над Сильвестром, и он вновь и беззвучно, разумеется, как только и могут вестись подобные диалоги, повторил: «Сам-то, отчего же сам не уберегся?»

Сильвестр, как и следовало, видимо, удивленно пожал плечами; он тоже не сразу понял царя, и хотя радости заметно поубавилось в нем, но все же было еще достаточно, чтобы не возмутиться и не начать перепалку с самодержцем (наподобие «дурак, сам дурак», что только и слышишь ныне от политических лидеров и всяких иных деятелей); ведь зло не творится из намерений зла, потому и не запоминается как зло, а если кто и позволяет себе преступить что-то, то, конечно же, во имя добра, а не из злых убеждений; это или почти это было написано на недоумевавшем лице Сильвестра, он ждал от Иоанна пояснений, дескать, когда, где и в чем автор известного уже тогда всем «Домостроя», проповедовавший лишь покорство и благочестие, преступил первойшую христианскую заповедь и пролил кровь единоверца? На троне не сидел, власти не имел, всегда верил святой

Троице, жил по Божьим законам, а если и брал в чем грех на душу, то разве лишь, когда пытался удержать палачески заносившуюся над народом царскую руку. «Эко вывернулся, эко грех нашел», — молвил в ответ Иоанн, продолжая чувствовать превосходство над Сильвестром и не желая пока торопиться и открывать приготовленную козырную карту; садизм нравственный столь же, если не больше, иногда приносил удовлетворение Иоанну, как и садизм насилия, и как ни являлся иллюзорным сей теперешний разговор его с видением, а точнее, с самим собой, но поскольку, как и в реальности, был противник, сидевший напротив в кресле, и был сам Иоанн со своими страстями, желанием и властью, все обретало видимость правды и возбуждало мысли и интерес. С присущей ему живостью ума и восприимчивости Иоанн следил за Сильвестром, не желая упустить тех перемен, какие так ли, иначе ли должны были отразиться на его лице, и хотя вместо испуга стойко держалось лишь простодушное недоумение, но Иоанн по себе, своему опыту знал, что любая чаша, наполняясь, непременно прольется через край и что, пролившись, обожжет и тело, и душу; и хотя вряд ли даже себе мог бы объяснить, для чего надобен был ему этот ожог (дабы уравняться мучениями и таким образом обрести покой?), но нетерпение нарастало, и он даже приподнялся в кресле, чтобы не упустить ничего. «Ну же, ну», — подталкивал он к воспоминаниям Сильвестра. Но иерей все с тем же простодушным недоумением смотрел на Иоанна, и в самом деле не понимая, что требует от него царь; он привык к разговору прямому, открытому (хотя и говорят, что всяк человек себе на уме, даже распинающийся в искренности) и, продолжая держаться в этом свойственном для себя стиле, не то чтобы не хотел, но не мог уступить Иоанну.

«Так не тяни душу, скажи», — глазами, безмолвно просил он царя.

«Эко невдомек, а Башкин со товарищи?.. Сие кровавое дело не твоих ли рук еси?» — наконец, не выдержав, обронил Иоанн.

«Башкин? Со товарищи?» — переспросил Сильвестр. Он не стал возражать, не рассмеялся, как бывает с людьми, когда уличающий, они видят, уличает их совсем не в том, в чем можно бы; иерей и смолodu не принадлежал к тем, кому злорадство над ошибкой или оплошностью противника — хлеб насущный; ведь люди — из простых ли, из венценосцев ли — грешат не по своей воле, и христианский долг — направить их на путь истины, обратить взор их к Богу; потому-то иерей, следуя и теперь этой же заповеди, не кинулся с поспешностью опровергать самодержца, как этого ожидал Иоанн; вина, если она есть на ком, ее не смыть ни ответной горячностью, ни молчаливым неприятием или упреком, тайное рано или поздно всегда становится явным и возмездие настаивает, неумолимое и страшное; но должный, казалось бы, смириться и признать хотя бы часть вины за собой (согласно этим своим убеждениям), Сильвестр, однако, не собирался пока ничего опровергать и с простодушным недоумением, словно застывшим на его лице, продолжал смотреть на царя. Видение-то видением, но ведь Сильвестр предстал теперь перед царем в той поре, когда только еще преподносил будущему самодержцу свой знаменитый «Домострой» и до событий, в которых судьба столкнет его с боярским сыном, писателем Матвеем Семеновичем Башкиным «со товарищи», было еще далеко; еще надо было набраться придворной мудрости, получить звание государева духовника, и возвыситься деяниями до значения государственного мужа, и на пути сего жизненного восхождения преодолеть несчетно рывтин, оврагов, омутов, ям.

Но Иоанн был глух к этим соображениям Сильвестра. Жизнь иерей не делилась для него на периоды ранний и поздний; он воспринимал ее целостной, как и свою, и, не скидывая ничего на молодость (но ведь и видения, как уже говорилось, своенравны), настаивал на своем. «Не признаешь своих кровавых дел еси?» — совсем уже почти приподнявшись в кресле, продолжал наседать Иоанн.

CXV

Безгрешен ли человек вообще? Нет. И об этом известно с древности. Каждый хоть раз в жизни, но непременно совершает что-либо противное наивысшим канонам человечности. Сознательно ли; не сознательно ли — это другой вопрос, потому что все мы живем под властью убеждений своего

времени и совершаем деяния в согласии с ними, разумеется, полагая при этом, что убеждения, во-первых, наши собственные и, во-вторых, единственно верные. Так действовал Иоанн, так действовал Сильвестр; и по крайней мере сия житейская мудрость не представлялась Иоанну тайной, он признавал за собой грехи, кааялся в них, хотя и не без определенного лукавства, как в послании к монахам Кирилло-Белозерской обители. «А я, пес смердящий, — писал он инокам, — кого могу учить и чему наставлять и чем просвещать? Сам вечно в пьянстве, блуде, прелюбодеянии, скверне, убийствах, грабежах, хищениях и ненависти, во всяком злодействе, как говорит великий апостол Павел: «Ты уверен, что ты путеводитель слепым, свет для находящихся во тьме, наставник невеждам, учитель младенцам, имеющий в законе образец знания и истины: как же, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь; гнушаясь идолов, святотатствуешь; хвалишь законом, а нарушением его досаждаешь Богу?» Полагая так о себе, Иоанн, конечно же, не мог думать иначе об окружающих, в том числе и о Сильвестре, и, найдя теперь в чем уличить его, хотел увидеть, как съедаемый совестью иерей будет мучиться; и хотя исторический образ Сильвестра, дошедший до нас, светел, но все же Иоанн в своих суждениях был недалек от истины, а если и ошибался, то лишь во времени; автор знаменитого «Домостроя» уже сполна все пережил в келье Соловецкой обители, куда после заочного суда над ним и Адашевым (и с ведома, конечно же, и согласия Государя) был препровожден в оковах как преступник, убийца-тать, опасный для общества. Везли его на подводах, затем водой, затворенного в клетку, содержали впроголодь — кусочек хлеба да ковш воды, — а потом заточили в сырой, промозглой келье и держали под стражей, словно боясь, что опальный иерей вздумает чего ради бежать из обители. Но с Соловецкого острова, особенно в преддверии зимы, нельзя было никуда убежать; пуститься в какой-нибудь утлой лодчонке по холодному и беспокойному осеннему морю было безумием, да и здоровье, и годы не позволяли Сильвестру даже подумать об этом; падение с высот власти так надорвало его духовно, а бескормица и оковы надорвали физически, что если бы Иоанн теперь увидел своего бывшего духовника, то есть если бы Сильвестр в этом старческом своем обличье начал являться Иоанну в Коломенском, царь не просто бы не узнал его, но отшатнулся бы, как от чумного, или прокаженного, или по крайней мере зараженного какой-либо еще страшной, неизлечимой болезнью. Ничего телесного, казалось, в иерее уже не было, а торчали только усохшие косточки, обтянутые синевато тонкой пергаментной пленкой, и лишь глаза еще оставались живыми, и по не угасшим в них огонькам можно было понять, сколь сильно в сем человеке желание жизни и справедливости.

Не всем в истории удается достичь величия; даже когда величия достигает тот или иной народ, люди, составляющие его, все так же остаются безвестны, просты и смертны. Иерея Сильвестра по его деяниям можно было бы отнести к тем драматическим личностям истории, кои, являясь во всех столетиях, казалось бы, для утверждения на земле добра и справедливости, большей частью не только не достигают поставленных целей, но, напротив, лишь способствуют распространению после себя ожесточенности, насилия, зла. Достигая высот славы, то есть восходя как защитники народа до самых почти подножий тронов (приверженностью к старине служа одновременно этим именно тронам), они, как правило, заканчивают свои жизни либо в темницах, либо на плахах, пополняя таким образом ряды подобных мучеников за народ. Эта однозначность деяний их и общность судьбы, столь вроде бы очевидная на фоне любого, даже самого малого исторического среза, ничему, однако, не учит ни народы, из коих выдвигаются подобные личности, ни самих тех деятелей, часто умных, прозорливых, в какие-то минуты даже решительных, когда волею обстоятельств они вынуждены вступать на сию драматическую стезю. Сильвестр удерживал царя от бесправных расправ над боярами и народом — дело доброе и великое; казалось бы, только честь и хвала ему за этот нравственный подвиг; но вместе с тем и, может быть, даже ретивее многих иных святителей да и Государя стоял за неизбежность как церковных, так и светских догматов жизни, по которым народу отводилось лишь вечно оставаться безгласной, смиренной паствой, а власть имущим — столь же вечно восседать

на тронах, повелевать, миловать и казнить; особенно же он не терпел свободомыслия и относился к явлению этому как к ереси, за распространение которой следовало нещадно карать. Он полагал величайшей ошибкой тогдашних отцов церкви, что они не пресекли в самом зародыше деяний преподобного монаха-отшельника Нила Сорского, не урезонили карающей дланью ученика и последователя его инока Вассиана и уж вовсе снисходительно будто бы обошлись с единомышленником их Максимом Греком (хотя, если следовать правде, еще при Василии III были наложены многие запреты и на Вассиана, и на Максима Грека, но — не та мера, не та, как любил выражаться Сильвестр). Выступая на стороне так называемых церковников «осифлян», то есть святителей, стоявших за незыблемость любых церковных ли, светских ли порядков, Сильвестр не раз говорил об этом и с митрополитом Макарием, к тому времени получившим сан Первосвященника. (Получившим, стоит заметить, сразу же после того, как, будучи Новгородским архиепископом, преподнес Иоанну первую книгу своих не менее знаменитых, чем «Домострой», «Четьи-Миней».) Сильвестр напоминал Макарию, что хотя водяная капля и мала, но камень точит и что не подвергается ли и вера наша подобному разрушительному воздействию от вольнодумства и ереси? Он не преувеличивал, опасения и в самом деле были не случайными; вот как, например, известный историк прошлого столетия характеризует то время: «Они (то есть Нил и Вассиан) ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своею снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге».

Это-то как раз и настораживало, и пугало иерея; в только-только начавшем пробуждаться в народе свободомыслии он предугадывал ту огромной мощи разрушительную силу, которая, если в зародыше не подавить ее, может прокатиться такой по стране разорительной стихией, что и насильства татар в их трехсотлетнее почти иго над Русью покажутся шалостью некоего разгулявшегося будто бы восточного владыки; и тем страшнее представляла перед ним эта надвигавшаяся разрушительная сила, чем выше поднимался он по иерархическим ступеням к почестям, влиянию и власти (пусть не светской, пусть духовной, нравственной, но — разве не условно подобное разделение?); ему, достигшему положения царского духовника и успешному уже привыкнуть к определенным благам жизни, естественно, было что терять, и потому (как по пословице: своя рубашка ближе к телу) он не мог допустить, чтобы разрушился установившийся порядок жизни, вернее, чтобы вдруг, в одночасье, все достигнутое им превратилось в ничто; народ народом, и всякое замолвленное слово за него уже само по себе великое дело; Господь страдал за народ и велел страдать нам, но тем лишь способом, как понимали да и ныне, видимо, понимают рядящиеся в пастыри деятели, когда после очередного подобного в молитвах страдания, отдавши, говоря иначе, долг и очистившись таким образом, можно вновь со спокойной совестью возвращаться к своему земному благоденствию. Сильвестр не был исключением, он принял сии условия жизни и, более того, держался за них; и хотя принадлежность его к «избранной раде» должна бы как будто сказать нам, сколь иерей был высок деяниями и духом, но — десятилетие спокойной жизни в Государстве, после которого, как взрыв, начинают вершиться расправы и казни, вряд ли может служить аргументом, будто политика, проводившаяся «радой», была единственно правильной, мудрой; «избранная рада», возглавлявшаяся Адашевым и Сильвестром (экономистом и идеологом, как сказали бы мы теперь), не вывела державу нашу на европейский путь развития не потому только, что натолкнулась на властолюбие Иоанна; власти домогались все, к ней стремились и Адашев, и Сильвестр; жестокости, кровь, увы, есть и на совести Адашева, и на совести Сильвестра, так что одно дело — страдать за народ, денно и ночью в молитвах заботясь о его благе, и совсем другое — разрешить ему свободно жить и свободно мыслить. Ведь людям извечно не давали этих прав, как не дают и ныне, и, словно камень преткновения, незыблемо, в веках, возвышается эта проблема над народами и государствами, особенно почему-то над нашим испокон будто смиренным народом, держась, как на подпорках, на истинных вроде бы, какими в истории пред-

ставляют их, защитниках общих благ. В ряд именно подобных защитников как раз и пытаются сегодня вписать имя иерея Сильвестра. У него, впрочем, была возможность что-то действительно нужное сделать для народа, но ведь не по воображению, а по жизни складывалась пословица о своей рубашке на теле, так что биться за благо общее, лишаясь при этом своего, — да подобного примера просто нет в истории человечества; даже большевистские вожди, бившие себя в грудь, что они плоть от плоти простого народа, что сделали они, придя к власти? Люду оставили людово (эх, да хотя бы оставили!), а для себя — позахватили барские особняки, обложились охраной, прислужгой, сиречь холопами, дворней, иначе лишь называемой, и зажили по-княжески. Изначально, видимо, понимали, что дать землю и волю людям, — это означает потерять веками возводившуюся над ними власть, и народы должны знать и помнить, что нет посулов выполнимых, что, сколько бы восходящие политики ни твердили, что, придя к власти, дадут землю и волю народу, обещание их — всего лишь подслащенный пряник, тот красивый обман, с помощью которого, как ни огорчительно это писать, и поныне доверчиво открываются людские сердца. Знал ли Сильвестр досконально эту простейшую, иначе не скажешь, механику обмана или как человек начитанный, достаточно просвещенный для своего времени, интуитивно осознавал ее и, подстраиваясь под сей поистине незбылемый ход жизни, удачно сочетал (до времени, правда, потому что не открываются только тайны глобальные, а личное, мелочное, оно, как навоз, всегда устремляется на поверхность) либерализм внешний, то есть как должны были воспринимать его окружающие, с закоренелым консерватизмом, предоставлявшим по крайней мере ему земные блага, — шторки души захлопнуты, все непроглядно в этой личности и темно; одно только остается высвеченным, что Сильвестру, может быть, как никому другому, выпала возможность, общаясь с самодержцем и не растеряв еще связей с жизнью, вочию наблюдать, как, с одной стороны, Иоанн стремился укрепить власть, а с другой — народное самосознание, как оно из глубин, хотя и робко, но уже начинало поднимать пробудившуюся голову. Уже не было в живых преподобного монаха-отшельника Нила Сорского, на обительском кладбище, возле церкви, покоился прах инока Вассиана, да и Максим Грек, с кем мало кто может сравниться по драматичности судьбы (даже дряхлому старику, ему так и не разрешили вернуться на родину), дотягивал последние уже часы в мрачной монастырской келье, а на Ниловой пустоши вокруг Белозерья, как доносили Государю и Первосвятителю, вновь возродились «еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси». Сильвестру очевидно было, что старцы выступали не просто за очищение Церкви от ненужных, показных обрядовых наслоений, не только против монастырских и прочих духовных стяжательств, но замахивались на всю устоявшуюся систему жизни; он чувствовал это так же, как старые люди предчувствуют перемену в погоде, и как только глаз в глаз, как говорится, столкнулся с этим явлением, — деятельностью Башкина со товарищи, — действовал, как и должно, решительно, жестко и безоглядно.

СХVI

Случилось же это, когда Сильвестр находился в зените своего могущества. Он был близок к Адашеву, как никто, пожалуй, пользовался благосклонностью царя, и это именно делало его фигурой заметной не только при Дворе, но и среди многочисленной церковной иерархической братии. Жил он уже не в келье, а в палатах, примыкавших чуть ли не к великокняжескому дворцу, прислуживать приходили к нему монахи из Чудова монастыря, и почти каждый вечер после молитвенных бдений и трапезы царь оставлял его у себя для душевных бесед. Сильвестр готовился к ним, словно к торжеству, на котором блистать надо было не одеждой, а широтой ума, острословием, и, чтобы всякий раз держаться на высоте, читал и перечитывал чуть ли не наизусть известные ему церковные и светские рукописи. В полдень, после сна, каким иерей позволял себе теперь улаживать тело, он устраивался у стола, перед свечой, на лавке, и углублялся в тот известный всякому церковнику мир нравственных наставлений, в котором,

если отбросить иллюзорность, оторванность его от реального состояния жизни, все настолько аккуратно расставлено по местам и столь густо насыщено добродетелью, что самая мысль о недовольстве судьбой, если бы у кого возникла, показалась бы кощунственной, будто человеку на земле только и дано радоваться: нищему — нищетой, богатому — богатством; отпущенного не изменить, каждый несет свой крест, как нес свой и Сильвестр, благоденствуя пока что в еде и душевных с царем беседах и подменяя потребность страданий (за народ!) рассуждениями о них. Он был теперь лицом свеж, густая борода его, тщательно расчесанная, словно нагрудник, пушилась поверх нашейного креста, жирком благодушия, казалось, налилы были щеки, довольством и достатком выпирал из-под рясы живот, становившийся особенно заметным, когда иерей скрещивал на нем свои белые, пухлые, по-царски или по-святительски, как можно бы сказать еще (и что характерно вообще для отцов церкви, не знавших никогда иного труда, чем держать молитвенник и крест и осенять ими жаждущую приобщения к святости толпу), холеные руки; заботясь будто бы только о душе, как и положено по служительскому сану; и не заботясь будто о брэнном своем теле, Сильвестр, однако, производил совсем иное впечатление, чем должен бы согласно наставлению апостола Павла: «...как же, уча другого, не учишь себя самого?» Но ведь известно, что поучения пишутся не для себя; для себя же — важно провозглашать их, и чем чаще, тем лучше; и тогда никто не сможет указать на тебя как на нехристя или грешника. Во всяком случае, Сильвестр безоглядно придерживался этой простой мудрости, этому столь очевидному, но и столь же нераспознаваемому житейскому обману, то есть правилу, или привычке, или обиходной, что ли, условности, какой придерживались если не все, то по крайней мере большинство святителей да и прочей придворной боярской братии, так что в образе жизни царского духовника не было ничего, что выделяло бы его среди других служителей и прислужников великокняжеского Двора. Он предстал сытым, довольным, и в этом-то благодном послеобеденном состоянии и застал его священник кремлевского Благовещенского собора отец Симеон, неурочно и с достаточно возбужденным, испуганным выражением лица явившись к нему.

В самом появлении Симеона, казалось, не было ничего необычного, священник заходил к Сильвестру и прежде как ученик, некогда благодетельствованный учителем, чтобы, во-первых, не терять связь со столь знаменитым (высокостоящим, вернее было бы сказать) иереем, выходящем все из того же Благовещенского собора, и, во-вторых, засвидетельствовав почтение, потолковать о делах Государства и Церкви, к коим во все времена и у всех не иссякает интерес. И, хотя час на сей раз был выбран неурочный после укоризны, с какой Сильвестр обернулся на отца Симеона, переступавшего с ноги на ногу у порога, кивком пригласил его пройти и сесть на лавку. «Ну что там еще?» — было в глазах Сильвестра. Он не любил доносивства, особенно если при этом открывалась тайна исповеди. «Покаяния приносятся Богу, — любил назидательно произнести он. — Ему же, Господу, и соизмерять грех, и вершить суд». Но несмотря на это ясное, казалось бы, толкование — что адресованное Богу неможе брать людям для оговоров и обвинений, — соблазн прикоснуться к чужой тайне обычно возобладал над святостью церковного предписания, и Сильвестр, хотя и морщась для видимости, позволял себе терпеливо выслушивать доносителя. Он и теперь первое, о чем подумал, глядя на взволнованное лицо Симеона, что тот не иначе как с чем-то подобным явился к нему. Но вместо того чтобы указать на дверь, — ведь дело-то противное Богу! — продолжал лишь смотреть на священника, правда, не столько уже с укором, сколько с любопытством, твердо усвоив за годы дворцовой службы, что не знатность и богатством, а степенью информированности значим человек при Дворе. Однако что важное мог сообщить служитель Благовещенского собора? Разве что какую-нибудь ужасающую мелочь. Но услышанное превзошло ожидание и насторожило и озадачило пребывавшего в послеобеденном благодушии царского духовника. Отец Симеон поведал, что якобы еще в Петров пост явился в Благовещенский собор некий боярский сын Матюша (Матвей) Башкин и, объявив себя православным христианином, верующим в святую Троицу и поклоняющимся иконам, словно кто-то уже заподозрил его в иноверстве и ереси, попросил принять на дух (на испо-

ведь) в Великий пост; придя же в Великий пост на дух, вместо исповедания начал задавать многие и многие «недоуменные» вопросы. «От меня поучений требует, а меня же и поучает», — возмущенно доносил Симеон. Вопросы главным образом относились к несоответствию земных церковных дел с Божьими заповедями. В священных писаниях говорилось одно, а духовные да и светские иерархи творили совершенно другое, противное и писаниям, и Богу. Метод же Башкина был прост: он зачитывал цитату из «Апостола» или «Бесед Евангельских» и, накладывая их на действительность, высвечивал все те греховные отступления, в кои погрязши, пребывали отцы церкви и отечества. «Написано же, — зачитывал он из «Апостола», — весь закон заключается в словах: возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот мы Христовых рабов держим у себя рабами, — уже от себя продолжал он, — а Христос всех называет братьями; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их все изодрал, держу людей у себя довольно! Кому хорошо у меня — пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет. А вам, отцам, — не без иронии добавлял он, — надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить». Конечно же, не отступления ради хочу заметить, что Башкин, пожалуй, был одним из первых в нашей истории, кто бунтарское слово свое начал подтверждать делом, следуя прежде всего сам своим выкладкам и уничтожив кабальные записи на людей и отпустив их, и — можно только предположить, как подобная дерзость некоего Матюши, рассказанная отцом Симеоном, была воспринята Сильвестром. Бросался, в сущности, вызов церкви, обществу, строю, охранителем которого (охранителем старины будто) как раз и считал себя иерей. Но он пока не перебивал благовещенского священника, и Симеон, самовозгораясь негодованием, так закончил свой рассказ: «Да еще и угрожал, из «Апостола» угрожал». И, стараясь подражать Башкину, повторил заключительные его (из «Апостола», на исповеди) слова: «Великое дело ваше, сказано в писании, ничто сия любви больше, еже положить душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный».

На минуту ли, на две ли, больше ли — в иереевской палате воцарилась тишина; Сильвестр, обескураженный сообщением и совсем забыв, что произошло разглашение исповеди, то есть противное Богу дело, смотрел на отца Симеона тем испытующим взглядом, как если бы и в самом деле что-то главное не было еще сказано благовещенским священником, должное приоткрыть истину и разъяснить все, отец Симеон тоже старался с беспокоеством понять, насколько тревога его передалась Сильвестру и каковы будут указания на случай, если означенный Матюша Башкин вздумает вновь явиться в собор на дух. Ведь к людям, стремящимся мыслить самостоятельно да к тому же умеющим письменно изложить свои соображения о возможностях и смысле жизни, проще говоря, к писателям, правители во все времена, как, впрочем, и теперь относились и относятся с пренебрежением; при Дворе уже возникали разговоры о Башкине, что, дескать, мутит, преступает, самовольствует, и хотя Сильвестр только слышал, но не знал толком, в чем заключалось Матюшино самовольство, но первое, о чем счел нужным сказать теперь Симеону, что дело с Матюшей Башкиным, видимо, непростое и что за сим боярским сыном, он слышал, давно ходит недобрая слава. «Не горазды ни дела его, ни помyselы», — строго, словно митрополит на Духовном Соборе, когда после слов «не гораздо» следует только «ставится в вину», проговорил он. Затем после достаточно продолжительного молчания, которое нужно было Сильвестру для обдумывания и во время которого он скидывал взор на икону Спасителя и крестился (как если бы на самом деле либо общался, либо ожидал общения с Богом), то есть после этого символического и важного для того времени ритуала, после которого обретается будто бы милостью Божьей прозрение, обернулся к отцу Симеону и поучительно произнес: «А ты не отталкивай, не отчуждай раба сего от себя, пусть говорит, привечай, слушай, записывай. Если что, сам спроси да и опять же запиши. Да попроси, чтобы навощил «Апостол» (подчеркнул, переводя на современность, карандашом те места, на которые ссылался) да отдал бы нам для просмотра». И, наставив таким обра-

зом отца Симеона на угодное будто бы Богу доносительство и отпустив его, как ни старался затем вновь углубиться в чтение, но мысль о том, что какой-то Матюша осмелился поднять голос против устоев Церкви и государства (главное же, подал пример, разорвав кабальные записи и отпустив на волю людей), — мысль эта основательно встревожила иерея.

СХVII

Со стороны, конечно, трудно бывает определить, чего больше при царских (правительственных, применительно к современности) дворах: так называемой государственной (мелочной) суеты или действительно важных державных дел? Но еще труднее бывает определиться людям, втянутым в эту суету и растворенным в ней. От тех истинных порывов и целей, с коими Сильвестр столь стремительно по определению современников возвысился до царского духовника и в коих главным ставилось достижение общего блага, — от порывов тех и целей если что еще и оставалось в его сознании (на фоне интриг придворной жизни, далеко и далеко не обходивших его), так только лелеявшие душу воспоминания; себе он все еще представлялся человеком от народа, носителем идей прогрессивных и созидательных (прогрессивных и созидательных в том смысле, что был будто бы готов костями лечь за христианские добродетели), тогда как вся практическая деятельность его давно уже сводилась лишь к охранению существующего порядка вещей, то есть незыблемости строя, с которым, обретя свое тепло местечко, он уже не хотел расставаться. Не будь, к примеру, царя, не было бы надобности и в царском духовнике; а ежели (и тоже к примеру) упростить церковную обрядность, раздать монастырские богатства, упростить службы, растворить вообще Церковь в народе, как того требуют старцы из Ниловой пустоши, то есть чтобы каждый принял веру не как учение, но как суть бытия, не отделимую от человека, для чего тогда нужны будут священники-поучители да и вся сановитая иерархическая верхушка, именем Божиим предержавшая вполне реальную земную власть? Разумеется, столь прямо не думал и не мог думать Сильвестр; но среди разных предположений, возникавших в сознании и смущавших его, являлось и это, казавшееся особенно еретическим, он возбужденно вскакивал из-за стола, несмотря на довольно округлый, оплывший жиром живот, и метался по палате то к иконам, то к окну, то опять к столу, не находя места. Для чего нужно было беспокоиться люду, когда так тепло и покойно жилось ему? Выходило так, что прежде, в молодости, когда Сильвестр только начинал святительскую жизнь, он более сострадал другим, чем заботился о себе; теперь же (и это было предметом его смущения) жизнью своей в достатке и почестях пытался измерить жизнь общую и, не находя сил признать заблуждений и отступлений за собой, негодовал то на старцев из Ниловой пустоши, для чего-то положивших себе за право ересь возмущать народ, то еще более на Матвея Башкина, позволившего себе, главное, разорвать кабальные записи и отпустить на волю людей. Отложив теперь в сторону все, что читал прежде, Сильвестр взялся за «Беседы Евангельские» и за «Апостола», чтобы в них же найти опровержения доводам Башкина; он знал, что опровержения эти были, не могли не быть, и хотя они тоже носили общий характер, но глаза Сильвестра всякий раз отраднo загорались, когда он натывался на нужное и митрополичьим же, словно на Соборе, голосом — «не гораздо» и «ставится в вину» — зачитывал поучение. В сущности же, он боролся не столько с Башкиным и старцами из Ниловой пустоши, сколько с самим собой, тем, прежним, когда готов был костями лечь за христианские добродетели, и еще неизвестно, чем был закончился сей душевный поединок, если бы, во-первых, не суета придворной жизни, та мелочная, состоявшая в основном из интриг, но подаваемая на общественный стол мнений как нечто государственно-важное, и если бы, во-вторых, не ежедневные почти встречи и беседы с царем, встречи и беседы с Первосвятителем всея Руси митрополитом Макарием, умевшим блеснуть и своим духовным достоинством, и глубиной и остротой святительского ума; чаша на весах жизни перетягивала в сторону умиротворенности и покоя, к незыблемости порядка и строя, и когда благовещенский священник отец Симеон, с усердием выполнивший поручен-

ное ему доносительское дело, принес наконец навощенный «Апостол» и записи, сделанные за Башкиным, Сильвестр, не колеблясь ни минуты, отнес их сначала к Иоанну, а затем и к митрополиту Макарию.

События после этого развивались стремительно. Иоанн в те дни, подражая отцу и деду, собирался вместе с Анастасией отправиться на богомолье в Кирилло-Белозерскую обитель, и, так как путь предстоял нелегкий и долгий — сушей, водой, потом опять сушей, — все при дворе и сам он были заняты приготовлениями в дорогу; может быть, потому-то, как полагают некоторые историки да и полагал тогда сам Сильвестр, царь не то чтобы не хотел вникнуть в «Матюшино дело», о котором, впрочем, со всеми деталями было доложено ему, но не хотел по царской своей амбициозности хоть чем-либо прервать намеченную поездку и, лишь полистав навощенный «Апостол» и не заглянув даже в записи, как это показалось Сильвестру, с холодной молчаливостью отложил разбирательство до своего возвращения (что, впрочем, и позволяло ему теперь, в Коломенском, представлять перед Сильвестром таким ни чем будто бы не запятанным, чистым в «Матюшином деле»). Но совсем иная реакция была у митрополита Макария и его окружения. Там тоже давно уже присматривались к деятельности Башкина и прислушивались к высказываниям старцев из Ниловой пустыши, особенно к проповедям бывшего Троицкого игумена-вольнодумца Артемия, который, сложив в одночасье с себя игуменство, удалился на отшельничество вместе с другом, старцем Порфирием. Наблюдавшие за Башкиным доносили Макарию, что у сего пишущего мирянина по вечерам сходятся для еретических речей люди, в том числе и духовного звания, и что от сего антихристового гнезда исходит смрад неверия и разврата; позднее, на Соборе, который будет проходить под председательством Макария, Башкина со товарищи станут обличать в том, что «они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит; отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, все равно не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием; отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом священном писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде», и как бы это обвинение ни звучало теперь, но тогда — даже сама возможность подобных мыслей казалась преступлением. Башкина вместе с братьями Борисовыми Георгием и Иваном и еще двумя соучастниками, Тимофеем и Фомой, постановили схватить и заковать в цепи, а когда вернулся в Москву Иоанн, он велел их как особо важных преступников перевести из монастырской темницы в подклети своих палат и, не мешкая, созвать на них (для разбирательства и приговора) церковный Собор.

Но еще прежде, чем был созван Собор, между святителями с новой силой развернулись споры по вопросам веры и началось то доносительство друг на друга, в том числе и для сведения счетов, из которого — после прочтения сих клеветнических писаний — митрополит Макарий и Иоанн могли вынести лишь одно заключение, что вольнодумство, распространившись по державе, сообразовывалось в некое единое опасное противостояние догматам Церкви и власти. Вновь, как и при Великих Князьях и Государях Иване III и Василии III, оживились подавленные как будто бы в свое время судом и кострами на полом месте так называемые «стригальники», то есть святители, требовавшие возврата к изначальным канонам веры, и еще ретивее подняли головы так называемые «осифляне», последователи учения Иосифа Волоцкого, выступавшего не просто за сохранение старины и незыблемость устоявшихся порядков, но призывавшего в своих трудах к беспощадному суду и физическому уничтожению еретиков. Это был своего рода воин в рясе, готовый (за многие и многие свои блага, разумеется), как водичу, лить человеческую кровь во имя утверждения будто бы христианского православия, и, как ни покажется это странным, последователей его учения в описываемый период, как, впрочем, и всегда да и в наши дни, то есть «осифлян», было куда больше, чем «стригальников», и, почувствовав, видимо, это свое превосходство и восплававши духом борьбы, в кото-

рой победа не иначе как только могла достаться им, означенные святители не просто готовы были съехаться на Собор, но рвались дать бой своим застарелым духовным противникам и заранее посылали доносы на старцев из Ниловой пустоши, главное же, на бывшего Троицкого игумена Артемия, да и не хотели оставлять в покое старого, больного, почти уже лежавшего на смертном одре знаменитейшего в православном церковном мире (тем и страшного, видимо) Максима Грека. На Артемия писали — и митрополиту, и царю, — что он-де «еретиков новгородских не проклинал; латынь хвалил, поста не хранил, во всю четыредесятницу рыбу ел и на Воздвиженев день у царя за столом рыбу же ел». По словам Ферапонтовского игумена Нектария числилось за Артемием и такое, что он будто «из лсковского Печерского монастыря (история более чем десятилетней давности) ездил в Новый Городок немецкий (Нейгауз) и там веру немецкую восхвалял», а Кирилловский игумен уличал Артемия же в том, что будто бы на известие об открывшейся ереси Башкина тот ответил: «Не знаю, что за ересь такая! Сожгли Курицына да Рукавого и теперь не знают, за что их сожгли». «Не гораздо», — угрожающе, как и все почти другие доносы, заключено было это послание. Приводили и такое высказывание Артемия, кстати, повторенное им затем на Соборе, что, дескать, «по храмам на службах провозглашают: «Иисусе сладкий!» А как услышат слово Иисусово о заповедях его, как велел быть, — и горько становится, что надобно их исполнять. В акафисте повторяют: радуйся да радуйся, чистая! А сами о чистоте не радят и в празднословии пребывают: так что говорят только по привычке, а не в правду». «Не гораздо», — опять же обвинительно приписывалось в конце. Волна за волной покатались обвинения и на Максима Грека, начали ворошить его прошлые прегрешения (деяния неоспоримо полезные, как, впрочем, оценивает история), вернулись к его еретическим будто бы (за что и страдал) высказываниям и направили требование явиться на Собор. Максим Грек сразу разгадал, для чего вызывают; хотя уже по немощности своей он не мог приехать на Собор, но, не потерявший достоинства и не желавший на краю жизни ни перед кем склонять голову, он решительно отказался предстать перед судом. Поступок его мог сыграть на руку «стригальникам», подкрепить их позиции, и, чтобы нейтрализовать знаменитейшего старца, а буде возможно, то и перетянуть на свою сторону. Иоанн сам вызвался написать ему: «Слышали мы, что ты оскорбляешься, думаешь, что мы тебя соединяем с Матвеем и потому за тобою послали: никогда мы не сочетаем верного с неверным, — фарисействовал царь. — Отложи сомнение и данный тебе от Бога талант умножи, пришли ко мне писание на нынешнее злодейство». Иоанну хотелось, чтобы Максим Грек выступил на Соборе обвинителем, пусть хотя бы и заочно, но славный духовный муж ничего уже не в силах был со своего смертного одра ответить царю.

СХVIII

Дело Башкина со товарищи по меркам того времени действительно выглядело непростым. Во-первых, Башкиным было нарушено правило шестого Вселенского собора, запрещавшее простым людям «принимать на себя учительский сан», во-вторых, не имея этого святительского сана, то есть будучи не посвященным в дела Церкви, он осмелился выступить против ее догматов (против государственной, как по нынешним временам, идеологии послушания и смирения, в то время как изначально религии отводилась роль защитницы народа, а не властей), и, в-третьих, не вполне все же ясно было и митрополиту Макарию, и Иоанну, каким судом судить сего злобесного Матюшу, светским или церковным; вопрос обсуждался и до того, как решено было созвать Собор, и возникал позже — по сомнениям Макария. В конце концов приговорено было вынести все на Собор, так как разбирать предстояло не только, вернее, не столько «дело Матюши», сколько инакомыслие лиц святительского звания, погрязших в ереси или поддавшихся искушению сих еретических толкований, а если добавить, что и Башкин прежде всего выступал против Церкви, то и на Соборе и венчать все. Правда, была еще одна небольшая неловкость: на Соборе 51-го года, получившем название Стоглав, высшими церковными иерархами было

постановлено, что «весь священный и иноческий чин судят сами святители и с великим истязанием и обысками, соборно, по священным правилам», и, казалось бы, мирянин Башкин не подпадал под это правило и его нельзя было судить с «великими истязаниями», но в конце концов и на это (слвно бы по-современному!) закрыли глаза, и в один из летних дней, когда держава, руководимая будто бы царем и направляемая Церковью, а в сущности, лишь ограбляемая ими и принужденная в поте лица и с Божьим на устах словом добывать для себя хлеб насущный, буднично, трудясь, приумножала действительные земные блага, — в просторных митрополичьих палатах в обстановке будто бы торжества и святости и в присутствии самодержца с теми же Божьими на устах словами открылся Собор, то есть началось очередное в нашей русской истории неправое, позорное действие.

Сильвестр не участвовал в работе Собора. Он только посидел на открытии и затем вместе с царем удалился, предпочтя издали, со стороны, наблюдать, как будут развиваться действия. Понимал ли он, что дело было неправым, что готовилась лишь расправа над людьми, позволившими взглянуть на мир по-иному и по-иному помыслить о нем, или только, полагая себя противником казней, хотел лишь, чтобы чистая будто бы совесть его не запятналась сим жестоким судилищем, — две недели, пока заседали отцы Церкви, Сильвестр почти не выходил из своих кремлевских палат. Между тем на Соборе, как он и предполагал, вернее, как это и случается на подобных, с определенной заданностью, судилищах, верх брало лжесвидетельствование и никто не хотел выслушивать оправданий; приговаривались не по справедливости, а по неправдам, и из уст митрополита Макария то и дело звучало с холодной неизменностью: «не гораздо» и «ставится в вину». Одних обрекали на казнь, других — на заточения по монастырям и темницам. Но ведь на силу всегда есть противодействие. Осужденным на пожизненное заточение белозерскому монаху Федосею и заволжскому отшельнику Игнатию уже через год удалось бежать в Литву и оттуда уже проповедовать свое учение. По-особому, надо сказать, сложилась судьба Артемия. Его хотели было приговорить к смертной казни, все шло к этому, и оставалось только, чтобы названные феропонтовским игуменом Нектарием в качестве свидетелей три старца из Ниловой пустоши подтвердили возведенное обвинение; но старцы, явившись на Собор, объявили, что никогда не слышали от Артемия никакой хулы на христианские законы, и это-то и спасло бывшего Троицкого игумена; его приговорили сослать на Соловки и поместить на вечное заточение в молча тельной келье, чтобы «душевредный и богохульный недуг не мог распространиться от него ни на кого; он не мог ни говорить ни с кем, ни писать ни к кому, ни получать ни от кого писем или других каких-либо вещей; он должен был сидеть в молчании и каяться». К нему был приставлен монах для надзирания, который ежедневно доносил игумену о поведении Артемия, и лишь в случае смертной болезни по высочайшему изволению могло быть разрешено ему причаститься. Но и при этой строгости Артемий сумел совершить побег из Соловков и, объявившись в Литве, как и единомышленники его, еще более возвысил голос в защиту своего учения и оставил миру ряд известных (в этом плане) обличительных трудов.

И все же трагичнее всего оказалась судьба боярского сына, писателя Матвея Башкина. Его начали допрашивать первым и с «великими истязаниями», как и было постановлено в 1651 году Собором Стоглав, некоторое время Башкин еще держался, когда на дыбе выворачивали ему руки и ломали хребет, он твердил только, что жаждал истины, что Бог един и не в словах, а в душах, но затем, когда стало уже невозможно, сначала кричал (от боли, разумеется) дико, нечеловеческим голосом, потом как-то разом вдруг притих, смолк, глаза высунувшись выпучились, и, возгласив, что услышал голос Богородицы, не только признался в ереси, но и выдал всех соучастников и единомышленников своего дела. С ним произошло то, что можно бы назвать тихим и глубоким помешательством, и, так как ни допрашивать, ни истязать его уже не было смысла, — тут же, на Соборе, приговорили отправить на вечное заточение в монастырь, установив, как и для Артемия, режим молчания и строгости. Сильвестру в подробностях было передано обо всем этом, но, отмежевавшись от Собора вообще, он считал

себя непричастным и к этой страшной в сути своей, трагической истории, хотя вся трагичность Башкина как раз и была заложена самим же Сильвестром. Но, видимо, так уж устроен человек, что всегда находится под рукой у него аргумент для оправдания своих поступков, да и недаром говорят, что за лесом деревьев не разглядеть; за делами духовными, за ежевечерними общениями с царем и множеством других разных государственных, можно было бы сказать и так, забот, какими все больше и больше отягощался Сильвестр, действуя заодно с Адашевым, помогая ему поступками, словом, — за всем этим немудрено было забыть не только о Башкине, но и о самом Соборе, положившем будто бы предел, как считалось, распространению вольнодумства и ереси на Руси, и, может быть, все бы так и кануло в Лету, если бы, возвращаясь однажды с царем и царицей с очередного богомолья и застигнутый в степи непогодой, царский обоз не свернул бы в ближайший от дороги монастырь на ночлег — в тот самый монастырь, в котором и отбывал заточение Башкин, — и если бы Сильвестр, узнав об этом, не полубопытствовал бы взглянуть на сего тронувшегося умом несчастного человека.

После ночной непогоды утро было ясным, солнечным; омытая дождем малахитово сияла зелень деревьев, трав; даже монастырская стена с глухо запертыми на засов воротами, за которыми начинались монастырские же и с монастырскими крестьянами земли, — даже эта крепостная будто, как она воспринималась тогда да и воспринимается теперь, стена выглядела словно обновившейся, помолодевшей, как, впрочем, и все другие каменные и деревянные строения с неизменной посреди двора удивительной, украшавшей все вокруг обительской церковью. В отличие от аскетической жизни, какую по ниспосланному будто бы Богом уставу приурочены жить иноки, и как бы в противовес, что ли, самой идее отречения человека от земных благ, от какой-либо возможности проявить личность, кроме как в молитвенных бдениях да истязаниях плоти (и чем изощренней, тем угодней вроде бы Богу), монастырские подворья, как ни покажется это странным, производят впечатление не то чтобы радости, но основательности и полноты жизни, в них нет ничего преходящего, а есть только вечное — нет, не по прочности стен или кровель, а по самому тому человеческому духу, то есть человеческому естеству, призванному с основательностью и любовью обустроить свой земной быт. Человеческое, жизнерадостное непременно брало верх над аскетическим, и, видимо, точно так же, как испытывали это и к чему стремились устроители монастыря да и вообще церковные и монастырские зодчие, создавшие своего рода жемчужины на общем сером фоне российского провинциального крестьянского бытия, испытывал Сильвестр, выйдя в это утро на монастырский двор и сыто оглядывая округу. Иоанн с царицей Анастасией еще сидели за утренней трапезой в игуменских палатах, ратники седлали коней и чистили амуницию, готовясь в дорогу, ездовые с неменьшим усердием готовили повозки, время от времени, как и Сильвестр, поглядывая на чистое небо, на церковь и купола с крестами на ней, возносившиеся к Богу, и все это, занятое живым будничным делом, только дополняло и усиливало общее впечатление неповторимой радости бытия. Договорившись накануне вечером с келарем, что навестит утром Башкина, не нарушив, разумеется, приговора молчания, Сильвестр ожидал теперь на крыльце игуменской избы этого служителя, и, как только келарь объявился, направился вместе с ним в самый отдаленный конец подворья, где в келье, скорее напоминавшей яму с пробитым в перекрытии окном, чем даже самое аскетическое иноческое жилище, содержался сей опаснейший преступник.

Известно, что не все увиденное одинаково запоминается людям. Грандиозное, судьбоносное для державы не всегда помнится так в деталях, как запоминаются, казалось бы, события незначительные, затрагивающие лишь нечто личное, сокровенное, что каждый человек непременно хранит в душе и на что как раз и бывает в большинстве своем ориентирована наша жизнь. Осознавал или не осознавал Сильвестр, насколько его судьба связана с судьбой Башкина (ведь если взглянуть пошире, то оба они были одинаково литераторами, философами и политиками для своего времени), но увиденное настолько глубоко затронуло его и отложилось в памяти, что, будучи уже отправленным на Соловки, он мысленно только и возвращался

к этому утру и ко всей той картине, которая открылась перед ним, когда келарь подвел его к монастырской темнице Башкина. Ужасающим показалось уже то, что на фоне утренней благодати, только что во дворе со всех сторон обступавшей Сильвестра, того Божьего дара жизни, если по-церковному, который дается не печалей, а для радостей, возможны были темница, сырость, страдания, — и всего лишь за некие слова, ущемлявшие будто бы достоинство Бога; контраст этот как-то не соединялся в душе Сильвестра, и к этому-то несоответствию дара и реальности жизни, когда ниспосланное Богом (ниспосланное для всех) насильственно отнимается одними людьми у других и во имя все того же Бога, Сильвестр и возвращался мысленно на Соловках. Но теперь — царский духовник, он пока еще не тревожился о своем будущем, и когда келарь, открыв дверь в келью Башкина и отступив в сторону, обнажил перед ним это его будущее, Сильвестр так до конца и не осознал, что предстало перед ним; он увидел лишь серые земляные стены, отсыревшие после ночного дождя, стол из нескольких неоструганных досок на козлах, стол же грубо сколоченную скамью, потухшую на столе свечу возле крохотной иконки и посреди кельи, на соломе, свернутое в комочек подобие человеческого существа. Башкин лежал в кругу солнечного света, падавшего сквозь провал в крыше, и, пригревшись, видимо, в этой и до него дошедшей Божьей благодати, дремал, убаюканный своими видениями; какое ему было дело до того, кто и для чего смотрел на него; душа его, как видно, уже общалась с Богом, хотя тело, которое положено только истязать в земной жизни, еще требовало тепла, солнца, покоя, и Сильвестр, может быть, оттого, что понял или почувствовал это, велел келарю закрыть дверь кельи и торопливо, ни на кого и ни на что не оглядываясь, зашагал к выстраивавшемуся уже во дворе обозу. На вопрос царя, чем озадачен, Сильвестр ответил: «Да так, ничем», — и затем всю дорогу до Москвы сидел молча, в раздумьях, поднимая мрачный взгляд свой лишь на проплывавшие мимо серые крестьянские и монастырские подворья.

СIX

Может быть, и в самом деле за грехи каждому воздается Богом, в боярском ли, царском ли, духовном ли одеянии человек пребывал в земном своем бытии и творил грех или в армяке простолоудина, татьствуя, то есть промышляя разбоем, на больших дорогах; в конце концов можно ведь заглянуть и в историю, в которой мало кто из великих заканчивал жизнь естественно, без физических или душевных мучений; Ганнибал принял яд, окруженный преследовавшими его мстителями, Александр Македонский скончался во цвете лет в страданиях от настигшей его тропической лихорадки, Цезаря закололи Брут и Кассий, хотя этим и сами преступили святой закон жизни и затем понесли неминуемое наказание, Цицерону — казалось бы, что там, оратор да и только, — за филиппики на Антония, как барану на жертвеннике, полоснули ножом по шее и отрезали голову и т. д., и т. п.; страшная, мучительная смерть подстерегала уже и Иоанна, несмотря на прижизненный еще титул Грозный, и не минула неотвратимая сия чаша пусть даже за малые — всего за одну лишь сломанную судьбу, если не считать «со товарищи» — грехи и Сильвестра; быстро, как зимний день, промелькнули годы могущества и блаженства, и не успел он, как говорят, оглянуться, как свершен был над ним и Адашевым заочный неправый суд, хотя и без великих, как над Башкиным, истязаний, и то будущее, какое символично как бы приоткрыл ему тогда в монастыре келарь, — будущее то со всеми реальностями заточения настигло Сильвестра. В то время как Иоанн в Коломенском вызывал его дух, чтобы уличить в злодеянии, а главное, с помощью подобного «уличения» оправдаться перед собой, людьми и историей; в то время как самодержцу до боли хотелось приобщить, точнее слова не подобрать, своего бывшего духовника к тем же душевным мучениям, какие из ночи в ночь испытывал сам, стараясь вместо объективной истины утвердить истину свою и найти обоснование своим судьбоносным (во злодействе) державным замыслам, — Сильвестр на Соловках, отдаленный от царя заснеженным пространством лесов, полей, моря, терзался совсем иными, чем только найти оправдание для себя, мыслями. Он

точно так же, как и Башкин, свернувшись в калачик, лежал на соломе посреди промозглой кельи, с той только разницей, что не было над ним в крыше провала и не лился оттуда пучком солнечный свет, в кругу которого так приятно было бы ему теперь погреть свое немощное, старческое тело. Еще острее, чем Башкин, он чувствовал это насильственное (и несправедливое, главное) отторжение от Божьего дара жизни, а вернее, от той благодати — вольности, достатка и почестей, — которая хотя условно и сравнима с пучком солнечного света, в котором радо понежиться всякое живое существо на земле, но по утолению человеческих сверхжеланий и амбициозности (как царя царей будто бы природы) возносится почти до небесных высот. Падение свое Сильвестр переживал особенно болезненно, но как человек мыслящий и не забывший еще тех добрых намерений, с какими начинал жизненный путь, он не опускался теперь до неудач личных, до тех мелочей, разбирательство которых привело бы лишь к столь же мелочной, хотя бы и на царя, озлобленности; он старался, насколько это было в его силах, охватить всю тогдашнюю систему жизни с ее церковными и светскими постулатами, и невольно, но все более основательно приходил не столько, может быть, к страшному, сколько к великому в истинности своей или, точнее, в своей реалистичности выводу, что не добродетель, справедливость и правда, а насилие, жестокость и ложь всегда правили и правят миром. Несмотря на то, что Бог будто бы все видит и слышит, и на то, что усилия его, если верить учению, всегда направлены на защиту заблудших и бедствующих, — заблудшие и бедствующие как пребывали, так и продолжают пребывать все в этом же своем состоянии, а на могущество и власть неизменно благословляются лишь те, кто, погрязши во лжи и жестокостях, готов лить потоками человеческую кровь, чтобы только (пусть и по сей кровавой реке) вознестись к вершинам корон и тронов. Он тяготился этой именно всеохватной мыслью, в подтверждение которой вся доступная ему по тогдашним меркам человеческая история лежала у ног; она, как и Башкин на подстилке из соломы да и как сам Сильвестр, жаждущий тепла и солнца, — распластавшись все на той же подстилке и в окружении великих имен и безликих истощенных народов, точно так же жаждала тепла и солнца, чтобы согреть свое в лохмотьях эпох историческое тело.

Для него не было отдельно виноватых личностей, он не видел их; в изначально-историческом несчастье большинства людей, ему казалось, повинны были все: и те, кто подавлял, грабил, закабалял, насильствовал, и те, кто, несмотря на многочисленность, поддавался грабежу, закабалению и насилию; да, соучастниками великой и, по-моему, не вполне еще до конца осознанной нами исторической драмы человечества были все, все, без разделения на пастырей и овец, вождей и толпу, на борцов (за народ, как подавалось да и теперь, словно слепцам, подается со всех политических и научных кафедр) и безмолвную, аморфную массу, и коль скоро Сильвестр в силу тогдашнего уровня знаний был лишь на подступах к пониманию этих и поныне не до конца открытых или по крайней мере признанных наукой объективных реальностей (а только истина способна открыть дверь народу для движения в будущее), то и мысли его нет-нет да и возвращались к тем ужасающим (для него, разумеется) частностям, от которых днями, ночами, неделями и месяцами, угасая физически, но не угасая в умственных своих силах, он не мог отойти. Да, глобальное глобальным, а частное, однако, всегда стоит ближе к человеку, и виноватые для Сильвестра все-таки были. Но он искал их не столько в других, сколько в себе, в своих казавшихся теперь ему странных и необъяснимых поступках. Невольно вновь в условиях заточения вернувшись к истокам христианских добродетелей, он, бывший царский духовник, с удивлением думал, как же могло случиться, что, написав «Домострой», то есть изложив в обращении к сыну, что людей при себе в домах следует держать вольно, как братьев, не унижая ни словом, ни действием, — как могло случиться, что, едва столкнувшись с применением на деле этой прекрасной заповеди (разорванные Башкиным кабальные записи все еще и теперь, хотя и по-иному, не давали ему покоя), вознегодовал с такой силой, словно боярским сыном Матюшей нанесено было ему личное и глубокое оскорбление. «Нет, нет, прав он, а не я, — думал теперь Сильвестр, стараясь переменить положение, чтобы

отошли затекшие плечо и нога, шевелясь и гремя цепью. — Я преступил не свою заповедь, но Божью», — продолжал он, лишь в эти, может быть, минуты со всей глубиной осознавая значение того, что когда-то, в молодости, находясь под обаянием «Апостола» и «Бесед Евангельских», изложил в своем «Домострое». Как и каждый из нас в свое время, он пребывал тогда в кругу тех нравственных постулатов, которые не столько осмысливаются, сколько принимаются на веру (как, впрочем, и Божественное устройство мира), и, повторив их в своем изложении на бумаге и затем как о найденном и отданном, забыв о них, он уже только говорил о христианских добродетелях, но не следовал им. И, естественно, поучения «Домостроя», построенные на поучениях «Апостола», не могли ни у кого в обществе вызвать возражений; оттого и приняты были многими не душой, а умозрительно, тогда как, если уж быть откровенными, то ведь и ныне многие положения Сильвестрова труда могли бы оказаться полезными и для укрепления семьи, жизни общества и государства, если бы не заведомый скептицизм, коим, к сожалению, заражены мы все по отношению к своей, конечно же, нелегкой и непростой старине. Явление же сие нельзя назвать только печальным; оно наносило и продолжает наносить непоправимый вред нашему национальному самосознанию, нашей самобытности наконец. И все же — хороша ли, плоха ли жизнь, я не склонен беспредельно топтать и порочить ее; народ не виноват ни в чем, он, как дите с коварным поводырем, и не лучше ли, не полезней было бы докопаться до изначальных пружин движения? Да не с какой-либо заданностью, работая на ту или иную идею или власть, а с одной лишь целью сказать людям правду, что, впрочем, и предпринимал теперь — не первый и не последний — Сильвестр; и жаль, что, как и многим до и после него, сама эта надобность явилась на исходе жизни, когда у человека уже ни на что не находится ни возможностей, ни сил. Сильвестр мучился именно этим — своей физической немощностью, и, не страшась смерти (да и что могло быть хуже того, что испытывал он?), страшился, что прервется нить его теперешних размышлений, то есть понятий о жизни, и все это объясненное и выстраданное, не дойдя до людей, канет вместе с ним в небытие. Рассуждал же он просто: преступил я, преступил другой, третий, преступили правитель, народ, держава, и вот уже, связуясь во лжи, как раз и образуется тот ужасающий в своей несправедливости и жестокости мир, в котором принуждено пребывать человечество. «Где же спасение, в чем? — спрашивал он себя. — Спаситель, явившись однажды, не спас, да и нет признаков, чтобы оттуда, с небес, производилось какое-либо движение во спасение рода человеческого». Над головой, громыхнув, открылся люк, из него спустили Сильвестру ковш с водой и корку черствого черного хлеба — все, что монастырской властью, но не без царского благословения положено было ему для поддержания духа и возможности для покаяния, и, прежде чем приступить к трапезе, бывший иерей и царский духовник долго загнухающим взором смотрел на воду и хлеб.

СХХ

Никто в Коломенском даже отдаленно не мог предположить, чтобы в уютном царском дворце, в гостиной, где горел камин, было тепло и все располагало к покою и отдыху, — чтобы в окружении этой мягкой в красных тонах прелести, живущей своей особой будто (для царского семейного расположения) жизнью, могли явиться какие-либо иные, чем умиротворенность и благодушие, чувства и мысли; Иоанн, как это казалось всем (кроме, разумеется, царицы, хотя тоже вроде бы не посвященной в его замыслы, но, как самый, может быть, близкий к нему человек, о многом догадывавшейся и во многом понимавшей его), лишь отдыхал, отстранившись от державных забот, и неослабевавшая от тепелы, согнавшая с полей снег и расквасившая дороги, — оттепель, которую ругал Иоанн и ругали все, полагая, что из-за нее-то и происходила вся их неопределенность, была куда большим предметом для разговоров при Дворе, чем заметно ухудшавшееся от бессонниц и дум состояние Иоанна. Он избегал общения, даже Левкий, положивший для себя дежурить по ночам у дверей гостиной, — даже он не смел являться пред Иоанновы очи, воровским, видимо, чутьем чув-

ствуя, сколь опасен подобный шаг. Чудовский архимандрит, возможно, тоже догадывался, что происходило с Иоанном, потому что — ведь известно, насколько подобные люди обладают пронизательностью; но и его догадки и предположения, как небо от земли, были далеки от действительности. Вызванный силою воли дух Сильвестра во всем своем известном Иоанну обличье вот уже который час сидел перед ним в кресле, готовый ответить на царский упрек, но, то ли не желая огорчить самодержца, то ли по какой-то еще причине, удерживавшей его, не вступал в разговор.

Принято считать, что видения безмолвны и подчинены только воле вызвавшего их. Нет, видения не безмолвны и тем более не приемлют насилия; они, как совесть, которая если уж пробудилась, то сколько бы ни подавлял ее в себе человек, не утихнет, пока не уяснится, не признается истина и не будет совершено то глубокое покаяние, через которое только и возможно очищение души. Но Иоанн не хотел ни этого очищения, ни правды; он боролся с сидевшим перед ним Сильвестром, то есть с видением, как преступник с совестью, прежде чем выйти на мокрое дело, и коль скоро на подобную борьбу у самодержца всегда находилось достаточно и сил, и воли, чтобы настоять на своем, он тоже не начинал разговор и с достоинством, присущим царской особе, стоически выжидал, пока под угрозой его взглядом не надломится, не смиритесь бывший духовник. Противостояли друг другу не просто два человека, пусть даже воображенный и реальный, не просто две сильные натуры или личности из духовной и светской сфер жизни, а два мира, некогда пытавшиеся ужиться, но разошедшиеся теперь: один — в сторону очищения, утверждения истины, другой — умножения лжи, насилий и грабежей, и если бы хоть на мгновение удалось представить это противостояние как противостояние войск перед сражением, то едва ли хватило бы для этого (по пространству и значимости) исторического Куликова поля. И дело не в том, что произнесено было затем лишь несколько фраз Иоанном и Сильвестром, и не в том, что бывший царский духовник, томившийся в Соловецкой обители, предстал перед самодержцем вся Русь не реально, не в той нравственной силе, какой обладал теперь, очистившись от дворцовых привычек и наслоений, а лишь неким призраком, видением, уподобившись царской совести, и не в том даже, что потерпел поражение, неизбежное при подобной расстановке сил (и при непреклонной царской воле), а в известном и страшном для общественной жизни людей выводе, к какому, исходя даже просто из житейской логики, пришли и Иоанн, и Сильвестр.

Выглядело же все даже более чем буднично.

Иоанн спросил:

— Ты отказываешь мне в праве миловать и казнить, упрекаешь, что с малолетства руки в крови, но отчего же сам не следуешь истине, которую проповедуешь, и за слово хулы на Церковь обрекаешь отступника на мучения и смерть? Ведь храмы Божьи бессмертны, как и спаситель наш Иисус Христос.

— Судил Собор.

— Но именем Бога?

— Все на земле творится именем Его.

— Верю и принимаю, но ведь хула — не угроза, чем же она может повредить Небесной власти?

— Вольнодумство, разномыслие точат основу веры, ведут к хаосу и гибели, так сказано в «Апостоле».

— Тогда ответь мне: если власть Небесная имеет право на защиту, хотя и незыблема, то отчего же отказывать в подобном же праве власти земной? Ведь земная хрупка, и всякий норовит известить ее.

— ...?

— А-а, нет ответа! — воскликнул Иоанн. — Или фарисействуешь, прячешь истину? Вольны миловать и казнить вольны же!

Он давно уже не только выговаривал себе это право — миловать и казнить беспределно, лишь по своему усмотрению, — но и следовал ему, о чем и написал в ответном послании Курбскому; но одно дело — право провозглашенное, продекларированное, как мы бы сказали теперь, и совсем другое — когда у этого же права находится историческое обоснование. Конечно же, если Небесная власть, считающаяся по святым писаниям незыблемой, бросается столь рьяно защищать себя кострами и казнями, то

что же остается делать власти земной, которая хрупка, уязвима и немощна? Следовать примеру власти Небесной — казнить, казнить и казнить за малейшее посягательство на нее. Модель диктата небесного — вот исток права, и то, что принято Богом там, на небесах, не может отвергаться им на земле; и так же, как перед Господом все — рабы Божьи, рабы же и перед земной властью, и — кто и в чем смеет возразить или перечить? Сама постановка вопроса для Иоанна, повторяю, не была и не могла быть открытием, но найденное им теперь обоснование — обоснование это столь укрепляло его в искомой истине, что он более с высокомерием, чем со скрытым восторгом, как человек, давно и твердо знавший свою правоту и не увидевший ничего необычного в том, что одержал верх, — не смотрел, нет, а поедал глазами ничтожного, подавленного напором царской воли Сильвестра. Ему не дано было понять, что если бы истощенный, но нравственно обновленный условиями темничной жизни иерей Сильвестр во всем теперешнем облике явился сюда, то разговор был бы иным и у бывшего царского духовника нашлось бы, что ответить Иоанну; но перед самодержцем был только дух, только видение, то вдруг исчезавшее и оставлявшее кресло пустым, когда минутами, открывая глаза, Иоанн из жизни воображенной перемещался в реальную, получая своего рода передышку и с удивлением узнавая и не узнавая, вернее, не принимая за реальность реальный мир гостинной, то возвращался и вновь усаживался в кресло, как только прерванное было движение воображенной жизни смыкалось в единую и столь важную для самодержца, главное же, оправдательную для него цепь событий. Вот так, может быть, странно и уж наверняка неприемлемо для нас в тишине и уединении определялась судьба людей, судьба державы, обосновывался тот особый для нас путь, по которому миллионы россиян должны будут двинуться затем к своей безысходности. Земля — да может ли она принадлежать крестьянам? Это, что одно подняло бы достоинство и благополучие нации, не тревожило Иоанна. Свобода распоряжаться собой, своим трудом — да может ли сие волновать венценосца? Рабы Божьи, рабы же и перед земной властью, и обоснованность подобного идеологического постулата для предержателей власти столь велика, что вряд ли хоть когда-либо в обозримом будущем они позволят народам освободиться от этого самого крупного, простого и коварнейшего обмана. Иоанн ликовал; он не хотел открывать глаза, чтобы не отпустить Сильвестра — предмета своего человеческого, нравственного, царского торжества. Казалось, ни по взятии Казани, ни по взятии Полоцка он не торжествовал, как теперь; то были победы великие, прирезались к державе новые земли, восстанавливалась, как было с Полоцком, историческая справедливость; но что может сравниться с победой нравственной, победой духа, когда речь идет не о землях, нет, не о повергнутых и присоединенных царствах и городах, а о самой сути власти, которая бессмертна и которой стоять и стоять в веках над народами и государствами; как и вера, и Церковь, она должна быть незыблемой, и — в полной ли мере Иоанн понимал то, что так вдруг из нескольких будто бы фраз открылось ему, или понимал лишь частично, видя в этом не историческую устойчивость власти, а лишь устойчивость своей, основанной на безграничных насилиях и произволе, но в эти минуты ему, наверное, казалось, что и в самом деле все творимое на земле творится Богом и с его согласия и что всемиловитый Господь открыл теперь глаза и ему, держателю Российского трона, на право власти и вложил в сознание и уста высшую справедливость бытия. Святители суть люди, устраивающие свое благополучие на имени Божьем, лицемерие и фарисейство их беспредельны; так или по крайней мере близко к этому не раз и не два думал Иоанн; и, словно бы встрепенувшись сейчас от дремоты, он открыл глаза, чтобы высказать прямо в лицо сию сущую правду бывшему своему духовнику, но — кресло было пустым. Иоанн поднялся и ощупал кресло руками — нет, в нем никого не было, оно не отдавало теплотой человеческого тела; брови царя сомкнулись, как перед очередным взрывом гнева, но сознание только что одержанной победы над иереем (да и Божественное будто бы начало самого этого события), — торжество от одержанной нравственной победы одолело гнев, и в порыве странного вроде бы желания — то ли отблагодарить Бога, то ли в чем-то покаяться перед ним — Иоанн обернулся к иконе Богородицы с младенцем Христом и, крестясь, принялся долго, истово, в поклонах, изнурять себя.

СХХІ

В эту ночь Иоанну удалось немного поспать, и в церкви, на заутрене, он выглядел приободренным, в глазах явилась некая просветленность, и это дало лишь новый повод полагать всем, что царское затворничество и в самом деле идет ему на пользу, что затянувшуюся распутицу следует воспринимать не больше, не меньше как благо и что, не вскройся теперь река, не раскисни дороги, Бог весть, что бы могло статься с царем, царицей, еще более, казалось, недомогавшей, чем ее венценосный супруг, да и со всеми, кто, každодневно подвергаясь опасности попасть под горячую руку самодержца, и всегда-то предпочитал скорее думать о себе, чем о властителе. Конная прогулка вдоль леса к реке не состоялась. Еще затемно начавший моросить дождь, нудный, временами переходивший в мокрый снег, не прекращался весь день, на облысевшей от снега пашне кони после первой же версты взмокли бы и остановились, да и неуютно пришлось бы седокам, и, чтобы хоть чем-то заполнить тусклый зимний день (от выполнения государственных дел Иоанн наотрез отказался, в очередной раз дав понять этим, что отречение его от державы не шутка и что ой-ой как придется поклониться ему, прежде чем он соизволит вернуться на трон), решено было между обедней и вечерней молитвой собрать застолье, чтобы если и не повеселиться, что при недомогании царицы выглядело бы не весьма пристойно, то хотя бы пообщаться, пустившись в воспоминания и разные прочие (пустые, как я бы заметил, но важные, видимо, для придворных) разговоры.

Столы были накрыты в одном из просторных залов дворца, всюду зажжены были свечи, уже сами по себе говорившие о предстоящем торжестве, и все те князья и бояре, которых Иоанн счел возможным прихватить из Москвы в свою столь странную отлучку (и они должны были ехать с семьями и со всем своим нажитым боярско-княжеским скарбом), — все эти князья, бояре, облаченные в лучшие свои наряды, задолго еще до появления царя начали стекаться в зал. Здесь, между разными, худыми и полными, но непременно бородатыми (и чем пышней и окладистей борода спадала на грудь, тем больше, казалось, было солидности и значимости у сего князя или боярина) лицами мелькали молодые лица царских любимчиков: отца и сына Басмановых, Вяземского, Салтыкова, Чеботова, Грязного, Малюты Скуратова-Бельского да и неизменного участника подобных затей чудовского архимандрита Левкия. После каждодневных ночных попок молодежь эта, уверовавшая с царского благословения в свою вседозволенность, держалась не то чтобы отдельной группой, как-то обособленно, что ли, — нет, внешнего обособления не было, но если бы кто захотел повнимательней присмотреться к ним, без труда мог бы заметить в них по их разговорам и поведению признаки того известного высокомерия, коим обычно отличаются только что получившие возвышение — не по уму и заслугам, а по собутыльничеству, как мы бы сказали сегодня, — барские слуги, которым даже невдомек по укороченности их ума, что отнюдь не высокомерием может и должна выражаться значимость. Холопы, суется, разносили напитки и предобеденные угощения, потные, раскрасневшиеся от этой своей суеты, на столах все больше и больше выросло яств, манящих видом и запахом, так как ожидалось, что вот-вот, с минуты на минуту, явится Государь, и, освещенное десятками зажженных свечей, все это — яства, люди — дышало какой-то будто особой приподнятостью, словно происходило не в Коломенском и не при отрешенном от венца самодержце, а в Москве, в кремлевском царском дворце, где так привычно было, чувствуя за собой могучую поступь державы и сознавая в этом свое величие, блюсти княжеское достоинство и честь. У меня нет сомнений в искренности подобных чувств; возносимые чаще с помощью подлогов, интриг, чем по заслугам, люди эти с убежденною правотой полагают себя отцами отечества, хотя как раз на отечество-то, то есть на народ, чтобы заняться его заботами, у них обычно не достает ни времени, ни желаний; они вспоминают о народе лишь в тех случаях, когда возникает нужда защитить трон, себя или прирезать к державе, чтобы затем между собой же и поделить, какой-либо новый лакомый кусок чужой земли. Тогда-то и даются народу некоторые послабления, а больше — отделяваются посулами, о которых тут же и забывают. Формула эта вечна. Сменяются сто-

летия, присваиваются новые звания, выдаются новые награды и ордена, но не меняется сама суть придворного бытия, и на званных торжествах в Кремле вновь толпятся все те же «отцы отечества», лощенные, в звездах, партократы, словно желтым старческим жирком, оплывшие кольцами собственного величия и значимости. Они, как и предшественники их, тоже чувствуют дыхание могучей (лишь в бравурных речах их), а в сущности, обобранной и униженной ими державы. Не думаю, чтобы затеянное Иоанном в Коломенском торжество могло хоть чем-то выпасть из общей цепи подобных событий; мосты, связующие эпохи, не стареют и не рушатся, как бы мы того ни хотели и каких бы ни принимали мер; Двор в Коломенском, как и недавно еще в Москве, — царский Двор жил своими заботами и проблемами, главными из которых были и есть соперничество и борьба за власть, тогда как народ, обычно сиротливо предоставленный сам себе, — народ, в поте лица добывавший для себя хлеб, молил Господа лишь об одном, чтобы Всевышний оградил его от все новых и новых княжеских и боярских поборщиков. Если же что и связывало его с царским именем и Двором, то лишь мечта о правителе справедливом и добром. Людям и в голову не приходило, чтобы царь занимался еще чем-либо, кроме государственных дел; венценосец тем и силен, что свят и непогрешим. Был ли Иоанн достаточно осведомлен об этом настроении народа, догадывались ли князья и бояре, или подобная доверительность людей представлялась им как бы сама собой разумеющаяся, вечная, — история не оставила этих свидетельств; но ведь каждое поколение только оглядывается на прошлое, а живет настоящим, как было и теперь в Коломенском, где ожидали выхода Иоанна, и от двери, откуда он должен был появиться, уже обозначился меж боярами и князьями коридор, открывавший самодержцу дорогу к столу.

Но, когда распахнулась дверь, перед боярами и князьями, готовыми сесть за стол, явился не царь, а лишь посланный от него и с бесстрашной торжественностью, с какой обычно оглашались великокняжеские и царские грамоты, объявил, что Государь всяя Руси желает еще отдохнуть, что к столу не выйдет и что велено всем без него начинать трапезу. Иоанн и прежде бывал непредсказуем, позволял все, что требовала душа; собрав думных бояр, мог затем не явиться к ним или, напротив, молча встать и уйти, оставив всех в недоумении; он был, как говорят о таких, человеком настроения и мог мгновенно от одного лишь неудачно оброненного слова возбудиться гневом или удивить непомерной и тоже мгновенной милостью, и многие, считая, что таков уж царский характер, относились к подобным переменам самодержца снисходительно и склонны были, побаиваясь царя, прощать ему; но более прозорливые полагали, что дело было не в характере, а в стремлении выказать власть даже над теми, кого ставил рядом с собой, и если терпели сие унижение, то лишь от бессилия и полного бесправия перед венценосцем. Торжественности, разумеется, уже не было; несколько мгновений все молча смотрели друг на друга, затем взоры были обращены на царских любимцев, как если бы свободно вхожие к царю (так, во всяком случае, считалось), они могли прояснить что-то. Но и они были в растерянности и в свою очередь смотрели на чудовского архимандрита как на царского духовника, полагая, что он-то уж наверняка осведомлен обо всем. Однако смущен был и Левкий, и на заостренном, с редкою козлиною бородкой святительском личике его лежала тень все того же недоумения. Но, живо поняв по обращенным на себя взглядам, чего ждут от него, и, главное, сообразив всегда готовым на интриги умом, какой шанс выпадал ему, — со святительским, как ему казалось, наверное, достоинством дав понять всем, что направляется к царю, скрылся за дверью. Он долго не возвращался, все ждали его; и хотя чудовский архимандрит не дошел до царя, а лишь трусливо постоял в прихожей, молясь и оглядываясь, не подсматривает ли кто за ним, но, когда вернулся в зал, держался так, будто встреча и разговор с царем состоялись, и так как ничего нового, что уже слышали все, добавить не мог, — молча и решительно шагнул к накрытым столам.

СХХII

Это только говорят, что людские причуды непредсказуемы и необъяснимы. Нет, в мире все предсказуемо и все объяснимо; все имеет причину, из которой и вытекает следствие, и для Иоанна вполне естественно было в

этот день, когда он отменил конную прогулку и когда ему, царю, действительно нечем было занять время, — вполне естественно (и не по неопределенности, а по скряжничеству характера), что захотелось воочию убедиться, насколько сохранно здесь, в Коломенском, содержится его царская казна и все иные богатства, взятые им с собой из Москвы; и вполне естественно, что, вызвав казначея, отправился с ним к тем навесам и амбарам, в которых размещены были сокровища, усиленно охранявшиеся детьми боярскими и ратниками, и еще более естественно, что вид этих богатств, а вернее, скудость, как должно было по жадности его природы показаться ему, — скудость сих царских сбережений, сам облик груженных саней, упакованных сундуков, ларцов да и сырость амбаров, в которых они лежали, все это не могло не вернуть Иоанна к страшной и всю жизнь не покидавшей его мысли о том, как бояре, воспользовавшись его малолетством, растаскивали по своим домам наследную государеву казну. В шубе, в шапке, облепленной мокрым снегом, он долго в задумчивости стоял перед неразгруженными санями, пугающе уставившись в какую-то одну на этих санях точку и не оборачиваясь на казначея, и уже в эти минуты, если бы кто мог заглянуть в присмирившую будто бы царскую душу, — маховик мучительного нравственного труда, способный приносить лишь страдания и простолоюдинам, и венценосцам, уже начал свои первые и плавные пока еще обороты. Они затем нарастали вместе с тем, как Иоанн, продвигаясь от амбара к амбару, останавливался в своей непродуваемой шубе в дверях, не переступая порог и прося посветить зажженной свечой в темное перед собой пространство; может быть, сильнее, чем когда бы то ни было, он ощутил себя обобранным, нищим, и алчность, уже вскоре разросшаяся в нем до пределов ограбления народа и мести ему (бояре что ж, взятые в опричное войско, они стали лишь опорой ему), — алчность, как пружина, приводящая в движение маховик воспоминаний и замыслов, гримасой жестокости застыла на его горбоносом, измученном от бессонницы лице. Он возбуждался гневом, и возбуждение передавалось казначею, старавшемуся держаться за спиной царя и не вступать в разговор, и детям боярским, мокнувшим на постах, и, казалось, всему тому неодошевленному, что лежало в амбарах, пропитываясь сыростью, самим этим амбарам и даже мокрому снегу, застилавшему двор.

Хмурый, сгорбленный, безразборно ступая по грязной снежной жижице, Иоанн вернулся во дворец. Едва сбросил с плеч свою тяжелую меху непродуваемую шубу, как на церковной колокольне ударили к обедне, и тягучий, даже будто напевный звон колоколов, как и в день отъезда из Москвы, когда затемно еще вся державная столица с прилегавшими к ней деревнями, монастырями, погостами была разбужена подобным торжественно-тревожным набатом, — звон сей словно пробудил Иоанна, он шагнул к окну, как и тогда, в Кремле, готовый к выходу, и несколько мгновений смотрел на пустынный — только ратники, то есть дети боярские, у амбаров да стражники у ворот — двор. Но ни природа, ни сознание и ум человека, как известно, не терпят пустоты, и, хотя за окном ничто вроде бы не изменялось, пустынный двор для Иоанна то обретал черты соборной, перед кремлевским царским дворцом площади, кипевшей многолюдьем, как бывало в дни государственных торжеств или рождественских и пасхальных праздников или в периоды смут, когда разгневанные толпы, нацеленные на самосуд, начинали творить свои страшные расправы, то эта же соборная площадь, заполненная народом, виделась притихшей, присмирившей, как было в летнее равноденствие 1541 года, когда Саип-Гирей со всем своим крымским и турецким воинством, явившись на берегах Оки, грозил захватить и разграбить Москву; те, кто мог держать оружие, уходили в ополчение, по церквам и монастырям шли службы, молился и юный Иоанн с братом-калекой Юрием в соборе Успения, коленопреклонясь перед Владимирской иконой Божьей матери и гробом святого Петра Митрополита; между боярами, князьями забыты были распри, все соединились на спасении отечества — и Бог не оставил, как говорили тогда, русское воинство, Саип-Гирей позорно бежал, Москва торжествовала победу, и юный (тогда еще не царь, а Великий Князь) Иоанн вышел из собора Успения к народу признанным спасителем державы. Он и в самом деле в глазах духовенства, бояр, всего русского люда выглядел героем, и честь эта оказывалась ему неспроста. Обычно в трудное для Москвы

время, когда враг подходил к столице, Великие Князья, предшественники Иоанна, под предлогом собирания войск удалялись во Владимир; с подобным же предложением — не нарушать традиций отцов и дедов — некоторые влиятельные бояре обратились и к Иоанну, опасаясь, конечно же, за его жизнь, но будущий царь был молод, полон патриотических чувств, и, испросив благословение у митрополита и думных бояр, остался в Москве; разумеется, и по нынешним временам подобный поступок был бы оценен по достоинству и назван мужеством; схоронившись с братом Юрием в соборе Успения, Иоанн только и делал, что беспрестанно молился, славя Господа и прося защиты у него, да подписал принесенную дьяком Курицыным грамоту, в которой, обращаясь к ополченцам и ратникам, наставлял их, чтобы, «соединившись духом и сердцем за отечество, за веру и Государя», сражались бы «крепко за Бога всемогущего». «Обещаю любовь и милость не только вам, — писал Иоанн, — но и детям вашим. Кто падет в битве, того имя велю вписать в Книги Животныя; того жена и дети будут моими ближними». (Кстати, подобные обещания никогда не были на Руси только словами; они выполнялись и Великими Князьями, и затем государями-императорами в отличие от большевистских вождей, которые после Великой Отечественной предали забвению не только миллионы солдатских вдов и детей их, но и самих фронтовиков обрекли на бесправную, нищенскую жизнь.) Послание читалось в войсках, его слушали с умилением, и как бы ни оценивали теперь историки этот поступок юного Иоанна (некоторые вообще опускают его, полагая малозначительным и не объясняющим ничего), но истину нельзя ни укорачивать, ни удлинять, ибо она тогда перестает быть истиной; да и было же в Иоанне что-то достойное, привлекательное, тогда же отозвавшееся в народе надеждой и верой, и, наконец, не с пленок же, в самом деле, начал зверствовать будущий самодержец, были и у него счастливые минуты державного торжества, поднимавшие дух его до высот благородства и мужества. Пустынный двор все еще виделся ему той ликующей площадью, на которую окруженный духовенством, боярами и поддерживаемый митрополитом, он вышел из собора Успения к народу после недельного почти непрерывного молитвенного бдения. Ратники, воеводы, ополченцы, городской люд, — все ликующее приветствовали появление Иоанна, будущего лютого самодержца России, не ведая пока, что вместе с этим самодержцем падет на них, и упиваясь лишь сиюминутным чувством восторга и любви к молодому, красивому и столь мужественному уже властелину. В великокняжеском одеянии, в меховой с позолотой шапке, напоминающей шапку Мономаха, Иоанн величественно стоял на паперти перед народом; глаза его счастливо наливались слезами, он невольно прижимался к митрополиту, словно ища защиты от избытка нахлынувших волнений, и, может быть, в те именно мгновения впервые посетила его мысль, что есть деяния личные и есть деяния общественные и что лишь в согласии с этой мерой воздается человеческой душе; он искренне желал тогда служить людям, отечеству, сеять добро и умножать справедливость и, стоя теперь у окна перед пустынным двором, не только видел перед собой ту ликующую площадь, но и с обновленной будто бы силой те юношеские мысли и чувства повторялись в нем. «Я же хотел! — невольно вырвалось у него теперь. — Нет на моих руках крови. Не-ет!» — беззвучно выплеснул он. Разумеется, в воспоминаниях все склеивается не так, как в жизни; события тянутся серпантинном, фиксируясь, проплывая и опять фиксируясь, и точно так же, как дорога неизбежно ведет к мосту, — Иоанн даже не заметил, как берега воспоминаний добрых и мучительных сомкнулись и он вновь очутился в кругу своих видений и дум, уже сутки мучивших его. Ведь спустя полгода после победы над Саип-Гиреем при Дворе вновь начались боярско-княжеские раздоры; сии родовитые столпы, не думая ни о народе, ни о державе, жаждали власти, которой, впрочем, было вполне достаточно у них, но — человек, видимо, бессилен перед УЖАСАЮЩИМ МИКРОБОМ, а там, где делится власть, там неизбежны интриги, заговоры, страдания, кровь.

СХХIII

К обедне Иоанн явился мрачным, от него так и веяло нелюдимостью. К нему никто не решался обратиться, даже царица, стоявшая рядом, не смела поднять на него глаз. Но вместе с тем казалось по углубленному

в себя выражению его лица, что он не то чтобы искренне предавался молитве, но словно бы с помощью этой молитвы, как, впрочем, и положено верующему, общался с Богом, открывая Господу душу и внимая его наставлениям и советам. На самом же деле, то есть в действительности, все было иначе, и минутами Иоанн даже забывал, что он в церкви; в сознании его продолжалась все та же работа мысли, те же поиски своей истины, которыми как раз и наполнено было все его пребывание в Коломенском и которые после восторженной накануне нравственной победы над Сильвестром теперь вновь как нечто неизбежное, должное непременно дойти до логического завершения, возобновились в нем. Начищенный служителями церкви иконостас сиял в этот день по-особому выразительно своими позолоченными окладами и ризами, но Иоанн не замечал этого; да и свечи, казалось, светили куда ярче, чем обычно, может быть, потому, что их зажжено было больше, или же, как сказали бы прихожане, на служителя и на всю службу снизошла в этот день истинная Божья благодать, но — что означает для человека мир внешний, когда он занят миром душевным, в коем происходит свое упорядочение дел, вещей и событий; не до свечей, не до молитв, не до окладов и риз, обрамлявших лица святых, Спасителя и Пречистой матери Божьей, было теперь Иоанну, ему даже показалось, что служба в церкви была столь короткой, что едва только он вошел в храм, как надо было уже покидать его. Он вышел вместе с Марией, вряд ли с ясностью сознавая, с кем и куда идет, и только когда проводив, как обычно, до палат, или светелок, как можно было бы еще назвать их, остановился, чтобы проститься, весь окружавший его мир (вместе с царицей, разумеется) словно бы вдруг ожил перед ним. Он спросил у Марии о ее здоровье, не столько взглядываясь в ее бледное лицо, сколько исходя из тех смутных соображений, что он слышал или помнил, что она недомогала и что к ней вызывали немца-лекаря, осведомился, не испытывает ли каких-либо неудобств и не распорядиться ли о чем-либо насчет ее, и произнес затем со злой усмешкой, что теперь он не царь и что следует ожидать не лучшего, а худшего, кивком попрощался и покинул ее.

В кабинет он вошел так, будто его ожидала масса неотложных государственных дел. Но дел не было, лишь сиротливо посреди комнаты возвышался стол с подсвечником и горевшими в нем свечами, сиротливо стояло кресло, давно покинутое хозяином, голо, неуютно зияло окно, выходящее на пустынный двор. Нет, кто бы что ни говорил, а безделье мучительно; оно мучительно вдвойне, если к нему добавляется неопределенность, как было теперь с Иоанном. Продолжавшаяся оттепель раздражала его, и ему казалось, что в этом странном посреди зимы природном явлении был заложен какой-то знак, какое-то, скорее всего, недоброе предупреждение и что — не вернуться ли назад в столицу и не переждать там до лучших времен; как ни казалось ему продуманным все связанное с мнимым отречением и как ни старался он не выказывать ни перед кем своих опасений на сей счет, опасения нет-нет да и будоражили душу, он не верил ни в честность бояр, ни в честность духовенства, включая и Первосвятителя всея Руси митрополита Афанасия, остававшегося в Москве; духовенство, как и бояре, или, вернее, бояре, как и духовенство, озабочены отнюдь, как он думал, не службой Богу и отечеству, а «бережением живота своего», улаживанием своих выгод, и не мог простить им этого извечного их порока. Порок сей, впрочем, и поныне остается неистребленным, достаточно лишь присмотреться к правительственным кругам; это ведь только в воображении философов мир движется и обновляется, а в действительности — о, Господи, если и движется, то по кругам бесконечности, большим ли, малым ли: день, ночь, зима, весна, лето, осень и опять зима, весна, лето, осень, десятилетиями, столетиями, тысячелетиями все те же войны, грабежи, насилия, страдания и власть; так было при Иване III, при Василии III, да и чем глубже в пласты истории, тем больше подтверждений. Но Иоанн не искал подтверждений и уж совсем не желанием справедливости руководствовался в своих размышлениях; он знал цену своему окружению и смотрел на бояр и духовенство, как на неких личных врагов, которые только и замышляли, как извести царский род и самим угнездиться на троне; нет, ему не нужны были подобные подтверждения, достаточно было только обернуться на детство; и он оборачивался; какой день уже в Коломенском оборачивался на все то пережитое им, что в историографии на-

шей называется периодом боярского правления и откуда, словно от корня, как это понимал он, как раз и выростали страшные столбы его царских деяний. Пустынный двор, на который он бросал взгляд, подходя к окну, был для него теперь и в самом деле пустым. Стражники у ворот, дети боярские у амбаров — да что они охраняют? Казны, в сущности, нет, он обобран, гол и, как последний нищий, принужден был бежать из столицы. «Где Бог? Можно ли терпеть подобное злодейство?» — невольно вырвалось у него, и брошенные ему накануне Сильвестром слова, что, дескать, руки-то с малолетства в крови, — слова эти, требовавшие оправдания, с новой болью резанули его. Он опять весь углубился в воспоминания, и не было только перед глазами того кресла, в котором явился бы ему иерей. Иоанн собрался было уже перейти в гостиную, чтобы продолжить вчерашний разговор с Сильвестром, хотя говорить-то, собственно, было не о чем, разве что оправдываться перед ним, но в ту самую минуту, как он обернулся на дверь, чтобы шагнуть к ней, — дверь отворилась и в нее вошли доложить царю, что, как и было с утра еще велено им, столы в зале накрыты, гости собраны и что не соизволит ли и он выйти к столу и гостям и открыть торжество. Иоанн долго удивленно смотрел на вошедших, затем, пройдясь до окна и обратно, опять уставился на них, но уже с угрожающим прищуром, значение которого знали все от вельмож до холопов; он не то чтобы не хотел, но не мог прервать в себе той цепи событий, то есть цепи воспоминаний, по которой шаг за шагом продвигался к искомой истине, и естественно, ему было не до трапезы, тем более не до торжеств, для проведения которых, в сущности, и повода-то не было, и он гневно, как если бы не понимали несколько раз повторенных им слов, продолжал сверлить глазами вошедших. Они поклонились и, опасаясь беды, вышли, так и не уяснив для себя, что происходило с самодержцем; одно лишь было им ясно, что от трапезы он отказался, отсюда и родилась версия, которая и была затем объявлена гостям.

При царских ли, правительственных ли, как ныне, дворах бывает всякое; но не бывает, как известно, ничего непристойного, потому что сейчас же отыскиваются объяснения, и действительность настолько преобразуется в них, что правым обычно оказывается не тот, кто прав, а тот, у кого выше звание и кто восседает на троне; даже убийство, как это не раз случалось с Иоанном во время застолий (или опричных пиров, как увидим дальше), когда кто-либо осмеливался перечить ему, превращалось в некую царскую шутку, над которой все обязаны были смеяться, или цинично подавалось как торжество справедливости, так что — оскорбленные Иоанном князья, бояре не только не считали себя оскорбленными, но им и в голову не приходило усмотреть что-либо дурное в поступке самодержца, и застолье хоть и медленно, с неохотой будто, с раскачкой, но набирало свои хмельные обороты, тогда как Иоанн, предоставленный сам себе, перейдя в гостиную и уютившись в кресле, вновь чувствовал себя тем великокняжеским отроком, тем сиротой, уже восседавшим на троне, вокруг которого ужасающе разыгрывались беспощадные и кровавые боярские игры.

СХХIV

Во всем, что когда-либо происходило или происходит теперь, есть главное, то есть стержень, от которого и зависит происходящее, и есть тысячи мелочей, то есть то побочное, что всплывает, как пена в котле, на поверхность и отвлекает внимание. Период боярского правления, как и всякое иное безвременье, коих ой-ей сколько видано было на Руси, если считать со времен Святославовых, когда сыновья его Ярополк, Олег и Владимир подняли друг на друга меч, чтобы по братней крови явиться на великокняжеском месте (стоит также вспомнить, что и им было в ту пору по десять-одиннадцать лет и что и при них властвовали временщики Свенельд и Добрыня со своими личными интересами и интригами), — период этот характерен все той же борьбой за власть, то есть стержнем и пеной, по количеству которой (даже с простешьем стальных лет!) многие пытаются определить размах и значимость событий. Сталкивались, если вернуться к самим изначальным нашим истокам, не две политические линии, не два направления жизни, в чем пытаются убедить нас, вылепливая заодно исторический образ России, что, дескать, одни князья, мыслившие

прогрессивно, категориями державными, прилагали усилия к объединению земель, тогда как другие, не желавшие ничего признавать, кроме своих выгод, упорно пытались отстаивать самостийность вотчин и княжеств; неподобность сей версии столь велика и гипнотична, что на протяжении столетий никто не осмеливался даже просто усомниться в ней, тогда как если не с династических или каких-либо еще подыгрывающих клану властителей позиций, а с желанием познать истину, взглянуть на нашу историю, то однозначно можно прийти к выводу, что в действительности не было противостояния так называемых сторонников государственности и вотчинников, как не было и целенаправленной на соби́рание земель, то есть столь красиво уложенной в сие словосочетание, великокняжеской политики, завершающую точку в которой надлежало поставить Иоанну. На самом деле все происходило естественней, проще. Рюрик, явившийся к нам с братьями и «со всей русью», как сказано в летописи, и по-братски разделивший завоеванную землю на три вотчины, уже через два года владел всеми вотчинами один, да и дальнейшая история князей Рюриковичей обозначена лишь борьбой сначала за Киевский, а затем и Московский престол (на роль же Москвы, однако, претендовали и Владимир, и Суздаль, и Тверь), и, поднимая в этой борьбе меч брат на брата, сын на отца, отец на сына, вотчинники руководствовались отнюдь не нуждами общественного устройства жизни. Общественная жизнь требовала объединения, государственности, и кто знает, в каком соотношении сил встретила бы Русь татаро-монгольское нашествие, если бы на арене истории главной действующей силой выступало общественное сознание, а не власть; но, увы, правда у прошедших веков, как, впрочем, и у нынешних, иная. Разве с приходом Рюриковичей не завоевана была наша земля? И разве не из-за их княжеских амбиций россияне оказались столь разобщенными и беспомощными перед напором означенных уже восточных полчищ, и разве не за властью, предавая друг друга, ходили держатели наших земель в Орду? История страшна, темны ее страницы (да простится мне, что повторяю слова самого близкого и дорогого мне человека); но темны не наслоением веков, нет, а ложью, вернее, тем сокрытием правды, которая, будь она вовремя оглашена, позволила бы народам по-иному распорядиться своей судьбой. Тогда бы никто не придумывал за нас и нам так называемую русскую идею и не говорил бы, что жизнь француза, голландца, англичанина не для нас, а что-де у нас есть своя, обособленная, коей не поступимся и будем следовать века и суть которой заключена в том, чтобы бесправный крестьянский люд всегда бы работал на пашне, а дворянин бы барствовал, сидя у него на загривке, и рассуждал о терпеливости народного характера; мы бы осознали, что нас просто-напросто отсекают от мировых человеческих ценностей, от достижений цивилизации, и не позволили бы дурачить себя ни национальной обособленностью, ни тем более той самой русской идеей, за которой, кроме нищеты и бесправия, ничего не стоит. Я позволил себе это отступление лишь для того, чтобы все мы смогли вынести хоть какой-то урок из прожитого, и еще потому, что не только события минувших столетий, но и сиюминутная наша действительность постоянно наталкивает на мысль, что власть, власть, власть и только власть возвышается над всем и верховодит движением и что если мы хотим хоть что-то в жизни изменить к лучшему, должны думать о существовании или, вернее, об образе власти, какую хотели бы позволить над собой. А поскольку законы бытия были и остаются неизменными в отличие от государственных, принимаемых парламентами и обычно в угоду определенным слоям общества, — в малолетство ли Иоанна, к которому он так решительно теперь обращался, чтобы утвердиться в своей истине, во все ли последующие годы царствования, когда творил зло жестоко и безоглядно, они двигали и помыслами царя, и помыслами бояр, и в них и только в них следует искать главный стержень событий.

СХХV

Два могущественных клана — Бельских и Шуйских, — боровшиеся между собой в Иоанново малолетство за первенство в державе (разумеется, первенство после Великого Князя и Государя, коим в ту пору уже являлся будущий самодержец России), добываясь одной и той же призрач-

ной власти, вынуждены были на арене этой борьбы вести не просто разную, но прямо противоположную друг другу политику. Шуйские уже в силу своего характера, вернее, своей провинциальной, солдафонской, я бы назвал, неотесанности положили действовать прямолинейно, силой, полагая, что жестокостями и устрашением можно подчинить даже волю самого Иоанна, тогда как Бельские, воспитанные более по-европейски, вынуждены были противопоставить потомкам суздальских князей снисходительность и добросердечие, что как раз и должно было выгодно отличать их. Преследуя, повторяю, одну и ту же цель, — обрести как можно больше достатка, славы и власти, как будто у них по их первобоярству и в самом деле недоставало этого, — они вошли в историю не как одинаково алчные временщики, ослаблявшие своей придворной возней жизненные силы державы (потому-то и осмелел в ту пору Саип-Гирей и возобновили разбойные набеги казанцы, а если Литва и Польша пребывали в спокойствии, то лишь от дряхлости и немощности Сигизмунда), но как антиподы, привнесившие соотвественно своей деятельностью то добрые будто, то злые начала в общественную жизнь страны. Так, впрочем, все виделось и воспринималось современниками Иоанна, по сотням разных причин не имевшими возможности заглянуть в корень происходившего, а многие и ныне, уподобясь тем современникам и беря за основу не стержень, а методы, то есть ту зафиксированную летописцами фактуру, по которой только и можно достичь подобных толкований, приходят все к этому же ложному выводу, по которому поступки Бельских облагораживаются, а Шуйских очерняются. Да, к слову сказать, «поправители» истории всегда (и резов!) действуют в одном направлении, будь то позднейшие исследователи событий или очевидцы и участники их, как, впрочем, сплошь и рядом поступают нынешние наши деятели, стараясь в скороспелых книжках своих в нужное им русло направить общественную мысль; еще не успевают, как говорится, осесть пепел и дым, как совершившееся уже объявляется волеизъявлением народа, словно и не было тех иных, глубинных причин, ради которых, собственно, обычно и затевается все; но правда не на поверхности, она скрыта и за сиюминутной, и за многовековой риторикой, и — как ни старался Иоанн в своих коломенских поисках добраться до глубин истины, но внешние, юношеские впечатления, как и у всякого из нас, были настолько сильны в нем, что виденное и пережитое более вставало в картинах, в лицах, чем в тех душевных устремлениях — обретении власти, — коими направляется все. Законы памяти неисповедимы, особенно памяти подростковой, и никто с определенностью не может сказать, почему одним людям запоминается одно, а другим другое; однако есть некая закономерность в том, что дела злые помнятся сильнее и дольше, чем дела добрые, и в этом отношении Иоанн не был исключением; как собирательный образ детства (и в который уже раз в Коломенском) являлось ему во всех подробностях то страшное утро, когда бывший Смоленский воевода, боярин князь Василий Васильевич Шуйский, не сменив даже на себе обрызганные мишуриной кровью доспехи, угрожающе ввалился в детскую. Я не хотел бы, уподобясь Иоанну, вновь возвращаться к этой описанной уже роковой сцене, в которой лишь мгновения отделяли малолетнего Иоанна от небытия, хотя все происходившее тогда с живостью встает и передо мной, и я вижу лицо, глаза, руки, да, почему-то именно эти широколадонные руки «славного защитника Смоленска», как еще именовали сего первого в Думе боярина и князя, и меня тоже бросает в дрожь перед тем возможным, что готово было совершиться (разумеется, не потому, что Россия навсегда бы осталась без кровавого своего правителя; нет, ведь на место одного убитого самодержца всегда готовы явиться десять новых, а потому — нет большего на земле преступления, чем лишать человека жизни); так каково же было Иоанну возвращаться к тому ужасающему утру, когда жизнь его, в сущности, держалась на волоске, и могло бы не быть теперь ни самого Иоанна, ни Коломенского для него, ни этих воспоминаний. Он возненавидел тогда этого боярина и затем детскую ненависть перенес на всех Шуйских, видя в них только своих врагов, только заговорщиков, готовых на все, и даже физически представлял всех на одно лицо, с одинаковым злобесным взглядом, одинаковыми помыслами и с одинаково загрезбучными, широкими, как лопаты, ладонями, вроде бы для того только и приспособленными, чтобы держать меч и накидывать петли на шею.

Иоанн не помнил, как, когда, при каких обстоятельствах не стало этого страшного по впечатлениям детства боярина, — видимо, кроме межклановой борьбы существовала еще и внутриклановая, столь же нещадно уносившая свои жертвы, — и как на смену одному Шуйскому, боярину князю Василию Васильевичу, явился первым при Дворе советником другой, Иван Васильевич, еще более, казалось, высокомерный, несдержанный, грубый, не успевший, правда, пока еще, как родич-предшественник в осажденном Смоленске, совершить что-либо подобное, что устрасило бы всех, но вполне подававший уже симптомы к такой решимости. Он был пониже ростом, крижист и недалновиден, словно в подтверждение известной закономерности; мельчает правитель, мельчает и политика (что к временщикам, по-моему, особенно приложимо), и по этой своей недалновидности, совершенно не заботясь, как и что подумают о нем, почти сразу же после похорон брата, придя в Думу, занял место первого боярина, не испросив на это ни согласия Государя, ни согласия митрополита да и самих думных бояр, от расположения или нерасположения которых зависело многое. Он вошел в зал как хозяин, словно провозглашенное братом равенство в значимости с Государем считалось уже наследным, и увенчанный будто бы этим мнимым равенством, как и брат после расправы над Бельским и Мишуриным, принял за самовольство в державе. Прежде всего, разумеется, как делают это почти все временщики, таким образом приходящие к власти, он должен был позаботиться об упрочении своего положения и елико возможно заменить на влиятельных постах в державе людей прежних людьми своими (что по нынешним временам называется — решить кадровый вопрос и с чего, собственно, начинали да и продолжают начинать все наши избирающиеся правители), и первым, на кого неминуемо должен был упасть злой выбор новоиспеченного первобоярина, был митрополит Даниил. Уже по сану Первосвященника Даниил считался фигурой важной в державе, он был свободно вхож к Государю, и в самой этой беспреградной возможности общения с подраставшим правителем Шуйские усматривали для себя угрозу. К тому же Даниил был ставленником Бельских, всегда и явно, и скрытно держал их сторону, и если в день расправы над князем Иваном Бельским и дьяком Мишуриным был пощажен заговорщиками, то лишь, с одной стороны, из-за самоуверенности первобоярина князя Василия Васильевича, посчитавшего, что достаточно и того, что схвачены означенные Бельский и Мишурин, чтобы присмирели остальные, а с другой — из-за того, что смещение Первосвященника обычно бывает связано с немалыми и непредсказуемыми трудностями. Ведь действия духовенства не всегда подчинены силе, и этого-то — святительского своенравия — и опасался первобоярин. Еще тогда же, во дворе, между зачинщиками переворота братьями Шуйскими произошла ссора, младший, Иван, предлагал схватить и митрополита и отослать в заточение, и вот теперь, унаследовав будто бы место брата и его значимость в Думе, то есть получив поле для самовольства, решил не мешкать более с Даниилом. На княжеском подворье Шуйских опять начались тайные ночные застолья, на которые сходились единомышленники князя Михайла и Иван Кубенские, князь Дмитрий Палецкий, казначей Иван Третьяков (как видим, и возле государевой казны имелась у Шуйских своя рука), многие княжата, дети боярские, дворяне, новгородцы; действовали, как и положено заговорщикам, без ведома Иоанна (мал, дескать, несмышлен, как поступим, так и будет, рассуждали они), а чтобы заручиться поддержкой духовенства, начали некоторые (тайные же) сношения с видными церковными иерархами, в том числе и с набравшим тогда уже вес в духовном мире благодаря своим «Четьям-Минеям» Новгородским архиепископом Макарием. Макарий, во-первых (и опять же благодаря все тем же «Четьям...»), имел уже достаточное влияние на Иоанна и виделся в этом плане весьма важным прикрытием, и, во-вторых, как представитель Великого Новгорода в силу известной традиции новгородцев не мог не благоволить фамилии Шуйских. Оставалось только подобрать достойную замену Даниилу, и как только произнесено было приемлемое вроде бы для всех имя игумена Троицкого Сергиева монастыря Иоасафа Скрипицына, — Москва да и, казалось, вся держава застыли в ожидании новых ужасающих беззаконий.

СХХVI

Митрополита Даниила решено было брать ночью. Накануне же днем по санному морозцу в Москву были привезены Новгородский архиепископ Макарий, игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф, епископы рязанский, тверской, сарский, пермский и многие другие славные отцы Церкви, а с вечера к подворью Шуйских начали стекаться посвященные в дело княжата, дети боярские, некоторые избранные из мужей житых новгородцы, дворяне. Когда перевалило за полночь, в боярских шубах и шапках к собравшимся вышли боярин князь Иван Шуйский с родичем своим и тоже боярином князем Андреем Шуйским, князя Кубенские и князь Палицкий (один он, пожалуй, был облачен в доспехи, так как ему предстояло сразу же, в ночь, сопровождать к месту заключения схваченного Даниила); весело перешучиваясь, словно отправлялись на пир или прогулку, заговорщики-главари сели на коней и, гарцуя перед готовыми к делу шеренгами соучастников, двинулись к кремлевским митрополичьим палатам. Ночь стояла ясная, звездная, морозно хрустывал под копытами снег, кони жались друг к другу, сбиваясь и трясь боками. Сажен за сто до митрополичьих палат кавалькада остановилась. Как ни казалось всем, что дело будет простым, бескровным, легким, однако поднаревший в воинском искусстве, как, впрочем, и все Шуйские, первобоярин князь Иван Васильевич предложил действовать не с ходу, как намечалось, а прежде оцепить митрополичье гнездо, как он сказал, чтобы никто не мог выскользнуть из него, а уж потом начинать главное. Часть княжат и детей боярских кинулись по снегу оцеплять дом, князя-главари с подручными продолжали двигаться к парадному входу, и, когда уже подъезжали к крыльцу, с него, словно тараканы от зажженной свечи, прыгнули в снег два чернеца-монаха; их тут же изловили, учинили допрос и, удостоверившись, что Даниил на месте, припасенным бревном, раскачав его на руках, вышибли дверь и, неся с собой сквозняк и морозную стужу, кинулись к келье, в которой успел уже запечататься Даниил. В полном своем облачении он стоял перед иконой Богородицы, истово крестясь и прося о чуде, чтобы гонители отступились от него, когда, выломав и эту дверь, ворвались к нему с шумом и проклятьями княжата и дети боярские. Первобоярин князь Иван Шуйский, злобно выдвинувшись вперед, сорвал с Даниила его первосвятительское облачение и, уподобясь брату, как тот на площади перед тюрьмой угрожающе наезжал и теснил конем обреченного на смерть несчастного дьяка Мишурина, — плечом, грудью толкал и теснил Даниила к стене, требуя, чтобы он немедленно подписал грамоту о своем отречении. Даниил не желал подписывать, протестовал, просил образумиться, но упорство его только сильнее озлобляло Шуйского, он дал княжатам сигнал, чтобы маленько подуняли Первосвятителя да подучили бы, что ему делать, и те, рванув с Даниила уже нательное, сбили с ног и нещадно на полу продолжали толочь его, пока кто-то из бояр не крикнул, чтобы остановились, ибо и подписывать-то отречение будет некому. Княжата расступились, и перед глазами всех на полу съезженное в комок лежало немощное тело Даниила. С головы и лица волосы клочьями были выдраны, от губ к подбородку стекала кровь. О подписании отречения уже не могло быть и речи, на шею несчастному Первосвятителю надели колоду, завернули почти бездыханное тело его в какой-то старый тулуп, бросили в сани и повезли вон из Москвы. Затем забрали все, что только можно было унести из палат, предоставив сквознякам гулять по опустелому пространству, и только под утро, спохватившись, послали людей, чтобы хоть как-то, хоть с внешней стороны замести следы своего ночного разбоя.

Утром, когда открылось, что митрополит схвачен и увезен в заточение, думные бояре всполошились; одни предлагали сейчас же послать депутацию к Иоанну, другие принялись возражать, говоря, что Государь мал, а Шуйские сильны, мстительны и что не исключено, что с Иоанном было обговорено все заранее, и что не накликают бы подобным досаждением на себя беды; одним словом, как это можно наблюдать и ныне, когда над мужеством и достоинством берут верх нерешительность и трусость и не находится никого, кто бы осмелился выступить с правдой, — все только волновались, шумели, и в ожидании то ли объяснений от Государя или Шуйского, то ли обычной в таких случаях подсазки, что говорить и как

действовать, чтобы не ошибиться, готовы были принять любую ложь, которая с государственных, конечно же, высот будет подана им. И ложь эта, сочиненная заговорщиками, не заставила себя долго ждать. Явившиеся после полудня Шуйские с Кубенскими и с казначеем Третьяковым, еще возбужденные ночным успехом, начали говорить, что Даниил давно уже тяготился первосвятительством, что по немощности, по нерадению и службы-то как следует провести не мог, и что, слава Богу, надоумило удалиться в монастырскую тишину, и что, главное, церковные иерархи, оповещенные будто бы заранее Даниилом, уже съехались на Собор и размышляют между собой, кому быть на митрополии. Эта же версия была доложена и девятилетнему Иоанну, а чтобы не возникло у него сомнений, направлены были к нему епископы, игумены, архимандриты с Новгородским архиепископом Макарием, а на следующий день оповестили и народ, прошли в церквах службы, и обеспокоенный было православный российский люд, в очередной раз обманутый сочинением властолюбцев, со смирением и надеждой принялся ждать избрания нового Первосвятителя. Были и такие, кто ходил посмотреть на разграбленные митрополичьи палаты, но словам правды никто не хотел верить, так как верить в них было, во-первых, небезопасно, а во-вторых, не хотелось принимать на душу то, что обычно подвигает людей к действию. Не этими ли соображениями объясняется и нынешняя пассивность народа, позволяющего ежедневно, ежечасно обманывать себя; известно, что сила власти заключена в искусстве лжи, и остается только гадать, на сколько же столетий или тысячелетий хватит еще у простого люда терпения и веры.

Да ведь и как сказать: в эти морозные дни на глазах Иоанна да и всего народа разыграно было, по существу, историческое или, вернее, по-своему историческое для того времени событие — избирался глава православной Церкви, важнейшая в стране после Государя личность, и все, что происходило, исполнено было в духе благочестивых традиций, в обстановке торжественности и величия, словно и в самом деле не было никакого ночного разбоя и митрополит Даниил, так и не подписавший отречения, не ежился от мороза в монастырском затворе, охраняемый не столько иноками, сколько княжатами и детьми боярскими, оставленными при нем, — да, словно не было ни поруганья, ни жестокости, ни самого заговора, а творилось лишь удобное Богу и людям благое дело. Еще затемно, как это обычно и бывает при подобных торжествах, народ начал стекаться в Кремль к храму Успения. В самом же храме, в приделе Похвалы Богородицы, руководимые Новгородским архиепископом Макарием сели в ряд епископы рязанский, тверской, сарский, пермский, чтобы, «имея с собою волю и хотение остальных епископов русских», как утверждается в летописных книгах, по старинному писанию и с достоинством избрать Первосвятителя. На притязание этого сана выдвинуты были три равнозначных будто бы святителя: чудовский архимандрит Иона, игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф и новгородско-хутынский игумен Феодосий. Имена сих славных мужей Церкви были запечатлены на листах, свернуты, запечатаны и опущены в специальную торбу, которую передали Макарию, и Новгородский архиепископ, благословясь, на глазах у всех достал наугад будто бы один из листов и, распечатав, громогласно нарек митрополитом Иоасафа. Святители облегченно вздохнули, а присутствовавший на церемонии боярин князь Иван Шуйский с единомышленниками тут же заявил, что как Богу угодно, так тому и быть, и велел назначить на 9 февраля (всего лишь четыре дня отводилось на сборы) поставление избранного.

В день поставления площадь перед храмом Успения еще более была забита народом. В храме находились только избранные князья, бояре да кое-кто из дьяков и детей боярских, которым еще со времен правления Елены разрешено было быть при Думе. Иконостас, ризы, оклады, иконы в них, одежда бояр, — все, все, празднично начищенное, сияло величием и торжественностью, всюду горели свечи, и несколько услужливых молодых иноков, выбегая на паперть, оповещали народ о том, что происходило в храме. Церемония еще не начиналась, ждали Государя, и, когда он в сопровождении первобаярина князя Ивана Шуйского и думных бояр проследовал через площадь, народ, сняв шапки и притихнув, во все глаза смотрел на Иоанна, облаченного в великокняжеские одежды, слегка побледневшего (от волнения ли или от значимости события и значимости сво-

ей в нем, начавшей уже познаваться им), но спокойного, даже не по летам будто строгого, стараясь разглядеть в нем те желанные черты правителя, которые у простых людей обычно связываются с понятиями доброты, справедливости, мудрости и мужества. Но — что понимал тогда Иоанн по своей неосведомленности и молодости? Это ведь только в Коломенском все так картинно и ясно представало теперь перед ним, а тогда? Тогда — он с некоторым даже, может быть, изумлением смотрел на всю эту величественную парадность, на церковно-боярско-княжескую суету и приподнятость, с какою все вокруг говорилось и делалось, на обилие горевших свечей, блеск начищенных окладов, риз, шитых золотой нитью святительских одежд, будто святость происходившего, как и святость вообще, немислимы без богатства и роскоши и Бог отвернется от людей, как только они перестанут сопровождать свои славословия ему этой полной внешнего блеска холодной атрибутикой (разумеется, юношеские мысли Иоанна несколько отличались от этих, что привожу, но ведь простота несуразил куда видней не отягченным еще канонами и привычками жизни, чем познавшим и уже погрязшим в них), и чем больше вглядывался в эту торжественность, в эти суету и блеск, должны пробудить в нем, как и в каждом (по первородству замысла сих поставлений) нечто патриотическое, высокое, — отовсюду веяло лишь зябкость настывших кирпичных стен и каменного пола, хотя и застланного коврами и дорожками, но, как и все в храме, продолжавшего отдавать стужей, которая и проникала в душу и оседала в ней. Спустя полгода, когда Саип-Гирей, угрожая Москве, будет стоять со своим грабительским войском уже на Оке и когда события вокруг обретут совсем другой характер и другое значение, Иоанн, истово молясь в этом же храме и на этом же каменном полу, проникнется совсем иным чувством; юношескому великокняжескому сердцу его откроются понятия любви, долга, чести, он проникнется, хотя и на время, состраданием к народу и осознает величие его дел; откроется еще многое и многое, что способно даже правителей поднимать до высот человечности, но сейчас он с прозаичностью задавался вопросом: как могло случиться, что митрополит Даниил, столь по-отечески всегда приходивший к нему, не считал нужным, если уж действительно первосвятительство сделалось ему невмоготу, хотя бы сказать об этом? Иоанна охватывало то юношеское беспокойство, которое рождается не столько от неясностей дела, сколько от подозрительности, и так как происходившее в храме ничего не проясняло и не давало ответа, то и внимание сосредоточивалось не на этом красочном, на что смотрел, а на мыслях, которые не переставали занимать его. Он не слышал или почти не слышал, как дьяк, назначенный для этого, выдвинувшись перед алтарем, огласил государеву будто бы волю, что, дескать, «Великий Князь Иоанн Васильевич всея Руси со своими богомольцами, архиепископом Макарием Великого Новгорода и Пскова, с епископами, со всем освященным собором, со старцами духовными и всеми боярами избрал на митрополию духовного отца Троицкого Сергиева монастыря игумена Иоасафа и нарек его митрополитом всея России», не слышал или почти не слышал, как нареченный митрополит, предворя торжественную литургию, прочитал исповедание православной веры и обещал «соблюдать все по старине и не делать ничего по нужде ни от царя или Великого Князя, ни от князей многих, если и смертью будут грозить, приказывая что-нибудь сделать вопреки божественным и священным правилам», и как сразу же, едва Иоасаф кончил чтение, началась литургия. Сначала вел ее архиепископ Макарий, а затем, на третье «Святый боже», Иоасафа «провели в алтарь в царские двери, и архиепископ с епископами поставили его митрополитом». Иоанн очнулся, лишь когда заметил, что литургию служил уже Иоасаф, после которой ему, Государю, надлежало с поздравительной речью подойти к митрополиту и подать ему как знак Первосвятительской власти митрополичий посох.

СХХVII

У каждого человека есть непременно то, что должно востребоваться жизнью, относится ли это к способностям государственной, духовной, иной ли какой общественной деятельности, к хлеборобскому ли труду, к делам торговли, профессии мастеровых или воинской службе; деление это не

столько условное, сколько естественное, и, может быть, ни одно сообщество людей испокон не испытывало бы трудностей, если бы каждый человек сам, по своей воле и согласно со своими возможностями мог бы определять для себя историческое место, да, именно историческое, тут нет оговорок, потому что — ведь не только князья, бояре, великие и не великие, были личностями, просто одни оказались востребованными, другие — нет, вот и все; но жизнь — не идиллия, в ней все жестко, конкретно и необратимо, и все мы (опять же испокон) поставлены в одни и те же жесточайшие условия борьбы, и деревья в лесу, травы в полях и всякая на земле живность, и, наделенные разумом, творим, однако, неразумного больше, чем все остальные, живущие на планете. Было бы наивно полагать, что никто до нас не задавался подобными вопросами, главное, не мучился бы невостребованностью своих умственных и физических сил, то есть, имея дар к обустройству общественного бытия, не искал бы возможностей высвободиться из-под условностей, с одной стороны, непренной власти, а с другой — столь же непренного (пожизненного!) подчинения; под тяжестью этих неизменных и ныне обстоятельств — сколько же прекрасных мыслей, чувств, порывов души принуждено было, так и не пробившись к людям, уйти в небытие! Я не берусь судить, насколько по способностям были востребованы эпохой как личности князя Шуйские, Бельские, Глинские, Кубенские, все эти думные бояре, казначеи, дьяки, подьячи, толпой кормящиеся при Дворе, да и сам Иоанн со своим стремлением к безмерной власти; не все одинаково черно, как и одинаково бело, было в их деятельности (а, впрочем, что же теперь попрекать историю, когда в ней, видимо, только и могло быть то, что было), но что касается митрополита Иоасафа, несомненно, знавшего, что он идет на живое место, соглашаясь принять столь высокий святительский пост, исключавший уже по самому символу сей духовной власти хоть какое-либо корыстолюбие или делячество, то историческая, в общем-то, безвестность его относительно, разумеется, других церковных иерархов еще не говорит о безликости этого духовного деятеля. Ведь мир церкви, как и мир светской жизни, нельзя рассматривать лишь как некую целостную, вырвавшуюся на дрожжах православия духовность; среди святителей, как и среди мужей государственных (о простолюдниках не говорю, тут только кабала и бесправие), были личности востребованные и не востребованные временем, но если жизнь царей и придворных вельмож, иначе говоря, мирская, светская, так ли, иначе ли, пусть контурно, пусть с исправлениями и пропусками, но обозначена в исторических и художественных источниках, то жизнь духовная, жизнь Церкви с ее светлыми и мрачными страницами, с более чем шекспировскими страстями и драматизмом и более чем судьбоносной слитностью с народом, как издавна твердят нам (и что, конечно же, не могло не отразиться на нашем характере, образе мыслей и восприятии мира), — жизнь Церкви большей частью запечатлена лишь в житиях святых да монастырских исследованиях и не получила столь же достойного освещения в литературе. Мне иногда кажется, что мы стоим перед огромной нетронутой глыбой, под которой упрятано то важное, что освободило бы нас от иллюзий некой роли спасителей человечества (нравственных спасителей), предначертанной будто бы нам, некоего будто бы особого русского пути, по которому, однако, из столетия в столетие мы сползаем лишь к нищете и бесправию. Будет ли поднята когда-либо эта вековая глыба, и откроется ли нам тот полный светлых и мрачных страниц мир борьбы и противостояний — не идей, нет, не старого с новым, чем достигается лишь правдоподобие, но мир духовной борьбы и духовного противостояния личностей, положивших для себя служить Богу, но служивших людям и власти, вернее, одни — людям, другие — власти, среди которых были и востребованные, и невостребованные, навсегда унесшие с собой свои, может быть, не менее великие пастырские задатки. К подобным невостребованным личностям, пожалуй, и следует отнести нареченного митрополитом и Первосвятителем игумена Троицкого Сергиева монастыря Иоасафа.

Иноческая и предыноческая жизнь его была не так уж и темна, как это представляется нам теперь, с отдаления, хотя и не столь совпадала с теми шаблонными по житиям святых схемами, по которым будущим святителям непременно с младенчества почти приходит мысль о служении Богу, то есть мысль о спасении своем и об истязании своей плоти ради спа-

сения человечества (конечно, не столь прямолинейно и оголенно, но в обрамлении привлекательном, благородном), — нет, будущий митрополит и Первосвятитель всея России не помнил, чтобы с младенческих или, вернее, детских лет посещали его подобные мысли или желания; он рос крепким, бойким, жизнелюбивым юношей, и, кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не мор, обрушившийся тогда на Россию (ведь по нашей земле не раз прокатывались и чума, и холера, и голод); вымидали целыми деревнями, пустели посадки, города, люди имущие и неимущие, бросая все, кидались искать спасения, и весь тот зимне-весенний ужас смертей и бегства, бегства и смертей всю жизнь затем ужасающею картиной сопровождал Иоасафа. Он потерял в тот год всех: отца, мать, сестер, братьев, — дом с пристройками и живностью в них был сожжен местными мужиками, и будущий митрополит с толпой столь же обездоленных, оборванных, голодных сельчан двинулся к Москве, надеясь найти кров и защиту в белокаменном, златоглавом — сорок сороков церквей, шутка ли, да где еще есть место ближе к Богу! — стольному державном граде. Традиция эта — при всякой беде отправляться в Москву за правдой и справедливостью — до сих пор прочно живет в народе, хотя, если оглянуться на историю, не так уж и одаривала Москва свой страдальный российский люд правдой и справедливостью; оборванных, грязных, голодных стольный град не принял их, опасаясь, видимо, распространения мора: действия понятны, обоснованны, но — каково было тем, отвергнутым, кого обрекали на гибель, отобрав самую надежду на спасение, надежду, с какой всякий русский человек в минуты невыносимых тягот обращает взор на Москву? Многие не вынесли этого удара. Дальше идти было некуда, большинство так и скончалось, прислонившись к стволам берез на виду у златоглавой столицы, не менее, впрочем, как и вся Россия, страдавшей от повального мора, а те, кто еще мог держаться на ногах, двинулись искать убежище к монастырям, церквям, ко всякого рода отшельническим пещерам, возле которых и обустроивались, обращаясь надеждами уже лишь к всемилостивому и всемогущему Спасителю. Но и монастыри не могли принять всех, за стены их в переполненные кельи тоже проникал мор, и каждый почти день уносил двух, трех иноков на кладбище — с панихидным пением, панихидно опущенными глазами, с беспокойными, в окладах и ризах лицами святых покровителей-чудотворцев, скорбевших от бессилия оказать помощь молящимся о ней людям. Не в одну обитель стучался тогда и будущий митрополит. Наконец, обесилев, упал возле ворот какого-то (он не знал, что это был Троицкий Сергиев) монастыря, и более суток лежал без помощи, то приходя в сознание, то вновь теряя его, и лишь благодаря сжалившимся над ним по малолетству его инокам был отнесен в келью, обогрет, накормлен, хотя и скудно, да так затем и прижился в сей знаменитой, в общем-то, обители сначала послушником, затем иноком, а затем по своему особому усердию и благочестивости поставлен игуменом с согласия и по просьбе всей обитавшей тогда в монастыре братии. Но кротость и ординарность обительской жизни, как она обычно видится со стороны, отнюдь не означает столь же последовательную застойность жизни духовной; даже напротив — если у инока или послушника обнаруживается тяга к чтению; ведь от познания духовных книг еще шире, чем от познания светских, открывается взгляду мир вещей и понятий, объем и пространство жизни и философская связь времен и событий, вне которых нет и не может быть человеческого бытия; будущий Первосвятитель всея России, которому, впрочем, так и не удастся по краткости пребывания в сем сане ничего значительного предпринять для людей, — чем больше читал, чем пристальнее наблюдал жизнь монастырскую и жизнь мирскую, которая была вокруг и, как и монастырская, оставалась неизменной по своей кабальной (от посаженных на кормление бояр, князей, воевод и всяких иных пришлых служивых людей) зависимости, тем яснее сознавал, как две совершенно независимые друг от друга жизни, две структуры взглядов, проникая в душу, формируясь и оседающая в ней, все более начинали руководить им, с одной стороны, думами о благе вообще и благе общем, с другой — о благе личном, своем, пусть не телесном, нет, как и положено послушнику, иноку, игумену, а о духовном, но все же — своем, для себя, ибо, как сказано, нет и не может быть святости без благодати. В нем выработывалась привычка, которая затем, от условий жизни, обнаружится в народе как традици-

онная: в поступках, то есть в том, что было на виду и позволяло судить о нем как о человеке, он представлял одним, а в думах, мечтах, что могло удерживаться в тайне и как нечто сокровенное греть душу среди молчаливой молящейся братии, представлял другим, видевшим и познававшим всю страшную противоречивость и нелепость устройства жизни и готовым в самых благих целях взяться за новое и великое переустройство. Он не укорял ни в чем Бога, но укорял людей, отступивших будто бы и продолжавших отступать от начертанных Богом законов бытия, и прежде всего от законов порядочности и доброты, и, когда, уединяясь (по известному, действительно и поныне в монастырях примеру преподобных Антония и Феодосия), чтобы поусердствовать в посте и молитвах, обращался за советом и помощью к Господу, то просил его лишь об одном, чтобы сниспослал прозрение и открыл инокам, святителям, народу, что истина бытия в добре, что она неизменна и что жизнь земная хотя и преходящая, но и она не должна омрачаться ни злом, ни насилем, ни жестокостью. Да, все, все заключалось лишь в делах добрых, полагал будущий митрополит; он не затрагивал корневых основ жизни, социальных, как мы бы сказали теперь, мысли его не имели вертикальных стремлений, не углублялись в прошлое и не поднимались в будущее, а лишь широко растекались по горизонту, и в этом плоскостном восприятии вся суть преобразований, видевшаяся ему, представляла как осознание каждым изначальности закона бытия — доброты и сострадания к ближнему. Жизнь преобразится, если преобразится каждый в ней и не будет творить неправд и насилий; этой-то горизонтальностью взгляда (но все же — шаг к благополучию!) и подпитывались все его иллюзорные надежды на духовное оздоровление. Внешне он выглядел человеком благочестивым, служителем ревностным, на Соборах держался со смиренным достоинством, то есть, как мы бы охарактеризовали, производил впечатление бескорыстного, покладистого, не властолюбивого, но стойкого в основах веры служителя; как и ныне, когда мы видим, с какой легкостью получают посты люди безликие и оттесняются инициативные, способные настоять на своем, проявить характер и мужество, — именно своей будто бы бесстерженностью как раз и устраивал Иоасаф и князей Шуйских, собиравшихся управлять им, и архиепископа, епископов, игуменов и архимандритов, кои, как и мужи государственные, не любят или, вернее, не приемлют над собой жесткой власти. Но избравшиеся обманулись, они не учли, что за смиренностью показной скрывалась совсем иная и достаточно могучая сила, с которой уже по истечении нескольких месяцев, то есть почти сразу же, предстояло столкнуться прежде всего Шуйским и их сторонниками и новым, более обширным и коварно-жестоким заговором ниспровергать ее.

СХХVIII

Оттого ли, что слишком долго и терпеливо он ждал, когда пробьет его час, или, что также вполне вероятно, лишь по старости, сознавая, что у него нет почти времени, чтобы развернуться в осуществлении своих благородных, чего нельзя не признать, целей, Иоасаф еще накануне своего поставления велел приготовить осла, как говорили тогда, то есть осла, чтобы, уподобясь Христу, въезжавшему в Иерусалим, сразу же после торжеств поставления отправиться на нем сначала с благословением к Государю, а затем к народу; подобная манера величать себя, уравнивая хотя бы и косвенно со Спасителем, не была чем-то новым и неожиданным (а чуть позднее даже войдет в некую традицию, и за неимением о с л я будут коню прилаживать бутафорские ослиные уши, как было при становлении на Казанско-Свияжскую епархию архиепископа Гурия); Иоасаф если и не видел сам, то хорошо знал из многочисленных устных и записанных рассказов, как знаменитый Максим Грек, правда, в ту пору знаменитый лишь тем, что пребывал в качестве знатока и эксперта (если по-современному, чтобы понятней) по канонам и учению православной веры, — как этот прославивший затем себя на Руси проповедник пересел перед въездом в Москву на осла и в окружении греков-монахов, сопровождавших его, словно ученики Христа, явился на улицах избяной тогда еще в основном, по-северному неприглядной и тусклой, по мнению иностранцев, Москвы. Русские люди впервые тогда увидели сие диковинное, с длинными ушами, животное и с

изумлением толпой до самых митрополичьих палат следовали за невесть откуда объявившимся чудом. Но ни лавры Максима Грека прельщали теперь Иоасафа; с простодушием, на какое только и способны бывают подобные ему люди, коих судьба вдруг возносит на вершину благополучия и власти, он хотел в первый же час своего Первосвятительства дать понять всем, что если и не равен Спасителю, то по крайней мере волен и тверд в своих помыслах и делах и ни в чем, что касается основ духовности народа и веры, не позволит ни перечить себе, ни тем более управлять собой. От храма Успения до парадного входа в великокняжеский дворец не насчитывалось и ста сажен, кои проще было бы пройти пешком, чем взбираться на осла и сгружаться с него во всем торжественном митрополичьем облачении, в шубе, по длиннополости и тяжести не уступавшей боярским, да и при той полноте, в какой давно уже по игуменской сытости, покою и преклонности лет пребывал Иоасаф. Но это не смутило и не остановило его, он поднял перед собой крест с изображением распятыя и в сопровождении Макария, епископов, игуменов и архимандритов величественно двинулся из храма. Площадь между дворцом и храмом Успения все еще была заполнена народом, на колокольнях ударили благовест, и в расступившейся с обнаженными головами толпе, в живом людском коридоре подсаженный на осла и казавшийся в широченном своем зимнем одеянии куда больше, чем осел под ним, Иоасаф проследовал к великокняжескому дворцу. Осла, взяв с двух сторон под уздцы, вели государев конюший и митрополичий боярин, следом за ослом, напоминая некий крестный ход, двигались с поднятыми перед собой иконами святители; кое-кто из толпы, как это, к сожалению, принято в христианском мире, пытался дотянуться до полы митрополичьей шубы, чтобы приложиться губами к ней, то есть приложиться к святости, их сдерживали, не пускали; следом за церковниками, выказывая явную противоположность им худобой и одеждой, напоминавшей скорее лохмотья, чем нечто приличествующее даже самому бедному бедняку, ползли, скакали, прыгали на костылях юродивые, коим одним, пожалуй, только и разрешалось (относя, видимо, к святости) подобным действием нарушать величие державных торжеств; люди же, видя все это, крестились и во все глаза смотрели на осла и на Иоасафа, словно и в самом деле не больше, не меньше, как сам Спаситель с учениками явился Москве, народу, Государю.

У входа в великокняжеский дворец процессия остановилась, Иоасафу помогли слезть с осла, подали митрополичий посох, крест с изображением распятыя, и он, не оборачиваясь на продолжавшую кипеть народом площадь, шагнул в распахнувшееся перед ним дверное пространство. Нет, я не нахожу здесь ничего символического, ибо дорога во дворец никогда еще не была дорогой к народу, если бы Первосвятитель и попытался теперь кого-либо убедить в этом; да ему, собственно, и не приходила в голову подобная мысль, он хотел лишь, во-первых, угодив юному Государю, заручиться его поддержкой в будущей своей правосвятительской деятельности, и, во-вторых, что тоже представлялось не лишним, напомнить все тому же юному венценосцу о значимости духовной власти. С внешней стороны все, казалось, было строго подчинено известному церковному ритуалу, но по состоянию души Иоасаф пребывал словно бы совсем в ином мире — том, который измеряется не святостью, дарованной будто бы Богом, а простотой и естественностью человеческих чувств. Ведь в людях независимо от одежд, санов, общественного положения, духовной или государственной значимости заложены одинаковые возможности радоваться, страдать, думать о жизни, задаваясь неразрешимыми вопросами, и обет монастырского отречения от земных благ, от себя, то есть от своей воли и плоти, еще не означает, что вся духовная жизнь разом убивается в человеке; нет, наступает минута, и сквозь наслонения молитв и покаяний, сквозь все истязавшие плоть вериги и схимы вдруг, словно взрыв, пробуждаются нравственные потребности и, разгоняя мрак пережитых лишений, открывают величественный храмовый свет; и как ни старался теперь Иоасаф скрыть в себе сие греховное ликование, но — тьмы не было, а был перед глазами только этот храмовый свет, было только счастливое возвышение души, когда кажется, что все вокруг, весь мир исполнены добра, что дающая длань Божья прикоснулась и к тебе, распростершись над всем российским православным миром, и с этим-то обновленным восприятием жизни Иоасаф и

подходил теперь к детским палатам Государя. Для Иоанна же появление митрополита было неожиданным. Изрядно продрогший на холодном полу в храме Успения и успевший уже облачиться во все домашнее, — великокняжеская одежда его еще не была убрана и лежала на сафьянной лавке, — он по настоянию мамки-боярыни и под ее присмотром пил теплое молоко, только что принесенное ею, и боявшийся неожиданных гостей с того памятного утра, когда боярин князь Василий Васильевич Шуйский после расправы над дьяком Мишуриным в обрызганных кровью доспехах явился в детской, — как только скрипнула дверь, невольно (и испуганно, разумеется) прильнул к мамке-боярыне, чтобы, как и в то именно памятное утро, укрыться за ее по-матерински теплой и пухлой спиной; при этом так молитвенно-выразительно посмотрел на нее, что и она, словно бы переняв его беспокойство, двинулась было вперед, чтобы встать между входившим и опекаемым ею великокняжеским отроком, к которому, следует заметить, успела уже достаточно привязаться, но, увидев Первосвятителя, увидев, главное, его лицо, светившееся добротой и полное самых благих намерений, тут же, поклонившись, отступила назад, открыв (во всей юношеской притягательности, добавил бы я) перед Иоасафом все еще пугливо озиравшегося на мамку-боярыню Государя. В руках Иоанн держал чашку с недопитым молоком; молоко было на губах (как по той известной пословице), на подбородке, да и все безусое лицо выглядело столь по-детски застенчивым, робким, исполненным душевной чистоты и равно готовым на доверчивость и страх, что Иоасаф, как ни был далек от понятий семьи, отцовства, не мог не умилиться сим трогательным видом Государя и не проникнуться к нему той родительской лаской и теплотой, которые, несмотря на все монастырские отречения, обеты, оказывается, были живы в нем и, словно бы освободившись теперь от пут, захватили его. Может быть, именно в эти мгновения все копившиеся в Иоасафе силы добра, искавшие выхода, вся готовность творить благо, суть которого заключалась для него не в исправлении общих начал жизни (Богом положено, ему же и вольно менять все), а в том конкретном, что ближний может сделать для ближнего, и что одно только будет зачтено Господом там, на суде, — все эти копившиеся силы добра, сойдясь на Иоанне, вдруг как бы открыли Иоасафу то искомое, на чем он только и мог и должен был сосредоточить свои усилия; и хотя никакой клятвы не было произнесено, чтобы отныне и по гроб жизни служить верой и правдой этому светлому созданию (да подобное даже в мыслях было бы неприемлемо Первосвятителю), но ведь не те обеты, что закрепляются словами, а те, что принимаются сердцем, руководят затем поступками и делами людей. Как историки прошлого, так и нынешние, упоминая об Иоасафе, ограничиваются лишь констатацией, что, дескать, изменив Шуйским, давшим ему первосвятительство, и переметнувшись к Бельским и Государю, он положил начало новым кровавым боярским расправам, немало потерзавшим и ослабившим державу; но мне кажется, что Иоасаф никому и ни в чем не изменял, а просто ошиблись Шуйские, приняв этого тихого, ретивого к вере святителя не за того, кем тот был на самом деле. Часто между внешним проявлением и внутренним миром человека лежит такая непроходимая пропасть, что и после смерти он остается нераспознанным либо кумиром, либо убийцей, который разве что не выходил сам на ночную дорогу и не сек безвинных голов. Иоасаф, пораженный юношеским видом Государя (одно дело — в великокняжеском одеянии, и совсем другое — когда в домашнем), некоторое время лишь с нежностью смотрел на него, восторгаясь этим вдруг обретенным новым обликом Иоанна, и лишь после того, как справился с безмерно охватившим отцовским чувством, произнес слова благословения, но не те, что были приготовлены заранее, а те, что не могли не вырваться теперь из его расстроганной, готовой к новой деятельности души.

СХХІХ

В исторических источниках так сказано о первом дне Иоасафова первосвятительства: «Побывав у Государя, митрополит ездил на свой двор завтракать с архиепископом и епископами; после завтрака отправился опять на осле около города каменного благословлять народ и весь город, после чего обедал у себя с архиепископом и епископами». Как видим, от-

давая должное Богу, не забывали наши святители и о своем чреве, столы накрывались с более чем великокняжеской роскошью, и на фоне аскетических лиц угодников-чудотворцев, из окладов и риз смотревших на них, архиепископ, епископы да и сам митрополит со своей игуменской еще грузностью напоминали скорее довольных собою мирян, чем служителей, давших каждый по-своему обеты отречений от мирских благ и соблазнов; более трех десятков монахов с келарями прислуживали им за столом, но еще более — толклись на кухне, где готовились блюда и напитки, и лишь глубоко за полночь, когда чудовским послушникам уже надоело менять свечи, а благословленный «Спасителем на осле» московский люд досматривал третьи сны, готовясь к пробуждению и к новым своим (повседневным, вернее было бы сказать) заботам, церковные иерархи наконец разошлись по кельям-опочивальням и, разоблачившись, блаженно предалися покою. Они были под защитой Бога, их не терзала совесть; важно было только, чтобы без молитвы не садиться за стол и не вставать из-за стола без нее же, не отходить ко сну и не пробуждаться без имени Бога и без мысли о нем, что и соблюдалось ими — не по обязанности, нет, а давно уже по привычке, то есть автоматически, как мы бы сказали теперь, но с тем обманчивым впечатлением искренности, которая так ясно отражена была на лицах, но которой давно уже не было в душе. Даже богобоязненный Иоанн, будучи уже взрослым, уже царствуя (во славу народа, державы, как он, наверное, полагал), не раз замечал в своих обращениях и посланиях к отцам Церкви, что они-де не столько усердствуют в служении Господу, сколько устраивают, прикрываясь именем его и святостью, свое благополучие; он говорил об этом на Стоглаве и после, с одной стороны, преклоняясь перед духовенством, а с другой — расправляясь со многими иерархами так же, как расправлялся с боярами и народом (расправлялся именно за то и тогда, когда иерархи, как это и положено им, начинали выказывать непокорство царскому своеволию и возвышать голос Божьей справедливости); разумеется, суть подобной борьбы заключалась не в подавлении веры, не в истреблении ее евангельских основ, церковей и храмов, как положили себе вожди большевизма, захватив в нашем уже столетии власть, а лишь — в главенстве амбиций и сил, вернее, в том пастырском первенстве, на которое претендовали, как претендуют и ныне начало духовное и начало материальное, и — трудно даже предположить, когда и чем закончится этот извечный спор да и закончится ли вообще; политизируется народ, трезвеют взгляды, но не стихает борьба, выплеснувшаяся из дворцовых стен на простор державы и уносящая в небытие все новые и новые жертвы. Но сколь ни страшна жизнь, предстающая в обобщениях, реальность ее такова, что все в ней как было, так и остается незабываемым, благие пожелания и призывы образумиться, кем бы ни произносились, повисают в воздухе, и некогда установленный уклад жизни — стихией ли разума или безумия, что ближе к истине, волей ли Божьей, — словно клетка с невидимыми и непреодолимыми стенами, держит мирян в мирских, а церковников в церковных ограничениях. Для каждого поколения действительность — это смиренная рубашка, и нет на ней более крепких узлов, чем узлы устоявшихся традиций, к какой бы сфере деятельности они ни относились; помыслы чисты лишь изначально, но значение чинов, званий, духовного сана всегда оказывается куда выше любых помыслов, и с явлением нового митрополита или епископа ни в митрополии, ни в епископии не только не происходит каких-либо существенных перемен, которые затронули бы бессмертную основу власти, но и в житейском плане уже спустя неделю или месяц все возвращается в первоначальное и привычное русло удобств, достатка, славы и почитания.

Так и не сумевший оправиться от волнений дня и застолий, разбуженный затемно, вялый и недоспавший Иоасаф сам в присутствии юного Государя служил заутреню. Обилие горевших у алтаря и перед иконостасом свечей, блеск окладов, риз и лики святых в этом обрамляющем блеске — все это создавало впечатление непрерывности торжества, начавшегося еще накануне утром. Храм Успения вновь был полон высокочтимых прихожан; думные и не думные бояре, чины придворные и духовные, среди которых, как и во время поставления, заметно выделялась фигура Новгородского архиепископа Макария, — все, казалось, были не просто поглощены торжественностью минуты, но, словно бы находя в этой торжествен-

ности некое Божье предзнаменование, укреплялись надеждой, что наконец-то отныне в державе наступит спокойствие и русскому люду откроются врата для добрых дел. Да много ли надо человеку, народу для веры: глоток подслащенной лжи, чуточку воображения, — ведь жаждет обмана не только простой люд, но жаждет его и интеллигенция, как бы и в каком веке ни называлась; и покидавшие храм были в умилении, говорили, что даже боярин князь Иван Шуйский уступил от щедрот то ли благородства, то ли снисходительности дорогу боярину князю Дмитрию Бельскому и что будто бы Иоанн, сразу же после заутрени уложенный мамкой-боярыней досыпать в свою детскую великокняжескую постель, — что даже он высказал удовлетворение службой новонареченного Первосвятителя. Затем, после завтрака, на котором опять прислуживали чудовские послужники и чернецы, начался столь же торжественный отъезд гостей-святителей по епархиям и монастырям. Первым отъезжал Новгородский архиепископ Макарий. Его крытая санная кибитка, запряженная тройкой цугом, два его боярина, облаченные в доспехи, несколько новгородских духовников и мужиков житых, тоже облаченных в доспехи и восседавших на конях, давно уже наготове стояли у митрополичьего двора, поджидая владыку. Несмотря на то, что мороз, ударивший еще с полуночи, к утру усилился настолько, что, казалось, даже при неподвижности все кругом отдавалось жестким снежным хрустом, несмотря, главное, на то, что и кони, и люди, и архиепископская кибитка от полога до черной холщовой крыши были покрыты сизым игольчатым инеем, — никто не выказывал нетерпения, не роптал, даже из тех, кто от монастырей и церквей был послан на сии торжественные проводы. Провожали как будто бы не просто архиепископа, известного уже своими первыми книгами из ставших затем знаменитыми «Четей-Миней», но словно бы влиятельнейшего (в самом скором времени) церковного иерарха, чье первосвятительство счастливо совпадет с десятилетием мирного Иоаннова правления и кому выпадет честь венчать на царство, а затем и на супружество грозного российского самодержца. Разумеется, никто не произносил этого вслух, но по какому-то странному, а может, вовсе и не странному предчувствию одна и та же эта мысль охватывала всех и вызывала угодничество; подталкиваемый, видимо, этими же соображениями Иоасаф прошел вместе с Макарием до ворот и, трижды обняв и благословив Новгородского архиепископа, недвижно стоял затем, пока кибитка не скрылась из вида.

Епископы, архимандриты, игумены отбывали уже с меньшими почестями. Одна за одной подъезжали заиндевелые епископские кибитки к митрополичьему двору, главы епархий поднимались в палаты к Первосвятителю и награжденные коротким разговором и осененные крестом удалялись и отбывали; игуменам же и архимандритам Иоасаф давал лишь целовать руку и, принимая от них поклоны и в поклонах же благословляя их, под конец начал тяготиться и этим, что ждали от него святители и чем он не мог обделить их; оставшись затем один в настывшей после проводов палате, он велел подтопить печь и, облегченно вздохнув, прилег да и так и заснул, не раздеваясь, во всем своем торжественном святительском облачении, пока не явился к нему посланный от Государя и не объявил, что Государь был бы рад видеть его за вечерней трапезой и чаем. Вот так, не успев еще остыть от торжеств поставления и осмотреться в своем новом значении, Иоасаф должен был войти в ту придворную жизнь, в которой предстояло ему отныне проводить дни и ночи, лавируя меж нестихающих интриг, мстительных ударов и зависти. Заутрени, обедни, службы вечерние и службы торжественные, беседы с Государем, стояния в Думе во время государственных актов, разбирательства тяжб церковных, монастырских и услаждение между этими неизменными делами своей старческой плоти едой и сном, — весь этот издавна заведенный уклад митрополичьей жизни, сдобренный достатком и почестями, уже спустя лишь несколько недель представлялся Иоасафу вполне добропорядочным, привычным, он не замечал неудобств и не помышлял о введении хоть каких-либо новшеств.

СXXX

Но затишье при Дворе, как вскоре стало очевидным для Иоасафа, было всего лишь застенным. Шуйские, окончательно уверовавшие в безнаказанность и силу, держались теперь и с Государем, и среди думных бояр

так, словно, кроме них, не было в державе никого, кто по правам на власть сравнился бы с ними. Вместе с казначеем Иваном Третьяковым, который считался у них своим человеком, распоряжались государевой казной как своей, всюду старались поставить людей верных себе и притесняли сторонников Бельских, заточая их по монастырям и темницам и деля богатства их между собой. Из трех братьев Бельских только старший, Дмитрий, оставался на свободе. Но он (большей частью от трусости, видимо) не хотел ни во что вмешиваться. Средний брат, князь Иван, вторично посаженный Шуйскими, хотя и негодовал на несправедливость и рвался в душе к месту, но окопы и каменные, без окон, стены превращали его лишь в безгласное, мечущееся в бессилии существо. Третий же, князь Симеон, домогавшийся себе во владение Рязанского княжества и сосланный при Василии III в монастырь, еще в правление Елены бежал из монастыря в Литву и, грозясь явиться оттуда с войском на Русь, этой зимой, по слухам, переметнулся в Крым к хану Саип-Гирею с недобрыми, конечно, как надо было полагать, целями. Иоасаф также видел, что разбойная деятельность потомков суздальских князей не ограничивалась пределами великокняжеского Двора; она распространялась далеко за кремлевские стены, оборачиваясь непосильными с крестьян, посадских людей и мастеровых поборами, и толпы разоренных подобным притеснением россиян двинулись по дорогам, учиняя уже свои грабежи и разбои; к ним присоединялись бежавшие из полков ратники, некоторые дети боярские, и к Иоасафу почти из всех епархий приходили тревожные вести о самочинствах, бунтах, поджогах, словно на Россию вновь надвигались смутные времена. Вскоре через людскую молву начали докатываться более зловещие известия, что будто бы заворошились казанцы и крымцы (не без усилий, видимо, князя Симеона, переметнувшегося к ним); воинственные толпы сих басурманских полчищ всегда при ослаблении России набрасывались на нее, так что с наступлением теплых весенних дней следовало и с их стороны ожидать крупных разбойных действий. Но постичь события в той государственной значимости, с какой надвигались они, Иоасаф не мог; ему не по силам было широким обобщенным взглядом охватить происходившее, тем более не по силам было понять той главной социальной причины, вернее, той несправедливости устройства общественной жизни, при которой, как и теперь, всесилию пастырей противостоят лишь робость, покорность и безмолвие масс, и потому беспокойство за судьбу государства выливалось в беспокойство за судьбу Государя, теперь особенно нуждавшегося в защите и помощи. Мысли Иоасафа опять и опять возвращались к подвигу добра, к которому, казалось, всю свою иноческую, а затем игуменскую жизнь он готовил себя и который виделся ему не в проявлениях общих, а в проявлениях конкретных, как помощь ближнему, и суть этого угодно Богу деяния, то есть суть человеческого бытия, обретая конкретные очертания, как раз и подвигала к решительным мерам. Устраиваясь после трудов церковных или сытной митрополичьей трапезы на сафьянной скамье, чтобы предаться отдохновению и покою, он предавался, однако, не отдыху, а всей той же мучительной работе души, временами чувствуя в себе ту же готовность, с какой, не задумываясь, человек способен иногда броситься в горящий дом на крик ребенка. Все чаще и чаще Иоасафу и в самом деле мнилось по живости святительского воображения, что некий злобный огонь уже проник в палаты Государя и вот-вот начнет лизать его юное тело, и картина представляла в такой реальности, что он вскакивал со скамьи и принимался оглядываться, будто и впрямь откуда-то тянуло теплом и гарью. Но гарью пахло не в его опочивальне, а в державе, и, словно пробуждаясь и осозная это, Иоасаф опять погружался в раздумья о государевом сиротстве, беззащитности и необходимости заступиться за него. Но, чтобы выработать хоть какой-либо план действий, надо было уединиться. Будучи еще игуменом, он не раз по примеру преподобного Феодосия Печерского на неделю, на две уходил в затворничество, чтобы, истощив строгим постом тело, молитвенным покаянием очиститься и обновиться душой; и хотя Первосвятителю всея России не с руки было удаляться на подобное действие (ведь затворничество требовалось объяснить), но Иоасаф не мог не поддаться сему, несомненно, угодно Богу искушению и с первой весенней капелью, оставив на время первосвятительские дела, затворился в одной из келий кремлевского Чудова монастыря. К нему никто не входил;

лишь через окошечко в двери подавались питье и хлеб, и в этой-то маленькой, чуланного типа келье, куда не проникали ни свет, ни звуки, перед ликом Пресвятой Богородицы — во все времена самой чтимой у нас на Руси иконы — и ликом святого угодника-чудотворца Петра Митрополита, покровителя и заступника великокняжеского рода и трона, при одной тускло горевшей перед этими ликами свече Иоасаф как раз и провел те несколько дней (в воздержании и молитвах, как объявил по выходе Государю и святителям), после которых, словно бы и впрямь прозрев и очистившись, приступил к делу. Конечно, теперь трудно сказать, насколько митрополит осознавал рискованность своего предприятия и на что надеялся, не имея, в сущности, ни опоры, ни средств к осуществлению замысла (ведь известно, что в случае ошибки или оплошности еще никому и ничто не прощалось при Дворах), — в грузной старческой плоти его, согретой первосвятительскими одеждами, обнаружилось, однако, столько проворства и живости, что как и современникам, так и нам, на столетия отстоящим от тех давних событий, непросто поверить, что Иоасаф действовал в одиночку, полагаясь лишь на Бога и на себя. Но, может быть, подъем сил духовных, как, впрочем, и сил физических и в самом деле зависит от благородства целей, какие человек ставит перед собой? Во всяком случае, Иоасаф был неуправляем, он не то чтобы рисковал, но в риске этом видел венец своих жизненных устремлений, и, если бы хоть кто-либо из Шуйских, знай они о его замыслах, пригрозил бы ему сейчас, митрополит все равно не отказался бы от своего шага. Для того, чтобы унять самоуправство Шуйских, он понимал, что следовало прежде всего вызволить из заточения боярина князя Ивана Бельского. Только он, объединив вокруг себя сторонников Государя, мог противостоять могущественному клану потомков суздальских князей. Иоасаф не стал хитрить, нет, он только дождался случая, чтобы остаться наедине с Государем, и — не прошло и недели, как в руках у него была уже подписанная Иоанном грамота об освобождении князя Ивана Бельского и оставалось только скрытно от Шуйских, чтобы не упредили ни в чем, отправить за ним людей и подвод. Сделать это вернее всего было ночью. Выждав, пока после весенней распутицы установятся дороги, Иоасаф наконец велел готовить лошадей и повозки в путь.

СXXXI

Теперь в Коломенском, вспоминая об этих событиях, Иоанн представлял их совсем не так, как они происходили на самом деле. Его не интересовали ни их глубина и масштабность, ни те ужасающие начала, какие обычно бывают заложены в дворцовых усобицах, переворотах и заговорах, ни судьбы участников, как все сложилось для князей Шуйского и Бельского и митрополита Иоасафа, коих постигли кара и смерть, то есть, говоря обобщенно, не государственная значимость, а лишь то, что относилось лично к нему, Иоанну, и могло подтвердить или укрепить, что вернее, правоту его убеждений и действий. Он обращался лишь к двум эпизодам: к подписанию грамоты, когда митрополит Иоасаф после многодневного своего затворничества явился с разговором и с этой грамотой о помиловании князя Ивана Бельского, и к моменту, когда привезенного в Москву помилованного князя, не дав ему даже как следует отдохнуть и осмотреться, привели во дворец, где уже были собраны думные бояре, и с повеления Государя, как было объявлено, посадили рядом с князем Иваном Шуйским на перво боярском месте. Воображение настолько живо переносило Иоанна в те дни, когда осуществлялся этот маленький, задуманный в пользу Государя и державы митрополитом Иоасафом дворцовый переворот (разумеется, значение его куда больше, чем о том полагают историки), что он вновь словно бы с высоты трона, на котором сидел тогда, видел бледного после темницы, смущенно оглядывавшегося на бояр князя Ивана Бельского и налитое гневом лицо князя Ивана Шуйского, который, застигнутый врасплох и не находивший что сказать, только и смог, что, уподобившись родичу своему, спасителю Смоленска перво боярину князю Василию Васильевичу, встать и с некой гордостью, будто бросал вызов юному Государю, покинуть Думу. Но ни в те минуты, ни теперь, когда все в красках и деталях лишь повторялось перед могущественным царем, каким несмотря на свое мнимое отречение все же сознавал себя здесь, в Коломенском, Иоанн не возмутился, не вспых-

нул гневом; в нем происходило то возмужание, когда страх бессилия сменяется в подростке осознанием силы и духовного превосходства, а желание мести — удовлетворением от исполнения ее, и это-то удовлетворение, как исток будущего садизма, как торжество зла, обряженное в тогу торжествующей истины, выставлялось Иоанном на передний план и волновало его. «Вот как оно было», — говорил он, вскидывая взгляд на кресло, в котором то появлялся, когда особенно хотелось этого Иоанну, то исчезал, таял иерей Сильвестр. Иоанну казалось, что он думал о державе; но он, как последний портняжка, думал лишь о себе, сообразуясь разве что не с проблемой добычи хлеба насущного, а с нуждами трона и власти, и сколь ни была для него очевидной подобная подмена понятий, однако, ведь и царь слаб, ибо — человек, хотя и мнится помазанником Божиим, и — столь же груб, гол, невоздержан и прост в своих монаршских страстях, как и всякий смертный, отягченный заботами повседневной жизни. Он радовался не тому, что познал корень народных бед, но тому, что в споре с Сильвестром был чист и светел перед ним; не он, Иоанн, начинал неправды и зло, а бояре, и потому — не у него руки в крови, тем более с малолетства; ведь правда истории не в том, как видят ее другие, а в том, как видит ее он, Иоанн, и если это не убеждает иерея Сильвестра, то тут уж не его, самодержца, вина. Ночь, тишина, горящие светильники, тоскующая в своей опочивальне Мария, архимандрит Левкий, борющийся со сном в передней, — этот глухой, замкнутый дворцовый мир, в котором томился, иначе не скажешь, именно томился Иоанн, как ни казалось, что заключал в себе мощь, ущерб и славу державы, оставался, однако, лишь обычным, хотя в позолоте и роскоши, притоном низменных человеческих страстей и целей.

Конечно, получив в малолетстве державу и не в состоянии по этому как раз своему малолетству управлять ею, Иоанн не мог отвечать за происходившее в ней; правили бояре, самовластно, хотя будто и волею Государя распоряжаясь в ней, но — простой констатацией фактов не оправдываются деяния; вместо тех размышлений и воспоминаний, в которых все, все, даже малейшее событие, должно не иначе как вращаться вокруг государевой личности и государевых забот и дел (но правитель — не держава!), — Иоанн, если бы он действительно воплощал в себе идеал царя православного, как идеал этот по вековой надежде на справедливость виделся народу, должен был бы прежде всего подумать не о себе, а о том реальном положении дел в державе, каковыми они на самом деле были в годы правления бояр, особенно правления Шуйских, а не выискивать оправдание той дороге тиранства, по которой, выбрав ее по безграничности своего властолюбия, намеревался пойти, устелив обочины трупами виновных и безвинных бояр и простолюдинов. Народ, придавленный тяготами жизни, вправе был ожидать от него этого. Но, как и ныне, ни за кремлевскими стенами, ни в стенах Коломенского дворца, в которых, повторюсь, тяготился своей царской участью Иоанн, не возникало подобных благих намерений; нужды народной жизни — да сравнимы ли они с властолюбием и озбоченностью царей? Между тем были и тогда, хотя и не во дворцах, государственные мужи, которые думали и о народе, и о державе и в тесных монастырских каморках с коптящимися светильниками на столах, смирясь с убожеством одежд и жизни (да и что может бесправный, обобранный до нитки простолюдин?), но не упав духом, во всей достоверности писали для нас драматическую историю России. Они, не имевшие позолоченных хором и потому свободные от корней и древа насилия, не менее мучились душой и истощались плотью, заноса на бумагу надежды и боль людей, и свидетельствами сих безвестных очевидцев мне и хотелось бы теперь восполнить то, что по царской ограниченности Иоаннова воображения могло остаться за пределами повествования. О боярах Шуйских в летописях сказано, что они, разоряя поборами не только посады, города, деревни, но и монастыри, действовали «с лютостью монгольских хищников». Будучи наместниками в Пскове, боярин князь Андрей Шуйский (запомним, пик его злобесных деяний в Кремле и час ужасающей расплаты еще впереди) и князь Василий Репнин-Оболенский «свиристествовали, как львы»; они, как далее говорится об этих князьях, «не только угнетали земледельцев, горожан беззаконными налогами, вымышляли преступления, ободряли лживых доносителей, возбуждали дела старые, требовали даров от богатых, безденежной работы от бедных», но искали до-

бычи у игуменов и иноков, словно нехристи, явившиеся на русской земле. В Кремле, пребывая в трусости, государева боярская дума вновь и вновь посылала дары царю Казанскому и хану Крымскому, то есть, имея силы для обороны, но не желая рисковать своим покоем и достатком, стремилась лишь откупиться сим непристойным ни для какого народа способом. Но крымцы и казанцы, принимая дары, не успокаивались, а требовали новых и новых; два года сряду, как замечает летописец, казанцы беспрестанно злодействовали в окрестностях Нижнего, Балахны, Мурома, Шуи, Юрьевца, Костромы, Кинешмы, Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды, Вятки, Перми. Тот же безымянный летописец полагал, что бедствие сие несравнимо было даже с нашествием Батые. Вот подлинная его запись: «Батый протек молниєю русскую землю; казанцы же не выходили из ее пределов и лили кровь христиан как воду. Беззащитные укрывались в лесах и пещерах; места бывших селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел, пили из святых сосудов, обдирали иконы для украшения жен своих усерзиями и монистами; сыпали горящие уголья в сапоги инокам и заставляли их плясать; оскверняли юных монахинь; кого не брали в плен, тем выкалывали глаза, отрезали уши, нос; отсекали руки, ноги и — что всего ужаснее — многих приводили в свою веру, а сии несчастные сами гнали христиан как лютые враги их. Пищу не по слуху, но виденное мною, о чем никогда забыть не могу». Защитники Иоаннова правления вправе сказать, что именно он, Иоанн, взял Казань и положил предел разбойным набегам; но точно так же и мы вправе сказать, обращаясь к его коломенским раздумьям, что после них-то и введена была опричнина, то есть в основу государственной политики положен был геноцид против своего же народа, словно мало было на этот народ казанцев и крымцев; опричнине, этому страшному над всем и вся в державе тиранству, будет еще достаточно отведено места в повествовании как явлению куда более бедственному (и устойчивому!), чем иго орды или набеги заволжских и южных племен, но — исток этого и поныне не преодоленного геноцида хотя и считается, что закладывался в Коломенском, то есть как раз в эти бессонные ночи, когда в мучительных спорах с Сильвестром Иоанн одерживал верх и над иереем, и над собой, и над здравым смыслом и человечностью, как основой бытия, однако без накопления определенной массы, определенных причин нет и не может быть взрыва, тем более социального, и поиски этих причин невольно заставляют меня вновь и вновь возвращаться к тем изначальным событиям, как они виделись Иоанну, искавшему в них свою истину, и как все происходило на самом деле, судьбоносно отразась затем и на делах державы, и на духовном становлении подраставшего великокняжеского отрока.

СХХХII

В стане Саип-Гирея, в Крыму, еще задолго до поставления Иоасафа митрополитом и Первосвятителем начались приготовления к походу на Русь. Бежавший к хану князь Симеон Бельский настойчиво убеждал вороватого правителя, что, дескать, Государь в Москве мал, бояре и воеводы враждуют между собой, войска нет, а те полки, что были, распущены и собирать их некому и что грех не воспользоваться этим и не повоевать города, захватив полон и богатства. У Симеона, конечно же, была и своя цель: вместо княжества Рязанского, на которое претендовал, он мог получить теперь великокняжеский стол и царский титул (воистину аппетит приходит во время еды), и предвкушение сей державной значимости и славы поднимало в нем дух воинственности, словно не с предательством на отечество, а с некоей будто спасительной миссией готовился вступить в пределы Москвы. Одетый по-басурмански в шелка и бархат, чтобы не выделяться среди ханских вельмож, а, главное, подчеркнуть свою преданность хану, Симеон помогал собирать вражеские полки, открывал воеводам их секреты русского воинства, не понимая или, вернее, не желая понимать (в подобном состоянии люди обычно гонят прочь дурные мысли), на какие проклятия обрекал себя; распорядившись судьбой своей, он, в сущности, решал и судьбу братьев Дмитрия и Ивана, которым и без того нелегко было противостоять Шуйским, и чтобы не мучиться сим страшным

(двойным) предательством, пытался заглушить его удалью; удалью от безысходности, от тупика, в который загонял себя, отрезая путь к примирению с отечеством и обретая в ясных очертаниях лишь одно — неотвратимость возмездия и смерть. Однако, если оглянуться на нашу историю, то без труда можно обнаружить нечто даже традиционное в действиях князя Симеона; сколько раз мономаховичи, ольговичи, ярославичи, мстиславичи, ростиславичи, изяславичи, чтобы добыть стол для княжения — не Киевский даже, нет, а Черниговский или Переяславский, скажем, — приводили с собой толпы печенегов, половцев, торок, берендеев (в народе их называли черными клобуками), отдавая на разграбление русские города, волости, а православный люд обрекая на полон и рабство; история наша столь изобилует подобными междоусобными сечами, что, кажется, народ уже ничем нельзя удивить; проклятие — лишь звук, слетающий с уст поколений, и могильный прах утомленных в сечах князей не способен воспринять его; мертвые сраму не имут, тогда как наслаждение властью есть жизнь, и, видимо, совершенно неважно, какой низостью и кровью бывает добыто подобное наслаждение. Так что удивляться следует не предательству Симеона, а скорее терпению народа, который и ныне готов держать над собой лидеров, ищущих авторитет и силу для подкрепления власти в любом другом государстве, но только не у себя в стране.

Из Крыма шли сношения с Казанью и с турецким султаном. От казанцев требовали дерзких вспомогательных действий, от султана — войск, оружия, дружину с «огнестрельным снарядом», то есть с пушкой. Кроме того, призывались толпы степняков из Ногайских улусов, из Астрахани, Кафы, Азова; в общей сложности несметное воинство должно было встать под стяги Саип-Гирея, и ожидали только наступления весны, чтобы двинуться в поход. Замысел же свой старались пока держать в тайне. В Москве ханский посол Тагалдый продолжал льстиво заверять государевых думных бояр в миролюбии; посол Иоаннов, князь Александр Кашин, находившийся в Тавриде, тоже не подавал никаких настораживающих известий — то ли от небрежения к службе, что и ныне замечается за высокопоставленными государственными мужами, выезжающими с поручениями за кордон, то ли от неумения разглядеть и понять происходившее у него на глазах; но тайна не могла долго оставаться тайной, в народе всегда найдется человек, который и разглядит, и поймет все, так что вслед за слухами, с зимы начавшими распространяться по Москве, что Гирей-де, замышляет что-то, явилось если и не официальное, то, во всяком случае, вполне достоверное сообщение о приготовлениях хана. Принес его очевидец, бежавший из крымского плена (произошло это как раз накануне Иоасафова затворничества), но бояре, выслушав рассказчика, не сразу поверили ему; раздалися даже голоса, что не допросить ли его с пристрастием, вздернув на дыбу, но затем здравый рассудок возобладал над жестокостью, крымского пленника лишь заточили на время в темницу, чтобы не возбуждал народ, а в Путивль к наместнику Федору Плещееву поскакал гонец с повелением направить в степь усиленные заставы и обо всем замеченном тотчас оповестить Москву. Но, как известно, на всякое дело, чтобы исполнить его, требуется время; пока гонец добирался до Путивля и пока затем наместник, сообразовавшись с повелением и со своими возможностями, собрал и направил заставы, бояре в Москве (о Государе не говорю, беспечность его обусловлена его же летами), удовлетворившись принятыми мерами, продолжали благодушествовать, более заботясь, как и всегда, об устройстве дел своих, чем дел державных; Шуйские упивались самоуправством, Иоасаф затворнически молился, истощая плоть и возвышая душу, как он думал, будто подобными усилиями и в самом деле можно было хоть что-то изменить к лучшему, и над всем, казалось, нависало затишье, как перед грозой, когда небо еще чисто, светит солнце, но предчувствие надвигающейся стихии уже берedit душу и заставляet посматривать то на замаячившие на горизонте облака, то вокруг себя, на людей, словно в поведении их заложена истина; подобная неопределенность как раз и склоняла россиян к бездеятельности — той, порочной, за которую приходилось затем всегда расплачиваться народу, его призывали на защиту земли, лучшие сыны его складывали головы в сечах, пустили крестьянские дома, сиротами наполнялись монастыри, христианскими невольниками — восточные работорговые базары; может, это-то и виделось молив-

шесюся в затворничестве Иоасафу, и никто при Дворе не ждал так вестей из Путивля, как он.

Между тем посланные в степь заставы, полагая, что крымцев следует искать на подступах к границам державы, не то чтобы разминулись с Саип-Гиреем, но наткнулись на следы только что прошедших несметных — сто тысяч и больше, как доложили затем наместнику Плещееву, — войск. Зазеленевшая весенняя степь, успевшая уже покрыться разноцветьем, казалась вспаханной от бесчисленного количества протопанных по ней конских и людских ног, проехавших арб и повозок, а там, где полчища этих диких воинов останавливались на ночлег или на день, чтобы дать передохнуть лошадям и людям, видны были пепелища остывших костров, следы от ханского шатра, юрт, очагов и прочей и прочей человеческой деятельности, сопутствующей подобным походам. Вокруг стоянок на много верст зияли, словно пролысины, конские потравы, по которым тоже можно было судить о количестве конников в войсках Саип-Гирея. Но наместник Плещеев, так как он отвечал за достоверность сведений, выслушав донесения и усомнившись в их правдивости (традиция, не изжившая себя и до наших времен), решил сам поехать и посмотреть все, на что, разумеется, ушло несколько дней; примчавшись затем в Путивль, тут же, в ночь, отправил гонца в Москву, а лазутчиков в степь, чтобы, догнав Саип-Гирея, скрытно следили бы за движением его войск. Крымский хан спешил, как спешит всякий, выходящий на подобное разбойное дело; но и как всякий, причастный к разбойным делам, не в силах был не поживиться тем, что подворачивалось на пути и могло быть взято. Перейдя Дон и увидев перед собой Зарайск, он приступил было к городу, рискуя потерять время и темп, но, не сумев взять его с ходу благодаря мужеству воеводы Назара Глебова и стойкости осажденных, не рискнул более недели оставаться под его стенами и, сняв осаду, опять спешным порядком двинулся напрямик на Москву.

СХХХІІІ

Чтобы успешно завершить дело, мало только хорошо замыслить его; необходимо еще, чтобы оно сопровождалось определенным везением, то есть чтобы вокруг него возникали те счастливо сопутствующие случайности, от которых подчас как раз и зависит весь исход предприятия. Митрополита Иоасафа в этом отношении можно было бы считать человеком более чем везучим; и хотя сам он не признавал никакого везения, а все приписывал лишь своему затворническому усердию, молитвам, которым внял Господь Бог, но так ли, иначе ли, а нараставшие в разных местах события — при Дворе Иоанна и в стане Саип-Гирея — должны были в какой-то день и час сойтись, как линии пирамид сходятся к их вершинам, столкнуться и, изменив пусть не исторически, пусть на время привычный ход жизни в державе, пробудить людей к иной, чем только что была у них, деятельности. И в самом деле еще неизвестно, чем обернулось бы все для Иоасафа, Государя, а главное, для возвращенного из заточения ко Двору боярина князя Ивана Бельского, если бы в день представления его в думе, когда возмущенный первобоярин князь Иван Шуйский с советниками вызывающе покинул зал, не прибыл бы гонец из Путивля от наместника Федора Плещеева и не сообщил бы ужасающую весть о стремительном движении крымских полчищ к Москве. На подворье Шуйских к этому часу уже собирались дети боярские и ратники, готовые вновь, как проделали это с митрополитом Даниилом, пойти в ночь к Иоасафу, побить его людей и пограбить его палаты. Столь же решительно были настроены и князь-единомышленники, сидевшие в доме первобоярина князя Ивана Шуйского. Многие из них, успев уже по-походному облачиться в доспехи и горячь от избытка воинственности, предлагали не только схватить Иоасафа и отстранить его от Первосвятительства, но и двинуться к князю Ивану Бельскому, чтобы, если не убить сразу, то, заковав, отправить в монастырь и там, в келье, удавить, не оставив ни духа от него, ни тела. Иван Бельский по родству с Государем представлялся им особенно страшным; не физической силой, коей не отличался по природной низкорослости, не умом или добрыми делами, так ли, иначе ли значившимися за ним и которых не признавали Шуйские, но сближением с юным Государем и влиянием

на него. Государь взрослел, и нетрудно было предугадать, чем могло для Шуйских завершиться подобное сближение. Первобоярин князь Иван Шуйский, тоже воинственно облаченный в доспехи и переполненный решимостью пресечь «зло», пока оно не укрепилось и не разрослось, держался, однако, более умеренно и предлагал прежде сообразоваться с обстоятельствами. Ведь и на той стороне не дремлют, и не послать ли сперва за житыми новгородскими мужиками да за архимандритом из Новгорода же Макарием? Он опасался, что духовенство, простившее ему отстранение Даниила, могло воспротивиться и возбудить народ. Князья Кубенские, Пронские, казначей Иван Третьяков готовы были согласиться с князем Иваном, так как доводы его казались им убедительными, но князь Андрей не хотел ничего слышать; Иоасаф предал дело и должен понести кару, настаивал он, между братьями вот-вот могло дойти до мечей, когда вбежал один из служивых княжичей и доложил, что из Путивля пришло Государю подтверждение, что крымцы несметным войском идут на Москву и что Государь повелел всем теперь же быть в думе. Известие было настолько ошеломляющим, что князей будто подменили; словно на их игорный стол легла прежде неведомая им козырная карта, которая перекрыла все. Это ведь только кажется нам, что в мире есть постоянство, особенно в мире человеческих страстей и мыслей; нет, и мысли, и чувства человека столь же скоротечны, как и сама жизнь, и столь же подвержены переменам, как и все земное и неземное, окружающее нас. Гнев Шуйских (вкуче с сообщниками, разумеется), носивший личный характер, должен был замениться более значительным — за державу, за русскую землю, как говорили тогда, на которой жили, которую создавали и защищали их отцы, деды, прадеды и в которой, гордясь боярством и дорожа им, должны были ощутить себя теперь частью народа с его историей, традициями, настоящим и будущим. Может быть, сама возможность подобного соединения понятий кому-то покажется ложной, потому что, как любят у нас утверждать сегодня, для человека нет будто бы ничего дороже и выше, чем интерес личности и семьи; но факты истории — они повествуют о другом; даже Иоанн, сей не знавший предела тиранству самодержец, — даже он, бывали минуты, проникался высшим национальным чувством и выступал не как разоритель, но как покровитель и защитник отечества. Такая минута как раз и выпала теперь Шуйским, и у них не было выбора, кроме как принять то, что преподносила им реалистическая суровость жизни и, покинув поле придворных междоусобных сеч, схватиться с врагом истинным, посмевающимся посягнуть на их общее благо.

В тронном зале, когда Шуйские явились туда, почти все думные бояре были в сборе. Они сидели вдоль стен друг против друга — мрачные, молчаливые, положив бороды поверх боярских одеяний, и встревоженное состояние их, отражавшееся на лицах, словно бы тенью стекало по бородам к полу и, наполняясь холодом каменных плит, поднималось и витало, как сгусток незримых, тяжело надвигавшихся на державу бед. Свечи были уже зажжены. Особенно во множестве они горели у трона, высвечивая немую пока еще торжественность этого святого для жизнедеятельности государства места, к которому сходились и от которого расходились все тончайшие нити взаимозависимости людей и власти; золото, серебро, бронза — эти неизменные атрибуты величия, обычно отдающие теплотой жизни, — дышали теперь отчужденностью, будто происходили не из этого земного, благодатного, а из потустороннего, заряженного лишь вечно служей мира. Может быть, и впрямь есть некая истина в том, что жизнь воспринимается нами не такой, какая она на самом деле, а в зависимости от настроения и хода мыслей; настроение и ход мыслей бояр, чинно восседавших вдоль стен в ожидании Государя и митрополита Иоасафа со святителями, сейчас же передалось Шуйским, едва они переступили порог, лица князей столь же мрачно вытянулись, и та черта напряженной суровости, что лежит на челе ратников, выходящих на бой, объединяла теперь бояр в их державной решимости. Подобную однозначность дум можно объяснить еще тем, что обычно гордившаяся своей силой Россия оказалась вдруг столь беззащитной, что, как и во времена Чингисхана или Батыя, в пределы ее безнаказанно вошли пограбить и похозяйничать толпы теперь уже крымских орд. В душах бояр, как и в душах простолюдинов, когда наутро ужасающее известие выплеснется из стен Кремля и в народ будет

брошен клич идти в дружины и ополчения, оскорбленных не столько даже за себя, сколько за отечество, вспыхнет и укрепится одно и то же патристическое, как мы бы сказали теперь, чувство, а вернее, чувство национального достоинства, и с этим-то чувством, не сняв шапок, в низком поклоне встретили бояре появившегося в дверях юного Государя. По одну руку Государя шел митрополит Иоасаф, державший перед собой крест, по другую — боярин князь Иван Бельский, значение которого, как надо было понимать, ставилось вровень с Государем (чего как раз и не смогли затем простить ему Шуйские); протоиереи Благовещенского и Успенского соборов, как бы наперед освящая деяния юного Иоанна, несли иконы Богородицы и святого угодника-чудотворца Петра Митрополита (перед ними-то и будет затем молиться Иоанн о спасении державы); следом двигались святители тоже с иконами и зажженными свечами, олицетворяя собой, как видно, тот самый национальный православный дух народа, тот нетленный, как нетленна любая идеология власти, алтарь отечества, за который, не спрашивая пока еще себя, хорош ли, плох ли он, отдавали жизни. С юношеской напуганностью и бледностью на лице даже словно бы повзрослевший за эти часы, лежавшие между утренним и теперешним выходом его к думным боярам, Иоанн степенно, как и надлежало будущему царю и самодержцу всея Руси, угнездился на троне, и бородастые, умудренные как будто бы жизнью люди — все смотрели теперь на него, не замечая ни его малолетства, ни испуганности, а видя и воспринимая лишь значимость, какая всегда стояла за восседавшим на сем державном месте венценосцем. Трудно сказать, насколько в государственных масштабах юный Иоанн осознавал надвигающуюся опасность, но несомненно одно, что в душе его поднималось то же чувство, какое охватывало бояр (и наутро охватит весь русский люд, разом удесятирив защитную мощь державы), и чувство это, за которым открывалась совершенно новая сторона смысла и целей бытия, оформлялось в тревожную и ликующую готовность, что особенно характерно для подростков, пожертвовать собой и всем ради общего блага. Как и в день торжества над Саип-Гиреем, когда все опасения и трудности останутся позади, и ополченческие дружины и полки ратников с победными стягами вступят в Кремль и разместятся на площади между великокняжеским дворцом и собором Успения, и молодой Иоанн, ободренный и изможденный после молитвенных бдений, выйдет к войскам и народу, — жизнь преподнесила ему урок гражданственности, и не вина учителей Иоасафа и Бельского, стоявших возле него по обе стороны трона, что урок сей явится не уроком, а лишь проходным эпизодом в тиранском сознании самодержца; сторонник добрых начал и добрых свершений, митрополит Иоасаф, пройдет время, будет потрясен Иоанновой глухотой, и сама мысль о сути бытия как о сгустке добрых деяний подвергнется сомнению и пересмотру, а пока — лишь он один, казалось, понимал всю историческую глубину происходившего в тронном зале и верил в неизменное главенство человеческого духа и разума. В наступившей тишине, когда на свечах, поддавшись общей тревожной настороженности, замерли желтые язычки и со святительских одежд, с риз, окладов, крестов, с трона и одеяния Государя, как нечто неуместное, приглушенно спала величественная россыпь золотых и серебряных бликов, Иоасаф чуть заметно повернул голову к Иоанну, давая понять ему, что пора начинать, и Россия — да, беру право сказать: Россия — впервые услышала хотя и робкий, подростковый, но зазвучавший с державными нотками голос будущего грозного венценосца. Минуты подобных волнений обычно бесследно исчезают в потемках истории; да и то сказать, соизмеримы ли подвиги ратные с подвигом нравственным, о котором можно только подумать, что таковой был, но нельзя ни лицезреть, ни физически ощутить его; однако что-то будто встающее над этим традиционным восприятием жизни снова и снова переносит меня в тот зал с застывшими на свечах желтыми язычками, вернее, в ту величественную атмосферу холодной торжественности, в которой, смиряясь в гордыне, трогательно расслаблялись суровые боярские души, и я вижу этих пышнобородых, в шапках отцов отечества, внимающих словам юного Государя, вижу святителей, трон и Иоанна на нем, еще только чуть зараженного вирусом власти, но не успевшего ничем пока запятнать себя, и в молодом облике его, в его беззащитности ясно видится, как, наверное, виделось это и боярам, и Иоасафу, и Бельскому, некий юный и без-

защитный образ России, взывавший о помощи и защите; в душах думных бояр не просто воссоединялись понятия Государь и Отечество, но осознавалась необходимость того единства усилий народа и власти, какое одно только и во все времена позволяло отстоять честь и достоинство державы.

СХХХIV

Объяснения между боярами были краткими: князь Иван Бельский с митрополитом Иоасафом и юным Государем оставались в Москве для общего, как мы бы сказали теперь, руководства, князь Иван Шуйский сразу же из дворца в ночь поскакал во Владимир, чтобы совместно с царем Шиг-Алеем встать с дружиной к востоку от столицы и прикрыть ее от возможных действий казанцев, а князь Дмитрий Бельский, тут же возведенный в ранг главного воеводы, помчался в Коломну, где был уже сформирован полк и откуда сподручней всего можно было действовать против крымского хана, выдвинувшись к Оке и перекрыв ему путь. В ночь же во все сопредельные города посланы были воеводы собирать дружины и ополчения и двигаться с ними к Серпухову, Калуге, Туле, Рязани. Дни и ночи, по свидетельству летописцев, слились воедино; все делалось спешно и споро; от лазутчиков, следивших за войсками Гирей, каждый день поступали к главному воеводе сообщения, так что рассчитывавший на внезапность крымский хан уже не имел ее, и, когда конные отряды его вышли к Оке, на противоположном берегу реки уже стояла, изготовившись к бою, московская передовая дружина под началом князей Ивана Турунтая-Пронского и Василия Охлябина-Ярославского. Малочисленность ее удивила татар, они тут же послали сказать своему хану, что изменные речи князя Симеона подтвердились и что заслон без труда можно смять и теперь же, с ходу, начать переправу. Но хан не любил поспешности; великие дела, как он понимал, вершатся без суеты, с основательностью и степенностью. С крутого восточного берега, на который он, спешившись, вышел с князем Симеоном, был ясно виден не только наспех сооруженный лагерь московских дружинников («Кучка смертников, не больше», — решил про себя хан), но словно бы открывалось все великое — до Москвы и дальше — пространство России, готовое будто бы уже теперь подчиниться ему. Но взгляд его падал не только туда, в пространство; прямо перед ним, в нескольких шагах, как знак не добытого еще, но неотвратимо надвигавшегося торжества, как если бы и в самом деле от подобных символических действий могли зависеть исторические судьбы народов и государств, торчали вонзенные в землю несколько мечей и копий; они, будто стрелы на только что рухнувшем наземь звере, впившись в тело, кровотока и олицетворяя удачу, вызывали отнюдь не охотничий, а завоевательский (для того, видимо, и втыкались) азарт, и, казалось, от предвкушения грядущих побед лицо хана обретало торжествующе-хищное выражение. Далеко-далеко у горизонта догорал тихий, розовый, мирный закат, и оттого, может быть, что даль, куда всматривался Саип-Гирей, была светлей, чем то, что лежало у ног, — от этой несколько даже странной игры красок уходящего в небытие дня все на десятки верст простиравшееся впереди пространство предстало еще более величественным, таинственным и прекрасным. Но манили не красота и не богатство, скрытые в ней, а слава властелина, перед которым склоняется все — князья, цари, народы, державы. Хотя и принято считать, что все завоеватели, большие ли, маленькие ли, разнятся между собой по характеру действий и количеству набранных ими войск, но есть сходное, что неизменно роднит их, — самоуверенность, с какою все они начинают дело, и трусость, с какою затем, терпя поражение, бросают войска и спасают себя. О чем думал Тамерлан, покрывший Азию и вступивший в пределы России (кстати, ему удалось только взять Елец, дальше его не пустили), когда сквозь приоткрытый полог своего царского шатра вглядывался в немеряные просторы лежавшей перед ним державы, что испытывали Чингисхан и Батый, движением бровей бросавшие свои орды на стены наших городов, заливая их огнем и кровью и проезжая затем по трупам ратников, стариков, женщин, детей, или Наполеон, когда, выдвинувшись перед свитой и картиной отставив ногу, смотрел с высоты кургана, как посылаемые им в Скифию (так мысленно называл он Россию) отборнейшие европейские дивизии переправлялись по

трем наведенным через Неман мостам? Всяк смертен: и великий полководец, и безвестный солдат; и каждый по-своему входит в историю: поштучно — завоеватели, скопом — солдаты, и что оттого, что могила Наполеона в центре Парижа и в мраморе, а кости солдат рассеяны по землям Египта, Италии, России? Ничто в мире не возвращается из небытия, и громом побед, как ни хотелось бы того историкам и философам, словесами и доводами своими вдохновляя на «подвиги» новых владык, — громом побед не заглушить тех бесчисленных страданий, какие на всем пути человечества выпадали и выпадают простым людям. Нет, я не отношу Саип-Гирея к разряду так называемых великих завоевателей, да и вся цель его была — пограбить, то есть наказать, как это делают и ныне одни державы по отношению к другим, московских владык за непочтение и отказ платить дань (как если бы российский народ и в самом деле обязался пожизненно кормить своих разбойных соседей — крымцев и казанцев); но и нельзя забывать, какую оценку подобным нашествиям давали очевидцы событий, чьи летописные свидетельства полны боли, крика и слез; когда оседает пыль сеч — открываются раны земли и, как очистительный дождь, проливается свет на жестокости и безумства; но что было Гирею до подобных человеческих мудрствований, когда от ног его в вечеряющую даль убегала богатейшая, еще не завоеванная им земля и когда по всем символическим приметам и могуществу собранного им войска, все подходившего и подходившего к берегам Оки и уже разводившего костры и ставившего палатки и юрты, — да, по этой силище и приметам он представлял уже себя в славе великого полководца, диктующего условия покоренной стране. На коротких, толстых ногах при непомерно могучем торсе, в пышной ханской одежде поверх лат и кольчуги, он весь, казалось, был собран из порывов решимости, и обрамленное черной подбритой бородкой и тонкими, словно бровь по верхней губе, усиками лицо его как нельзя лучше выражало готовность к насилиям, грабежу и убийствам. Он вернулся к Симеону и молча, как барин холопа, похлопал князя-наводчика по плечу и зашагал к шатру, на самой вершине откоса уже возведенному для него.

С противоположного берега за крымцами внимательно наблюдали воеводы московской передовой дружины. Им хорошо был виден и белый ханский шатер, к которому сопровождаемый свитой направился крымский властитель, и князь Симеон, по одежде и доспехам тоже пока еще причисляемый к свите Гирея, и юрты, и костры возле них, и выдвинутые уже на позиции султанские пушки, да и все бесчисленное ханское войско, продолжавшее прибывать и размещаться по склонам прибрежных откосов и облеплять их. И князю Ивану Турунтаю-Пронскому, и князю Василию Охлябину-Ярославскому очевидно было, что дружине не устоять, когда натро вся татарская силища навалится на нее, и раз за разом снаряжали гонцов в Коломну, прося главного воеводу сразу же, в ночь, выслать полки для подкрепления, и лагерь россиян жил только этой надеждой, что главный воевода князь Дмитрий Бельский распорядится, что их не оставят одних и что полки, возможно, уже выступили из Серпухова и Коломны и спешным порядком подвигаются к ним. Князьям подали ужин, лагерь не спал, костров не разводили, по всему берегу вверх и вниз по реке на многие версты были высланы пикеты, и тихая летняя ночь, лунная, теплая, какой она бывает, видимо, только в России и только в этой срединной ее полосе с неповторимостью красок и трав, — ночь, вызывавшая к умиротворению и покою, словно голые телеса от срама, накрыла страшные и бессмысленные приготовления людей. Перед кровопролитием, как и перед грозой, хоть на мгновенье, но всегда наступает тишина, как будто природа или Всевышний дают враждующим сторонам время опомниться и приостановить безумие; это ведь только в сказках добро превозмогает зло, а в действительности — страсти всегда оказываются сильнее разума, и ни Божье, ни чье-либо еще посредничество не в состоянии притушить разгоревшийся захватнический пыл; соотношение сил — вот чем определяются решения, и разве Саип-Гирей, видевший свое превосходство, мог упустить победу, буквально шедшую ему в руки, не обогатиться и не побрать полон для восточных невольничьих рынков? Омыв руки и сотворив намаз, он вместе со своей приближенной ханской челядью и с князем Симеоном, к которому испытывал теперь как бы особое почтение, нето-

ропливо, словно не в походе, а во дворце, отужинал, и перед тем, как собрать войсковых начальников на совет, то есть распределить роли в предстоявшем наутро бое, решил проехать по стану и осмотреть войска. Ему подвели коня, помогли сесть в седло, и он, милостиво позволив князю Симеону ехать рядом с собой, двинулся сперва к султанским пушкам, на которые возлагал особые надежды, затем к лучникам, составлявшим передовой отряд (им-то как раз и предстояло с восходом солнца начать переправу), и дальше, к ногайцам, астраханцам, азовцам, наконец к замыкавшим армию войск обозам с награвленным по ходу движения скотом — стадами коров, коз, овец, которых тут же забивали, освежевывали и передавали полкам на корм. Властителя, как и принято по мусульманскому обычаю, встречали не ликующими криками, а молитвенными поклонами; все разом падали ниц, едва он приближался, и, задрвав зады и уткнувшись головами в землю, во все время, пока он проезжал, не смели поднять на него глаз. Современному человеку подобный воинский лагерь, несомненно, показался бы хаотическим табором, которым и управлять-то неведомо как; однако у людей прошлого было свое представление о дисциплине и порядке, говоря нашими словами, и за всей этой видимой хаотичностью, если внимательней присмотреться, скрывалась жесточайшая пружина власти, рычагами сходящаяся к хану, и оттого-то, сознавая в себе эту власть, Саип-Гирей со спокойствием взирал на копошившийся в ночи людской табор. Только одно, что, впрочем, бывает обременительным для всякой армии, несколько беспокоило его — обилие повозок, нагруженных уже добытым по дороге скарбом, и количество взятых в полон русских людей, которых, сбив в кучи между повозками, избивали, насиловали, улодобив скоту и наслаждаясь сим страшным разбойным садизмом. Саип-Гирей придерживал коня перед очередной подобной группой и оборачивался на Симеона, словно бы приглашая его порадоваться этому столь славному, предвещавшему удачу началу.

СХХХV

Когда утром Саип-Гирей вышел из шатра, сражение уже началось. Султанские пушки хотя и вяло еще, но уже начали забрасывать ядрами русский лагерь, лучники и пищальники, подтащив к реке плоты, склоченные ночью, спускали их на воду, а ногайские и астраханские конники еще только разбирали и седлали лошадей, пригнанных из ночного. Облаченный в доспехи и со свитой и старцами, сопровождавшими в походе его, и ни на шаг не отстававшим теперь от него князем Симеоном, Саип-Гирей, чтобы видеть, как будет разворачиваться сражение, вышел опять на тот же откос, с которого накануне вечером разглядывал русский лагерь и даль; и хотя все впереди против вчерашнего было другим, лишенным таинственности, четким, реалистичным, но ведь и сам он готовился отнюдь не к восприятию прекрасного; легкое ли, тяжелое ли, но сражение всегда есть сражение, и Саип-Гирей, за тысячи верст приведший сюда свои полчища, не хотел рисковать ни собой, ни войском. За спиной его держали оседланных коней; тут же, под рукой, находились советники, вестовые, готовые каждую минуту поскакать к войскам, и все с оживлением смотрели, как в лучах всходящего летнего солнца люди втягивались в противоестественное разуму, но отчего-то считавшееся необходимым и важным для них кровавое дело. Над султанскими пушками, стрелявшими с косогора, после каждого залпа поднимались белые пороховые дымки; они вспыхивали прежде, чем доносились раскаты выстрелов, и затем малыми игрушечными облачками скатывались к реке. На противоположной стороне, куда падали ядра, почти у самой кромки воды стояли московские ратники. Они пускали стрелы по ханским лучникам, суевшимся возле плотов, и точно так же, как их стрельба почти не причиняла никакого вреда крымцам, так и ядра из султанских пушек, то перелетавшие через дружинников и зарывавшиеся в топкую луговую землю, то падавшие впереди, в воду, и поднимавшие тучи брызг, досаждали лишь жужжанием и свистом и заставляли с беспокоеством оглядываться вокруг. Изредка, когда ядро попадало в гущу людей, в свите Саип-Гирея раздавался вскрик одобрения и всех охватывал тот штабной прилив духа, то есть та изначальная, не истощившаяся и по-

ныне дикость, упакованная в обертку воинской доблести, по которой радость жизни, подмененная радостью убийств, становится смыслом и целью бытия. Сам хан, однако, не подавал пока ни признаков радости, ни признаков озабоченности; сражение развивалось, видимо, точно так, как оно еще накануне задумывалось им, и если что-то и вызывало недоумение, так только — стойкость московских дружинников, которые, видя перед собой такое количество войск, должны бы дрогнуть и побежать, да медлительность лучников, грузившихся на плоты. Желая поторопить их, Саип-Гирей послал вестового, но не успел тот добраться до места, как все изменилось, один за другим отрываясь от берега, плоты выходили к середине реки и сносимые течением правили к песчаной отмели. И на плоты, и с плотов летели тучи стрел. Наконец, неся потери, лучники высадились на отмель и с воинствующим кличем двинулись на дружинников. Дружинники же, обнажив мечи и выставив копыя, плотной молчаливой стеной готовились встретить их. Через минуту, другую, словно встречные волны, противники сшиблись, блеснули клинки, мечи, люди кинулись бить, колоть, сечь друг друга, и сражение во всей своей кровавой зрелищности все четче и четче представало перед ханом. Я не певец воинской доблести. Любая война есть преступление. Но если защитников еще можно понять, для чего поднимают меч, то у пришедших пограбить и разорить чужие народы нет и не может быть оправданий. Однако и ханские лучники, и московские дружинники бились с одинаковой жестокостью. Лучники, пополняясь с новых прибывавших плотов, усиливали натиск, редевшая стена дружинников, словно размягшее коромысло, прогибалась под этим напором и вот-вот могла дать трещину и разорваться, левый фланг, отнесенный почти к самому березняку, уже дрогнул, смешался и побежал, открывая простор крымцам, советники кинулись к Саип-Гирею поздравлять его, но на песчаной отмели и возле березняка, где шла сеча, вдруг все переменилось, и теперь лучники, замешкавшись, бросились назад, к плотам. Лицо Саип-Гирея злобно перекошилось, он решил, что лучники его наткнулись на засаду, укрывавшуюся в березняке или за березняком, но так как засада, по его мнению, не могла быть многочисленной, то и бегство своих представлялось неоправданным и как раз и вызывало гнев; чтобы остановить трусов и исправить положение, он велел послать на подмогу астраханцев и затем вновь, но уже с беспокойством, принялся наблюдать за ходом сражения.

Но, как известно, побеждает не тактика, а стратегия, в чем бы ни заключалась ее суть, в подготовленных ли резервах или в духовной крепости войск. Переменный успех боя, конечно, еще не означал поражения, но — ханские лучники побежали отнюдь не оттого, что натолкнулись на укрывшуюся засаду; нет, это была не засада, а подоспевший к месту сражения полк князя Микулинского, который с ходу, не тратя время на построение, обрушился на крымцев и, опрокинув, погнал их к плотам, насаживая на копыя, рассекая мечами и убивая. Всю ночь ратники Микулинского двигались от Серпухова к Оке, а когда утром услышали пальбу султанских пушек и поняли, что бой начался, уже не шли, а бежали к месту сражения, и, кто знает, как бы все повернулось, не подоспей они вовремя; они ударили именно с фланга, явившись из березняка, и натиск их оказался столь неожиданным и мощным, что крымцы, чтобы успеть к плотам, неслись налегке, побросав щиты и оружие. Но в центре и на другом фланге схватка еще продолжалась. Получив подкрепление, ханские воины опять начали теснить русских; опять стрелка успеха сдвинулась в пользу Саип-Гирея, но в это время подоспел полк князя Серебряного-Оболенского, шедший со стороны Коломны, русские ободрились, воспряли и окончательно уже погнали лучников и астраханцев к плотам. Лишь жалкая кучка их, оставив трупы и раненых, смогла добраться до своего берега. Вместе с полком князя Серебряного-Оболенского прибыли пищальники, а затем поднянулось и несколько пушек; их тут же выдвинули на позиции и начали бить из них по султанской батарее и лагерю. Но торжествовать победу было еще рано, главные силы хана еще не вводились в бой, и собравшиеся на совет князья, понимая это, принимали меры для отражения новой атаки. С песчаной отмели между тем убирали раненых и убитых; уносили только своих; басурман же прикальвали и оставляли на месте, и Саип-Гирей, видя это бесчестие, казалось, весь исходил гневом и торопил войско к новым действиям.

Лагерь его кипел работой, отовсюду к реке свозились бревна и там под ядрами связывались плоты. Хан не мог теперь спокойно стоять на месте, а нервно ходил из стороны в сторону, поглядывая то на солнце, быстрее, чем было нужно ему, клонившееся к закату, то на трупы своих воинов на откосе, вид которых, он понимал, сколь удручающе могло действовать на людей. Посланные им с утра еще искать брод конные разъезды вернулись ни с чем, и огорченный теперь еще этим Саип-Гирей сам наконец решил спуститься к реке, чтобы поторопить сборщиков плотов и приободрить духом готовившихся к переправе воинов. Но поездка не состоялась. Только что подвели ему коня, как из русского стана донеслось какое-то радостное оживление. Хан задержался, чтобы взглядеться, что произошло там, и вскоре увидел, как со стороны все того же березняка подошли еще два полка. Это были полки князя Михаила Кубенского и князя Ивана Михайловича Шуйского. Князья водрузили свои стяги на берегу в знак того, что твердо стали ногой здесь, и принялись разбивать лагерь. Теперь ханским ратникам, готовившимся к переправе, противостало уже целое войско. Но и это было еще не все, что готова была выставить Русь против полчища Гирея. Ближе к закату, когда хан заколебался, начинать ли ему сражение в ночь или, подготовившись основательней, то есть отыскав брод, все же переправить конницу на тот берег, — по русскому лагерю опять прокатилось ликование; на сей раз оно оказалось столь могучим, что можно было, не всматриваясь, определить, какие силы подошли туда. Прибыл же в лагерь главный воевода Дмитрий Бельский. Он разместил свой полк в центре, поднял стяг, взяв под единое начало оборонявшиеся полки и дружину, и Саип-Гирей, увидев это, не смел уже даже помыслить, чтобы завязывать сражение на ночь. Чтобы выиграть дело, теперь надо было только разом всем войском навалиться на русских, и, распорядившись, чтобы вязали плоты для всех, исключив разве что обозников, Саип-Гирей удалился в шатер. Он все еще не хотел сомневаться в успехе, то есть старался верить, что удача не покинет его, хотя беспокорство, вкравшись, уже начало разъедать душу: он то возвращался мыслью к перипетиям прошедшего дня, то ко всему походу, главное к Зарайску, к которому, вклинившись в пределы России, приступил было со всем войском, но которого не мог взять; снять же осаду с города уговорил его князь Симеон, полагавший, что следует идти на Москву, пока дорога открыта, и если будет взята Москва, то все остальное само собой падет к ногам хана; этот совет как раз и представлялся теперь Саип-Гирею сомнительным, как, впрочем, и утверждение о слабости России, и — в сознании хана постепенно начала вырисовываться та причина гнева, на какую, чтобы оправдать себя, правители всегда готовы свалить вину; и причиной этой был князь Симеон Бельский.

СХХХVI

Можно усомниться, а можно и вовсе не поверить, что между человеком и событиями, происходящими за сотни верст от него, существует некая невидимая связь, некий словно бы голос или пульс, подающий либо ободряющие сигналы торжества, как бывает с осажденными, которые верят, что помощь вот-вот подойдет, бьются и одерживают победу, либо сигналы беспокойства и бедствия, как это не раз в истории случалось с полководцами, вдруг и беспричинно будто бы, будто бы лишь из трусости, то есть, иначе говоря, по пословице, что у страха глаза велики, бросали войска и кидались в бегство; явление это можно, конечно, отнести к разряду загадочных, мистических, приписав все либо божественным, либо дьявольским наущениям, но можно, прибегнув к новейшим исследованиям человеческих возможностей, найти совсем иное и вполне естественное объяснение, увязав все с физическими законами бытия. Но — дело не в этом. Осознание поступков обычно является людям после того, как они бывают совершены, и если с точки зрения науки жизнь предстает перед нами как непрерывная цепь развития, то стоит лишь в эту формулировку внести конкретное уточнение, основанное на реалистическом восприятии (или памяти простолоудин, что точнее) событий, как та же самая жизнь предстает цепью бесконечных ошибок и неверных, предвзятых решений, подвигавших народы не к процветанию, а лишь к войнам, разорению, нищете. Говорю об этом, разумеется, вовсе не для того, чтобы исследовать ошибки Саип-Гирея;

Не та личность в истории, не тот «полководец», чьи даже ошибки могли бы стать поучительным уроком или по крайней мере привлечь внимание историков, — нет, роль сего хана столь ничтожна в сравнении с теми завоевателями мира, чьи имена и ныне, и в будущем, удивляя и содрогая сердца, останутся на устах выживших и выживающих народов, что едва ли достойна упоминания; есть примеры личностей, так ли, иначе ли творивших историю, и есть трафареты мышлений и дел, к коим прибегают обычно князьки и батеньки всех времен, чтобы с амбициозностью заявить о себе, и разве что в этом плане Саип-Гирей может еще представлять некий — в нравственном плане, так точнее, — интерес. Нерешительность его на Оке была лишь следствием той главной ошибки, которую он совершил, приняв у себя во дворце изменника Симеона, поверил его речам и предпринял сей безумный поход, изначально уже уготовив и себе, и тысячам сородичей своих, не раз и прежде обольщавшихся возможностью пограбить чужой народ, бесславие и смерть. Каждый в истории — зазнавшийся ли властелин или обманутый им народ и втянутый в его преступные деяния — в конечном итоге пожинает свое, и не те государства, которые полагали существовать грабежом и насилием, но те, что хоть как-то пытались защищаться и созидать, крепки и получали развитие: нет ни ханства Крымского, нет ни Астраханского, ни Казанского (и не по малочисленности и беспомощности их народов перед могущественным соседом, как пытаются это представить теперь, искажая историю и внося новую рознь; в политике разбойных набегов лежит корень зла), а есть Россия, от века сопрягавшая защиту с экспансией, и в силу, может быть, именно этого сопряжения несла и несет свой нелегкий крест. Но кому же мы обязаны сей тяжелой долей, разбойным ли соседям, вынуждавшим нас обнажать меч, как случилось это теперь, в Иоанново малолетство, или, если следовать научной терминологии, в период боярского правления (а ведь на нас непрерывно шли и с востока, и с запада, не исключая и нынешнее столетие), или великим, как принято называть их, Рюриковичам, основателям нашего государства, «собирателям» земли русской, перед деяниями которых многие и ныне готовы склонять головы ниц, с легкостью отменяя те жестокость и кровь, с какими происходило это их «славное» собирательство. Мера защиты — да не прикрывался ли этой мерою самый оголтелый экспансионизм, то есть притязания властителей, переносимые ныне на народ, не только ничего общего не имевший с этой государственной политикой, но лишь страдавший от нее? И тут, пожалуй, лишь одно может служить утешением, а может, и уроком; что жизнь всегда сложнее наших представлений о ней и что если что-то и движет правителями и народами в процессе развития человечества, то отнюдь не перспектива исторической целесообразности и справедливости; то, что видится в идеале, никогда не совпадает с действительностью; амбициозность масс, возвращенная амбициозностью, а проще, властолюбием правителей, — вот чем определяются судьбы народов и государств. Конечно, я далек от мысли, что все это понимал или хотя бы мог понимать Саип-Гирей, явившийся с войском в пределы России и стоявший теперь на Оке; ведь народы, правители, истины — это самостоятельные, замкнутые в себе субстанции жизни, и соподчиненность, а следовательно, и взаимовлияние их столь же условны, как и единство и взаимовлияние монархов и толп; истины — в хранилищах, властители — на тронах, окруженные стенами льстецов и зубчатыми стенами замков и крепостей, народ — попеременно то на хлебных полях, то на полях сражений, исходящий то потом, то кровью, и реализм этот, к сожалению, необратим, вечен и страшен; в предпринятом Саип-Гиреем походе не только не проглядывало для народа никакой исторической целесообразности и тем более исторической справедливости (собиратели дани — всего лишь государственные рэкетеры), а в десятый, в сотый раз повторялась одна из тех — пограбить, поразорять — ошибок, исторический итог которых столь очевиден сегодня всем.

СXXXVII

Пожалуй, со времен Дмитрия Донского Россия не выказывала такого могучего подъема духа, как в год этот, когда народ, никем, в сущности, не управляемый, собрался с силой и, явив собою личность, решительно выступил на арену исторических действий. В обычной череде жизни подобное

событие всегда вызывает интерес; и тем больший — у историков и фило-софов, — чем масштабней это событие и чем нешаблонней вписывается оно в общую цепь исторических дел. Ведь на великокняжеском престоле, когда Саип-Гирей подступил к берегам Оки, сидел не умудренный опытом госу-дарственный муж, чей авторитет уже сам по себе мог бы послужить объе-диняющей силой, а лишь притесненный боярами юный Иоанн, и не было под рукой такого великого вдохновителя, каким из праха веков предстает перед нами Сергей Радонежский, почитаемый ныне в народе даже как буд-то сильнее, чем князь, выведший на Куликово поле полки, и чем ратники, сложившие головы на этом святом для нас поле, а был только возведенный в митрополиты и посаженный Шуйскими на Первосвятительский престол ничем еще не проявивший себя игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоа-саф, но — есть, видимо, нечто более важное, чем нисходящая с тронов во-ля венценосцев или призывы и благословения духовных иерархов; в то вре-мя как против Саип-Гирея стояли уже полки князей Микулинского, Сере-бряного-Оболенского, Михайла Кубенского, Ивана Михайловича Шуйского и полк главного воеводы князя Дмитрия Бельского, подкрепленный пушка-ми и пищальниками, к месту сражения все подходили и подходили то дру-жины ратников, не успевшие к сроку присоединиться к своим полкам, то отряды ополченцев, возглавлявшиеся деревенскими целовальниками, а иног-да и тиунами, то есть собирателями пошлин, чтобы, не отстав от общих усилий народа, приложить и свои в предстоявшем ратном деле. Если бы можно было хоть на мгновение и хоть частично обозреть Русь с высоты, то взору открылась бы удивительная картина людских потоков, которые, как ручейки к огромному водоему, стекались к уже на версты раскинувшемуся по луговой стороне Оки стану русского войска, и всякий раз, как только, взбивая пыль, подходило такое пополнение, весь лагерь взрывался ликую-щими криками, и к тысячам разведенных костров прибавлялись новые, вы-зывая у крымцев недоумение и страх. Пушки уже не стреляли, ни наши, ни султанские, небо не озарялось огненными вспышками, и по вечерющей степи не разносились, подбадривая подходившие войска, раскаты выстрел-лов; не успев как следует разгореться, сражение затихало, на землю ло-жилась ночь, теплая, лунная, безмолвная, и в этом обволакивающем без-молвии ополченцы и дружинники только ускоряли шаг. До самого утра рус-ский лагерь продолжал оглашаться восторженными кликами, держа ханское войско в напряжении. Султанские пушкари, ногойцы, астраханцы, ратни-ки из Кафы, Азова, — все, все, облепив гребни откосов, вглядывались в противоположный берег. К ним, чтобы не остаться в неведении, приезжа-ли из ночного, прибежали от обозов; лучникам же, у самой воды вязавшим плоты, видны были полковые стяги и даже лица русских князей, вышедших взглянуть на трупы порубленных и заколотых в бою ханских вояк, разбро-санных по песчаной отмели; их не убирали, может быть, в назидание или для острастки, и все это, озвученное и представавшее зримо, вызывало гнетущее впечатление. Примчавшись сюда за легкой победой, которая бы-ла обещана им, они видели, что могли только лечь костями на этой чужой им земле, а не обогатиться, но так как умирать за просто так никому не хо-телось (лежать на прокорм воронью, как те, что на отмели), то и чувство, какое охватывало их, напоминало чувство вора, пришедшего пограбить, но попавшего в западню и думавшего теперь лишь о том, как бы поскорей унести ноги. Историки говорят, что, выйдя около полуночи из своего хан-ского шатра и увидев море костров, горевших на противоположной сторо-не Оки, Саип-Гирей испугался и, опередив войско, пустился в бегство. Что ж, возможно, так оно и было, хотя и в этой ситуации у него имелся выбор: либо, дав сражение, смириться затем с позором поражения и при-нять его, либо принять еще больший позор, то есть позор бегства и трусо-сти (что, впрочем, не меняет сути), и если в первом варианте у него еще сохранялась возможность хоть как-то, хоть чужой кровью омыть свое хан-ское достоинство и ханскую честь, то во втором — тяжесть вины за бесплод-ный поход целиком падала на него, и он мог заплатить треном; но он принял именно это, второе решение, и, как свидетельствовали очевидцы, стоявший на возвышении и отовсюду обзревавшийся белый ханский ша-тер вдруг в середине ночи словно ветром сдуло, и на месте его осталась лишь помятая трава, валявшиеся обрывки веревок, колья да что-то из походной ханской утвари, в спешке и за ненадобностью брошенной здесь.

Когда войско бежит, никто не соблюдает парадности. Саип-Гирей не гарцевал уже, как в начале похода, на коне, а сидел в крытом возке (кибитке), увозившем его будто бы от позора, несмываемо уже лежавшего на его некогда властных плечах; вознамерившись было решить судьбу России, он вынужден был теперь думать о своей, и рассвет, проникавший сквозь неплотно завешенное окно в кибитку, мрачно освещал его налитое стыдом и гневом лицо. Следом в другой, но уже открытой повозке везли закованного в цепи и с тяжелейшей колодой на шее князя Симеона Бельского. Участь сего князя была решена, и Саип-Гирей не хотел только убивать его здесь, в степи, а намеревался казнить в Крыму принародно, объявив изменником и обманщиком и свалив таким образом вину на него (хотя, забегая вперед, скажу, что обстоятельства продиктуют другое, и уже через несколько суток под Пронском хан самолично проткнет мечом грудь сего несчастного искателя великокняжеского трона). За возком хана и его свитой едва успевали ногайские конники, и уже за ними, растянувшись по степи на версты, шли, бежали, сбрасывая все, что отягощало их, крымцы, астраханцы, азовцы, султанские пушкари. Они оставили свои пушки на берегу, как и обозники телеги с награбленным; полон же, что теснился в ночи между возами, был безжалостно порублен выделенными специально для этого ногайскими конниками, которые и замыкали теперь все бежавшее Гиреево воинство. В русском лагере полки и дружины встретили рассвет уже изготовленными к бою, и каково же было удивление этих пришедших постоять за свою землю людей, когда они увидели, что ханский лагерь пуст, что крымцы бежали, испугавшись их силы, и что свершилось великое, угодное Богу и людям дело. Но воеводы, собравшись и поразмыслив, не спешили огласить победу; тут могла быть некая военная хитрость, некое коварство, на какое, они знали, горазды бывали и крымцы, и казанцы; лишь после того, как посланные осмотреть и разведать все дружинники, вернувшись, доложили, что враг бежал, оставив пушки, возы, юрты, оружие, даже стяги и побив содержащийся при обозе полон, сомнений уже не было; в Москву тут же был послан князь Иван Кашин с радостной вестью, а полкам князей Микулинского и Серебряного-Оболенского велено было пуститься в погоню за крымцами и преследовать их. А среди тех, кто оставался в стане, не смолкало ликование. Перемешавшись полками и переправившись на тот берег Оки, на котором еще вчера располагалось ханское воинство, ратники осматривали султанские пушки, удивляясь и гордясь, что захвачен был ими (впервые, надо сказать, для русского войска) подобный трофей; главный воевода князь Дмитрий Бельский распорядился похоронить со всеми полагавшимися почестями убиенных ногайскими конниками христиан, соборовав и освятив их за мученически принятую ими смерть; затем уже по песчаной отмели собраны были и пущены по реке трупы ханских ратников, и лишь под вечер, сойдясь под стяги своих полков, русское войско выступило к Коломне и Серпухову.

Но война еще не окончилась. В то время как впереди победителей, со славой возвращавшихся домой, неслась, опережая их, всенародная, да, только так по тем временам и можно охарактеризовать ее, радость, — впереди войска ханского, столь же стремительно опережая ее, неслась весть о небывалом будто бы в истории крымцев поражении, и Саип-Гирей, несколько оправившийся после пережитой на Оке кошмарной ночи и понимавший, что следует хоть как-то поправить дело, отрядил царевича Иминя с частью войск пограбить и поразорять Одоевский уезд, прихватив там какой-никакой полон, а сам с крымцами, астраханцами и ногайцами подступил к Пронску. Он хотел было обманом взять город и послал мурз для переговоров, но воевода Василий Жулебин, у которого, по словам очевидцев, «было не много людей, но много смелости», не открыл им ворота и не принял их; он вышел на стену и на угрозы мурз решительно заявил: «Божьей волею ставится город, и никто не возьмет его без воли Божьей». Гиреевы ратники кинулись было на штурм, но были отбиты; затем хан приказал готовить туры для нового и основательного уже штурма, но и воевода Василий Жулебин не терял времени; он поднял не только мужчин, но и женщин, и к утру на городских стенах припасены были груды камней, колья, тут же кипели котлы с водой, а возле пушек встали оружейцы с зажженными факелами, но — трусость, видимо, как неизлечимая болезнь, которая, однажды поразив организм, не отпускает затем до конца жизни, и Саип-Гирей не

решился на штурм; он испугался не пронских защитников, а князей Микулинского и Серебряного-Оболенского с полками, нагонявших его, велел пожечь туры и, чтобы не иметь более обузой в цепях и с колодой на шее князя Симеона, заколол его и кинулся в новое и неостановимое бегство. На Имина же, начавшего в уезде свое разбойное дело, отряжен был князь Воротынской с отрядом (давайте запомним имя этого молодого, смелого воеводы, коему предстоит еще всенародно прославиться и принять затем мученическую смерть от Иоанна); он нагнал царевича почти у самого Дона, разбил и пленил его.

СХХХVIII

В деянии народов ничто как будто не должно предаваться забвению, по крайней мере так подсказывает логика жизни; но человечество, увы, развивается не по этой известной логике, то есть не по той упрощенной схеме, по какой мы привычно представляем себе это развитие. События прошлого, кажущиеся нам исключительными по проявлению могущества духа, единства, воли нации, от которых, как от неких достигнутых высот совершенства как раз и должна бы двигаться жизнь в грядущее, — достигнутое это не только не кладется в основание движения народов и государств или, скажем, не берется как урок или пример для нового совершенства, но, напротив, всячески вытравляется из сознания современников, и происходит это вовсе не потому, что так якобы положила от века природа; нет, не в тяге к статичности следует искать ответ на поставленный вопрос, а в тех изначальных интересах власти (по отношению к народу как к питательной среде или почве, на которой только и может взрастать сия власть), которыми и продиктовываются эти странные казалось бы на первый взгляд исторические условности. Разве нам в нашем столетии не довелось познать взлет и величие духа, разве не мы одолели в упорнейшей схватке фашизм и положили на лопатки, как говорят фронтовики, всю тогдашнюю военную мощь Европы, и разве тяготы послевоенной жизни, нищета, бесправие, навязанные нам кремлевскими правителями, не истребили в нас само понятие этого духа, и разве не власть, прежде развед нас до социальной и нравственной наготы, заставила народ-победитель униженно принимать от побежденных благотворительные посылочки на прокорм? Можно, конечно, признать для самоутешения, что да, история повторяется и что нет в ней восходящих спиралей, а есть только круги, кольца, наслаивающиеся на древо истории и разнящиеся между собой лишь по размерам содеянных против народов насилия и зла. Так было после Отечественной войны 1812 года, да и после Полтавы, после сражения на Чудском льду, когда были разбиты тевтонские рыцари, да и после Куликовской битвы; слава, величие, единство и могущество духа, как некие будто бы отслужившие атрибуты жизни, отправлялись властителями на полки хранилищ покрываться пылью, чтобы затем, если придет нужда, было чем вдохновить новых защитников земли и Кремля, а для повседневности оставлялись лишь нужда, бесправие да груды неодолимых, беспросветных забот. Эта дорога от славы к беславию, как рок, всегда нависала над Россией, и сколько раз, истощившись в усилиях борьбы и окрылившись в надеждах, русские люди проходили по ней, до дна выпивая чашу бесправия, обмана, позора и заканчивая жизни свои в ночлежках и на папертях деревянных и каменных церквей, воздавая хвалу Господу и бранно ругая царя. Триумфально, с песнями, барабанным боем проществовали из поверженного Парижа через всю Европу войска Александра I, чтобы, придя домой, терпеливо подставить шею под крепостническое ярмо; с еще большим триумфом возвращались из дымившегося еще Берлина гвардейские воинские эшелоны, чтобы, хлебнув на Красной площади, перед мавзолеем, обманного торжества, погрузиться в свое, названное социализмом крепостничество. Различны масштабы, но неизменна завершающая суть подобных событий, и если в этом мрачном взгляде на историю что-то еще настораживает и останавливает меня, то отнюдь не боязнь очернительства; нет правды без горечи, как нет и похвал, которыми не порождались бы неведение и слепота; может быть, как раз тем и мудра власть, прискорбно мудра, что неусыпно бдит свои интересы, не теряясь и не расслабляясь в радости, тогда как народ подобно дитяти в своей безграничной доверчивости и простоте — народ в минуты торжеств обычно забы-

вает о своих интересах и предает их. Разумеется, детство по уму — не оправдание, как не могут служить оправданием ни доверчивость, ни наивность, ни простота; тут либо эпохи ничему не учат нас, либо мы не хотим ничему учиться у этих эпох, а потому и выглядим среди других народов как некий недоросль-переросток, не умеющий сообразить, для чего явился на свет и живет; ведь честь и достоинство отстаиваются не только в сечах с врагом внешним, но и в борениях с теми ползучими силами зла, которые, укрепившись за зубчатыми стенами и обложившись со всех сторон роскошью, пытаются внушить нам, что власть их от Бога (в терминологии нынешней — от Народа, что не меняет сути) и что удел их править и угнетать, а наш — тянуть ярмо нищеты и бесправия. Нет, нет, повторяюсь: не из современности вглядываюсь в прошлое, а из прошлого в современность как в некое зеркальное отражение отщумевших эпох и пытаюсь понять, чем же подпитывались в народе неизживные и губительные для него доверчивость и простота?

По трем параллельным дорогам, неся победу и славу на стягах, стекались от Оки к Москве русские полки и дружины, и неважно, что не было генерального сражения, а важно, что враг бежал, испугавшись силы, вставшей против него, то есть что народ обладал способностью собраться и защитить себя, и это-то и являло собой стержень величия и торжества. По деревням и в городах, через которые проходили войска, всюду простой люд встречал их ликованием, в церквях служили молебны, на площадях возникали стихийные пиры и веселье, в каждом дворе считали за честь принять и накормить ратника, и, казалось, гостеприимству этому и радушию не будет конца. В Москве с утра уже били в колокола, весь люд от мала до велика высыпал за город, чтобы встретить полки, а затем вслед за полками, теснясь в проемах ворот, все ринулись в Кремль на площадь перед великокняжеским дворцом и собором Успения, на которой, как и всегда-то, должно было развернуться главное державное действо. Не знаю, но мне представляется, что было что-то единое в этом порыве народного торжества, словно вся Россия, собравшись, решила выказать могущество духа, и это одинаково можно было прочесть и на лицах ратников, и на лицах простолудинов, холопов княжеских и государевых, как и на лицах духовенства, бояр, дьяков, подъячих и всякого рода иных чиновных людей. Все ожидали выхода Государя. В мертвом молчании, выстроившись в колонны, стояли полки; перед ними, чуть выдвинувшись вперед, восседали на сытых, отдохнувших конях воеводы — в доспехах, при оружии, молодец к молодцу, как восклицал, глядя на них, народ, заполнивший все свободное пространство площади, подъезды и подступы к ней, двory и даже крыши, с которых ловчее будто бы можно было разглядеть происходившее; и все это — замершее, молчавшее, шумевшее, кипевшее суеюй — словно бы для усиления торжества было залито ярким августовским солнцем, будто природа как некое разумное существо (или, может, проще: с благословения Божьего, как говорили между собой, крестясь, люди), поразмыслив, решила присоединиться ко всеохватной народной радости. Но в соборе, в остужающей прохладе, исходившей от не прсыхающих и летом кирпичных стен и каменного пола, еще продолжалась благодарственная литургия; здесь, среди зажженных свечей и под строгими ликами святых, заключенных в сверкающие золотом оклады и ризы, был сосредоточен совсем иной мир чувств и мыслей, и, пожалуй, лишь митрополит Иоасаф да юный, не испорченный пока интригами придворной (читай: государственной) жизни Иоанн могли еще испытывать нечто схожее с тем, что господствовало в толпе на площади. У митрополита Иоасафа были на это особые основания. Ему казалось, что он достиг той цели, к какой устремлена была его первосвятительская душа, добро восторжествовало, Бог услышал людей, люди услышали Бога, и, как и народу на площади, Иоасафу представлялось, что теперь все пойдет от достигнутого, что возврат к прошлому уже невозможен, и всю радость, вернее, силу этой переполнявшей его радости вкладывал в произносившиеся им слова литургии; он чувствовал себя героем, хотя ничего зримого, броского, чем осветился бы перед современниками да и перед историей его нравственный подвиг, вроде бы не было совершено им, и, на мой взгляд, есть нечто несправедливое в том, что подобным негромогласным деяниям изначально уже предопределено уходить под мрачную тень забвения. Да что прошлое, когда и ныне, если присмотреться, возвеличивается не то, что судьбо-

носно по сути, а то, что судьбоносно напоказ и сопровождаемо барабанным боем, то есть ложь, подаваемая в псевдонародном одеянии, и нет ничего унижительней и больней, чем видеть, как обманывается народ, принимая по беспробудной своей темноте и невежеству сию ложь за истину, и как оплевывается и попирается то, что могло бы принести свет и благо. Но Иоасаф не со стороны смотрел на себя, а жил и воспринимал жизнь в согласии со своими святительскими устремлениями, и, если бы можно было хоть что-либо изменить в ритуале проходившего торжества, он, не колеблясь, направился бы теперь к народу на осле, как Спаситель, чтобы благословением своим навечно закрепить в сознании людей познанное добро. Может быть, этот-то неоглашенный порыв и передался от митрополита Иоанну и заставил затем будущего самодержца, облившись слезами счастья, поклониться с каменной паперти собора на три стороны народу и ощутить пусть ненадолго, пусть всего лишь на миг свою причастность к корням и древу извечного и нескончаемого народного бытия.

СХХХІХ

Все, что имеет начало, — имеет вершину и конец; и сколько бы ни длилось восхождение к вершине и как бы ни был долг путь схождения с нее, час торжества всегда краток, он мгновенен по отношению к общей жизни державы, и если в исторических описаниях и придается подобным торжествам некая особая значимость, то лишь потому, что с высот геройства и славы всегда легче затушевать трагизм восхождений и спусков. И все же, думая, не светом с вершин следует освещать содеянное народом, ибо нигде, как на вершинах, закладываются таинства обманов и предаются интересы людей. Народ, кровью и потом заслуживший славу и по праву должный бы увенчаться ею, — народ, как если бы слава эта только занимала ему руки и мешала работать и жить, передает ее правителю и кормящейся возле него свите, как это и произошло теперь, когда Иоанн, сопровождаемый с одной стороны митрополитом Иоасафом, а с другой — первобоярином князем Иваном Бельским, явился на паперти собора Успения перед ратным и мастеровым державным людом. Все разом словно бы замерли, разглядывая будущего самодержца, затем взорвались восторженным приветствием, и — действие венчания Государя великой народной славой совершено, событие внесено в анналы истории как заслуга не Иоасафа даже, нет, а юного Иоанна, и к вечеру того же дня лишь кучки захмелевших горожан еще толпились на площади и прилегавших к ней улицах в ожидании чего-то, что по их соображениям должно было произойти, да ветерок, налетавший с Москвы-реки, сгонял к обочинам мусор, по преимуществу подсолнечную шелуху, как свидетельство только что отшумевшего здесь многолюдства, всеобщей бестолковости, беспечности и простоты. Полки ратников потянулись к местам своего постоянного пребывания — к Серпухову и Коломне, ополченцы двинулись по домам, воеводы с боярами и детьми боярскими — к своим княжеским подворьям, чтобы, довершив каждый в своем кругу торжества, вновь приняться за поборы, коними, получив волости на кормление, они притесняли народ, бояре думные, великокняжеские — к своим полным интриг и раздоров государственным, если так можно выразиться, делам и заботам по дележу власти и значимости, духовенство — к своему пасторскому будто бы предназначению бдить за нравственностью, смирением и послушанием прихожан, устраивая меж тем, да и прежде всего, свое благополучие, а увенчанный славой Иоанн — к своей на грани детства и юношества беззаботности, в какой только и должно бы по законам естества протекать его хотя бы и великокняжеское отрочество. В общем, через неделю, другую все как-то незаметно, будто само собой, вошло в ту привычную житейскую колею, то есть в то традиционное для тогдашней российской действительности состояние, в котором между понятием государственности как некой общности, создающейся для блага людей, и истинным положением дел в стране пролегалла неодолимая, как, впрочем, пролегает и теперь, извечная пропасть. Волею судьбы ли, по историческому ли своему недомыслию привыкший доверяться властям и передавать им все свои человеческие права на жизнь, как если бы у простолюдина и впрямь не было ни своего ума, ни интересов семьи и личности, народ с еще большей теперь надеждой, полагая, что у него есть на то основание, оборачивался на Кремль, ожидая послаб-

лений и справедливости; ведь и зубчатые стены, и все-все, что за ними во дворцах и соборах, — все для того только и возводилось и существует, чтобы оберегать труд, покой и благополучие граждан; но эта азбучная вроде бы истина, столь естественная, простая и столь долго внушавшаяся нам как неизбежность, — истина эта на поверку оказывается всего лишь ширмой, за которой, отгородившись от народа, живет, самовоспроизводясь как особь, своя и по своим законам борьбы дворцовая общность людей; и так как составные этой дворцовой общности после изгнания Саип-Гирея и всенародного подъема духа остались неизменными — малолетство Иоанна, боярские притязания и митрополичья вера во всесилие канонов добра, — то борьба двух могущественных кланов, клана Шуйских и клана Бельских, неминуемо должна была возобновиться с новой ожесточенностью, подвигая народ и державу на край беззакония, разорения и смут.

Первобоярин князь Иван Бельский и митрополит Иоасаф как предтеча или прообраз двух других и более удачливых деятелей России Адашева и Сильвестра, хотя, казалось, и находились теперь на вершине своей столь быстро обретенной власти и значимости при юном Государе, но положение их при Дворе оставалось непрочным, зыбким, сторонники Шуйских да и сами Шуйские, князья Иван и Андрей, не появлялись в думе, словно государственная жизнь и в самом деле перестала интересовать их, а князь Иван, бывший в войсках во Владимире, не желал даже возвращаться в Москву и сносился со своими столичными единомышленниками через вестовых, тайно готовясь к новому мини-дворцовому, как мы бы сказали теперь, то есть своего рода гекачепистскому (ведь свергался не Государь, а временщики, обитавшие возле него и подгрэбавшие под себя власть) перевороту. Разумеется, ни Государь, ни первобоярин князь Иван Бельский, ни тем более митрополит Иоасаф, по-детски ослепленный успехом и не находивший сил трезво взглянуть на реальность жизни, ничего не знали о готовившемся заговоре; как всякому подростку, Иоанну более хотелось развлечений и игр, а то, что лежало за пределами этих отроческих интересов, отторгалось как нечто чужеродное, осложнявшее жизнь; он не вникал в дела государства, а лишь выслушивал первобоярина и соглашался с ним, и вся эта атмосфера беззаботности, проистекавшая от общей словно бы умиротворенности народа в державе, в сущности, и привносилась в юношеские государевы покои и поддерживалась в них Иоасафом. Сей возведенный в первосвятительский сан России безвестный игумен Троицкого Сергиева монастыря, коему не суждено было и года пробыть в этом высочайшем церковном звании, не только не мог (в своей, повторюсь, счастливой ослепленности) предположить, чтобы мир, постигнув сладость добра, вдруг решил бы вновь отказаться от этого Божьего предначертания, но отвергал даже самую возможность помыслить об этом, и в каждом удобном случае — в соборе ли, где положено было делать это, в нравоучительных ли беседах с юным Государем или в думе с боярами — воздавал хвалу Господу, искренно веря и полагаясь на Его всесилие и приобщая к этой своей искренности восприимчивую еще в те годы к добру подростковую душу Иоанна. Но совсем по-иному смотрел на действительность и воспринимал ее князь Иван Бельский. Не-высокий ростом, живой, смекалистый, точно так же, как и Шуйские, властолюбивый и умеющий не упустить своего, то есть не только взять то, что плохо лежит, как сказали бы в народе, но и то, на что упадет взгляд, как это испокон заведено среди русских князей, княжичей и бояр Рюрикова Дома (и что, кстати, «достойно» унаследовано и многими нынешними правителями Кремля), князь Иван Бельский был убежден, что никто, кроме него или его братьев, не мог занимать место первобоярина, что право на сей важный пост в державе — пост канцлера при Государе — исходит от родственных связей клана Бельских с великоняжеским семейством, и если младший брат князь Симеон хотел добыть это право наведением крымцев (что, кстати, тоже было в традициях Рюрикова Дома), а старший, Дмитрий, умевший изъяснить храбрость в сечах, но старательно уходивший в тень в делах придворных, уповал лишь на терпение и смиренность, то, отвергая и смиренность, и тем более предательство, князь Иван предпочитал либо быть в полной славе, либо — в заточении, хотя бы и по гроб жизни, ибо полагал, что лучше умереть в достоинстве, чем существовать в унижении и позоре. Поставив принцип жизни выше самой жизни, он внешне казался многим князем надменным, высокомерным, как будто и в самом деле, пре-

зирая всех, уважал только себя и считался только со своими безмерными, как это опять же представлялось многим, притязаниями и желаниями, тогда как сам для себя, то есть по убежденности своей лишь не хотел быть рабом, пусть даже в высоком, вельможном значении, и предпочитал свободу мыслей и дел свободе внутренней, коей, впрочем, и ныне так любят со щедростью награждать нас правители Кремля и Церкви; да, сей невысокий, в чем-то даже казавшийся тщедушным, мелочным князь Иван Бельский был рожден словно бы не для своей эпохи, как оценили бы мы подобного деятеля сегодня, приложив к этому редкостному, в общем-то, явлению, когда пробужденное достоинство делает человека действительно человеком, свою будто бы объясняющую все и в то же время ничего не объясняющую мерку; во всяком случае, не в действиях, которые можно было легко нейтрализовать, а именно в характере князя Ивана Бельского видели Шуйские для себя угрозу, они чувствовали в нем точно ту же душевную стойкость и волю, какую осознавали в себе, и, столкнувшись, как стенка на стенку в сельском кулачном бою, тем сильнее напирала на нее, чем яростней встречали сопротивление. Мне иногда кажется, что если бы в свое время не воевода князь Василий Шуйский, а Иван Бельский оборонял Смоленск, то предпринял бы еще нечто более решительное и жестокое, чем только расставленные на городской стене виселицы со вздернутыми на них инакомыслящими горожанами для устрашения осаждающих; но у истории нет повторных дорог со столь же громкой повторной славой; чтобы найти свое, князю Ивану Бельскому предстояло выбрать (без выбора, в сущности) иную, на первый взгляд противоположную Шуйским дорогу — не через зло, а будто бы через добро, но к той же цели, а потому и методы, коими принужден был действовать, производили на фоне кровавых приемов противоположной стороны благоприятное на всех впечатление.

CXL

Однако с каких бы высот мы ни смотрели на жизнь, тем более на прошедшую, и как бы ни обобщали все в ней, разделяя на белое и черное, то есть хорошее, приемлемое для нас, и нехорошее, неприемлемое (и чем контрастней, тем будто бы лучше), на самом деле нет в ней ничего, что могло бы предстать в однородном, очищенном виде; как в природе, так и в явлениях общественной жизни или деяниях личности все настолько многогранно и так соединено, ступенчато переходными, вводящими в заблуждение красками, что одно и то же событие то предстает в ярком, возвышающем народ и личность свете, то оборачивается такой стороной, что, кроме неприятия и осуждения, ничего не вызывает в душе. Понятие «достоинство» тоже как будто бы однозначно. Но и достигается, и проявляется в человеке это чувство столь по-разному, что вместо величия открывается вдруг такая чернота, о какой бывает даже страшно помыслить, чтобы она могла гнездиться в человеческой душе. Нечто подобное, хотя и не в столь завершенном виде, можно было бы при желании разглядеть и в поступках князя Ивана Бельского. Когда после смерти Иоаннова отца Великого Князя и Государя Василия III между боярами возникло сомнение, венчать ли малолетнего Иоанна на государство или не венчать, — лишь из благих будто бы побуждений, как подавалось ими теперь, что державе нужен не малолетний отрок с матерью-опекуншей, а муж зрелый, достойный да к тому же имеющий право на великокняжеский престол, князь Иван Бельский решительно взял сторону старицкого князя Андрея, поставив себя изначально уже в противники Иоанна. Не без содействия временщиков правительница Елена тут же отправила его в заточение, а когда после ее смерти опального князя вернули ко Двору, — словно небезызвестный нынешний форосский «заточник», не потрудившийся даже узнать, в какую страну вернулся после своего «заточения», князь Иван, полагая, что ни юный Государь, ни его окружение не смогут до конца простить ему содеянное, возобновил в прежнем же духе свои интриги и был опять, но теперь уже Шуйскими, взявшимися опекать Государя и государев престол, отправлен в темницу. Ему, видимо, казалось, что он страдал безвинно, и осознание этого, что с ним поступили несправедливо, как раз и пробуждало в нем то чувство упрямства и гордости, с каким, освобожденный по ходатайству Иоасафа, он и явился во дворец. Столь же прямолинейный в душе, как и Шуйские, но достаточно наученный жиз-

ню и не желавший более возвращаться в темницу, он хотя и принялся за свое, но с осторожностью, подавляя в себе, когда нужно, и прыть, и гордость, и потребность немедленной и жестокой мести. Чтобы войти в доверие к юному Государю, перед которым, конечно же, надо было еще найти способ опрравдаться, князь Иван Бельский старался как можно искреннее выказывать послушание, преданность и ревность к службе, а чтобы приободрить и привлечь к себе запуганных и разогнанных Шуйскими по монастырям прежних сторонников (ведь и ныне ни премьерам, ни президентам не усидеть без определенной партийной поддержки в своих чиновных креслах), решил во что бы то ни стало похлопотать перед Государем за сына старика князя Андрея Владимира Андреевича и его мать, княгиню Ефросинью. Он понимал, что снять с них опалу и вернуть в Москву будет непросто; но еще более понимал, насколько важно было предпринять этот шаг; с одной стороны, если дело увенчается успехом, он мог бы сразу предстать перед всеми как человек, не меняющий ни своих взглядов, ни позиций, в котором темница не надломила духа правоты, а с другой — предстал бы перед Государем при определенной подаче как блюститель его, то есть государевых, интересов, справедливый, добросердечный, милостивый; да что может быть важнее для венценосца, чем подобная, основанная на поступках молва о нем в державе? Тщательно обдумав все, князь Иван решил действовать на юного Государя через митрополита Иоасафа; митрополит же, которого не требовалось в его упоенности и слепоте долго склонять к тому, что само по себе уже заключало доброе начало, столь ретиво взялся за дело, что не прошло и месяца, как Владимир Андреевич с матерью княгиней Ефросиньей, ко всеобщему удивлению и гневу Шуйских, были уже в Москве и явились к великокняжескому Двору, а затем возвращена была им и прежняя отцовская вотчина — Старица с прилежавшими землями, — и не велено было только держать прежних бояр, которые тут же были заменены новыми. Нужно ли говорить, как это вдохновило князя Ивана да и митрополита Иоасафа; оба они, но особенно князь Иван, незыблемо уже, казалось, утвердившийся на первобоярском месте, — оба с еще большим основанием, чем после торжества над Саип-Гиреем, позволяли себе ликовать душой; митрополит — потому, что в совершившемся увидел новый знак Божьей благодати, сошедшей на державу, а первобоярин князь Иван Бельский — потому, что с иным, чем даже мог предположить, достоинством вышел из труднейшего для себя положения при Дворе. Вслед за Владимиром Андреевичем и княгиней Ефросиньей он снял опалу еще с некоторых важных для себя княжеских особ, но чем сильнее укреплялся в своей первобоярской власти и чем ошутимее становилось его влияние на юного Иоанна, тем с большей озлобленностью присматривались к его деяниям Шуйские и тем решительней сносясь из Москвы с Владимиром и Новгородом, заговорщики готовились к восстановлению поправных будто бы митрополитом Иоасафом и князем Иваном Бельским своих исконных прав.

Но внешне — как в державе, так и в великокняжеском дворце и в соборе Успения — ничто, казалось, не собиралось менять своего привычного житейского ритма, простой люд по городам, посадам, деревням спешил наверстать упущенное в делах за время похода на крымцев и за дни столичных торжеств, по обителям, истязая плоть, усердствовали чернецы, схимники, без усталости хваля Господа за сие щедро предоставленное им право (неужели кто-то и в самом деле полагает, что подобным образом можно спасти погрязшее в грехах человечество и что путь мученичества, пройденный Спасителем, есть единственно очистительный, по которому следует идти?); в Москву, в Новгород на торжища спешили купцы — отечественные, закордонные, — чтобы не упустить выгодных сделок и барышей, тянулся люд мастеровой, посадский со своими поделками; приближалась пора свадеб, осенних престольных празднеств, по утрам ложилась на стерню серебристая изморозь, лоскутно чернели со взгорий убранные нивы, оголялись леса, и кому на этом немерянном пространстве русской земли было дело до тех дворцовых по дележу власти страстей, коими отягчались боярско-княжеские кланы Бельских и Шуйских? Нет, кто бы и что ни говорил мне, а власть всегда — только номинально считалось, что печется о благе народа и правит им; народ как жил своей закольцованной кругом насыщенных работ жизнью, брошенный на произвол судьбы, на выживание, так и живет — в веках, в неистребимом обмане, а правители — в своей и тоже замкнутой

в себе непрерывной схватке за власть. У первобоярина князя Ивана Бельского, как и у первобоярина князя Ивана Шуйского, была одна и та же цель — главенствовать поверх юного Государя в державе, и только лишь методы достижения ее — поступать противоположно тому, как поступает противник, — были разными и по своей отталкивающей и привлекательной значимости. Все, что делал князь Иван Бельский, — все, все являло собой для внешнего восприятия неподдельное будто бы бескорыстие, устремленное лишь к одному — к добру и согласию; все, все, разумеется, благодаря стараниям митрополита Иоасафа, казалось наполненным христианской благочестивостью, и в плане этого-то христианского всепрощения князь Иван Бельский и заговорил с Первосвятителем о своем убиенном под Пронском брате, князе Симеоне, как о заблудшем будто бы мученике, который не знал, что творил, и за смятенную душу которого следовало бы просить Бога, чтобы принял покаяние и дал ей вечный покой. Однако суть задуманного князем Иваном Бельским дела заключалась не в обращении к Богу, а в обращении к Государю, чтобы разрешил перевести прах убитого князя в Москву и предать земле в фамильной княжеской церкви. Дело это было настолько деликатным (ведь все, вплоть до юного Иоанна, знали о предательской роли Симеона в наведении крымцев на Русь), что Иоасаф, обычно скорый на поддержку добрых начал, на этот раз долго обдумывал, прежде чем положил дать свое святительское согласие. Обратившись к святому писанию и найдя нужный пример, он зачастил затем с беседами к Государю, а когда юный Иоанн, восприимчивый, как и все в его годы, к Божьему слову, присоединился к церковному посмертному печалованию, на дворе уже был декабрь, трещали морозы, реки сковались льдом, дороги установились, так что в самую пору было снарядить конвой и подводы в Пронск за прахом убиенного князя. Старший из Бельских князь Дмитрий, стоявший главным воеводой со своим полком на Оке перед Саип-Гиреем, хотя и не выступил против затеи брата, на что имел и гражданское, и всякое иное право, но от участия решительно отказался и, полагая, что рано ли, поздно ли, а за подобные «христианские» поступки придется держать ответ, словно медведь в берлоге, залег на своем подворье, и все приготовления в дорогу проходили лишь под присмотром князя Ивана да Первосвятителем Иоасафа. Отправлявшихся в Пронск бояр и детей боярских привели к крестному целованию на верность князю Ивану, а затем, после молебна в церкви, в которой как раз и предстояло предать земле прах князя Симеона, бояре и дети боярские сели в сани и на коней, и поутру, но затемно еще, чтобы не вызвать ненужных толков, обоз с конвоем покинул Москву. Дорога предстояла долгая, и опасная, так как Шуйские, прознав, могли перехватить на обратном пути обоз, и, чтобы не допустить нежелательного поворота событий, князь Иван выслал на дорогу дополнительные подставы охранников. Но, несмотря на эти принятые меры, беспокойство не отпускало ни князя Ивана, ни митрополита, словно вот-вот что-то должно было разразиться над ними и захлестнуть их; ведь не только Шуйским, но и народу небезразлично было подобное перезахоронение, когда, в сущности, изменнику отдавались почести; но — как и в Москве, так и по всей России, отчужденной от кремлевских страстей, все готовилось к празднеству Рождества Христова, на площадях шумели зимние ярмарочные базары, одни покупали, другие торговали — всем, бойко, с прибаутками, веселя неприхотливый в житейской своей повседневности российский люд, в соборах, церквях, в монастырях, даже в кельях отшельников — всюду все начищалось, прихорашивалось в преддверии славного церковного торжества; но как ни успокоительно было смотреть на эту общую (от неведения) умиротворенность, ни князь Иван Бельский, ни митрополит Иоасаф не могли унять душевной тревоги, и тяжелое предчувствие тем сильнее охватывало их, чем тише, словно перед грозой, вели себя Шуйские и чем дольше не поступало вестей от посланных за прахом князя Симеона бояр.

CXLI

Но князья Шуйские действовали совсем иначе, чем думала о них противоположная сторона, и не высылали людей на перехват обоза; занимаясь мелочами — это было не с руки им, они полагали по провинциальной своей напористости и прямоте, что коли рубить, так уж под корень, чтобы

раз и навсегда лишить Бельских самой возможности верховодить в державе. «Какие они родственники Государю?» — говорили Шуйские, отвечая на ту крепнувшую среди бояр и народа молву, какую прикрывались Бельские. Родство сих выходцев из Литвы с московским правящим Домом и в самом деле было столь отдаленным, сомнительным и случайным, что Шуйские не то чтобы совсем не признавали его, но прежде и выше подобной породненности ставили то родственное начало, которое уходило основанием к прародителю Рюрику и к более близкому прародителю Великому Князю Александру Ярославичу Невскому, чьи сыновья Андрей и Даниил, сев соответственно на уделы Суздальский (Тверской) и Московский, породили ветвь князей суздальских — Шуйских и ветвь князей, а затем великих князей и царей московских. Уже само это право на власть, позволявшее претендовать не только на первобоярство, но при случае и на великокняжеский трон (что, кстати, в свое время и попытался сделать боярин князь Василий Шуйский, объявив себя в думе после расправы над дьяком Мишуриным, Иваном Бельским и митрополитом Даниилом равным с Государем), — само это право, столь бесцеремонно узурпированное ныне выходцем из Литвы, открывало князьям Шуйским простор для действий. Их замысел был прост, как вообще бывают просты замыслы людей, полагающихся не на здравый смысл, не на доводы, а на силу, и, как, впрочем, испокон повелось у нас на Руси — кто смел, тот и съел, кто первым занес меч, тот и сечет голову; силой ставятся троны и создаются державы, и хотя сама по себе мысль эта не нова, но для объяснения нашей истории имеет особое значение, потому что все, что сотворено в ней, сотворено силой, начиная с навязанного понятия «русь» (в переводе: дружина, войско) и до крещения в водах Днепра и всех последующих катаклизмов, конца и края которым нет и поныне. А ведь все в том, что с первого шага нашей столь прославляемой государственности и по сегодняшней день не стихают схватки за власть; дрались, истребляя народ, за великокняжеский стол, за уделы, за роли при Дворе — вторые, третьи, четвертые, начав еще до Ивана Калиты и не прекратив доныне, как если бы, некогда взяв наши города и землю «на щит», князья-рюриковичи положили растянуть трехдневное свое «право» грабежа и насилия на тысячелетие, так что и Шуйские, и Бельские лишь следовали традиции и ни в чем не могли упрекнуть себя. Под прикрытием праздника Рождества Христова они спешили повернуть каждый свое дело: князь Иван Бельский с Иоасафом — успеть с перезахоронением, князь Шуйские — сосредоточить силы для решительных действий. В то время как из Пронска, переменяя лошадей на подставах, люди Бельского и Иоасафа мчались с прахом князя Симеона в Москву, из Новгорода, и тоже спешно, подъезжали к стольному граду на санях житые мужики, готовые не столько постоять за Шуйских, сколько отомстить москалям за недавнюю и памятную им расправу над землянами; словно бы на церковные торжества прибыл в Москву и новгородский архиепископ Макарий, а из Владимира группами и поодиночке стекались ратники и дети боярские, целовавшие волею ли, неволею ли крест на верность своему воеводе боярину князю Ивану Шуйскому, так что — хотя в Рождественском колокольном благовесте, разливавшемся над Москвой, казалось, не было и намека на то затаенно-тревожное, что случалось над великокняжеским дворцом, митрополичьими палатами и подворьем первобоярина князя Ивана Бельского, — и Иоасаф, и Макарий, сидевший у него в гостях, как и князья Бельские и Шуйские, попрятавшиеся по своим княжеским хоромам, каждый со своей настороженностью вслушивался в сей праздничный колокольный звон.

Главные события по плану заговорщиков должны были развернуться в ночь со второго на третье января, когда Рождественские торжества уже сходили на нет, а будни ни в народе, ни в великокняжеском дворце, ни в думе еще не начинались, и в этом ленном междуделье, когда все в человете еще расслаблено, неспешны мысли и нет собранности, — в этом-то ленном междуделье и намеревались застать и схватить своих противников Шуйские. Еще первого днем Иван Шуйский призвал к себе сына, князя Петра, и Ивана Большого Шереметева и, наказав им с тремя сотнями дружинников ехать из Владимира в Москву, спустя час (и, естественно, без великокняжеского на то согласия, что по тем временам считалось тягчайшим делом), нагнав их по санной дороге с советниками, возглавил отряд. Второго числа около полуночи конники, миновав распахнувшиеся перед ними городские ворота,

сразу же на рысях двинулись в Кремль к подворью Бельского. Надо заметить, что все заговорщики были разделены на группы, и каждая группа имела свое задание. Несколькими часами раньше, чем князь Шуйский вместе с сыном и дружиной появился в Кремле, соучастники дела князя Михайла и Дмитрий Кубенские, князь Дмитрий Палецкий вместе с казначеем Иваном Третьяковым и верными им детьми боярскими успели уже схватить двух главных советников свергнувшегося князя Петра Щенятева и Ивана Хабарова, причем Щенятева взяли «у Государя из комнаты задними дверями», так что не успевший ничего сообразить Иоанн услышал только стук, шум и возню за дверью. Он послал было оказавшегося под рукой казначея Третьякова узнать, что там произошло, и, услышав, что «ничего, так, холопы что-то уронили», вскоре уже спал уложенный в кровать мамкой-боярыней. Новгородцы же еще не включались в дело. Им предстояло, присоединившись к конникам Шуйского, обложить подворье первобоярина князя Бельского, который, и заговорщики это знали, держал теперь удвоенную охрану. Спешившись, цепью конники и новгородцы оцепили подворье, кинулись к воротам, вышибли их — и началась та упорная сеча, которая длилась более часа, пока дети боярские и ратники Шуйского вместе с новгородцами пробились к крыльцу и ворвались в дом. Видя упорство и чтобы ускорить дело, князь Шуйский в первых рядах с мечом пробивался к парадному входу (сражение шло и у черного входа, где бился его сын, князь Петр, с Иваном Большим Шереметевым); люди кололи друг друга, падали, заливая и окрашивая снег своей теплой кровью, отовсюду слышались стон, крики, лязганье металла о металл, и морозно-бледный серп ущербной луны тускло освещал это кремлевское ради замены власти властью побоище, этих погибавших неведомо за что русских людей, о которых нельзя будет даже сказать, что они отдали жизни за отечество. Первобоярин князь Иван Бельский, понимая, что ему некуда деться, но и не находя в себе сил взяться за меч (он и всегда-то не отличался воинственностью, а предпочитал действовать умом, смекалкой, хитростью), одевшись во все боярское, ожидал своей участи. Он не произнес ни звука, когда ворвавшиеся дети боярские и новгородцы сбили его с ног и, заломив руки, принялись надевать на него колоду, и ничего не ответил Шуйскому, когда тот, войдя и пнув ногой поверженного князя, злорадно спросил: «Ну что, первобоярин?» Затем, взяв за ноги, Бельского волоком вытащили из палат, бросили в сани и отправили на подворье к Шуйским, где уже закованные в такие же колоды лежали на снегу другие схваченные заговорщиками князья.

Покончив с Бельским, то есть побив еще остававшихся в живых холопов и разграбив дом, люди Шуйского вместе с самим князем двинулись к митрополичьим палатам, но Иоасафа в них уже не было. Полагая, что в великокняжеском дворце заговорщики не смогут достать его, он кинулся было туда, чтобы укрыться, но люди Шуйского бросились за ним; Иоасаф, обезумев, ринулся в спальню к Иоанну (было около трех ночи), на шум туда, взяв подсвечник с зажженными свечами, вбежала мамка-боярыня и, увидев чью-то согнутую черную фигуру возле кровати Государя, а самого Государя — стоящим во весь рост в ночной рубашке на постели с подушкой в руке и готовым то ли прикрыться, то ли отбиваться ею, ринулась к нему, как в то памятное и ей, и Иоанну, утро, когда в окровавленных доспехах вдруг объявился в детской князь Василий Васильевич Шуйский. Но в это время из коридора донесся топот приближавшихся к государевой опочивальне вооруженных людей — житых новгородцев, детей боярских и ратников, — и Иоасаф, понимая, что и здесь, у Государя, не укрыться ему, кинулся к задней двери и исчез в ней. Ворвавшиеся, разглядев, что митрополита нет, шумно, толпой, будто они были не в спальне Государя и будто не Государь, заслоненный мамкой-боярыней в ужасе смотрит на них, — шумно, толпой ринулись вслед за Иоасафом к оставленной им раскрытой двери. Затем все стихло, но Иоанн, утешаемый мамкой-боярыней, столь же, впрочем, испуганной, как и он, так и сидел до рассвета, дрожа и не смыкая глаз, и из-под ее руки оглядывал тускло освещенное пустое пространство спальни; может быть, если есть черта, отчуждающая человека от детства, то для него она пролегла именно через эту страшную и пробудившую все темные силы в нем ночь, когда вместо подростковой беспечности на хрупкие еще плечи будущего самодержца всея Руси взваливалась тяжесть грядущих венценосных забот.

СХLII

Заговорщики между тем продолжали свирепствовать, они нагнали Иоасафа уже на Троицком подворье, сорвали с него святительские одежды и добились бы до смерти, если бы игумен Алексей, оказавшийся на подворье, и подоспевший князь Дмитрий Палецкий не остановили именем святого Сергия их. Особенно зверствовали новгородцы, для которых Иоасаф был воплощением ненавистных им москалей. Полуживого или, вернее, полумертвого Иоасафа приволокли на двор к Шуйским, где для него, как и для всех, кто был схвачен в эту ночь вместе с князем Иваном Бельским, приготовлены были конвой и сани, чтобы отправить в заточение. Шуйские торопились. Им, как и всегда, хотелось все завершить потемну, и, когда тихой морозной синевой забрезжил на востоке рассвет, санный обоз, в котором везли колодников, сопровождаемый тремьястами детей боярских под началом юного князя Петра Шуйского и Ивана Большого Шереметева, уже был на выезде из Москвы. История знает много курьезных и драматических случайностей, и, видимо, не иначе как к одной из подобных случайностей следует отнести и эту, что в сей рассветный час произошла с князем Иваном Бельским и митрополитом Иоасафом. В то время как их вывозили из Москвы, навстречу им двинулся к городским воротам другой обоз, доставлявший по их повелению прах князя Симеона в столицу для перезахоронения. Встречные, подвернув к обочине, чтобы уступить дорогу (по малочисленности своей они не могли поступить иначе), с удивлением и ужасом увидели своего князя в колоде и, не зная, что предпринять и как им быть теперь, долго затем, словно оцепенев, смотрели вслед удалявшемуся обозу.

Хорошо ли это или плохо, но люди привыкают ко всему. В малолетство же Иоанна, как и в правление его матери Елены, в Москве столь часто происходили боярские, так я бы назвал их, перевороты и погромы, что зрелища разграбленных в Кремле подворий, митрополичьих ли, боярских ли (лишь великокняжеский дворец оставался нетронутым), не вызывали уже ни у кого удивления; говорили только, что «опять бояре дерутся», и толпы зевак приходили посмотреть на результаты побоищ, а при случае, если удастся, и прихватить, что было еще не унесено и бесхозно валялось во дворе или в доме. Иногда возникали попытки продолжить погром, ведь охочих поживиться за счет разбоя всегда, как и теперь, достаточно, но толпы сих возбужденных горожан разгонялись, и в примолкнувшем, укрывшемся по домам народе лишь нарастало тревожное предчувствие надвигающихся на державу смут. На сей раз первобоярин князь Иван Шуйский сам решил съездить к разграбленному подворью Бельского и митрополичьим палатам, чтобы посмотреть на свои ночные дела. На коне под красной попоной, сыто гарцевавшим под ним, и в окружении столь же молодцевато сидевших на конях детей боярских он въехал на площадь, и то ли оттого, что одет был по-царски и боярская шуба его и шапка, шитые золотой нитью, еще издали выдавали в нем высокородство, соединенное с немеряным будто, несместным богатством («А все из царской казны», — как позднее в ответах Курбскому писал Иоанн), то ли оттого, что держался с царственной гордостью, глядя только поверх голов и не замечая или не желая никого замечать вокруг, — люди, словно перед царем, торопливо снимали перед ним шапки, и, чтобы еще более придать своей персоне величия, князь придержал коня и швырнул в толпу несколько горстей приголовленных им для этого монет. Затем, приказав детям боярским отогнать от подворья зевак, осмотрел валявшиеся на снегу ооченелые от мороза трупы. Издали, примолкнув, толпа наблюдала за ним; безмолвствовали за спиной и дети боярские, и даже кони под ними, словно осознавая трагичность минуты, замерли в напряженном спокойствии. Глухо, безлюдно, казалось, было в великокняжеском дворце, и столь же глухо, безлюдно в соборах Успения и Благовещения, как будто не только никто из святителей, но и никто из бояр не смел появиться на площади, и упоенному успехом Шуйскому, несомненно, должно было казаться, что ни при Иоанновом Дворе, ни в державе вообще не было уже силы, которая способна была бы противостать ему. Распорядившись, чтобы заиндевелые трупы стаскивали к Москве-реке и спускали их там под лед, он еще постоял несколько, пока не началось сие страшное (заметание следов, как мы бы

сказали теперь) дело, и затем нехотя, тем же неспешным игривым наметом направился к своему подворью.

Несмотря на мороз, который, казалось, чем выше поднималось солнце и полнее разгорался день, тем злее, колючее хватал за нос, щеки, уши, во дворе Шуйских и за воротами, на улице, было полно народу; ратники, дети боярские, житые новгородцы — все были, как и сам первобоярин князь Иван Шуйский, под впечатлением успешно завершеного ночного дела и не хотели расходиться. На черном дворе забивали и освеживывали скотину, под разведенными кострами кипели чаны, и мясники в окровенелых фартуках то и дело подходили к кострам, чтобы погреть руки; за стенку по желобку стекала, дымясь испариной, теплая телячья кровь, и стая собак, с визгом и лаем накидываясь друг на друга, слизывала ее. Костры горели и во дворе, и за воротами; жгли то ли старое сено, то ли солому, чадившую белым едучим дымом, и отовсюду, как в ратных станах после победной сечи, слышались оживленные голоса, сыпались шутки, как если бы и в самом деле благо жизни только в том и состояло, чтобы отдался этим бездумным минутам торжества, не заботясь ни о чем. Не желали упускать своего и новгородцы. Они сновали меж груженных саней, стоявших и у ворот, и дальше вдоль дороги готовыми к выезду, и двором, где разливалось питье и подавались яства, и по их раскрасневшимся лицам нетрудно было понять, что они довольны делом, на которое были приглашены, и что готовы и впредь держать сторону своего заступника, как они называли князя, на коне под красной попоной подъезжавшего к ним. Сани новгородцев были полны награбленного; лошаденки их в хомутах и под дугой, лишь с расслабленными супонями и чрессельниками жевали овес, взятый из митрополичьих амбаров и амбаров Бельского, и вид этого обоза и житых новгородских мужиков, кинувшихся с поклоном к поцарски подъехавшему князю, напоминал скорее нечто будничное, связанное с неспешной крестьянской жизнью, чем с только что отшумевшим разбоем, княжеским самоуправством и дележом власти. Первобоярин князь Иван Шуйский придержал коня, поблагодарил житых новгородцев за усердие, затем точно так же поблагодарил ратников и детей боярских, что толклись во дворе, и, спешившись и опережаемый дворовыми холопами, кинувшимися распахнуть перед ним дверь, вошел в палаты, где давно уже ждали его князья-родичи от всех ветвей этого могущественного старинного рода, князья Кубенские, Палецкий и верные им бояре, дети боярские, приглашенные каждый по своим заслугам за сей пиршеский хозяйский стол.

Полагаю, что люди и тогда, и теперь, подобным образом захватывающие власть, не думают или, вернее, не способны всерьез задуматься над последствиями своих деяний. Временщик, до каких бы высот значимости ни добирался — кровавым ли, бескровным ли путем, то есть путем интриг и оговоров, — всегда остается лишь временщиком, и приходит день, когда ему не перед Божьим, нет, а перед судом земным, царским, иногда и судом народа выпадает держать ответ; и тогда тот же палаческий топор, что безжалостно сек головы противников, — тот же топор, но с еще большей жестокостью опускается на шею тех, кому не хотелось жить в добре и мире, как живут или по крайней мере должны жить все люди, а хотелось больше, больше, чем уже имелось у них, обрести богатств, славы и власти. Никому в сводчатой палате Шуйских, кто сидел теперь за пиршеским столом, глаголя о справедливости, кичась силой и искренне полагая, что и Государь всяя Руси Иоанн, будто век ему находиться в малолетстве, ни в чем не указ им, и в голову не приходило оглянуться на свое будущее, тем более на будущее народа; народу предстояло лишь еще более разориться от наместников, которых разошлют по волостям сии brave победители (ведь суть временщиков — грабь, сколько успеешь); бояр же и князей ждали заточение и казнь. Уже через несколько недель первобоярина князя Ивана Шуйского, как и предшественника его первобоярина князя Василия Васильевича настигнет случайная смерть — приляжет после заутрени и завтрака на часок отдохнуть да так и не встанет и в тот же день (для чего бы спешить?) будет предан земле; еще более страшная участь была уже, в сущности, уготована и боярину князю Андрею Шуйскому, и Кубенским, и Палецкому, но — не будем забегать вперед; первобоярин князь Иван, посаженный во главе стола, произнес здравицу в честь

своего могущественного клана, не забыв упомянуть и о правах на великокняжеский престол, затем провозглашена была здравица в честь самого князя, и так как содеянное все же требовалось узаконить, сразу после застолья все сели на коней и поехали к архиепископу Макарию, чтобы, получив благословение, вместе с ним отправиться к Государю.

СХLIII

Всю рождественскую неделю новгородский архиепископ Макарий был гостем митрополита Иоасафа, помогал ему в торжественных богослужениях, но в ночь со второго на третье января, как совершиться перевороту, попросил отпустить его в кремлевский Чудов монастырь, где он намеревался, уединившись на день, другой в келье и предавшись молитвам, пообщаться с Богом и еще более укрепиться в вере и благочестии. Подобное желание не вызвало ни у кого ни сомнений, ни подозрений, тем более что и сам Иоасаф любил прибегать к затворничеству, когда испытывал потребность сообразоваться с обстоятельствами жизни и обдумать свои замыслы и дела. К тому же тогдашний настоятель Чудова монастыря Афанасий, будущий царский духовник, митрополит и Первосвяитель всея Руси (он примет сей высокий сан после первосвятительства Макария), — Афанасий был близко знаком с новгородским архиепископом, придерживался одинаковых с ним взглядов на церковные и монастырские порядки, восхищался его Четвями и даже, сколько мог, помогал в составлении их и рад был теперь принять у себя столь чтившегося в тогдашнем святительском мире иерарха. Макарий явился сразу же после обедни и сразу же пожелал удалиться в келью, чем не столько удивил, сколько огорчил Афанасия, так как стол в трапезной был уже накрыт, а чудовский настоятель не был еще так стар, чтобы пренебрегать чревоугодием. Но просьба есть просьба, дело житейское, как сказали бы в миру, и столь же приложимо к бытию церковному или монастырскому; тяга к уединению есть потребность души в общении с Богом, искушение сие свято, и никто не вправе чинить человеку препятствий на этом пути. Афанасий отвел гостя в теплую, скромно, но уютно обставленную келью, в которой можно было и от души помолиться, и прилечь, если от бденных изнеможений захочется отдохнуть, и, продолжая удивляться молчаливости и задумчивости новгородского архиепископа, но не позволяя себе ничего дурного подумать о нем, перекрестился и, поклонившись, удалился к себе. Он тоже не пошел в трапезную, а усеченно, как сказал келарю (и в знак солидарности с Макарием, как мы бы решили теперь), но исходя все же из своих потребностей, велел принести в келью хлеб и сочиво (из нескольких, заметим, блюд), и затем в том полчасовом забытии, в каком тогда уже любил пребывать после обильного ли, не обильного ли принятия пищи, вновь принялся размышлять о странном, как ему показалось, поведении Макария. Мы почему-то полагаем, что служители церкви — люди не то чтобы исключительные (в том плане, что отдалены от всего мирского, без чего нет и не может быть для нас жизни), но, находясь в некоей постоянной будто бы святости, только и делают, что либо молитвенно стоят перед иконостасами, либо корпят над святыми писаниями, не позволяя себе хоть на что-нибудь отвлечься от своих богоугодных дел. Однако это не так. Все, что присуще человеку, присуще и святителю, в каком бы звании или сане ни пребывал, и чаще мирское, потому что в движении, задевает служителя больше, чем церковное, то есть неизменное, статичное (из века в век!), и — за молитвенным шевелением губ, за аскетической угрюмостью и озабоченностью, если бы в эти минуты возможно было заглянуть в человеческую душу, часто скрываются не мысли о Боге, а мысли о земном, о тех насущных интересах народа, личности, о которых так ли, иначе ли обречен думать каждый из нас. Как человек наблюдательный и тогда уже близкий к придворной жизни, Афанасий хотя и не был осведомлен о разговоре, но, как и многие при Дворе, чувствовал, что готовилось что-то недоброе, должно завершиться не иначе как новыми опалами или кровью; придет ли это со стороны князей Бельских или со стороны князей Шуйских, что представлялось более вероятным, так как от государственных дел оттеснены были именно Шуйские, Афанасий не знал; по слухам, дошедшим от монахов, ему известно было только, что накануне Рождества Христова со двора первобоярина князя Ивана Бель-

ского в ночь, тайно, отправлены были на какое-то дело военные люди с обозом и что в самый уже день Рождества в кремлевских церквях и на площадях перед ними замечены были явившиеся для чего-то житые новгородские мужики; они словно что-то высматривали или выведывали, слоняясь с утра до вечера по Кремлю, и эти-то столь неопределенные, урывочные сведения, которые Афанасий пытался соединить в нечто более ясное, разумительное, как раз и занимали его. Князья Шуйские, житые новгородцы и новгородский же архиепископ Макарий, — все это казалось ему не случайным. Шуйские и новгородцы всегда стояли заодно и, добавим, были в таябах с Москвой и московским великокняжеским Домом, и обстоятельство это только подогревало интерес чудовского настоятеля. Но и Макарий был не в лучшем положении. До него доходили слухи (через Шуйских, несомненно, усердствовавших в этом), что Государь будто бы недоволен Иоасафом, что и за князем Иваном Бельским, забравшим много власти, открылись какие-то тяжкие «неправды» и что в самом скором времени следует ожидать соответствующих перемен при Дворе. Насколько правдивыми или ложными были эти сведения, трудно было предположить. Но когда в канун рождественских торжеств Шуйские дали понять Макарию, что желательнее было бы, чтобы в эти дни он находился в Москве, новгородский архиепископ не мог не догадаться, для каких дел его приглашали. Но он не сразу решился на эту нелегкую тогда уже для него по зимней, метельной дороге поездку. Человек энциклопедических по тем временам знаний, как мы бы сказали о нем (работа его над Четвями уже шла к завершению), Макарий более чем кто-либо из тогдашних церковных деятелей был достоин и сана митрополита, и первосвятительства и вполне мог бы без интриг и домогательства занять сие высочайшее место; еще до постановления Иоасафа об этом уже настойчиво поговаривали в святительском мире, но — время шло, новгородский архиепископ чувствовал, что стареет, что разговоры о нем могут так и остаться разговорами, если не подтолкнуть события и, полагая, что ожидаемый час настал (ведь Иоасаф, если Государь недоволен им, все равно будет низложен), велел закладывать сани в дорогу. Во всю неделю, пока шли праздничные богослужения, Макарий ни разу не виделся с Шуйскими; но затем к нему вдруг явился боярин от них и посоветовал в ночь со второго на третье января удалиться в Чудов монастырь. Подобный совет был, с одной стороны, унижительным, а с другой — дав согласие на одно, надо было давать и на другое, и как ни трудно было святительской душе его подчиниться мирской воле, но, не находя в этом своем поступке ничего, что в чужих глазах опорочило бы его, — после обедни и обеда у Иоасафа, поразмыслив, послушно отправился в кремлевский Чудов монастырь.

Утомленный более душой, чем физически, он стоял теперь посреди кельи, глядя на стол перед собой, высвеченный сизоватым оконным светом. На выскобленной ножом дощатой поверхности лежало несколько белых салфеток, стояли иконы и подсвечник со свежими, ни разу не зажигавшимися витыми свечами, и хотя Макарию по его душевному настрою было как будто безразлично, что чудовский настоятель приготовил для него (важна не форма, а содержание, как сказали бы мы, обратившись к новейшим философским понятиям), но, заметив эту утонченную предусмотрительность, невольно обернулся на дверь, как если бы Афанасий еще стоял там и можно было поблагодарить его; но возле двери никого не было, и Макарий услышал лишь, или, вернее, показалось, что услышал, удаляющиеся шаги чудовского настоятеля. «Господи, укрепи душу», — крестясь, проговорил Макарий, опять принимаясь разглядывать келью, в которой, он даже не знал пока, сколько дней и ночей придется ему провести, и только чувствовал по тем странным как будто бы сомнениям, начавшим одолевать его, что дни и ночи эти будут нелегкими и что вместо успокоения, столь необходимого теперь, чтобы устоять перед искушающим соблазном власти и, не уронив святости, принять, если окажется на то воля Господня, и сан митрополита, и первосвятительство, — что вместо успокоения, всегда прежде в уединении приходившего к нему, ворвутся в душу мирские страсти и начнут разъедать ее. Чтобы отвлечься, он старался рассмотреть иконы, сразу же за подсвечником располагавшиеся на столе, но на них нельзя было ничего различить; лики, нимбы, глаза святых угодников, как и оклады и ризы, в которых заключены были угодники, — все,

все являло собой лишь одно серое, слитое со стенами, полом и потолком, как серо, неопределенно, неясно было на душе, требовавшей покоя и не находившей его. Еще в Новгороде, когда только собирался в дорогу, Макарий почувствовал, что будто втягивается в какие-то мирские страсти, в которые ни по святительской убежденности, ни по сану не следовало бы ему втягиваться; теперь же, в келье, он не только чувствовал, но точно знал, во что (не по своей, конечно же, воле, как полагал) был втянут, и не столько порочная суть страстей, сколько необратимость произошедшего угнетали его. Не зажигая свечей, он прошел к жесткой, застланной грубым суконным холстом скамье и присел на нее.

CXLIV

Хотя жизнь мирская и жизнь святительская, казалось бы, несовместимы уже по самой своей заданности, но замечено, что человек как в миру, так и за церковными или монастырскими стенами остается одинаково человеком и, стремясь к миру божественному, к его недостижимой таинственности, стремится лишь к созданному воображением идеалу общественных отношений, при которых торжествовали бы только благочестие и порядок и не оставалось бы места насилию и злу; и не случайно потому, что все божественное состоит из очищенного от скверн, то есть возведенного в идеал земного, и еще более не случайно, что все таким образом очеловеченное небесное, словно по каналу обратной связи, в чем и могла бы состоять величайшая роль Церкви, подается людям как изначальный, неизблемый в благородных своих устоях мир вселенного бытия. Он светел (на первый взгляд, конечно же), ясен и прост; вот рай, вот ад и дорога к ним, как дорога к бессмертию, — пребывать ли человеку в вечном блаженстве или в муках за содеянный и не искупленный в молитвах грех, тогда как в жизни земной, реальной все неустойчиво, подвержено непредсказуемым переменам и вместо святых угодников, хотя и безгласых, но столь понятных в своем значении, приходится сталкиваться с властителями живыми — от чиновника до царя, — каждый из которых со своим нравом и своими запросами славы и живота; да, жизнь земная требует постоянных усилий как физических, так и духовных, чтобы если не преуспевать, то хотя бы с достоинством и в достатке прожить в ней, в то время как в жизни небесной все благородно, стабильно, и надо лишь раз отречься от себя, от всего земного и предаться во власть Бога, как тотчас и душа, и плоть, достигнув желанного идеала, обретут умиротворение и покой. Так и сегодня полагают многие, тяготясь реальным и поддаваясь соблазну идеального, и, возможно, все на самом деле было бы и просто, и приемлемо, если бы не одно важное обстоятельство, о каком, когда речь заходит о канонах церковных, либо забывается, либо замалчивается, что ведь предлагаемый для подражания небесный идеал создан не на основах и потребностях народной жизни, да уж и вовсе не на интересах и потребностях личности, то есть интересах гражданских свобод и ограничений, а по образцу правителя и рабов и в угоду и поддержку неизблемости светской, да-да, именно светской власти. Понимал ли Макарий суть этой главной, отведенной Церкви обратной связи, когда, аккумулируясь в храмах и душах святителей, нисходят к людям не истины добра и процветания, но лишь истины смирения и послушания, сводящие на нет достоинство человека и обрекающие его на вечное невежество и тьму, или, ослепясь иерархическим достатком и благочестием, искренне полагал, что свет в вере, а тьма в неверии и что страсти земные, как и сама реальная жизнь, всего лишь суета сует, уводящая от мыслей и дел спасения, или же, не вдаваясь в подробности, как многие из подвижников нынешних, обратив дела святительские в средство к существованию, выполнял их со старанием и любовью, — ничто так не хранится за семью печатями, как тайна душ, унесенная патриархами ли, царями ли, престолудинами ли в могилу. Но, однако, Макарий не все унес с собой в небытие, и знаменитые его Четы-Минеи (двенадцать книг, по числу месяцев в году) уже самим замыслом своим во многом приоткрывают тайну тайн его нравственных устремлений. Четы эти говорят нам, что все святительские старания свои он употреблял лишь с одной и ясной ему целью, о которой нельзя сказать иначе, как о желании всеохватного церковного просвещения народа, будто недостаточно было для этого монасты-

рей, церквей, соборов и храмов на Руси и проповедников в них, и как о стремлении установить в земной, реальной жизни тот же порядок вещей и дел, в веках наделено вселенское божественное начало. Лишь при неизменном смирении, когда каждая человеческая душа, словно копия с оригиналом, будет сверяться с канонам церковной жизни, — лишь при этом условии, Макарий понимал (инстинктивно ли, осознанно ли — другой вопрос), возможно будет до вечности продлевать и свое, и всякое иное иерархическое благополучие. Конечно, в сравнении с Иоанновым реформированием — введением причины — это выглядело прогрессом; во всех городах и весях державы, в каждой семье и для каждого человека всякий новый день должен был начинаться с определенной, предписанной Четьями молитвы, с чествования одного и того же для всех святого угодника, читать житие только означенного на этот день мученика-чудотворца, соответственно и есть, и пить, и работать — и так из месяца в месяц, из года в год, из поколения в поколение, строго, судьбоносно, с усердием; и немудрено, что труд сей, удостоившись царских похвал, получил признание и архиерейского собора. Правда, теперь, с отдаления, четко видны две стороны этого явления мирской и духовной российской жизни: с одной — шло приобщение народа к грамоте и чтению, а с другой — сковывалось творческое развитие личности и народа; но ведь не только в рай устляется благими намерениями дорога, и если Макарий и думал о будущем, то лишь в соответствии с тем идеалом, которому отдавал силы, волю и ум. Службы в соборе святой Софьи он перемежал с работой над Четьями и, выходя из одних стен, стен собора, и попадая в другие, стены кельи, где, обставившись свечами и обложившись писаниями греческого и отечественного образца, из коих как раз и складывались Четьи, он не то чтобы намеренно отстранялся от мирских дел и забот, то есть от состояния и нужд народной жизни, но принужденный силою обстоятельств к этому даже не подозревал, казалось, что есть еще и эта ипостась бытия, и что тот самый люд — деревенский, торговый, мастеровой, — для которого со столь тщательным отбором сплетал свои из церковной (божественной, небесной) нравственности сети, — люд этот нуждался не в путях, не в наручниках, хотя и преподносимых от имени Бога, или Спасителя, а в раскрепощении тех духовных и физических сил, которые привели бы державу к процветанию. Но архиепископ стоял выше понимания этого насущного, земного; он казался себе не столько даже духовником, сколько философом и, полагая, что великая цель не может быть достигнута без великих идеалов, искренне, как и сотни подобных до него, старался донести эти идеалы до народа, ложась и просыпаясь с одной лишь этой мыслью, что служит не только и не столько Церкви, сколько Отечеству. По работоспособности и увлеченности он выглядел подвижником и, как всякий убежденный теоретик, обвинял прежде всего жизнь, если что-либо не согласовывалось в ней с идеей. Мысль об очищении народа через страдания, заключающая в себе, пожалуй, один из самых крупных, страшных и губительных для человечества обманов (главное, для простолюдинов), — мысль эта, приемлемая для всех правителей всех эпох и, кстати, усиленно и ныне насаждаемая у нас для тех же, видимо, целей, была не просто основополагающей для Макария, но он принимал ее сердцем, душой и верил, что если и есть путь к спасению, то он пролегает лишь через страдания к покаянию и очищению. О его убежденности и благочестии распространялась молва, имя его обретало вес и значимость среди духовенства и среди прихожан новгородской епископии, и в нем незаметно и независимо будто от него разрасталось тщеславие, сознание величия оборачивалось желанием еще большего величия, взор начинал падать на Первосвятительский трон, и соблазн получить его, возникший еще в момент вручения Четей будущему самодержцу России, — соблазн этот и действия к осуществлению его, сколько бы теперь Макарий ни оправдывался и ни корил себя за оплошность и недосмотр, как раз и привели его в эту мрачную — свечей он все еще не зажигал — келью.

Но всякому или почти всякому человеку, тем более деятелю, хоть раз в жизни приходится сталкиваться с событием, после которого либо круто меняются его взгляды, либо столь же круто изменяется жизнь. Чаще всего подобные события возникают независимо от воли и желания попадающего в них; но случается и так, как теперь с Макарием, когда ситуация, в какой он оказался, была, в сущности, во многом подготовлена им самим

для себя, и, несмотря на душевные мучения (мучения совести, как мы бы сказали), которым подвергался сейчас, — и взгляды, и жизнь, обретенные им после этих мучений не только не унижат его в его столь чтимой им святости, но, напротив, возвысят если и не до исторических, то по крайней мере истинно достойных сана митрополита и первосвятительства высот. Нет, он не просто сменит одну иерархическую одежду на другую, на ступень выше приближающую его к Богу, но — и мир воображенный, божественный, и мир реальный, земной, вдруг откроются ему совсем по-иному, в том извечном своем единстве, в каком только и протекает человеческая жизнь, и он, как и предшественник его Иоасаф, не просто отвернется от Шуйских (через год или почти через год), но, отмежевавшись от них, и на Государя будет смотреть не глазами духовного иерарха, прислуживающего трону, а глазами народа, забитого, нищего, погрязшего в бесправии, невежестве и беспросветной темноте. Более чем что-либо скажет об этом его скоростигшая смерть, наступившая почти в самый канун страшных Иоанновых перемен; пожалуй, он один сумеет во всей полноте постичь замысел самодержца — безразборно закабалить духовенство, бояр, народ; но до подобного прозрения надо было еще переступить через эту в келье Чудовской обители ночь, и в то время как Афанасий, гостеприимно представивший ему сей теплый кров, терзался догадками, вновь и вновь возвращаясь мыслью не столько к появлению новгородского архиепископа в монастыре, сколько странному его поведению, в то время как боярин князь Иван Шуйский с тремя сотнями детей боярских и ратников, с сыном, князем Петром, и Иваном Большим Шереметевым приближался к крепостным стенам и воротам Москвы, — Макарий, тяжелее всего переносивший неведение, ожидавшее его, как новичок, решившийся на уединение, только взирал на сгущавшуюся в келье тьму и не знал, к чему приступить.

CXLV

Около полуночи, устав от молитв, архиепископ Макарий снова присел на скамью. На столе, в подсвечнике, ярко горели восковые витые свечи, и лики святых, обрамленные резными окладами, казалось, с каким-то вроде бы укором были обращены на Макария; он видел это и понимал, за что они укоряли его, и хрупкое, с трудом, в молитвах обретенное забытье вновь оборачивалось беспокойством, от которого некуда было деться. Несколько раз он приближался к окну и прислушивался, и хотя с глухого, черного двора, на который оно выходило, не было ничего слышно, Макарию казалось, будто он то ясно улавливал конский топот, и тогда с живостью, насколько позволяло воображение, вставала картина, как отряд вооруженных всадников во главе с боярином князем Иваном Шуйским мчится по укатанной полозьями зимней дороге к митрополичьим палатам, чтобы схватить Иоасафа, то вдруг вместо топота раздавались какие-то возбужденные голоса, крики, даже лязг скрещивающихся мечей, и архиепископа охватывало оцепенение; но затем и тоже вдруг все затихало, словно ни конского топота, ни людских голосов и вовсе не было, а всюду за окном лежала ночь, тихая, морозная, лунная (судя по освещенности окна и изморози на нем), способная покоем своим и таинственностью лишь предварить рождение утра и дня. От окна веяло стужей, местами стекла были покрыты не изморозью, а наледями; добротное протопленная с вечера, но заметно уже остывавшая печь все еще отдавала теплом, и Макарий, подходя к ней, то прислонялся грудью, то спиной к этому на исходе теплу, то грел руки, которые не столько от холода, сколько от все возрастающего беспокойства, словно бы обескровливаясь, не могли отогреться.

Нет, никто, видимо, не может ждать снисходительности от жизни, если пусть даже для Божественных целей отрывается от нее, и ни царские короны, ни одежды святителей не в силах спасти подобного человека от душевных терзаний; действительность мстит каждому. кто осмеливается возвыситься против нее, и если чуть отстраненно посмотреть на Макария, то с ним происходило лишь то неизбежное, что рано или поздно должно было произойти и пробудить к земной, то есть во имя людей, деятельности. Привыкший мыслить и жить не в мире реальных ценностей, а в мире возвышенных, божественных, но несбыточных идеалов, где все-все выглядело четким, ясным, определенным и основательным, и более чем пола-

гавший, что преходящее, то есть земное, может восприниматься только как соблазн, не достойный внимания в сравнении с вечностью, к которой всякий смирением должен готовить себя, он чувствовал теперь, что этот жизненный постулат рушился в нем и что, несмотря на всю свою предубежденность к мирским делам, невольно, как к теплой печке, тянулся теперь к ним, словно не в мире идеалов, нет, а в мире людских страстей таилась главная истина. Сознать это было и непривычно, и странно, и страшно; страшно тем, что не было ясности и что это земное, с чем пришлось столкнуться ему, не поддавалось или почти не поддавалось обобщению. Отдельно представляли князя Шуйские с их драматическим противоборством с Москвой и привязанностью к Новгороду, для которого, в сущности, ничего значительного, что вернуло бы горажанам свободы, не было сделано ими, да и в самом этом клане отдельно представляли князь Василий, немислимой жестокостью (виселицами) оборонивший Смоленск и затем расправившийся с Иваном Бельским и дьяком Мишуриным, князь Иван, изгнавший Даниила, а теперь изгонявший Иоасафа, и князь Андрей, уже теперь подававший признаки еще большей жестокости, дерзости и цинизма, чем старшие родичи, — что, какие высшие соображения подвигают их на подобные деяния? Отдельно представлял Новгород с его безысходной, как покажет история, судьбой, отдельно — Москва с ее византийствующим великокняжеским домом, что для Макария, как для новгородского архиепископа, было немаловажно, отдельно — клан Бельских, претендовавший, хотя и тайно вроде бы на великокняжеский трон, отдельно — Иоасаф с его «поставлением» в митрополиты и на первосвятительство и выездом на осле к Государю и народу (ведь истинные намерения Иоасафа, как это и бывает между современниками, не были известны Макарию), и отдельно — Государь в своем младенчестве и сиротстве, духовенство, бояре при нем, должны поддержать его, но заботящиеся только о себе, о том своем благополучии, о котором по бренности и преходящей сути всего земного не следовало бы во спасение души даже вспоминать. Отдельно, словно нива, воспроизводящая жизнь, представляла людская масса, взирающая с надеждой на Государя, бояр, князя, тиуна, целовальника, старосту, на церковные маковки с крестами, венчающими их, на Бога; и отдельно все те годы святительского труда: службы, литургии, Четьи и опять службы, литургии и Четьи, — о которых, казалось, не иначе как с теплотой мог думать и вспоминать Макарий. Те людские страсти, что каждодневно кипели за пределами его архиепископских палат и что по привычке можно было бы назвать повседневностью, не то чтобы вовсе не затрагивали его, нет, но по своим убеждениям он не хотел вникать в них; люди приходят в мир и уходят из него, а божественное начало остается, ибо нетленно; иногда ему даже казалось, что он и себя ощущал в этой нетленности как праведник, церковными делами распинаящий себя во имя наставления людей на путь смирения и добра. Но та архиепископская, окруженная благами и начиненная властью, без которой немислим ни один святительский сан, жизнь его, не менее, впрочем, приземленная (по удовлетворению насущных потребностей), чем любая мирская, — жизнь эта протекала по тем же законам бытия, по которым только и может протекать для всякого человека, взрываясь страстями и насыщаясь желаниями, в том числе и соображениями карьеры, как мы бы сказали теперь, получавшими, конечно же, свое, святительское оправдание. Он и теперь в утешение говорил себе, что не только от Шуйских, но и от Иоасафа было у него приглашение на рождественские торжества в Москву и что, главное, о приглашении Шуйских знали только он да эти означенные князья, тогда как о приглашении Иоасафа известно было и московскому духовенству, и, надо полагать, думным боярам и Государю; но подобная предполагаемая защищенность не успокаивала Макария, и он, как лошадь, представленная к водозаборнику, шел по кругу этой открывавшейся перед ним мирской жизни.

Было за полночь, когда Макарий прилег. Ему хотелось, забывшись дремотой, отмежеваться от мыслей и чувств, обступавших его, но он не мог сделать этого; ведь душевные мучения происходят не оттого, что человек не знает причин, порождающих их, а оттого, что, зная, не находит сил даже себе открыться в них и устремляется в поиски обходных путей, которые дали бы оправдание. Более чем убежденный в том, что главным

для человека является спасение души, ибо она и только она вечна, бессмертна, а плоть есть тлен, оболочка, посылаемая людям для земных испытаний, — когда теперь надо было приложить это важнейшее учение Церкви к себе, он кинулся спасать не душу, а плоть, и, чувствуя, что бессилен на какие-либо иные действия, чем это, на какое решился, как раз и отыскивал для оправдания тот обходной путь, когда бы ничто порочное не упало на его иерархическую чистоту. От жизни реальной он то обращался к святым писаниям и перебирал в памяти те апостольские истины, по которым совершенное им не считалось бы грехом или пороком (в конце концов человеческими поступками руководит Бог и воля и деяния Его не подлежат осуждению), то вновь возвращался в тот обывательский и церковный мир страстей, в котором жили все и жил он — куда более частной, чем святительской жизнью; и в этой частной жизни, то есть в буднях, в каких так ли, иначе ли протекает и жизнь простолюдинов, и жизнь царей, и, несмотря на святительские одежды, протекала и его, архиепископская, — в этих буднях, если повнимательней приглядеться к ним, человек каждодневно, не замечая ничего за собой, печется более о спасении плоти, чем о спасении души, ибо бессмертие бессмертием, рай раем, а без поддержания плоти нет жизни вообще, а значит, по понятиям простолюдинов, нет и бессмертия; Макарий в этом смысле не был да и не мог быть исключением, более того, преступал сей христианский канон не только в житейских мелочах, что, в общем-то, привычно и не должно быть наказано, но и по меркам церковных и государственных интересов, как было, к примеру, после известной расправы над жителями новгородцами, когда принародно на площади перед собором святой Софьи благословил зачинщика и исполнителя этих палаческих дел князя Овчину-Телепнева-Оболенского. Макарий не любил вспоминать об этом; он одновременно и чувствовал вину, и не признавал ее, потому что силою или, вернее, угрозою применить силу был доставлен в собор, а когда сказали, что временщик прибыл, что и свита его, и обоз (несколько подвод с колодами, снятыми с замученных и повешенных новгородцев), и горожане, жавшиеся у оград и возле паперти, все в сборе и пора выходить, — медлил и не решался на сие антицерковное лихо. Он чувствовал, что все то пережитое теперь вновь должно было повториться с ним, и воображение переносило его в то жаркое (во всех отношениях и для него, и для Новгорода) лето, когда, выйдя из собора святой Софьи, он увидел пред собой молодого, красивого, белокудрого временщика в доспехах и почти царском одеянии стоявшего на площади. Князя-временщика окружали столь же по-богачески одетые бояре, прибывшие с ним, и дети боярские. Сразу за свитой дворцовые холпы держали коней, покрытых яркими попонами и под седлами, отделанными бронзой и серебром, и от всей этой свиты, как и от князя-временщика, веяло какой-то страшной, разбойной, необузданной властью, словно на площадь перед собором вступили не просто висельщики, а победители, взявшие город «на щит». Макарию подали крест, чтобы осенить им «победителей», и на этом моменте, когда надо было приступить к действию, воображенная картина вдруг словно замирала, рука архиепископа повисала в воздухе, и он так и стоял в неподвижности, держа перед собой крест, словно перед пропастью, в которую приговорено было ему прыгать. В действительности же он и благословил князя-временщика, и, войдя с ним в собор, отслужил торжественную литургию; но теперь, когда все лишь повторялось перед глазами, — теперь он колебался, как если бы прошлое можно было вернуть и переиначить; но ни вернуть, ни переиначить его было нельзя, и Макарий, крестясь, поднимался со скамьи и шел к иконам, расположенным за горевшими свечами на столе, чтобы, молясь, забыться перед ними.

CXLVI

Когда заговорщики во главе с первобоярином князем Иваном Шуйским подъехали к воротам кремлевского Чудова монастыря, архиепископ Макарий, отслуживший вместе с чудовской братией и заутреню, и обедню и знавший уже (правда, без тех важных подробностей дела, которые касались Государя, поднятого среди ночи с постели, и избинения Йоасафа жителями новгородцами) о произошедших событиях, сидел в обительской трапезной и, угощаясь подававшимся ему медовым настоем, разговари-

вал с Афанасием об Иоасафе — в той неторопливой манере, в какой только и надлежало по сану вести его. Деликатность затрагивавшегося вопроса заставляла и чудовского настоятеля держаться с настороженностью. Хотя, как уже говорилось, он не был посвящен в детали переворота, но, полагая по своей природной догадливости, что перед ним уже не новгородский архиепископ, а будущий митрополит и Первосвятитель всея Руси, — с достоинством, присущим лишь священникам, сознающим за собой вековую силу канонов, угодничал не внешним заискиванием, но услужением зримым, а услужением нравственным, то есть той глубокой душевной почитательностью, в которой не то чтобы трудно, но невозможно бывает уловить лесть или обман. Он поспешно встал, едва князья Шуйские Иван и Андрей и князь Палецкий (только их и велено было пропустить в обитель) вошли в трапезную, но Макарий не двинулся с места; лишь чуть повернув голову, он взглянул на князя Ивана и двух других князей, стоявших за его спиной, и в красных от бессоницы глазах его было не одобрение, какое ожидали увидеть князья, пришедшие за благословением, а тот тяжелейший вопрос жизни, какой, втягиваясь в интригу, беззаконие, ложь, люди обычно задают себе и от ответа на который либо решается их судьба, либо исход дела, за которое предлагают им взяться. Но ночное молитвенное бдение не прошло для Макария даром. Он словно бы вновь, как и в то жаркое лето на площади перед собором святой Софии, стоял перед выбором, как поступить: отказать ли в благословении, возвысившись духом и распрощавшись с надеждой на первосвятительство, а может, и с самой жизнью, ведь от Шуйских — архиепископ знал, что можно было ожидать от сих вельможных господ, или, закрыв глаза и смирившись, принять, по существу, не из рук Господа, не от святителей, а от этих именующих себя князьями убийц и митрополичий посох, и сан; и не века, не годы, не дни, а лишь считанные мгновенья, как и тогда, в Новгороде, отводились ему, чтобы определиться, что предпочтительнее — духовное самоубийство и телесное здравие или величие духа (бессмертие) и физическое небытие, и в то время как вся предшествовавшая этим мгновениям святительская жизнь говорила, что вечен дух и что следует блюсти достоинство духа, чтобы обрести спасение, та естественная сила жизни, дающая каждому от рождения, из которой следует, что и дух, и плоть едины и что мыслью о вечном рае нельзя подменить чуда земного бытия, — сила эта или, вернее, страх перед небытием как раз и подталкивал Макария взять крест и, словно бы бросив им требуемый кусок живности, благословить их. Макарий медлил, но князья-заговорщики не желали ждать, пока новгородский архиепископ примет решение. Перво боярин князь Иван Шуйский, поправив, будто в знак предупреждения, висевший на боку меч, шагнул вперед и, как послушник, склонил перед Макарием голову, так что тому ничего не оставалось, как только приступить к действию. Но будущий Первосвятитель продолжал медлить. Словно за согласием, он обернулся на чудовского настоятеля, но глаза Афанасия были опущены; поняв, видимо, что происходит, он положил единственно возможное для себя — держаться безучастно, в стороне, как будто в этой беспозиционной позиции только и заключено было его спасение; но он, в сущности, предавал главную заповедь Церкви точно так же, как и Макарий, угрозой расправы принуждаемый к этому, и когда поднял голову и открыл глаза, Макарий уже довершал противное его душе и Богу дело. Он осенил крестом князей-заговорщиков, произнес нужные слова, дал им поцеловать руку, а когда князья, удовлетворенные этой процедурой, предложили будущему митрополиту и Первосвятителю всея Руси поехать с благословением к Государю, чтобы «успокоить» и «утешить» его сиротскую душу, Макарий попросил чудовского настоятеля заложить сани и велел ему тоже собираться для поездки в великокняжеский дворец. Святители пошли облачиться, оставив князей-заговорщиков в трапезной, и от двери уже, когда выходили, было слышно, как каждый из них, крестясь, достаточно внятными шепотом, чтобы быть услышанным Богом, произнес: «Господи, прости и помилуй!» Вот так, незримо, в обительской трапезной были решены первосвятительская участь Макария и первосвятительская же и не без содействия новгородского владыки участь Афанасия, а вместе с ними и участь Иоасафа, уморенного голодом в келье Кириллова Белозерского монастыря, и участь князя Ивана Бельского, кото-

рого посланные Андреем Шуйским люди умертвили в тюрьме на Белоозере, потому что «живой он был страшен им», как писали современники событий; брату же, князю Дмитрию Бельскому, сообщено было, что умер от болезни и без мук, прах его затем доставили в Москву и предали земле в фамильной княжеской церкви рядом с младшим братом, князем Симеоном.

Но будущее — свое ли, державы ли — всегда отдалено и неясно, тогда как страстями сиюминутными определяются судьбы людей и движется история. Упоенные успехом у духовенства и еще более захмелевшие от поданного в трапезной пития князя Шуйские, Кубенские, Палецкий, окруженные толпой столь же восторженных ратников и детей боярских, были уже на конях, когда будущий Первосвятитель всея Руси архиепископ Макарий и будущий царский духовник и затем тоже митрополит и Первосвятитель чудовский настоятель Афанасий, сопровождаемые келарем и чернецами, угоднически суевившимися возле них, выйдя из монастыря, усаживались в сани. Холодно, хотя и ярко светило закатное январское солнце, и все вокруг — избы, кони, люди — было опущено игольчатой изморозью, словно кто-то гигантским волшебством своим, снимав с икон посеребренные оклады и ризы, заключил в них весь этот открывавшийся святительским взорам заснеженный, стылый кремлевский (городской по тем временам) мир. Макарий молчал, лицо его было бледно; молчал и Афанасий; они сидели рядом, как затем и останутся в истории — преступившие главнейшую церковную заповедь, но подвигнутые как раз этим некупным грехом на деяния разумные, может быть, даже славные по меркам тех лет; не в затворнических молитвенных бдениях, не в монастырских усердиях и не у церковных алтарей и иконостасов придет к ним то действительное прозрение, какое — это только мнится святителям, что оно есть у них; ведь понять и принять воображенное, то есть тот доведенный до жесточайшего совершенства мир человеческих отношений, в каком, как это многим кажется и теперь, могли бы в достатке и благочестии жить личности и народы, и понять реальное, что составляет истинную суть человеческого бытия, суть народной жизни с ее тяготами, беззащитностью и чистой, будто слеза ребенка, обманной слезой власти, денно и ночью пекущейся якобы о благе людей, — нет, понять и принять реальное, что окружает нас, и действовать в пользу добра в нем требует куда большего подвижничества и больших усилий, чем только иноческая или архиепископская святость. В конце концов бессмертна не душа, а бессмертно дело, оставляемое человеком, и единственной мерой ему может служить лишь понятие — гражданин отечества. Разумеется, ни Макарий, ни Афанасий не думали так, как думаем мы теперь (и что, возможно, да и наперняка, тоже не является истиной в последней инстанции), однако ни тот, ни другой не приняли опричнины, и хотя из одного лишь этого факта неправомерно выводить всеобъемлющее заключение, но и нельзя не увидеть тех гражданских начал, которые столь решительно проявятся затем в архиепископе Гермогене и митрополите Филиппе. Между тем святители еще продолжали усаживаться в сани, и принесенным тулопом монахи укутывали им ноги, когда первобоярин князь Иван Шуйский, словно воевода, бросающий полк в бой, крикнул: «Айда, пошел!» — и, горяча и подстегивая коня, боковой иноходью выехал на дорогу. За ним кавалькадой двинулись и сани, и ратники, и дети боярские, из-под конских копыт полетели комки снега, визгливо запели полозья по жесткой, прикатанной колее, кучер-чернец глубже нахлобучил колпак, чтобы не сбило ветром, и от этой странной (с духовными иерархами в санях) конной лавины, с гиком и посвистом помчавшейся по улице, шарахался и жался к обочинам народ, ходивший посмотреть на разграбленные митрополичьи палаты и подворье князя Ивана Бельского. От подворья все еще продолжали убирать трупы. Раздетых почти донага (не пропадать же доспехам и всякому иному добру подо льдом), их, словно комли на лесоповале, стаскивали лошадьми к Москве-реке и баграми топили в проруби, и вокруг этой проруби и по всему пути, по которому волокли несчастных защитников опального князя, толклись люди. То ли оттого, что первобоярину князю Ивану Шуйскому еще раз захотелось полюбоваться на это победное «торжество», каким, видимо, зрелище сие мнилось ему, то ли просто из необходимости уступить дорогу и переждать, пока проволокуют трупы, он придержал коня, и вся следовавшая за ним кавалькада тоже остановилась. За кучером и упряжкой Макарий не сразу рассмотрел, что было впереди, и откачнулся,

когда прямо перед глазами словно бы выросла фигура мужичка-ратника с лошадьё, которую он вел под уздцы. За лошадьё, подхваченный под мышки, волочился на веревках полуобнаженный, заиндевелый на морозе труп. Он был весь настолько в снегу, что нельзя было разглядеть ран на нем. Уже как будто бы миновали сани, заиндевелый мертвец неожиданно соскользнул с обочины и прямыми и твердыми, как жерди, ногами ударился о них. Макарий вздрогнул и отвернулся. Он хотел что-то произнести, но не смог, сани дернулись, и с возгласами «к Государю, к Государю» кавалькада опять на рысях покатила к великокняжескому дворцу.

CXLVII

Почти четверть века отделяло теперь Иоанна от всех этих событий — боярских усобиц или засилья, как мог бы сказать он, и что куда точнее, чем понятие «боярское правление» отразило бы суть происходившего, — но по живости, с какой вспоминал о них (если, допустим, перенести их на экран), можно заключить лишь одно, что не все в жизни подвластно времени и тлену; отпадают детали, как лепестки с цветка, но остаются плод и семя, чтобы в лицах иных, но в той же сути повториться на новом витке истории; и в этом смысле Коломенский царский дворец, в котором оттепель уже вторую неделю удерживала отрешенного будто бы от престола и бежавшего, «куда Бог укажет», с казной и всем нажитым монаршим скарбом Государя, — Коломенский царский дворец представлял собой то скопище кремлевских тайн, о которых ни тогда, ни позднее неведомо было народу, как во многом остается неведомым и теперь, и в которых если и хотел разобраться Иоанн, то отнюдь не для того, чтобы восстановить справедливость и дать послабление живущему в державе люду. Его не интересовал весь объем жизни, не интересовали те духовные порывы, то есть те личности, чей гражданский ум мог бы принести истинные блага и оздоровление (таланты и гении именно потому, что таланты и гении, всегда гибнут первыми); но если бы и захотел в единстве и противостоянии народа и власти взглянуть на державу, не смог бы сделать этого уже в силу тех причин, что интриги дворцовых будней, как они втягивали, ослепляли и оглуляли правителей всех рангов и направлений, оставляя лишь, как отдушину, возможность зашоренно взирать на свой царский путь, — втягивали, ослепляли и оглуляли Иоанна, цель мучительных поисков которого сводилась теперь к тому, чтобы, во-первых, укрепиться в безграничности своей власти и самоуправстве и, во-вторых, предстать незапятнанным и перед современниками, и перед историей. «Ужо вам!» — если и не произносилось, то мнилось за всеми его ночными терзаниями. Он пока еще не мог точно сказать, кому грозил, боярам ли, которые, как считают многие историки, только и заслужили подобной участи, народу ли, который, держа трудами своими себя, царский дом, державу, словно бы мешал ему жить (разумеется, такое отношение к русскому народу со стороны европейских правителей еще можно понять, но когда свой, отечественный?..) или за всем тем ужасом, который Иоанн угтавливал державе, сокрыто было нечто третье, о чем можно только гадать и что и поныне тяжким бременем лежит на наших плечах, наперед определив и нашу судьбу, и судьбу детей, внуков и правнуков, — все глухо, безответно, мрачно, затянато плотной, непроницаемой пеленой, и разве лишь будущим поколениям с их обновленным сознанием и возрожденным национальным достоинством удастся найти ответ на сей извечный вопрос русских людей. Но — Иоанну нужны были иные, свои и ответы. Что было ему до страданий митрополита Даниила, митрополита Иоасафа, до унижений и страданий заточенных и уморенных голодом дядей своих, дмитровского удельного князя Юрия и старицкого удельного князя Андрея, до вздернутых на виселицы житых новгородцев и пущенных в нищету их семей, до князя Ивана Бельского, задушенного в темнице, до дьяка Мишурина, обезглавленного перед воротами тюрьмы, до мамки боярыни Аграфены Челядниной, до жизни россиян вообще, без конца ограбляемых великокняжескими и княжескими наместниками и их тиунами? Все и всё под Богом — кому нищенствовать, кому процветать, кому власть, а на кого — пожизненная кабала; что свыше дано, то справедливо и вечно; помрут, народятся, помрут еще, еще и народятся — таково свойство просто-

го люда, и стоит ли терзать из-за этого царскую душу? Обостренное внимание Иоанна сосредоточивалось лишь на тех событиях, в которых ущемлялись, или предполагалось, что могли быть ущемлены, его великокняжеские по тому времени интересы, и он вновь и вновь то видел себя заслоненным мамкой боярыней Аграфеной, когда обрызганный мищуринской кровью первобоярин князь Василий Васильевич Шуйский явился в детскую с явной угрозой расправиться и с ним, малолетним великокняжеским отроком, то в минуту, когда в поисках заступничества ворвался среди ночи в спальню к нему Иоасаф, а затем бояре и дети боярские, гнавшиеся за митрополитом; сцена эта казалась теперь Иоанну особенно унижительной и, как раскаленный железный прут, приложенный к груди, нестерпимо жгла душу. «На моих ли руках кровь еси?» — восклицал он, сверля глазами непроглядную темноту спальни, в которой, он чувствовал, знал, верил, что был или, точнее, прятался вошедший сюда Сильвестр. Видение являлось теперь Иоанну не только в гостиной, но и в спальне, так велико было желание увидеть иерея и нравственно, истиной, да-да, истиной, казавшейся самодержцу неопровержимой, уличить в неправдах его.

Все притеснения и унижения, какие приходилось Иоанну терпеть от бояр в свое малолетство, он связывал с именами князей Шуйских — Василием Васильевичем, Иваном Васильевичем и Андреем Михайловичем; он помнил, как под предводительством первобоярина князя Андрея, вставшего после смерти князя Ивана во главе клана, советники и подручные его князь Шкурлятев, князь Пронские, Кубенские, Палецкий и Алексей Басманов, только-только начавший тогда являться при Дворе, взволновавшись, как отмечали современники тех событий, «в присутствии Великого Князя и митрополита, в столовой избе Государя на совете схватили Воронцова, били его по щекам, оборвали платье и хотели убить до смерти» только за то, что сей князь «успел овладеть» расположением Иоанна и представлялся опасным для Шуйских. Ни на слезные просьбы Иоанна, ни на молитвенные увещания митрополита Макария не обращали внимания, и осознание тогдашнего своего бессилия, перенесенное теперь в спальню Коломенского дворца, нервно поднимало его с постели. Еще сильнее, чем прежде, он чувствовал, что избиение и ссылка князя Воронцова с сыном (да не в Коломну, как просил, а подальше от Москвы, в Кострому) — это было той последней точкой боярского самоуправства, тем пределом, после которого надо было предпринимать что-то, чтобы остановить сие страшное, как позднее писал в ответе Курбскому, злобство. Но — что мог предпринять Иоанн, чем ответить боярам? Известно, что возможности человеческого воображения прямо пропорциональны восприятию мира, какой окружает его (что в одинаковой степени следует отнести и к поступкам, или, если снизойти до народного понимания: с кем поведешься, от того и наберешься), так что если Иоанн и мог чем-либо ответить на самоуправство и злодеяния Шуйских, то разве лишь своим, царским и оттого еще более жестоким самоуправством. 29 декабря 1543 года, как раз ровно за три года до своего венчания на трон и принятия царского титула, он велел на глазах у всех в думе, на совете схватить князя Андрея Шуйского и передать псарям для измывательства и казни. Иоанн действовал столь решительно, что не успели думные бояре сообразить, что, собственно, происходит (к потасовкам, устраивавшимся, правда, Шуйскими, они были привычны), как первобоярина с заломленными за спину руками поволокли во двор, срывая с него его боярские одежды и избивая его; затем до слуха думных бояр донесся собачий лай и первобытно ликующие вопли псарей, травивших князя собаками, а спустя четверть часа полуголый, искусанный и истерзанный до неузнаваемости труп князя Андрея Шуйского волокли за ноги через площадь мимо собора Успения и великокняжеского дворца к Москве-реке. Видимо, по заранее данному Иоанном распоряжению его тоже должны были затолкать в прорубь под лед, чтобы на себе испытал, как мнилось, наверное, устроителям этой расправы, что безжалостно угтавливал другим; и правых, и неправых — Москва-река принимала всех, как безропотно, могильно готова была принять и тело этого в мученических истязаниях почившего потомка некогда великих тверских и суздальских князей, но (и тоже по распоряжению Иоанна) царские псари и холопы, тащившие труп, вдруг посреди площади остановились и расступились, открыв словно бы на обозрение обрызганные кровью и уже не кровоточившие останки князя Андрея. Мимо этих останков ведомые Иоан-

ном и духовенством должны были пройти думные и не думные бояре, князья и весь прочий вельможный и не вельможный придворный люд, коему зрелищем сим давалось понять, что нет больше безвластия на Руси, что отныне не бояре за спиной малолетнего Государя будут править державой, но что явился наконец на престоле тот самый Тит широкого ума, как было пророчески оглашено накануне рождения Иоанна, который, еще не возложив на себя царский венец, уже зловеще подавал знак своего будущего тиранства; он не побледнел, не дрогнул лицом, когда подошел к истерзанному телу князя, и не выказал того победного торжества, того мстительного злорадства, какое впервые тогда возвышенно познавалось им, а лишь, постояв в угрожающем молчании, с тем же угрожающим молчанием удалился во дворец.

CXLVIII

Не разумом народа, как принято считать, а своевольством правителей направляется и движется мир. Иерархи, когда им нужно и выгодно это, боготворят спокойствие в стране, когда невыгодно — развязывают войны и планируют революции. История не знает революций снизу, тем более народных; снизу являються только бунты — беспощадные и бессмысленные, как сказал поэт, когда толпы обездоленных и униженных, истощив терпение, идут отомстить правителям за свой тысячелетний обман. Сверху же совершается лишь хорошо спланированный захват власти. Но для народа, хоть сверху, хоть снизу, итог один — вновь бесправие и кабала. Великая Французская революция, провозгласившая целью своей свободу, равенство, братство народам, принесла стране лишь хаос, разорение и тиранство, так что народ в конце концов вынужден был вновь поставить над собой короля. Получив свободу действий, ревнители братства и равенства с такой стремительностью кинулись обогащаться, то есть реквизировать, скупать для себя на отобранные у народа же деньги земли, замки, дворцы, что никакие гильотины не смогли остановить их от этой страсти к обогащению (да и то сказать, на казнь отправлялись главным образом не прежние землевладельцы, промышленники и бароны, которые могли откупиться и откупались, а те не захваченные еще сей страшной болезнью — обогащенчеством, — которые желанием огласить правду мешали всеобщему и неохватному грабежу); эта французская «сверху» более чем зеркально отразилась затем в революции русской, спланированной уже для глобального захвата власти и насаждения повсюду коммунистического режима, то есть опричнины, как сказал бы Иоанн, поднявшись из гроба и обнаружив, что у него есть столь «великие» последователи; как и после его новшества, так и после революции сверху: властолюбцам-обманщикам, поднявшим народ на кровь, — богатство, слава, царская жизнь, исполнителям же, то есть пролившему кровь люду, — нищета, бесправие, геноцид. Да ведь и перестройка названа — революция сверху; по крайней мере впервые и с откровенностью оповещено об этом народу, хотя нераскрытая до конца правда — чем она лучше прямой, откровенной лжи? И все же — Иоанн был первопроходцем в планировании державных (сверху!) переустройств. Один в ночной тишине Коломенского дворца он уговлаивал россиянам тот особый, зловещий путь развития, когда в обществе должны неизменно противостоять друг другу две силы — крепостные и крепостники, свернуть с которого у нас и поныне не достает ни ума, ни мужества, ни сил; как стало уже привычным ему, еще не брезжил рассвет, он сидел в спальне, на постели, свесив к полу босые ноги, и хотя мысленный взгляд его был как будто бы обращен в прошлое, но это лишь народ не извлекает уроков из своей истории, а самодержцы — только тем и возводят свое бессмертное древо. Колокольный благовест к заутрене, однако, застал Иоанна уже одетым, готовым к выходу, и, несмотря на бессонную ночь, когда появился на крыльце, выглядел по-царски прибодренным и свежим; пронзительно обведя взглядом толпу вельможных холопов, ожидавших, чтобы сопроводить его к церкви, Иоанн, мысленно бросив им: «К псарям! Всех, всех к псарям!» — опустил глаза, чтобы торжествующий блеск не выдал его, и тем же, как это по крайней мере казалось ему, твердым шагом, каким отходил от истерзанного тела князя Андрея Шуйского, направился к церкви Вознесения.

Г л о т о к з и м ы

* * *

Вино и белизна врачуют боль.
Зима и снег, зима и алкоголь —
Анестезия выпивки и стужи,
Летит снежок, и мы за ним летим,
Но как-то уж отчаянно следим:
И что теперь внутри и что снаружи?

Пусть дворники лекарство от зимы —
Песок и соль, как взятое взаймы
У лета, мечут в ледяные блюда:
Я обгоняю их немой конвой —
И мне об лед не светит головой,
Но иногда приятно поскользнуться.

Я направляюсь к праздничной реке,
Где город в снежной дымке налегке
Уходит от нескромного прицела,
Чуток пространства, времени чуток,
Чуток тепла — всего один глоток,
И в чистый голос превратится тело.

Вино и белизна врачуют боль,
И боль уходит из дизель в бемоль,
И в городскую доремифасоль
Врываются неузнанные звуки,
И голоса убитых и немых
Зовут их жизнь дорассказать за них,
И сквозь решетку дней к словам живых
Протянуты расстрелянные руки.

Куда глаза всевидящий косил,
Когда людей всеслышающий косил,
Поэзии разгадывать не стоит —
Ей этим заниматься толку нет,
И, что вчера не докричал поэт,
Допишет завтра вдумчивый историк.

Поэзия политики из пут
Выпутывается, и музы ждут —
Евтерпа, Полигимния, Эрато,
Теперь, когда бесстрашному семь бед
Не угрожают за один ответ
И злобу дня глотают из газет,
Она опять быть может глуповата.

А жизнь идет привычным чередом
Из сердца в сердце и из дома в дом,
И ловит воздух бессловесным ртом

В коляске незнакомое нам племя,
Они за нас наговорятся всласть,
И кто кого, и где какая власть,
И кто кому опять пошел не в масть,
И будут снова сетовать на время.

Раз все живое оставляет след,
Нам о бессмертье горевать не след —
Игра прекрасней при хорошей мине.
Когда бутылъ становится пуста,
К бессмысленному тянутся уста
И Бог, как логос, легок на помине.

О Господи, я у тебя в долгу
За музыку, что слышу на бегу,
За Твой Завет, который не по силам...
Земная манна тает на губах,
Свистит в ушах вечнозеленый Бах,
И Бахус разливается по жилам.

Левенгуки

Давайте обменяемся именами
и эпизодами детства,
Мыльными пузырями юности,
вылетающими из ломких соломин,
Ветренными подругами
и уверенными друзьями,
Золочеными шишками
на ветвях новогодних елок.
Давайте обменяемся велосипедными номерами,
Задававшими тон лирической панораме,
С впередисидящей ундиной на раме,
Еще не отдавшей должное ленкорани.

Воскресим июльский мокрый асфальт, трамвайные трели,
Лужи в живых цветах неоновой акварели.
Голоса, наполнявшие на углу стеклянную будку,
Даря маршрут совместной прогулки, как незабудку.

Свидания телефонные, обещания, губы, звуки —
Реквизит нехитрой любовной науки —
Оплели нам невидимой паутиной руки
И глаза. Где вы, бывшие левенгуки?

Нам удастся ль увидеть вчерашних нас,
вокруг еще не стоящих,
Но из будущих состояний уже состоящих,
Еще немало стблящих, но уже таящих
Секрет золоченых шишек и настоящих.
Нам удастся ль поднять глаза,
еще не раненные чужими словами,
На эмалевый циферблат, пролетающий
над бывшими головами,
И на нас, не знавших, что мы и есть стрелки,
Кто секундная, а кто часовая.

Глядящие города

Хорошо бы жить одновременно в двух городах,
Говорить на родном и на другом языке
И в воде разных лет свое отражение узнавать,
Одинаково верное и неверное себе.

Научиться бы путать улицы и тупики,
Имена знаменитых всадников на вечнозеленых конях
И листать страницы, где вечно юные старики.
Говорят (почему-то в рифму) о невеселых твоих делах.

Хорошо бы одновременно вдыхать
Воздух родины и другой стороны,
Одинаково сладкий, и понимать,
Что любая свобода есть акт вины
Перед близкими.

Хорошо бы одновременно входить
В реку времени, где «лежу» и «бегу»
Неразлучны, как города, глядящие из воды
На свои отражения на берегу.

Одинокое пианино

По пляжу гуляет одинокое пианино.
Радуется солнцу и смотрит на опустевшие ракушки.

К пианино подходит лев
И, сняв шляпу, учтиво говорит:
— Можно на вас поиграть?

— Нет, больше на мне никто не будет играть! —
Гордо отвечает одинокое пианино.

— Нет так нет. — Лев учтиво надевает шляпу
И отходит прочь.

«А может быть, все-таки надо было согласиться?» —
Думает пианино, бросая взгляд на опустевшие ракушки.

Одинокое пианино улыбается белыми клавишами
И мечтательно смотрит за горизонт.

Silentium

Ложью мысли в непогоду
Изреченной удручен,
Я бутылку бросил в воду,
Не желая быть прочтен.

Пусть слова живут отныне
Во стеклянном во дому,
Не услышанные и не
Сказанные никому.

Обольщенья, обещанья,
Вам ли годы воскресить?
По ту сторону прощанья
Нам прощенья не просить.

По ту сторону молчанья
Не услышать вам прибой.
Что ж, счастливого качанья
По пучине мировой!



П о с л е д у

ПОВЕСТЬ

1

В конце дня чугунный колпак неба отделился от горизонта. Сияющая щель окрасила мутную, глянцево льющуюся реку и голый, изрезанный промоинами угольной обрыв.

В кабине гремящего по грейдеру артиллерийского тягача стало ярко и пестро. Тряслись зеленые листья, размашисто качалось павлинье перо, щебетали, прыгая в проволочной клетке, голубые попугайчики.

А в разляганном, визгливом кузове с брезентовым верхом было сумрачно и посредине лежал длинный ящик из оцинкованного железа.

— Есть анекдот,— сказал ректор.— После открытия могилы Неизвестного Солдата подходит к ней Брежнев: «Ну что, солдат, нравится новое место?» А тот отвечает из-под земли: «Зэр гут!» — Он закинул круглую посеребренную голову, и из золотого дула зубов грянул залп.

Лыжин, бородатый, с тяжелым, мрачным лбом над запрятанными глазами, сказал:

— Между прочим, эта идея, с Неизвестным Солдатом, она у нас не особенно...

— Зэр гут! — досмеивался ректор.

— Слишком абстрактно. Мы любим, чтобы добро и зло были ткнуты пальцем, названы по фамилии, имени, отчеству и национальности. Та простая истина, что хорошими и плохими бывают не личности, не народы и даже не дела, а эмоции, лозунги, идеи, принципы, порядки, методы, то есть идеальное, а не материальное, она нам чужда. («Сильно в последнее время разговорился,— подумал ректор.— Такие все стали смелые, такие философы!»). Отсюда идолизация одних и проклятие других, постоянные изыскания героев и вредителей. Какая-то первобытная, тотемная психология, когда все, каждая букашка и травинка,— либо добрый, либо злой дух.

— Брр, до чего жуткий обрыв! — сказала Верочка в окошко.— Ужас: стоит водителю ошибиться на один-два градуса и каюк. Какая ответственность, какая необходима точность, твердость руки!

— Не то что вам, газетчикам,— блеснуло золото.— И на девяносто градусов можете подзагнуть, и на сто восемьдесят — все сходит.

Верочка обернулась, уставилась круглыми сиреневыми очками.

— Ректорам не так?

— Малость посложнее.

«Это же военная машина,— недоумевала в кабине Махаева.— Почему это разрешают? Странные порядки в наших вооруженных силах». На запястье водителя синела татуировка. «Прямо какое-то Таити». Еще больше, чем попугая, ее раздражало болтавшееся перед глазами павлинье перо. «У Ивана в «Островах» была такая глава: «Татуировки Фиджи, Самоа, Мелитопольского уезда и Днепрогэса». Большой ученый, а такой ерундой иногда занимался, просто срам».

Ректор заметил придавленные лбом глаза Лыжина и убрал ноги с ящика. Это уже повторялось не раз, ректор, когда сидел, любил упереться ногами. В его кабинете лежал под столом привинченный к паркету кусок трамвайного рельса. Потребность напрягнуть ноги делалась особенно нестерпимой во время разговоров, требующих мозговых усилий и решительности.

Татуировка обошлась водителю в тридцать рублей. Не так дорого по нынешним ценам. Они как раз загнали тогда несколько мотков колючей проволоки, автомобильный тент, две канистры, десяток подушек, простыней и трусов — «прапор» взял себе сотню, а им вышло по сорок.

Ректор смотрел, как прыгает по крышке ящика сухой трупик слепня. В Сибири их называют паутами. Сейчас сентябрь, комары и мошка уже пропали, остались пауты и мокрецы. Ректор вспомнил, как тридцать лет назад изводили его эти окаянные мокрецы, набиваясь в портянки и заставляя то и дело снимать сапоги, до крови расчесывать подошвы и пальцы.

Лыжин тоже вспоминал те годы. Их партия, закончив съемку двухсотысячного листа, уже по снегу, шла с оленьим караваном к Вилюю, где ее ждала баржа, и Лыжина изматывало, не давало спать будоражащее нетерпение скорее очутиться в большом мире. Был пятьдесят шестой год, время ненадежных перемен и неуверенных ожиданий. Из Иркутска они летели в Москву на ТУ-104. До сих пор сохранилось в памяти ощущение чуда: в одиннадцать местного — Иркутск, в час — Москва.

А Верочка жалела, что не попросилась в кабину, к водителю. Красивый мальчик. И эти попугаи, зеленые ветки, перо павлина — тоже хорошо. Получше, во всяком случае, чем фотографии грудастых девок.

Начальник штаба округа предложил позавчера вертолет, но ректор отказался. Сказал, что им с доцентом Лыжиным хочется вспомнить прошлое. Они бывали здесь студентами, не совсем здесь, но по сибирским масштабам рядом: он — в Забайкалье, доцент Лыжин — на Вилюе. «Сентиментальное путешествие?» — спросил начальник штаба.

Обрыв кончился, замельтешила лиственниц, и неожиданно сделалось тихо, тягач встал. В кузов хлынул перегар солярки. Лыжин спрыгнул с заднего борта в сырой таежный холодок.

Прямая просека грейдера шла к перевалу, где из-под горящего края тучи били в землю голубые и белые лучи. А грейдер был уродлив и страшен, как все они, в спешке и раздражении пробитые леспромхозами, рудоуправлениями, саперными батальонами. Язык не поворачивается, подумал Лыжин, назвать дорогой этот гноящийся операционный шов. Дорога — совсем другое.

Богатырский потягивающийся ректор выглядел на этом фоне довольно нелепо. На нем был пятнистый комбинезон с изображениями советского и американского флагов.

Верочка узкой походкой манекенщицы прошла к водителю, смотревшему с гусеницы в горячечно бормочущий двигатель.

— Поломочка?

— Сейчас поедем.

Прозрачный глаз неба напомнил Верочке мокрую переводную картинку с японским автомобилем, которую наклеил на ее «дипломат» Лесик из десятого класса. Пока она восторгалась, он схватил ее сзади за грудь, целуя шею, и они долго барахтались вместе со страшно обрадовавшимся спаниелем Булькой на родительской тахте. Может, ей надо было тогда уступить. Лесик обиделся, и любовь лопнула, как бумажный японский автомобиль.

— У них есть имена? — спросила она о попугаях.

— Карл и Клара, — буркнул водитель.

Подошел, шурша комбинезоном, насмешливый ректор. Он имел насчет Верочки определенные планы, и ему не нравилось ее внимание к водителю. Никакой признательности за то, что ее взяли в эту экспедицию, — другая бы на задних лапках вокруг него ходила. «Дура, — подумал он и взглянул на тонкую шею с пшеничными завитками. — Дурочка».

За грязным стеклом кабины светлели в зеленых пятнах листьев два лица, и оба казались одинаково старыми, хотя Трофимук лет, наверное, на двадцать был моложе Махаевой. Когда ректор посмотрел на них, лица согласованно закивали, и он, сразу успокоившись, с удовольствием подумал о том, что каждый участник экспедиции имеет свою, четко обозначенную роль.

Он руководит. Не из кабинета руководит, не авторучкой и гербовой печатью, а вот так: в грязном кузове. Ни кайлом не погнушается, ни лопатой. И своими руками положит в гроб останки Ивана Михайловича. Много найдется в Союзе таких ректоров?

Верочку он взял, чтобы написала репортаж. Это не самореклама, это веяние и знак времени. Гласность.

С Махаевой тоже все продумано. Она — единственная из оставшихся в

живых сотрудников Бойченко. А в перезахоронении должен участвовать представитель того поколения. Так будет правильнее. Это вопрос этики.

Трофимук, отбывавший заключение в одном лагере с Бойченко и похоронивший его в пятьдесят третьем году, едет, чтобы показать могилу.

Своя роль имеется и у Лыжина. Формально она состоит в том, что он бывал в Сибири и умеет бить шурфы в мерзлоте, но на деле все сложнее. Ректор поморщился. Лыжин — умный человек, ректор в глубине души хорошо сознавал его превосходство над собой и как раз за это очень его не любил. Он взял Лыжина, учитывая возможность каких-либо непредвиденных осложнений при поисках могилы и полагаясь на его быструю сообразительность и интуицию.

— А ежели мы, братцы, по доброму якутскому обычаю соорудим чайку? — спросил он.

Лыжин молчливо отошел на обочину. Затрещал сушняк. Когда ректор принес из кузова чайник с водой и продуктовую сумку, костер уже горел. Лыжин сидел в дыму с мокрыми глазами, потрясенный мучительно-радостной отчетливостью воспоминаний о том далеком лете. Он машинальными движениями воткнул в землю жердь, подложил камень и повесил чайник.

— Ото дело! — одобрил, подходя, Трофимук.

Лохмато-седой, темнолицый, он напоминал ректору старого цыгана, а Лыжину — жюльверновского каторжника. В живых светлых глазах мелькала вопросительная, заискивающая напряженность. Мужичонка себе на уме, считал ректор, а Лыжин понимал: смущается высокообразованного общества.

Тяжело ступая, пришла высокая, мужеподобная Махаева в берете и лыжном костюме. Ректор беспокойно завращал глазами, кинулся к сушняку выдергивать корягу. Махаева, прежде чем сесть, расстелила на ней носовой платок.

— Почему же я одна, товарищи? Несправедливо. Садитесь тоже.

Надменная эта старуха с голым безбровым лицом особенно угнетала Трофимука. Сидя с ней в кабине, он не знал, о чем говорить. Она или безмолвствовала, или произносила фразы, на которые невозможно было придумать ответов. Как парень с девкой, думал Трофимук и вспоминал свою первую, еще до ареста, любовь. Он работал ремонтником на МТС, а кухаркой была херсонская девушка Лиза, он помогал ей чистить картошку и рубить мясо, и они часами молчали. Когда он, отсидев свою пятилетку, вернулся в пятьдесят пятом на ту же МТС, Лизы уже не было, уехала в свой Херсон.

Торчащие, кровавистые глаза ректора то и дело поворачивались к тягачу.

— А журналисты пьют чай или как? — не выдержал он, когда в чайнике закипело.

— Крепко не заваривайте, — велела Махаева Лыжину. — Кто любит крепкий, пусть сам добавляет.

Верочка подошла вместе с водителем, вытирающим руки о ватную зеленую куртку. Ректор, глядя на их молодые лица, подумал: «Точно, дура. Или шалава».

— Прошу, пани. — Он подал кружку. — Имею впечатление, Вера Николаевна, что устройство дизеля занимает тебя больше, чем цель вояжа.

Верочка села к Махаевой, сняла очки.

— До цели еще далеко.

— А психологический антураж, он тебя не интересует? Между прочим, зря. Тут, например, имеются противники нашего загробного путешествия. Считают его мероприятием. Использую общественные настроения для подкачки своего паблисити. Демонстрирую гражданскую активность и деловой стиль. И мореплаватель, и плотник. — Он захохотал, направив на Верочку золотой браслет зубов. — Говорят, что все эти посмертные реабилитации и почести — подчистка, поддурманивание истории, ничего больше.

Жирно крашенные ресницы стрельнули искоса в сторону Лыжина, насуленно смотревшего в солнечную даль, серебрящую контур его бороды.

Он не помнил за собой таких выражений и вообще не помнил, чтобы они говорили с ректором на эти темы.

— Все правильно! — с горячностью сказала Верочка. — Реабилитация — только одна сторона дела, его самая легкая, самая приятная часть. А вторая половина? У настоящего правосудия должно быть два великих принципа: презумпция невиновности и неотвратимость наказания. Никто не должен ускользнуть, все поименно высвечены и названы. («Девочка увлекается чтением по-

пулярных журналов», — подумал ректор.) Наш святой долг перед пеплом Ивана Михайловича — установить все обстоятельства его ареста. Кто донес, кто вел следствие, кто судил. Вы не согласны?

Водитель слушал, жуя булку. Трофимук, допив чай, курил с таким видом, точно все это не имеет к нему никакого отношения. Боковой свет вырисовывал вмятину на его лбу, и даже было видно, как она дышит. Лыжин все смотрел вдоль грейдера.

— Вы говорите: поименно. — Он скудно усмехнулся. — И тех мальчиков, которым гаркали: «Приготовься! Огонь!» или которые стояли на вышках? И тех, которые гневно махали кулаками на митингах? И авторов проклинающих статей, разделивших через год-два судьбу проклинаемых? Полярников, славших со льдины телеграммы солидарности с Вышинским? Пламенных обличителей контры, строчивших доносы вместе с негодьями и трусами, запуганными статьей о недонесении? Равнодушных наблюдателей? Умных тихонь, все понимавших, но ничего не делавших да и не имевших на то возможности? Фейхтвангера, Барбюса, Роллана, громивших реакционного Андре Жида, назвавшего режим Сталина фашизмом? Это был пестрый, но единый конгломерат, какая здесь может быть поименность?

Махаева не понимала Лыжина. Она плохо слышала, и, чтобы понимать, ей нужно было видеть губы говорящего. Борода Лыжина ей мешала. Но она знала по опыту, что ничего хорошего сказать он не может, и смотрела враждебно.

Верочка скривила капризные губки.

— А ну вас! Начинаете как нормальные люди, а затем — щелк! Вы все порченые, все до одного. Чего вы боитесь? Того больше не будет, экономика не даст. Все это кончено. Даже кратковременный возврат больше невозможен, поздно.

— А если экономика чуть подправится? — завернул голову Лыжин.

Ректор встал, отряхивая шуршащий комбинезон.

— Вы что-то, ребята, далеко заехали в своем мстительном запале. Я делаю то, что в моих возможностях.

Поднялся и Лыжин.

— Комиссию по научному наследию Ивана Михайловича — вот что прежде всего нужно было сделать. Переиздать работы, издать неопубликованные. Откупиться гранитом и мрамором — это проще простого и ненамного лучше самолетов на постаментах, подземных посланий студентам тридцатого века и четырехэтажных никелированных серпов с молотами.

Это Махаева разобрала.

— А не помолчать ли вам, коллега? — осклабила она лошадиные зубы. — Во время еды доктора рекомендуют молчать.

— Ничего, послушайте! — огрызнулся Лыжин. — Вы долго и много говорили, теперь поговорим мы.

— Самолет ставил горисполком, — сказал ректор. — Вечно ты нагнеташь. Все это было до меня. Меня, как тебе превосходно известно, избрали позднее.

Он очень этим гордился и при всяком случае напоминал, что его «избрал народ». Еще он гордился, что был делегатом девятнадцатой партконференции, и рассказывал, якобы был на приеме у Рыжкова и добился отмены строительства в городе аммиачного комбината. Хотя Лыжин совершенно точно, от другого делегата, знал, что ходили и добивались другие. Была у ректора эта ноздревская черта — любил приврать.

— Мы едем или будем здесь ночевать? — резко спросил Лыжин.

— Машина готова! — гаркнул водитель, шокировав Верочку поспешностью и громогласием.

Когда тягач доехал до перевала, впереди открылся разбросанный в холодном тумане архипелаг далеких сопок. Лыжин почувствовал, как шевельнулась в душе глухая тоска. Он много работал в экспедициях и хорошо знал эту угрюмую тревогу, которая овладевает с приближением ночи, это гнетущее ощущение бездомности и одиночества в темнеющей пустыне. Отсюда-то, подумал он, и наша пещерная психология, тяга сбиться в кучу, объединиться, пусть в тесноте и вони, но чтоб были огонь и крыша. И наш культ гостеприимства — тоже отсюда. Народам, живущим в теплых краях или там, где нет этих бескрайних безжизненных пространств, им наш коллективизм неведом и непонятен.

По лязгающему кузову несло сыростью, и ректор воспользовался этим,

чтобы накинуть на Верочку свою финскую «ветровку» и потрогать ее мягкие плечи.

Ему было за пятьдесят, но женщины продолжали оставаться главной радостью его жизни. Разницы с молодостью он не чувствовал, не желал признавать, даже наоборот, находил, что стал с годами темпераментнее, и объяснял это примесью болгарской крови. Женщины были и главным стимулом его честолюбия: чем выше он подымался — доцент, завкафедрой, профессор, проректор, ректор, — тем свободнее и проще менял любовниц. Жена смирилась, и ректор искренне считал себя хорошим семьянином. Он вообще себе нравился, и все вокруг нравилось. Когда ругали времена Брежнева, он кивал, но при этом вспоминал тогдашние романы с дипломницами и лаборантками и отводил лицо, пряча улыбку. Мысли о приближении старости портили, конечно, ему настроение, но не особенно, а всякие разговоры об экономических и экологических проблемах вообще не трогали. Что бы там ни было, а аспирантки и ассистентки не переводятся. На его век, во всяком случае, хватит.

«Как я не догадался, дуралей, взять третью палатку?» — ругал он себя.

А Лыжин смотрел на убегающие во тьму, подкровавленные огнями тягача лиственницы. «Как их сюда доставляли? Неужели гнали пешком?»

«Тракторист — в кабине, старуха — в кузове, бородачи — в одной палатке, прелестница — во второй, я — в третьей, какая была бы идилия!»

«Когда их вывели в Магадане из трюма, посмотрел ли Бойченко сквозь морозную дымку и обледенелые мачты в ту сторону океана, где в пробковом шлеме с москитной сеткой жег на коралловом песке костры из пальмового дерева?»

«Если их всех, и бородачей, и старуху, засунуть в кузов, получится дикая давка, и Лыжин, ясное дело, раскудахчется».

«Почтовый чиновник в Купанге на Тиморе сказал: «Россия? Да, я знаю. Это страна льда и ненависти. Убить сына, сделать из головки чашу и подать мужу смесь вина и крови! Я не помню, как ее звали, но это ужасно!»

— Сколько времени? — перекричал ректор дребезжащий лязг.

— Одиннадцать! — заорал Лыжин.

«А у нас три, — подсчитала Верочка. — Или два, если по-нормальному. Какие молодцы эстонцы, что отменили декретный час». Она решила в этом году купаться до Октябрьских, брала на работу купальник, полотенце, резиновую шапочку и ходила в перерыв на пляж. В последнее время там стал появляться какой-то парень. Сидел, наблюдая за ней, возле штабеля топчанов. Верочка быстро раздевалась, глядя с удовольствием на свою загорелую гладкую кожу, и, закинув голову, поправляя шапочку, шла по холодному песку в море. Любопытно, будет он приходиться, когда она вернется, или решил, что ее купальный сезон закончен?

«Я ответил: «Ее звали Гудрун, но она была исландкой, а не русской».

После того, как о Бойченко напечатали в «Известиях», в университет стали навещать знавшие его старики, принесли изданные в двадцатые годы «Каютные записки», «Острова», «Лес и загон». А потом пришло из Полтавской области письмо Трофимука.

«Ну, хорошо, раскудахчется, и что? Не напишет же. И Махаева не напишет. Какой им смысл писать? Что это им даст? Кто сейчас обращает внимание на такие письма?»

«Моржей» Верочка не любила. Такие же фанатики, как Махаева, такое же иступленно-мученическое преодоление трудностей, только не во имя коллектива, а для себя. Магнитострой, выродившийся в шлепанье босыми ногами по грязному снегу.

Под кабиной ровно стрекотали гусеницы. На повороте, когда зарыбли каруселью белые стволы, Трофимук подумал: «Как прожектором по колочке». Стеклобно блестя неподвижные глаза Махаевой. «Чего она на меня косится?» — размышлял водитель о Верочке. Он не любил этих тощих, стальных, много о себе воображающих кривляк.

«Факт, не напишут». Но что-то досаждало, злило, и ректор наконец понял: «Не потому не напишут, что это без смысла, а из брезгливости. Два абсолютно разных человека, полная противоположность взглядов, но есть общее — высокомерное, презрительное чистоплюйство. Голодранцы, не сумевшие устроить жизнь, а поди ж ты, разыгрывают аристократов духа».

У водителя уже больше года продолжался роман с сорокалетней женой одного штатского босса. Началось с того, что весь взвод послали с техникой

на строительство их дачи. Была майская жара, Юнона ходила в купальнике, командовала взводом и поглядывала, смешливо покусывая губы, на водителя. Какой он был тогда дурной, наивный и чистенький!

«Бог с ними, лягу в кузове со старушенцией,— решил ректор и постучал в кабину.— По крайней мере тракторист будет под боком, и я усеку, если он куда-нибудь отправится».

Лыжин и Трофимук, шурша берестой, разожгли костер и, удивляя молчаливой согласованностью действий, стали готовить ужин. Первыми поели, натянули в свете фар палатки и легли.

Палатки стояли на обочине, среди вывороченных деревьев. Голые корни матово белели на черном небе и были похожи на скрюченные мертвые руки, крепко сжимающие обмытые дождями камни.

Ректор возился в кузове с раскладушками. Возле цинкового гроба важно стояла, держа свечу, Махаева. Кузов напоминал склеп. Ректор вздохнул.

— Ложитесь.— Он спрыгнул на грейдер, посмотрел на растянувшегося в кузове водителя, заглянул к Верочке, затоптал искрящийся костер.

— Представляете, помню это место,— говорил в темной палатке Трофимук.— Ездили сюда за мхом, конопатили стены барачков. Чагу собирали. Наросты такие на березах. Лекарственное средство.

Потом спросил:

— Вы читали «Графа Монте-Кристо»?

— В детстве.

— Я до лагеря не читал, после уже прочел. Сильная вещь. Мне Иван Михайлович рассказывал. Он был для меня, как аббат Фариа для Эдмона Дантеса. Я тоже, как Эдмон Дантес, не понимал, почему меня посадили. Иван Михайлович объяснил. Не сразу, конечно, а потом, когда разобрался, что со мной можно откровенно. Мы спали на одних нарах.

Водителю снилась Юнона, и его пальцы шарили по циферблатам, разыскивая теплые груди. Ректор лежал, скрестив руки, зло слушая металлически резонирующий храп Махаевой. Какой-то предсмертный хрип. Завлаб давно уже целился отправить ее на пенсию, но ректор твердо сказал: «Будет работать, пока захочет». Добряк он, а кто это ценит? Он сел на скрежетавшей раскладушке. Махаева, дико всхрипнув, стихла. Ректор стал обуваться.

— Он тоже был на физических работах? — спросил Лыжин.

— Нет. Вроде главного геолога. Намечал, где бурить шпурь, как вести разработку. Умнейший был человек. Комендант его уважал и берег. Тоже был умный человек.

Ректор крался ощупью вдоль тягача. Нога задела густо задрожавший шнур палатки. Ректор присел. Дверь палатки была незастегнута. Он протянул руку и нащупал в ватном мешке маленькую, испуганно отдернувшуюся ступню.

— Не спишь?

— Это вы?

— Знаешь, что я удумал. Тебе, кроме репортажа, надо еще сделать документальную повесть. Скажи, идея! Я помогу пробить. Сначала в газете, в сокращенном виде, а потом отдельной книжкой.— Он спешил, волновался.— Договорюсь в издательстве, увидишь! Выйдет в следующем году. Ты способная девочка, тебе нужен помощник, менеджер — и все будет хорошо.

Она подвинулась, и он полез в молчащее, пахнущее парфюмерией и табачным дымом тепло, взял в ладони легкую пушистую голову и начал целовать. Верочка не сопротивлялась.

— Как у вас в селе, есть изменения? — спросил Лыжин.— Аренда, кооперативы?

— Да так, понемногу. (Лыжин услышал его улыбку.) Меня это мало касается. Я — завскладом. Дочка замужем в Москве. Тоже хорошо живет. И работа хорошая. Одни бабы в комнате. Три раза едят: как придут, в обед и перед уходом. Картошку варят, макароньки, сосиски.

Махаева, проснувшись, когда ректор выходил из кузова, вслушивалась в тревожный шорох брезента. Какой все-таки мерзавец. Вся теперешняя кафедра — мерзавцы. Кроме Лыжина. Но у того оппортунистические взгляды. И так почему-то всегда: если не мерзавец, то оппортунист, а если не оппортунист, то мерзавец.

Еще не хватало простудиться, подумал Лыжин, чувствуя, как холодит от земли сквозь тонкий мешок. Они с Трофимуком наломали под обе палатки

веток, да, видно, маловато. В экспедиции, где он был на практике, под мешки подстилали олени шкуры.

— Зять не пьет?

— Бросил. Деньгу зашибает. Днем — работа, вечером — кооператив. Делают то же самое, что днем, только в три раза быстрее.

— Ну все, уматывай, — шепнула Верочка, оттапливая мокрую волосатую грудь ректора, забиваясь в угол и шурша одеждой.

— Ужасно не хочется, — разнеженно ответил ректор.

— Уматывай, уматывай.

— Махаева храпит, как дизель.

«Наверно, это невозможно: иметь сразу два таких недостатка. Если ты мерзавец, то тебе уже не до оппортунизма, а если ты оппортунист, то это уж слишком — быть еще и мерзавцем».

— Не биографию, конечно, — говорил ректор, — а что-то проблемное, публицистическое. Документалистика сейчас на первом месте по популярности, на втором — бывшие «запретки», а современную худлитературу вообще никто не читает, слишком пресно.

Может, и не врет, размышляла Верочка. Хорошо, если так. Почему за все хорошее нужно платить гадостью? Когда она поступала на истфак, конкурс был двенадцать человек на место, и пришлось уступить приставаниям потливого и одышливого заместителя декана. А пять лет спустя, при распределении, то же самое повторилось с прокопченным никотином, надсадно кашляющим заместителем редактора газеты. Почему-то все время попадались заместители. Ректор ведь, если вникнуть, — тоже заместитель. Не уничтожили бы Бойченко и таких, как он, и жизнь пошла бы по другой траектории, и ректор университета был бы сейчас другой. И замдекана истфака, и, наверно, декан, и замредактора, и редактор.

— Спокойной ночи, — сказал, пожевываясь и зевая, Лыжин и вдруг спросил: — Он понимал, что умирает?

Трофимук не удивился.

— Наверно. Он как-то сразу, в два-три дня, слег и больше уже не встал. Я думаю, у него был рак. Стал желтый, как воск, особенно глаза, ничего не ел, только пил.

— Не высказывал сожаления, что будет похоронен здесь, а не на родине?

Трофимук помолчал.

— Да нет. (Лыжин снова почувствовал, что он не удивлен и хорошо знает, почему такой вопрос.) Мы о таких вещах не говорили. До этого ли?

2

Когда ректор проснулся, бородачи что-то уже варили в розовом дыму. Махаева приседала возле тягача, торжественно разводя руки. Ректор громыхнул в стекло кабины и крикнул всклокоченной голове:

— Подъем!

Верочка наблюдала из палатки, как они, фыркая и крикая, поливают друг друга из кружки. Ей было противно, причем мускулистый торс и белый оскал водителя раздражали почему-то не меньше, чем болтающийся живот и золотые зубы ректора. Она вспомнила болезненные металлические поцелуи и достала зеркальце. На губах были синеватые прикусы. И ведь опять сегодня припрется, подумала она.

Лыжин медленно помешивал в кастрюле. Он был в прошлом. Началось, как и вчера, с запаха дыма, но теперь прибавились звуковые иллюзии: звяканье посуды напоминало бренчанье боталов на оленьих шеях, пение чайника — гундосый вой комаров. Но все это было словно впотьмах, зрительная память не включалась. Даже потом, когда тягач вынырнул из просеки в пустыню старой гари, точную копию заросших ерником и голубикой вилюйских еланей, Лыжин, хоть и понял это умом, никакого толчка в сердце не ощутил, ничто не всколыхнулось. И он догадался: фотографии. Растянутая в млечной дымке, карандашно исчерканная седыми стволами равнина напоминала глянцевые пейзажи в его «якутском» альбоме. Мертвые картинки заслонили, стерли живую память.

Верочка, строгоя, не замечающая ректора, подседа к Лыжину.

— Ничего, если я возле вас подымлю?

— Пожалуйста.

Среди горящих в солнечном луче пшеничных завитков потекли голубые волокна дыма.

— Так что же такое, объясните мне, приключилось с нашим великим отечеством? В чем смысл? Должен же быть какой-то высший смысл?

— Слушайте, вам не надоело? — крикнул из-за гроба ректор.

Верочка круче завернула плечико, заслоняясь от солнца розово просвечивающими пальцами и продолжая глядеть на Лыжина. Тот молчал.

Ректору неприятно было видеть курящую Верочку. Он не любил курение и даже, заступив на должность, подумывал повести с ним борьбу, но потом раздумал. Курят главным образом бездельники, их в университете чертова прорва, и с этим надо считаться. Что ни говори, а на выборах он победил потому, что люди знали его как добродушного, свойского мужика, который на многое закрывает глаза. Другие кандидаты тоже повыбрасывали из своих программ пункт о повышении дисциплины, но народ не проведешь. Народ судит о человеке по делам, а не по декларациям.

— Да ничего такого уж особенного, — сказал он. — Террор и диктатура, это происходит после всех революций. Кромвель, Наполеон. Приключилась обычная послереволюционная диктатура, но в стране...

— ...дураков? — приснула, закашлявшись дымом, Верочка.

— ...темной, рабской и ужасающей огромной. Чем крупнее организм, тем многочисленнее и мучительнее болезни.

«Повторяет чьи-то слова», — подумал Лыжин.

— Что интересно, эти террористические и диктаторские тенденции проявляются и после мирных революций, осуществляемых сверху, — сказал он.

— Имеете в виду реформы и убийство Александра Второго?

— Это тоже, но еще характернее было в Португалии. («Пошла демонстрация эрудиции», — усмехнулся ректор.) Еще до Французской революции португальский премьер Помбал провел серию прогрессивных реформ. Образованный просветитель, гуманист, патриот, самые благородные побуждения, к тому же глава правительства, пользовавшийся полной поддержкой короля. Казалось, все должно было пройти гладко. Куда там! Террористические акты, контртеррор, и в результате: жесткая диктатура, продолжавшаяся двадцать лет.

— И чем вы это объясняете? — спросила Верочка.

Лыжин внимательно на нее смотрел.

— Скажите, у вас никогда не возникала такая мысль: неужели Аллилуева при такой фамилии, таком имени и таком совершенно уникальном стечении обстоятельств не подумала, что ей уготована роль спасительницы страны? Что «развод по-кремлевски» нужно было сделать иначе: сначала — его, а уже потом — себя?

Верочка сглотнула улыбку.

— Возникала.

— Так ты, оказывается, потенциальная террористка! — захохотал ректор. На лице Лыжина было удовлетворение.

— А кто из нас в душе не террорист? — крикнул он через гроб. — Ты пойми: революция, самая даже реформическая, — это разрушение существовавшего правопорядка. Крепостное право — дрянь, дикость, но все-таки ведь право, юридическое уложение, и вдруг — к черту! Удар под дых для законопослушного человека. А настоящая, кровавая революция? Право собственности — к черту! Право на жизнь — к черту! Полное крушение норм и устоев. Всеобщий заворот мозгов. Да даже не мозгов. Это компьютер мыслит по логическим схемам, а человеческое мышление, оно совсем другое. Не только мозгом, а еще сердцем, желудком, железами, генами, инстинктами, подсознанием, интуицией, все смешано, спутано, непредсказуемо. Как раз то, чего абсолютно не понимали преобразователи жизни. Они оперировали теоретическими схемами. Для них человечество — массы, классы, сословия, это правильно, но оно прежде всего — конгломерат личностей, которыми невозможно управлять по единой для всех схеме. Разве что страхом. Но страх рождает потерю самоуважения, апатию, творческий паралич, лживость, мошенничество, глубокое моральное разложение. Теоретики разводят руками и огорошенно чешут в затылках: «Чьи классовые интересы выражал Сталин?» Да ничьи! Свои собственные! Как и Робеспьер, Наполеон, Грозный, Годунов, Лжедмитрий, Петр. Чьи интересы выражает водитель нашего тягача? Милитаристских кругов? Рабочих-дизелистов? Своей деревенской семьи? Да чушь

все это на постном масле! Каждый человек — это мир, который во столько же раз сложнее Солнечной системы, во сколько психология сложнее механики. У составителей общественных пасьянсов есть список форм движения материи, но в нем, как ни парадоксально, психологическая даже не упоминается, биологическая, а потом сразу социальная.

— Что же ты предлагаешь? — насмешливо крикнул, косясь на Верочку, ректор. — Учесть норы каждой из двухсот миллионов личностей, весь этот калейдоскоп, каждую просчитать, промоделировать, спрогнозировать? Так, да? Та же чушь на том же масле!

Лыжин хмуро отвернулся.

— Не знаю. Я только знаю, что естествоиспытатели, имеющие дело, кстати, с гораздо более простыми вещами, действуют много тоньше и осторожнее, чем устроители человеческого счастья. Не просто, например, говорят «песок», а давно постигли, что каждый песок имеет свой особенный состав, и придумали, как это учитывать: эффективный диаметр, пористость, влагоемкость, коэффициент фильтрации, куча всяких других показателей. Не скопом, не под одну гребенку, а скрупулезно изучая, измеряя, приспособляясь. Приспособляясь, понимаешь? А то ведь всего лишь песок, не люди. Человечество — сложнейшая, стихийно саморегулирующаяся система, ее невозможно приспособить к какой-то схеме. Приспособляться нужно, а не приспособлявать. Поражаюсь, как можно этого не понимать!

Клубящийся луч, блеснув по вишневым губам Верочки, забился в пыльный угол кузова. Выплясывая в окошках, надвинулся гребень каменного отвала, и тягач встал.

— Здравсьте, Настя, — сказал, подымаясь, ректор.

Над грейдером нависал на покосившихся столбах промывочный желоб заброшенного карьера. Лыжин и ректор, щурясь от низкого солнца, пошли вверх по осыпи. С блестящей на дне котлована воды взлетела, тяжело хлопая крыльями и гогоча, стая гусей.

Среди воспоминаний о том лете у Лыжина было два неприятных. Олени и гуси. Олени болели копыткой, и их одного за другим резали.

— Гуси летом линяют, — сказал он. — Меняют перья и не могут летать, совершенно беспомощны. Их бьют в это время палками и камнями.

Шлиховальщик из их партии притащил как-то целую гору, туш десять, если не больше, а когда спросили, зачем столько, сказал отдуваясь: «А че... че их, фраеров, в Африку отпускать?.. Лучше лопнем». Да, в той или иной степени это чувствовалось у всех: тюремная зависть и удивление при виде существ, которые вместо того, чтобы жить в одной, отдельно взятой, огороженной стране, летают себе по всему свету. Детство Лыжина прошло в разгар борьбы с космополитизмом, а он был из тех, кто, чем сильнее на них давят, тем крепче упираются, и в его детскую душу надолго вьелся болезненный интерес ко всему тому — ругаемому, загадочно запретному, влекущему... Этим же упрямством, понимал он, объяснялся и его, возникший в те же школьные годы тайный внутренний протест против того, что он слышал по радио и читал в газетах. Чересчур сильно давили. Не мог же он, в самом деле, понимать в десять — пятнадцать лет суть того, что вокруг него происходило. Просто была естественная человеческая неприязнь к крикливому бахвальству, такая же, как к некоторым слишком самодовольным, фанфаронащим одноклассникам. Это именно то, что он пытался объяснить ректору и Верочке: человек сильнее логики, он понимает больше, чем понимает его рассудок.

Подошел, бодро хрумкая сапогами по щебню, Трофимук.

— Это более поздний карьер. Наш дальше.

Ректор покачал головой.

— Сколько потребуется средств, чтобы это все рекультивировать! (Потратив жизнь на водную и почвенную мелиорацию, он свернул в последнее время на охрану природы, сообразив с некоторым опозданием, что это — верняк, актуалитет, беспроигрышный способ проявить гражданское мужество, не влезая вместе с тем в политику. Страх к влезанию в политику сидел в нем намертво.) А ведь придется, никуда не денемся. Сами нагадили, самим придется исправлять и восстанавливать.

Черта с два, подумал Лыжин. То, что здесь искалечили, природа создавала миллионы лет, и это уже никогда не вернется. Можно сделать рос-

кошнее, чем парк Горького или ВДНХ, но то, что здесь было,— нет. С тем все и навсегда покончено. «Поломали — починим» не получится.

— Ладно, гуси-лебеди, полетели,— сказал ректор.

К развалинам лагеря подъехали через час. Тягач свернул с грейдера и, лязгая гусеницами, яростно хрипя, падая и взлетая, пошел напролом. «Как, должно быть, чудесно ощущать власть над этой мощной машиной, рядом с которой «Лады» и «Жигули» кажутся насекомыми»,— подумала Верочка. А водитель, крепко сжимая ручки рычагов, вспомнил, что Юнона, когда ей приходилось с ним ездить, говорила: напоминает бредущий полет.

Стало сырее, травянистее, на осыпях зарозовели заросли иван-чая. Прохрустел под гусеницами гравий отмели, тягач плюхнулся в реку, побурлил, мутя воду, и навалился грудью на просторную зелень поймы, пошел поперек, к искрящейся паутами черной тени сопки.

«Почему я представляла это совсем другим? — спрашивала себя Махаева.— Почему воображаемое никогда не сходится с действительностью? Это только у меня или у всех?» Много лет подряд не было дня, чтобы она не думала об этом лагере, и всегда представлялось что-то огромное, кирпичное среди мощных кедров и сосен. Суровая, отливающая сталью хвоя, красный кирпич зданий, стен и высокой дымовой трубы — такая вот картина затвердела в ее сознании.

Тягач развернулся грубыми рывками и замер возле рощи распластанных, переплетенных берез. Лязгнула дверца кабины, вышел Трофимук, зачавкал по мху.

— Для тебя, боюсь, ничего не найдется,— сказал ректор, вытряхивая из пыльного рюкзака резиновые сапоги.

Верочка взяла первые попавшиеся, даже, кажется, непарные, и стала быстро переобуваться, злясь, что ректор смотрит на ее ноги.

Трофимук, отмахиваясь от паутов, ходил вдоль края рощи.

— Здесь,— он показал на холмик с замшелым валуном.

Загремело — Лыжин выбрасывал из кузова лопаты, лом, кайло.

— Где поставим лагерь? — спросил ректор.

Дубина, разозлилась Верочка. «Лагерь»!

— Там, за валом,— махнул рукой Трофимук.— Где посуше. Зона «Б»,— добавил он, усмехнувшись.

Как все просто и обыденно, думала Махаева. Там, внизу, лежит Иван, а я смотрю на этот камень и ничего не чувствую. Как мы огрубели!

— Вы один копали могилу? — спросила Верочка, расстегивая футляр фотоаппарата.

— Ну! Это было большое нарушение — хоронить отдельно. Комендант очень уважал Ивана Михайловича. Других хоронили с той стороны, прямо за колючкой.

Из всего, что рассказывал Бойченко, Трофимука особенно взволновал «Граф Монте-Кристо». Побег, сказочный клад и месть за подлость — как сладостно было мечтать, лежа после отбоя в дыму канской махорки, воня лоптянок и матерщине засыпающего барака! Долбя могилу, он все время вспоминал смерть аббата Фариа и побег Дантеса. Может, и попытался бы, если бы не доверие, которое оказал ему комендант. Даже конвойного не выделил.

Когда ректор и водитель, оставив тягач и женщин в зарослях иван-чая за валом, подошли к могиле, Лыжин и Трофимук уже срезали дерн и копали лопатами сырой красный суглинок. Трофимук взял лом и, со значением глядя на ректора, постучал в глубоком месте ямы.

— Мерзляк.

— Молодцы,— кивнул, озабоченно хмурясь, ректор.

Вскоре пришлось идти за ведром и веревкой, которые забыли в тягаче: выбрасывать лопатами куски мерзлого грунта стало трудно.

— Зовут есть,— сообщил вернувшийся водитель.

Обедом занималась Верочка. «Или вы, или я,— сказала Махаева.— Не толочься же вдвоем». Верочка готовила рисовый суп и картошку с китайской тушенкой.

Махаева сидела с газетой на брезентовом стуле. «Распутница,— думала она, поглядывая поверх очков на мелькающие голые локти и обтянутый, с проступающими трусиками зад Верочки.— Продажность, торгашество — вот что мы больше всего ненавидели, вот с чем боролись. Грязные пальцы ла-

вочников, отсчитывающие сдачу, жадные глаза, истошные споры из-за полтинника. Хищный, тупой мир акул, о которых так красочно рассказывал Иван. Какие поразительные примеры их чудовищной прожорливости и фантастической нечувствительности к травмам он приводил! Акулу можно разрезать, насадить ее желудок на крючок, и она, выпотрошенная, истекающая кровью, если ее освободить и бросить в море, тут же яростно кидается на крючок и, давась, сжирает свой собственный желудок. Он проскальзывает на леске через пищевод, оказывается снова в море, и акула снова его хватает. Сколько было сделано, чтобы покончить с этим проклятым акулиным миром, какие головы полегли! Почему Иван не понял смысла этого беспримерного сражения? Честный, тонкий, высокомерно презрительный к деньгам, абсолютно непрактичный, почему называл бой с рыночной психологией борьбой с пищеварением? Бескорыстный романтик, путешественник, искатель — оказался в стане правых оппортунистов и даже сейчас, мертвый, помогает им хрюкать: «Рента! Аренда! Кредит! Прибыль!»

Пока мужчины умывались, Верочка расстелила брезент, расставила миски и порезала хлеб. Ректор опять жизнерадостно кричал, а на шее водителя болталась цепочка с какой-то кругляшкой. «Златая цепь на дубе том».

— Рублей двести? — спросила Верочка.

— Вроде того, — ответил водитель.

Эту цепочку он выменял на старинную серебряную турку, купленную в первый год службы у одного «афганца».

Обед понравился. Особенно нахваливал ректор. Верочка, скромно смежив крашенные ресницы, иронически кивала. «Врет или не врет? — размышляла она насчет книжки. — Может, и не врет. Это ему элементарно, с его связями и настырностью». Утром она твердо решила заявить, что ляжет сегодня в кузове с Махаевой, но теперь начала сомневаться. «Разозлится же, гад».

— Он, знаете, здорово интересовался блатными, — говорил Трофимук. — Записывал их словечки, песни, срисовывал наковки. У них в каждом бараке был свой пахан, а кроме того, был самый главный, который как раз жил в нашем. Иван Михайлович объяснял, что здорово похоже на горилл. Они мыли пахану ноги, искали в голове, чесали спину. И другие услуги, о которых при женщинах неудобно.

«Господи, какой кошмар, — страдала Махаева. — Отвратительнее, чем в босаяцких рассказах Максима Горького. Почему их, политических, не держали отдельно? Не врет ли этот всклокоченный болтун, сам похожий на персонажей своего грязного рассказа?»

Водитель мазался диметилфтолатом, чтобы не кусали пауты и мокрецы.

— Да, это не «Мажи нуар», — сказал он.

«Откуда он знает?» — подивилась Верочка.

Начали натягивать палатки. Лыжин и Трофимук кончили первыми и ушли к могиле. Ректор, установив с водителем палатку Верочки, бросил туда спальный мешок и понес было сумку, но Верочка молча отобрала ее и положила у костра.

«Торг, — подумала Махаева. — Она набивает цену, он старается сбить. Низкие, нечистоплотные людишки, и эта грязь прыскает во все стороны и марают других. Я разве не измарана, разве не стала тоже продажной? Разве не вынуждена подлизываться к этому самодовольному кабану, чтобы он не выбросил меня на свалку? Но что мне остается делать? Оказаться на старости лет вне коллектива, сделаться домохозяйкой, как Надька, поджидать вместе с ней «письмоноску» с пенсией?»

В могиле, когда подошла Верочка, работал Лыжин. Кайло стучало гулко, с хлопающим призвуком. Размеры и глубина дышащей холодом черной ямы удивили, даже испугали Верочку.

— Лопату! — поднял грязное лицо Лыжин.

Он чуть было не крикнул: «Лопату, Афона!» Так звали рабочего, с которым они выбили в то лето полсотни шурфов. Почему так сильна память мускулов? Обонятельные и двигательные воспоминания — самые, оказывается, цепкие. Странно. Что-то животное.

Мерзлые обломки гремели по ведру.

«Неужели придет? — гадала Верочка. — Неужели так толстокож?»

«Если выкопаем его завтра до обеда, то к вечеру можно, пожалуй, добраться до города, — прикидывал водитель. — Сегодня что, среда? Юнона сказала позвонить в пятницу».

Трофимук вытянул веревку с ведром, с размаху вытряхнул грунт. Он сверкал, как дробленный гранит. Куча, которую они насыпали перед обедом, уже размокла, превратилась в глиняную кашу.

Махаева шла к могиле, волоча по мху и кочкам брезентовый стул. «Вечно на себя наговариваю, каюсь в чужих грехах. Российское самохлестание. Никаких доказательств, что Ивана арестовали именно из-за моего письма, нет. Врагов у него хватало. Друзей тоже, но в таких делах решают не друзья, а враги. Он был прям, запальчив, неосторожен. Сейчас таких нет. Лыжин считает себя смелым, но он не слышал Ивана и его друзей. И никогда не услышит. Таких, как они, давно нет. К тридцать девятому году не осталось ни одного. Это было неминуемо и правильно: надвигались трудные времена, страна не могла допустить развешивающего разномыслия, она превращалась в монолит, подобный этому спаянному льдом грунту».

В могиле стучал водитель. Лыжин вытирал мхом грязные сапоги. Трофимук делал лестницу и рассказывал Верочке о лагерной жизни.

— Лошадь, запряженная в лодку? — поражалась та. — Это детали! — И, радостно закусив губу кошачьими зубками, строчила в блокноте.

— Плоскодонку, — уточнял Трофимук. — Другой раз и сами впрягались, таскали на бечеве. Делали на лодке бурундук, чтоб бечева не цепляла кусты, и тянули, как бурлаки. Иван Михайлович говорил: бесколесная техника каменного века.

«Узнаю Ивана. Как это было нелепо и политически безграмотно — доказывать, что у нас насаждают первобытные устои: крестьянские общины, стадность, поклонение вождям, массовые жертвоприношения, правление методом заложников, враждебность к природе, воинственная недоверчивость к соседям, самоизоляция. Это все его Фиджи и Самоа. Заклинился на палеолите».

«А чего я, собственно, должен им копать? — злился водитель, сплевывая земляные крошки. — Никакого такого уговора не было. Взяли бы пару крепких студентов».

А Лыжина раздражала сидящая на стуле Махаева. Она казалась мерзлой, выкопанной из этой навечно скованной земли. Паузы облетали ее стоной. Низкий гемоглобин и холодная кожа, подумал Лыжин.

Ректор любовался шелковистыми, рассыпчато спадающими на лицо волосами Верочки. Надо поменьше усердствовать, чтобы не измотаться к ночи.

«Зачем он вырядился в этот шутовской комбинезон? Ректор университета! Видел бы Иван, как выглядит его преемник! Позор! Низкопоклонствуем перед отжившим, обреченным миром, во всем обезьянничаем, изо всех сил, аж пот под мышками. Благотворительные вечера, аукционы, конкурсы красоты. Позор! Это ж надо додуматься — принимать подачки меценатствующих миллиардеров!»

— После спирта самой большой ценностью был диметилфтолат. В наркомарнике ни поест, ни покурить и душно. Диметил отпускали только охране и персоналу. Ну, пахан уголовников, конечно, имел. Иван Михайлович тоже. Ему давал комендант, а он делился со мной.

Верочка записывала.

Пожалуй, я зря опасался ее обмороков и истерик, решил насчет Махаевой Лыжин. Дамочка крепкая. Железный конь. А вместо сердца — пламенный мотор.

Вечерело, по холодной зелени поймы вытянулись тени лагерных развалин и ползли волокна речного тумана. Паутов стало меньше. Сопка стояла в воспаленном кровавом ореоле.

Трофимук заглянул в яму.

— Метра уже два.

Водителю предстояла в декабре демобилизация. Вопрос решенный: в Европу он не поедет, из-за Юноны, останется здесь. Но где, кем — это пока неизвестно. Год назад все было ясно. Юнона сказала, что устроит в райком комсомола, это для начала, а дальше, если все будет нормально (в смысле если их отношения сохранятся), он пойдет и пойдет. А теперь вот эта неразбериха и непонятность. Парень из их роты предлагает в какой-то кровельный кооператив. Насчет грошей никакого, конечно, сравнения — это раз. А второе: если все будет так, как пишут, то райкомы — вовсе не то место, куда надо сейчас рваться. Он так и сказал Юноне. Боже, как она взвилась! Никогда такого раньше не было. Даже ночью вспомнила — перевернула вдруг

на спину и, давя грудями, задышала коньяком: «Усеки и запомни, не будет так, как пишут!»

— Пошла бы, помогла ей, — кивнул ректор на удаляющуюся со своим стулом понурю Махаеву. — Не больно уверен, что она умеет готовить. Живет со своей бывшей лаборанткой, та и ведет хозяйство. Хотя какое там хозяйство! Я у них был. Спят на раскладушках. Стол, два шкафа и картонные коробки с барахлом. Утром чай с хлебом, обедает в студенческой столовой, на ужин опять чай с хлебом.

«Встал он утром рано, съел два банана, съел два банана, лег на песок», — вспомнил Трофимук. Иван Михайлович много знал таких песен.

— Она же кандидат? — спросила Верочка. — Сколько она получает?

— Чистыми рублей двести.

— Не так мало.

Была еще такая: «У девушки с острова Пасхи украли любовника тигра, украли любовника в форме чиновника, съели в лесу под бананом».

— Говорят, копят деньги, чтобы купить домик. Квартира, действительно, ужасная. Коммуналка. Кухня и коридор просто жуткие.

Лет десять назад у дочки в Москве Трофимук попробовал наконец эти самые бананы. Ничего особенного. Сладковатое мыло.

— Не хочу я с ней общаться, — сказала Верочка.

Ректор засмеялся.

— А с кем ты хочешь общаться?

Махаева приготовила пересоленную, хрустящую на зубах кашу из гречневых концентратов и чай.

Досаждали мокрецы. Трофимук принес мха и завалил им костер. Дымокур, вспомнил Лыжин. Якуты-оленоводы делали по вечерам «хатон», крытый дворик из лиственниц, и разводили в нем дымокуры, чтобы несчастным оленям было где спастись от сатаневших по ночам комаров. Лыжина очень трогала эта заботливость.

— У вас тоже была пятьдесят восьмая, пункт десять? — спросил он Трофимука.

Тот усмехнулся.

— Пункт-то десять, да вы забываете, что пятьдесят восьмой она была только в РСФСР. Я проходил по украинскому УК. Пятьдесят четвертая, пункт десять. Пропаганда. От шести месяцев исправительно-трудового лагеря до высшей меры социальной защиты: расстрела с конфискацией. После войны чаще всего давали пятилетку.

Ректор улыбался, потягивая мелкими глотками чай. «Пятилетка» — ну, народ! Почти все продукты были из его дома, чай тоже. Цейлонский. Жене приносят с чаеразвесочной фабрики. Интересно, был Бойченко на Цейлоне? Наверное, он везде был. Приятно пить на холоде крепкий горячий чай. Лыжин оттого и неудачник, что не понимает вкус маленьких жизненных радостей. А неудачники, они злые, от них лучше подальше. Вон как зыркает из-под лба. Толковый, умный человек, мог бы далеко пойти. Что ему мешало? Даже докторскую почему-то не захотел защищать.

— Я у сестры погорел, — сказал Трофимук. — У меня сестра в Крыму, в Джанкойском районе. Попала по оргнабору, когда татар выселили. Поехал я к ней в пятидесятом году в отпуск. А у них каждый год что-нибудь новое. То хлопчатник заставляли сажать, то цитрусы, то крым-сагыз.

— Это еще что за зверь? — спросила Верочка.

— Каучуконос. Вроде кок-сагыза. (Ничего не понимая Верочка кивнула.) Я на цитрусах погорел. Сидели с ихними мужиками, травили баланду. Странно, конечно: жрать нечего, а людей гоняют копать траншеи для цитрусов. Ходила сплетня, что цитрусы — это для отвода глаз, а вообще-то готовят окопы на случай войны. Я говорю: какая там война, просто дурь вашего Гетмана. Так они звали председателя колхоза. Кто-то говорит: колхоз Сталина тоже копает. Меня и дернуло за язык: такой же, говорю, идиот, как ваш Гетман. Ну и готово, один написал, что я назвал идиотом товарища Сталина. Как я только ни божился, что имел в виду председателя колхоза, разве им докажешь? Получил пятилетку.

Врет, подумала Махаева, скорее всего из раскулаченных.

Верочка, отсевавшая подальше от едкого дыма, увидела на меркнувшем небе смутные молочные полосы.

— Что это?

— Полярное сияние,— глянул вверх Трофимук.

— Серьезно?

Ректор сморщил на ее белеющую в сумраке шею, острый запрокинутый подбородок и почувствовал, как сухо стянуло во рту.

— Красиво,— выговорил он с усилием.

Верочка заметила его взгляд. Как бы все-таки сделать, чтобы он сегодня не приходил? Как бы его выпроводить, но мирно, без скандала?

— Я думала, они цветные.

— Цветные редко,— пояснил Трофимук.— Обычно вот такие, белые.

«Полярным сиянием» уголовники называли смесь спирта с шампанским. Спирт с томатным соком—«Кровавая Мери», а с куриными желтками—«Глаза любимой».

— Завтра, по прогнозу, должна быть магнитная буря,— сказал Лыжин.

3

Ручная проходка мерзлоты ведется следующим образом. Поперек ямы выдалбливают канавку, а потом бьют кайлом по горизонтали, вдоль слоистости— сразу откалываются большие плоские глыбы. «Хороший пример прочностной анизотропии,—подумал Лыжин.—Надо привести его на лекциях».

Был холодный мраморный рассвет. Из речного тумана вытаивало розовое солнце.

— Лампа Иисуса,— сказал Трофимук.— Так называли солнце на острове, где жил Иван Михайлович. А колбасу— мясной банан.

Мерные гулкие удары вдруг оборвались тяжелым лязгом упавшего железа, в ледяном колодце зашуршало, бешено заскреблось, и Трофимук, бросив окурок, не слушая выкарабкавшегося из могилы водителя, молча прыгнул вниз. Лыжин смотрел с края ямы, как он, пригнувшись, осторожно постукивает острым концом кайла.

— Ударил, а там мягкое,— бубнил водитель.

— Запрягай кобылу,— сказал ректор.

Водитель побежал среди кочек и похожих на одуванчики шариков пушцы.

Верочка, перемыв посуду, сидела в расстегнутой палатке, приводила в порядок ногти. Махаева в застиранном, больничного вида халате ходила по заросшим развалинам. Она медленно переставляла толсто обмотанную резиновым бинтом правую ногу и слегка приседала на левой. «Какого дьявола они ее взяли? — удивлялась Верочка.— Кому она здесь нужна?»

«Пигмеи,— думала Махаева.— Жалкие лилипуты, верезжащие и махающие кулачками после боя. То была грозная битва исполинов, и не карликам с их тараканьими умами и тараканьими чувствами судить людей, которых они никогда не поймут, потому что не их мерками оценивать те великие победы и великие ошибки. Жизнь невозможна без идеалов, и даже ложный идеал благороднее, чем духовная пустота, даже неверная цель выше бесцельности. Разве крестовые походы не сыграли прогрессивную историческую роль? Да, была кровь, много крови, но какой толчок к развитию географии и торговли! А колониальные захваты? Жестокость, грабеж, работорговля, но сколько новых знаний! Свет немудрым есть тени, прекрасное без ужасного, счастье без страданий, победы без жертв».

На прошлой неделе, сразу как ректор сообщил про поездку, Верочка разыскала Махаеву и накинулась с вопросами. Ничего не вышло. «Мне приказывают лететь в Магадан, и я, как человек дисциплинированный, лечу,— сказала Махаева с древесной улыбкой.— Приказа делиться воспоминаниями пока не поступало. Поступит— буду делиться». В кружевной чугунной рамке сидели на венских стульях две коричневые девушки, а сзади стоял коричневый Бойченко. Одна из девушек была Махаевой. Какие красивые ноги, подумала Верочка.

«Их непрошеное преклонение так же ничтожно, как и их ненависть. Оно оскорбительно. Иван сам выбрал свою судьбу. Он не просил ни посмертных реабилитаций, ни перезахоронений. История есть история, по какому праву они в ней хозяйничают? Те насилия, которыми они возмущаются, совершались по законам того времени, а чем, какими законами оправдано их самодурство над мертвыми?»

Верочка увидела идущего водителя. И сразу — по его лицу — все поняла. Она нервно засуетилась, пряча маникюрный набор и надевая сапоги. «Дорылись». — Махаева чуть не упала, споткнувшись больной ногой о какое-то бревно в траве.

Водитель подогнал тягач к могиле и заставил себя заглянуть в морозный туман. На дне уже обозначилась белая, укутанная с головой фигура. Трофимук обкалывал ее ото льда. Лыжин несколько раз предлагал сменить его, но Трофимук словно не слышал.

Тогда, тридцать пять лет назад, он все сделал сам. Молодой был, сильный. Да и опыт уже имелся. В основном, конечно, делали братские. «Пожогом»: оттаивали грунт горячими листовницами, а потом брались за совковые лопаты.

Ивану Михайловичу он вырубил красавицу, а не могилу. Тело, пролежавшее два дня на морозе и страшно тяжелое, пришлось просто столкнуть вниз. Простыню, чтобы его завернуть, дал комендант. Ее углы Трофимук зашил иглай, сделанной из кости тайменя. На одном углу был чернильный лагерьный штамп. Перед тем, как столкнуть тело в могилу, он насыпал в нее снега. Было градусов сорок, снег искрился легким кристаллическим порошком. Трофимук приподнял край волокуши, тело сползло по скрипучим мерзлым доскам в темноту, раздался пушечный залп, и из могилы взлетел белый, рассыпавшийся блестящими столб. «Верно, какой-нибудь арестант бежал нынешней ночью из замка Иф, — спокойно сказал Дантес». Трофимук оттащил волокушу и, прежде чем бросать в могилу землю, подсыпал снега, чтобы он слежался под тяжестью и сковал тело ледяным слитком.

— Подгоняй ближе и спускай борт! — по-прорабски кричал ректор. — Где веревки? — Он учуял за спиной запах свежего маникюрного лака и обернулся: — А ты чего пришла? Это не для женских рук и не для женских нервов. Отойди в сторону. Давай, ребята, только потихонечку!

Напоминает скульптора, высекающего мраморную статую, подумала Верочка о Трофимуке.

Из кузова с лязгом выгружали гроб.

«Мы спасли тебя, Иван, от унижительной старости. Вообрази чудо — тебя бы не тронули. Но как бы ты жил, оставшись без работы, жалкий, трусливо озлобленный, вздрагивающий от ночных шагов по лестнице? Представь! Ты, гордый и бесстрашный, вынес бы это — все время бояться? Я знаю тебя, знаю: здесь, в этом загоне, тебе было лучше, чем было бы там. Плененное тело лучше, чем посаженная на цепь душа, разве не так?»

Одну веревку держали ректор и водитель, другую — Лыжин и мокрый, грязный, надсадно свистящий горлом Трофимук. Тянули медленно, бережно, и было слышно, как булькают пузырьки воздуха в изрезанном сияющими колеями болоте.

«Старость, Иван, она ужасна. Знаешь, кто я? АБ 5/837. А моя Надька — АБ 5/836. Представляешь? Амбулаторный больной 5/837. Именно так: «больной», а не «больная». Ты ее, конечно, помнишь, Надьку. Надька Фастовец, лаборантка. У вас был роман, причем далеко не платонический, и она до сих пор тебя любит. Представляешь: «АБ 5/837, вам необходимо пройти флюорографию». Так они пишут в своих открытках. Знаешь, ты оказался немного прав. Я имею в виду «Лес и загон». В самом деле, стало напоминать животноводство. Удивляюсь, как ты смог предугадать. Ведь тогда, в наше время, это не было. А если и было, то в плане заботы, покровительства, наставления. Помнишь же, какой был темный, безграмотный, бестолковый народ».

Когда неестественно прямое, негибкое тело поднялось из колодца и легло в траву, Верочка заплакала. Она сидела на камне, смотрела на белеющего среди цветов мертвого человека в мерзлой плащанице и, сгорбившись, дергаясь спиной, оплакивала свою будущую смерть и смерть всех тех, кто уже умер или еще нет, и всех тех, кого убили или еще убьют: из страха и для страха, из зависти, жадности, подлости, глупости, но больше всего — во имя принципов и идеалов.

Молчаливый, деловито сосредоточенный Трофимук присел над телом. Он разрезал толстые дерюжные нитки, которыми были пришиты углы простыни и которые он выдернул из мешка с мхом, лежавшим под ним на наре, и увидел накрывшую тело тень.

— Вы что? Что вы делаете? Не смей! — вопила, колотя по воздуху кулаками, подняв к небу оскаленное, посиневшее лицо, Махаева. — Кто вам позволил? Вон! Вон отсюда!

Трофимук, не поднимаясь, повел недоумевающими глазами.

— Вы что-нибудь поняли?

Верочка вытирала щеки. «Она сумасшедшая. И он тоже. Мы все сумасшедшие. Зачем мы это сделали?»

— Идите! Не трогайте! Оставьте в покое! — дергала Махаева плечи Трофимука.

— Ты для этого ее взял? — спросил Лыжин ректора.

— Вы испачкаетесь, — Трофимук разжал вцепившиеся пальцы. — Я спрятал там его бумаги. Так он велел. Сам все собрал и заклеил в резину, почти за год до смерти.

Он отодрал примерзшую простыню.

Подошли Лыжин, ректор, водитель.

«Бумаги — это меняет дело, — думал Лыжин, глядя на желтые, точно роговые выступы лба, носа, скул, запаянные льдом глазницы, стеклянные, блестящие на солнце волосы. — Только надо будет проследить, чтобы Трактор не наложил на них лапу».

Верочка курила. «Она по-своему права, Махаева. В самом деле, кто нам позволил? По сравнению с теми беззакониями это — мелочь, но все-таки? Дело ведь не в степени. Что хотим, то и воротим — вот в чем дело. Те ведь тоже считали, что правы. Чем же мы лучше и х? Лыжин сказал правильно: в нас нет чувства правопорядка. Ампутировано».

Ректор вздохнул и отвернулся.

— Не надо, ребята. Потом достанем. Пусть оттает. Потом. Перед тем, как будем заваривать гроб. И тогда же сделаем фотографии для скульптора.

Никто из них не понимает, чем я тогда рисковал, подумал Трофимук. Одна папка называлась «Лагерный коммунизм», другая — «Путешествие в Джугашвилию». За сокрытие и хранение таких бумаг вполне могли кокнуть. Если бы успели — Иван Михайлович умер восемнадцатого февраля, на две недели раньше «Джо-Джу».

— Свифт, есть такой писатель? — спросил он.

— Есть, — кивнул Лыжин.

Значит, все правильно: «Путешествие в Джугашвилию. Подражание Свифту».

Замерзшее лицо, подумала Махаева, и ее словно ударили. Да, замерзшее лицо. Октябрь, двадцатая годовщина, демонстрация. Какой холодный был день, какой ветер! Все рвалось из рук, хлопало, взмывало. Красные птицы. Брат Надьки привез из деревни «бурячной», она обожгла горло, и стало тепло, радостно, молодо. Барабанный гром, кричащие репродукторы, красное мелькание на синем море и черно-белом бешеном небе, дико всклокоченные милицейские лошади вокруг трепещущей, надувающейся трибуны. А потом они увидели Бойченко. Он стоял в тупике набережной, возле университетской полуторки, и какое замерзшее, страшное было у него лицо, какое белое на фоне обтянутой красным машины! Может, он что-то уже знал? Его взяли следующей ночью. Надька тысячу раз потом говорила: «Почему он на нас не посмотрел?»

— Вот так вот, — с прочувствованной торжественностью произнес ректор. — Сколько он в жизни повидал, сколько поездил! Пароходы, джонки, буйволы, кареты, этапы. И вот последнее путешествие через всю страну в реактивном лайнере.

«Но желтые птицы тоже были — листья. Обезумевшие стаи больших красных и маленьких желтых, мечущиеся на пустом, застылом море. И пустое, застылое лицо».

Трофимук и Лыжин стали зарывать могилу.

— Зачем? — не понял ректор. — Да вы что, ребята? Через год-два все затянется.

Они продолжали кидать лопатами раскисшую землю.

— Грузитесь, — буркнул Лыжин. — Мы быстро.

В пренебрежительном этом ответе ректор почувствовал высокомерное нежелание растолковывать то, чего он, как считает Лыжин, все равно не поймет, но не разозлился. Все хорошо, самая тяжелая часть экспедиции позади, начинается дорога домой. С Верочкой тоже все складывается неплохо. Чуть, пожалуй, холодновата, но это дело поправимое.

«Почему ты на нас не посмотрел? Почему у тебя было мертвое лицо с ледяными глазами? Не мог ты ничего знать. НКВД, Ванечка,— это тебе не этнография с географией и не латынь с французским, это, Ванечка, политика».

— Почему не снимаешь? — спросил ректор Верочку.

Она, поморщившись, дернула плечиками и взглянула на Лыжина.

— Пресса есть пресса,— успокоил ректор.— Расчехляй аппарат.

«Все, Ванечка, поступаешь в распоряжение торговцев краденым. Я бес- сильна. Их много, а я одна. «Единица, кому она нужна?» Но ты и сам виноват. О каких еще бумагах говорил этот лохматый? Что ты там намаракал?»

Верочка сделала два снимка могилы, издали и вблизи. Ректор взял кайло и позвал отошедших в сторону Трофимука и Лыжина. Один даже не повернулся, второй качнул головой. Ректор знал, что так и будет. Он сделал приглашающий жест водителю и Махаевой.

— Подходите.

Он думал, Махаева тоже откажется, но она, странно улыбнувшись, подошла. «А карточки, конечно, не пришлют»,— подумал, подходя, водитель. Фиолетовый глазок объектива напомнил ректору осеннее море под густым небом и висящие на шпалерах гроздьи «изабеллы». Он решил, что после возвращения возьмет дней на пять отгул и заберет Верочку на дачу, которая после того, как у внуков начиналась школа, переходила в его единоличное распоряжение. Конец прошлой осени и всю эту весну он провел там с одной юной филологиней. Сейчас она в Мюнхене, по студенческому обмену. Неплохо он ей заплатил. Прислала недавно открытку: «Приезжайте в гости, у меня отдельная комната».

«Так что ты намаракал, Ванечка? Если Надька узнает про мое письмо, я лишусь последнего близкого человека — это ты понимаешь?»

Трофимук и Лыжин вернулись к могиле. Грунт в основании кучи не успел оттаять, смерзся, приходилось долбить кайлом.

— Холмик надо повыше, потому что сильно просядет,— заметил Трофимук, взглянув на отъезжающий тягач.

В пятьдесят третьем он дважды досыпал могилу: в мае, когда сошел снег, и в июле, уже после ареста Берии. Слухов было, что комаров. Упорно говорили об амнистии для всех политических. Держи карман шире! По одному перебирали, не то что уголовников. Тех — скопом.

«Надо будет пощелкать развалины»,— думала Верочка, сидя в кабине между водителем («Нет, сегодня не доедем, не успеем») и Махаевой («А на работе что будут говорить? Тот же Лыжин?»). Ректор стоял на подножке, держась за дверцу и наслаждаясь дующим в лицо ветром. «А чего, можно и в Мюнхен, теперь это запросто — договор с ними подписан, и ихний ректор уже приезжал». «А Муська Тылал?» — вспомнила Махаева Надькину школьную подружку, горбатенькую караимку, приходившую к ним на Новый год, Восьмого марта, Первомай и Октябрьские.

— Тут уже немного,— сказал Лыжин.— Давайте я сам. Вы же с утра без передыха. Идите умойтесь, переоденьтесь.

Трофимук махнул седыми лохмами.

— Если я сам не dokonчу, мне будет как-то... Как-то беспокойно.

Тяжело шаркали лопаты, каменной дробью сыпались обломки грунта.

«Самое главное в народе все-таки сохранилось. Да, это самое главное — чувство ответственности. Как ни выдалбливали, как ни лгали и ни приучали лгать, как ни превращали в рабочий скот, все-таки сохранилось. Это костяк. А мясо постепенно нарастет».

Ректор, когда они подошли к лагерю, вскочил, замелькал руками и флагами на комбинезоне.

— Все, ребята? Молодцы! Ешьте — и в путь!

— Полить вам? — тихо спросила Верочка.

— Если не трудно,— буркнул Лыжин.

Верочка побежала к бидону с водой. Ректор взглянул на квадратную травяную вмятину, оставшуюся на месте ее палатки, и прикрыл глаза, подставив лицо солнцу, представляя пустую дачу, запах сухих листьев, пыльную тропу к морю с большими, как деревья, чертополохами.

— Спасибо,— сказал Лыжин, вытираясь Верочкиным полотенцем.

«Она — тоже ведь народ. И наш жизнерадостный Трактор. И Махаева. Как все сложно!»

Махаева, уже переодевшаяся в лыжный костюм, стояла возле открытой кабины и наблюдала за водителем, кормящим попугаев. Чирикают. Все вокруг чирикают и щебечут. Радуются возвращению. Как же можно так спокойно и равнодушно? Они же уверены, что Иван погиб зазря, почему же не кричат, почему не катаются по земле? Значит, не уверены, значит, притворяются, да и как может быть иначе? Как можно в это верить — что все было напрасно, все обман и бессмыслица? Не может так быть, нет, нет и нет!

Она уже высосала две таблетки валидола, но все равно нестерпимо колело сердце. Она часто дышала ртом.

— Произошла небольшая эпопея, — сказал ректор Лыжину. — Мадам не желают сидеть рядом с Петром Тихоновичем.

Трофимук не прореагировал. Спокойно жевал, даже глаз не поднял. А Лыжина подхватила волна ярости, он ощутил легкость, головокружение, в ушах зашуршал гравий, и словно оторвало от земли, понесло, закачало.

— А кто ее заставляет? Пусть едет в кузове.

Ректор зашикал, морщась и косясь на тягач.

— Брось, не связывайся. Она там развалится, в кузове.

— Тогда пусть помалкивает. Она, что ли, будет показывать дорогу?

Ректор снова покосился на Махаеву. «Почему он ее боится? — подумал Лыжин. — Инерция этого обрыдлого, всю нашу жизнь отравившего страха?»

— А что показывать-то? — приглушенно уговаривал ректор. — Будем катить по собственным колеям.

«А может, он и прав, именно ее-то и нужно бояться? Не армий, не толп, не следственных изоляторов и лагерей, а именно ее?»

— По дороге все может случиться. В кабине, кроме пацана и выжившей из ума старухи, должен быть толковый, опытный человек. Которому доверяешь. Когда тебя везут, как в скотовозе, хочется знать, что среди везущих есть надежный человек.

Ректор застучал в грудь.

— Я туда сяду, я! Устраивает тебя?

«Нет, не устраивает. Потому что ты болван».

— Устраивает или нет? — раздраженно капризничал ректор.

«Потому что у тебя в голове давно все перекособочено от постоянных усилий угадать, чего хочет начальство, от страха ошибиться, от лжи, маневрирования, канатоходства, говорения чуши и ее, чуши, выслушивания».

Лыжин встал и полез в кузов, где одиноко лежал цинковый гроб. На правой стенке было матовое пятно холодной испарины. Лыжин сел на левую скамейку.

Махаева с усилием занесла на ступеньку разболевшуюся от холодных ночлегов ногу («Надька правильно советовала, надо было взять вязаные рейтузы») и расположилась рядом с водителем, обхватив обеими руками сумку. Ректор заметил, как метнулись ее расширенные зрачки. «А чего я ему самому не предложил? — вспомнил он про Лыжина. — Чего не сказал, садись сам, толковый и опытный?»

«Не знаю, что ты там намаракал, Ванечка, но я никогда бы этого не сделала, если бы не студенты. Зачем ты разлагал их светлые, чистые души? Они приходили ко мне на семинары, вот такие наивные, доверчивые мальчишки, вроде этого водителя, и говорили: «Иван Михайлович рекомендует обсудить тему «Социальные революции и разрушение культуры». Что ты делал, Иван?»

Трофимук провожал глазами уплывающие под сопку зеленые бугры и белую полоску расплюсченной березовой рощи, понимая, что теперь уже все, больше он никогда этого не увидит. Последние лет десять (от старости, что ли?) он часто вспоминал лагерь, и приходила мысль съездить сюда, взять палатку и пожить, походить по сопкам, падам, котлованам рудников, по-вспоминать. Получилось не так. Не так, как надо бы. Получился налет. Не нужно было с ними ехать, впускать их в свою память. Странно: сделали вроде бы хорошее дело, а в душе щемит и ноет.

Верочка тоже смотрела на развалины.

— «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут». Наивный Александр Сергеевич! Наивный Федор Михайлович! Помните, конечно, его знаменитый императив о неприемлемости счастья человечества, построенного на мучениях хотя бы одного ребенка?

— Помню, — сказал Лыжин.

— А историю, которая ему предшествует?

— Нет.

— Рассказывает Иван Карамазов. Деревенский мальчик бросил камень в генеральскую собаку. Та захромала. Генерал затравил мальчика борзими. Состоялся суд, генерала признали невменяемым и взяли под опеку. Он был великим провидцем, Федор Михайлович, но ни он, никто другой в самом страшном сне не мог предвидеть, что спустя полвека русский поэт напишет: «А проснувшись, бьется в подклетях да ревет, завернувшись в платок, о каких-то расстрелянных детях, о младенцах, засоленных впрок». Это Во-лошин. Читали?

Лыжин хмуро кивнул.

— Гуманистически Россия опережала не только Азию и Америку, но и Южную Европу. В Испании последнее аутодафе с сожжением «ведьмы» состоялось в 1826 году. Пушкину двадцать семь лет. Для России подобное выглядело уже полной дикостью. Пытки при судопроизводстве были отменены еще в конце восемнадцатого века.

Он замолчал.

— Мы доедем сегодня до Магадана? — спросила Верочка.

— Вряд ли.

Перед глазами Махаевой качалось в слепящем солнечном блеске черное перо. Чирикали проклятые попугаи. «Почему Карл и Клара? Может, он просто имел в виду эту идиотскую скороговорку «Карл у Клары украл кораллы»? Кораллы, кларнет, тьфу! «И шляпа с траурными перьями, и в кольцах тонкая рука». Господи, какая пошлость!»

Верочка злилась на себя. Если она хочет писать, серьезно, по-настоящему, нужно быть увереннее, бесстрашнее, жестче к себе и другим. Только так может что-то выйти. Перед ней подарок судьбы — живой свидетель, нужно переть напролом, рассыпаться в извинениях, строить глазки, восторженно поражаться, а самой записывать, записывать все подряд, лезть ему в душу, выдавливать детали, словечки, факты, фамилии, даты, благодарить, извиняться и снова лезть и давить — вот так надо.

«Гроши, конечно, грошами, — размышлял водитель, — но Юнона тоже се-чет: главное в жизни — положение, вес, имя. А вот как это совместить?»

— Хочу попробовать написать книжку, — сообщила Верочка Лыжину.

— Назовите «Железный катафалк».

— Недурно.

— Я знал, что вам понравится.

«Это на Западе уважают хорошо зарабатывающих. У нас не так. У нас уважают за положение. Так что надо выбирать: или — или».

Гроб мелко постукивал, было похоже на морзянку, и постепенно съезжал к кабине. Верочка опасно отодвинула ноги.

— В следующем году столетие со дня его рождения.

— Отчего Трактор так и суетится. Раздует пышное мероприятие.

«Может, как раз и книжку мою протолкнет».

— Вы его очень не любите.

— Да, не люблю.

Ректор был детдомовцем. «Я совокупный общественный продукт, — говорил он. — Государственный общесоюзный стандарт. Меня так и звали: Гост». Но бывший его однокашник рассказал Лыжину, что кличка была другая, Хвост, и объяснялась его повышенной любовью к детдомовскому начальству. Лыжин познакомился с ним, когда они были аспирантами. Дело происходило в Москве, и будущий ректор времени зря не терял: заводил знакомства, налаживал связи, выбивал в министерстве, чтобы на их факультете открыли новую специальность. А выбив и договорившись у себя в университете, что будет деканом, сгоряча пригласил к себе Лыжина, который помог ему с вычерчиванием графиков, а Лыжин, тоже сгоряча, согласился. Позже, получше друг в друге разобравшись, оба очень об этом пожалели.

— Флюгер, — сказал Лыжин. — Вертится, юлит, петляет между вашими и нашими.

«Или — или, только так, — думал водитель. — Немножко того, немножко этого, с одного молочка и сметанки, и маслица — так не получится. Или — или, и надо решать».

Карьеры кончились, потянулась старая гарь, которую они проезжали вчера утром. Вместо размазанной голубизны был теперь желтый послеполу-

денный свет, и мхи, стланики, осоки лежали опаленными шкурами и казались в отчетливой безвоздушной прозрачности бескрайними.

Лыжин нагнулся к окошку кабины. Седой затылок и напряженная шея Махаевой, болтающаяся клетка с попугаями, дрожащее на рычаге татуированное запястье водителя, поникшая, вяло кивающая голова ректора.

«Нужно было остановить тягач,— говорил себе Лыжин после.— Что-нибудь наврать. Сказать, например, что укачался, и попросить Трактора поменяться местами. Представляю, как бы он ржал, если бы я признался, что у меня дурное предчувствие».

Он подумал о том, что по возвращении придется ехать на помидоры. Все остальные на кафедре были людьми ректора, его командой, подобранной им по своему образу и подобию, и на сельхозработы посылали со студентами либо Лыжина, занозу кафедры, либо молодого доцента Юру, который, хоть и был человеком ректора, сохранил, к счастью для Лыжина, легкую ностальгию по деревне и склонность к непритязательным забавам со студентками в акациевых лесополосах.

Ректор ткнулся лбом в висящие на стекле березовые ветки.

— Еще нос расквасит,— сказал водитель.

Махаева не ответила. Ей почему-то вспомнился кожаный, величиной с записную книжку альбомчик для стихотворных приветствий, который она завела в шестнадцатом году. Они имелись у всех учениц гимназии, такое было время, все сочиняли стихи. Каллиграфическая надпись ржавыми чернилами на первой странице: «Пишите, милыя подруги, пишите, милыя друзья, пишите все, что вамъ угодно, все будет мило для меня».

Ректор спал. Он никогда не видел снов и в глубине души полагал разговоры о них выдумкой, но на всякий случай никому, даже жене и любовникам, об этом не рассказывал.

Ветки водитель наломал возле могилы Бойченко. Кроме тех, что были развешаны в кабине, получился еще десяток веников, которые он спрятал под сиденьем. Париться его приучила Юнона.

Ректор умер, ничего не успев сообразить. Два дня спустя, на опознании трупа в морге, Лыжина поразило его лицо. Такое было на нем выражение тихой, сладостной кротости, что невольно казалось: он и мертвый притворяется.

«Всегда впередъ, назадъ ни шагу, запомни это навсегда и, сохранивъ въ душе отвагу, не падай духомъ никогда!» Махаева наблюдала за движениями водителя. Правый рычаг на себя — поворот направо, левый на себя — налево. В ее сумке лежал молоток с короткой железной ручкой, который она нашла в траве на развалинах лагеря.

Уже ехали в желтой ночи тайги с солнечными кострами полян.

— Если вы хотите писать о Бойченко,— сказал Лыжин,— вам придется много читать. Нужно войти в тот мир. Он очень отличался от нашего. Я учился в МГУ и застал последних представителей того типа ученых. Нет, не представителей даже, а последние осколки. Тип уже исчез. Самого главного — абсолютной независимости мышления, полной неспособности к криводушию и хитроумию, гипертрофированного чувства ответственности — этого уже, конечно, не было.

Верочка смотрела на гроб.

— Вы впадаете в другую крайность: все было хорошо, все стало плохо. Возможно, научная элита действительно превосходила теперешнюю, ну а средний уровень? Ведь только после революции началась широкая ликвидация безграмотности.

— Верно. А вы никогда не задумывались о том, что одна из целей этого — облегчение обработки мозгов? Когда человек читает, а особенно когда записывает, включаются сразу все виды запоминания: слуховое, зрительное и моторное. Написанное, напечатанное впечатляет сильнее, чем услышанное. Знаете этот анекдот, как Брежнев принимал Тэтчер? Достает из кармана листок, надевает очки и зачитывает: «Дорогая Индира Ганди!» Ему шепчут: «Это не Ганди, это Тэтчер». Он оборачивается и с достоинством говорит: «Я знаю, что это Тэтчер, но здесь написано: Ганди».

Трофимук оживленно обернулся.

— Проехали, где пили чай. Видели?

«Позавчера,— удивилась Верочка.— Всего только позавчера. Как странно. Сегодня обязательно его прогоню, если припрется, это уж точно».

— Где будем ночевать? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Лыжин. — Проедем обрыв, нужно остановиться и посоветоваться.

Водитель постучал по клетке. Клара повернулась на стук, уставилась прозрачными бусинками. Карл беспечно висел вниз головой.

«Я сплету тебе диадему изъ воздушныхъ фантазій и грезъ и на шейку тебе я надену ожерелье изъ жемчуга слезъ». У Махаевой онемела рука, и она, сунув ее в сумку, изо всех сил сжимала в кулаке обернутую газетой ручку молотка.

— Знаю одно хорошее место с водой, километров двадцать от Магадана, — сказал Трофимук.

В день освобождения его и еще двоих накормили утром кашей из «полтавки», выдали им под расписку сухой паек, довели на «газоне» до Магадана и там бросили. Они взяли билеты на пароход, который отходил через три дня. А ночевать где? Еще хорошо, что было лето. Вечерами они уезжали пригородным автобусом на эту запримеченную поляну с копнами и спали в сене.

— Это далеко, — ответил Лыжин. — Не доедем.

Пестренькие занавески леса разлетелись в стороны, открыв черную натуго обрыва. На его дальнем краю что-то белело, то ли каменная глыба, то ли куча песка или щебня. Махаева разворачивала газету и, не отрываясь, смотрела на это белое пятно, зная, что они до него не доедут и она никогда не узнает, что это такое.

Щебечущие попугаи, проволочная решетка клетки и пустая полка врезанного в обрыв грейдера — было последним, что зафиксировал мозг водителя. Затем были удар, хруст, боль, яркая бессмысленная вспышка. И все, тьма.

Тягач замер. «Вот и поломались», — подумала Верочка, Трофимук: «Что-то новенькое», Лыжин: «Вот оно».

Кузов вертануло, у Верочки закружилась голова. «Здесь же не развернуться, что он делает?» Она слетела со скамейки — кузов с размаху ударило об обрыв. Ее грубо схватил Лыжин, куда-то потащил. Трофимук, вспрыгнувший на борт, обернулся и бросился к ним. Ноги Верочки скользили по грязным доскам. Лыжин что-то кричал, Верочка ничего не понимала, было очень больно.

Рывок тягача помог Лыжину и Трофимуку вытолкнуть ее из кузова. Она спиной упала на дорогу, медленно, парализованно отползая от вздымающегося в небо грязного железного брюха.

Лыжин прыгнул последним. Обрыв дрожал и гудел, тягач валился по нему, кувыряясь в тучах пыли, и врезался в реку. Всплеснулся и обрушился белый столб пены, хлынули на берега и отхлынули волны, оскаленная пасть гусениц провалилась с утробным чмоканьем в мутный водоворот, и тогда стало слышно гогочущее эхо сопок.



О Д И Н О Ч К А

РАССКАЗ

Кто-то невидимый душил ее, и, уже задыхаясь и, как ей казалось, громко крича о помощи, она проснулась. Ее кровать — стандартное сооружение из досок, фанеры, деревянных ножек и поролонового матраца — рухнула ночью под тяжестью перегрузок и неистовой вибрации. А Эсмеральда, уже не слышавшая пыхтения очередного гостя, который нагрянул в ее полупустую комнату из соседней, где пили-гуляли, где грохотала музыка, раздиравшая трехкомнатную коммуналку, так и погрузилась в сон, не заметив, не ощутив даже, во что превратилось ее ложе. Проснувшись, она свалилась на пол, испуганно озираясь: где же тот, кто ее душил? Но увидела углом торчащую кровать, от которой отломалась невысокая спинка с двумя ножками, и поняла, что душила она себя сама, потому что спала, лежа головой вниз. В спутанном рыжем одеяле поблескивала бутылка. «Белый аист»... Кто же принес? Эсмеральда растерла липкой ладонью онемевшую шею и потянулась к бутылке. «Вот хорошо, горлышко уткнулось в одеяло, не весь коньяк вытек...» Нет, она не была алкоголичкой, вообще не любила пить, но в эту минуту глотнула, и резкая влага спасительно очистила дыхание.

Тишина. Который час? Голая, на четвереньках добралась до халата, перекинутого через спинку стула, взяла из кармана часы. Без десяти шесть. Скорей под кран — и на фабрику.

Вытянулась во весь рост, повертела бедрами, привычно подобрала в кулак пепельные волосы.

Кто же непрерывно нашептывал ее имя, кто из троих, что успевали отлучиться с пирушки? Ах, этот, узбек или туркмен с доверчивыми русскими глазами, Джавад. Он как бы извинялся: вот и он осмелился, потому что до него приходили друзья... И сам Игнаша, хозяин застолья, и Валентин. Почему и ему, Джаваду, не отведать красавицу Эсмеральду?

Нет, не только пьяному Джаваду она могла показаться красавицей, в ней отталкивающие черты сочетались с необыкновенной красотой.

Ее назвали Эсмеральдой. Мать ее когда-то в юности прочла, пожалуй, единственную в жизни пронзившую ее душу книгу и дала дочери красивое имя. А в нем оказалась ключевина судьбы. Еще в детстве ее дразнили: «Где твоя козочка?!» А когда подросла и называла свое имя, думали, что она шутит. Очень высокая, с широкими, мужскими плечами, узкими бедрами и длинными, на редкость стройными ногами, она производила впечатление треугольника, острым углом обращенного книзу. Редко кто не хотел отвернуться, встретив взгляд ее желтых, тяжелых глаз в борке коротких густых ресниц, почти черных, под пушистыми бровями. Большой, растянутый рот, крупные, но, к счастью, ровные зубы. Ей бы улыбаться почаще, однако и улыбка не оживляла ее глаза, квадратные, желтые, они оставались неподвижными.

Эсмеральда, поживаясь, надела легкий синий халат, едва достававший ей до колен, поставила в шкаф бутылку, в которой еще плескались остатки коньяка. Оглянулась, услышав движение двери.

— Привет, другана!

Вошла жена Игнаши, Варя, невысокая, стройненькая, с тонким личиком, на котором светились большие синие глаза. Белой изящной ручкой с длинными маникюрными ногтями Варя аккуратно прикрыла дверь, окинула комнату мимолетным взглядом, не поворачивая головы с густым пучком каш-

тановых волос на затылке, перехваченных розовой ленточкой. Казалось, она не заметила поломанную кровать.

— Жива — и слава Богу!

— Что? — Эсмеральда не расслышала, еще гудело в голове.

— Кто пришел к тебе первый?

Эсмеральда зыркнула своими желтыми квадратами и не ответила. Прямо так и сказать, что первым ввалился ее Игнаша? Толчком сорвал слабенькую задвижку, распахнул дверь и, будто в свою постель, плюхнулся на кровать молодой соседки, тщетно пытавшейся уснуть под отчаянные такты рок-музыки.

— Игнаша! Да ты что?!

Он быстро откинул одеяло, обхватил сильными руками, сдвинул, прижимая к себе:

— Молчи. Я на минутку. Пока Варька танцует.

И, зажимая поцелуями ее рот, сразу...

Кричать? Кого звать на помощь? Старушка, занимающая смежную комнату, запугана Игнашей до того, что утром ждет, не выходит к уборной, пока он не покинет квартиру и не улечится на своей серой «Волге».

— Ты — женщина, Эська... ты... — Его хриплый бас перемежался визгливым шепотом. — Как я тебя раньше не замечал?.. В одной-то квартире...

Дебелый мужик... А зачем старается, когда стараться нечем?

— Моя Варька — холодная лягушка, — сказал он, отвалившись.

«Можно ее понять», — подумала Эсмеральда. Но прошептала, защищая подругу:

— Она тебя любит, а ты... вон как отворачиваешь...

— Ладно. Спи, отдыхай. Я же хозяин, могут хватиться. Сказал: покурить, в коридор...

Игнаша бесшумно вывернулся из комнаты.

— Кто же приперся к тебе первый? — повторила свой вопрос Варя. Она знала — кто, заметила, как вышел Игнаша, заявив, что пошел покурить; ждала ответа, равнодушно улыбаясь.

— Джавад, — обходя взглядом подругу, Эсмеральда быстро одевалась.

— Джавад отправился к тебе вторым. Значит, мой муженек угощал тобой своих гостей?

В длинном пурпурном халате с красиво расположенными складками, в замшевых домашних туфельках Варя стояла у окна и водила пальчиком по темному зимнему стеклу. Иронически усмехнулась:

— Хорошо, что ты его не закладываешь, спасибо.

Она вышла, Эсмеральда проскочила к умывальнику, почистила зубы, умылась, вернулась — и завывала в голос...

— Что ты? — вбежала Варя.

— Идти или уж не идти?

— Куда?

— Да на фабрику.

— О Боже, я уж подумала, не переживаешь ли ты прошедшую ночь.

— Ночь! Тут — день...

— Ну? — Маленькая, стройная Варя вложила в это «ну?» силу приказа.

— Сокращение у нас. Очень большое.

— Всюду сейчас сокращения.

— Устанавливают в нашем цеху германские машины для картонной тары. Еще летом вручную клеили... А теперь... — И вдруг она, содрогаясь, запричитала: — Нинка моя! Нинуленька...

Варя вспомнила дочурку Эсмеральды, трехлетнюю Нинку, милую, ласковую девочку. Летом бабушка и дедушка увезли внучку во Владимир, где у них были дом и сад на окраине города. И там неожиданно в течение трех дней девочка сгорела от дифтерита. И врачи, и Эсмеральда, примчавшаяся во Владимир, не смогли ее спасти.

— Доченька моя... роденькая...

— Вот-вот, о Ниночке поплачь, — проворчала Варя. — Подумай лучше, как на фабрике остаться.

— И думать было б нечего, — всхлипывала подруга. — Матерей-одиночек по закону не увольняют.

— Ааа!

— Если б я с Нинкой, то уж меня... Да что там!.. И пальцем бы не тронули.— Она снова зашлась в плаче.— Нет, все-таки идти надо. А то еще и за прогул вытурят, без выходного пособия.

— Постой! — Варя властно тонким пальцем указала на стул.

Эсмеральда присела.

— Кажется, я тебе помогу...

— Это когда ж ты успеешь? Квартиру купили, обставлять надо, а мебель нынче...

— Не твоя забота и даже не моя. Игнаша все устроит.

— Да, если деньги, тогда, конечно...— промямлила было Эсмеральда, но спохватилась: как бы не обидеть Варю.— Игнаша твой — большой добытчик. Теперь коммерция в моде.

— Я с ним не состязуюсь,— возразила Варя, поглаживая перед бедным, в алюминиевой рамке, зеркалом длинные брови над синими, подведенными голубой тушью глазами.— С ним состязаться трудно... А все же и я при нем не захребетница. Зарабатываю!

— Ты?! — удивилась Эсмеральда. Она знала, что днем соседка отсыпается, отлеживается, а вечера проводит в театрах, концертах, ночует у подруг и появляется под утро, то есть ведет жизнь, похожую на сплошной праздник.

— Знаешь отель «Космос»? Я там... бываю. А что? Самая древняя профессия!

— Варенька!

— Жалеешь меня?! Лучше позавидуй.

— Чему ж тут, милая?

— Тебя вот за одну ночь три кобеля трахали. Чем уплатили? Ничем. Еще и кровать поломали... А я, когда случается три клиента, меньше полутора сот долларов и не привожу домой.

— Полторы сотни за одну ночь? Это ж, если перевести на рубли...

— Переводи! — скривила розовую щечку Варя.— Мамаля хотела, чтобы я учила детишек английскому. И что бы я имела? Команда отеля «Космос» — самая престижная!

— Так чем же ты хочешь мне помочь? — с испугом спросила Эсмеральда.— Уж не в свою ли команду взять?..

— Нет... Это не для тебя.

— Почему же не для меня? — вдруг обиделась собеседница.

— Как тебе сказать... В тебе нет изящества. Прости, Эсенька, ты — несоразмерная.

— Какая?

— Несоразмерная. Типичный мужчина-иностранец тебя не возьмет.

— Какой типичный?

— Ну, метр семьдесят пять, восемьдесят. Нетипичные — чаще всего негры. Чистоплотные, правда, и среди них бывают... Какой у тебя рост?

— Метр девяносто.

— Тебе бы в баскетболистки...

— Поздно уж. Так чем же ты собираешься мне все же помочь?

— Советом. Ниночка умерла два месяца назад. Так?

— Так.

— Болела ты, лежала с нервами. Потом в отпуск пошла. На фабрике в эти два месяца почти не бывала?

— Недели две появлялась... если подсчитать...

— Многие ль на фабрике знают, что Ниночки у тебя уже нет? Ты мать-одиночка, это по всем документам прошло. Вот и оставайся матерью-одиночкой. И никто тебя с работы не погонит!

— Чего несешь?! Очумела? — вскинулась Эсмеральда.— И не стыдно тебе?! Дочки нет... а я... за ее спинкой...

— Ты еще и сентиментальная! Вытри слезы, телка.

У Вари был тихий, ласковый, обволакивающий голос, но сейчас она говорила жестко, и слова слетали с губ, как металлические, звенели.

— Ниночка с того света, из космоса, будет смотреть на тебя и радоваться: мамочка извернулась, охмурила своих начальничков, работает, не гонимая!

— А тот свет есть?

— Несомненно. Это уже и наукой доказано! Как только перестали мы

коммунякам подчиняться, тут и наши ученые мозги свои спрессованные встряхнули.

— Толку-то что? При коммуниках и в помине безработных не было.

— Потому что никто не работал! Все — числились. И получали свою пайку. Как в тюрьге.

— Хватало?

— Как смотреты! Я ведь тоже, когда в инязе училась, три года вкалывала! Дворником, истопником в котельной жэка... Хорошо, что котельная была с автоматической подачей топлива. На хлеб и на кефир хватало. Пожалуйста, не отвлекайся. Мой совет — единственный твой шанс. Ты по-прежнему мать-одиночка!

— Ой, совсем опоздала на фабрику!

— Я тебя на своей подкину.

Варя пошла из комнаты переодеться и в дверях глянула на разломанную кровать.

— Столяр — за мной! К вечеру твоя скрипучка будет в порядке. Да, погоди-ка, ты ж троих приняла. Сувенирчик тебе. — Выскочила, вернулась. — Колготы! Черный цвет — сексуальный. Шерсть. Очень хорошая вязка, видишь? Из ФРГ. Зимние. Надевай и не стыдись, не прикрывай ничем ноги. Они у тебя — главная достопримечательность, других таких в Москве не сыщешь. Даже мои против твоих — раскоряки.

В цехе мягкой тары разговоры — только о сокращении. Эсмеральда мучительно вспоминала, говорила ли кому о смерти дочурки. Она была молчунья. Вспомнила перед перерывом на обед: поплакалась одной подруге, когда случилось несчастье. Да подруга уехала с мужем на Таймыр, северные деньги забирать. Кажется, никто больше и не знает...

— Эська, к начальнику цеха! — толкнул в плечо знакомый парень, слесарь-наладчик нового оборудования.

Вошла в кабинетик, отгороженный фанерными закрашенными стенками. Никогда к начальнику цеха не вызывали за четыре года работы на фабрике. Остановилась на пороге ни жива ни мертва.

— Звали?

Слившись со своим коричневым столом, сидел широколобый, лысый до макушки человек лет за пятьдесят. Слегка приподнял голову. А, так это ж бывший секретарь парткома фабрики, непрменный оратор на всех торжественных собраниях...

— Ты знаешь, товарищ Мыльников, что штаты фабрики и нашего цеха сокращаются?

— Знаю.

Наступила пауза, и начальник старался ее продлить, это чувствовалось в его острых черных глазах, в тяжелых руках, лениво лежавших на столе. Эсмеральда вспомнила, как наставляла ее Варя, гоня машину по утренним улицам Москвы: «Держись твердо и нахально! За тобой законное право — и концы!»

— Мужчина сидит, а женщина стоит. Довольно странно, — сказала она. Начальник колыхнулся и указал на обитый клеенкой черный стул.

— Должна вам сказать, господин Шупанов...

— Господин?!

— Раньше вас нужно было называть товарищем. А какой вы мне товарищ? И раньше, и теперь! — Голос ее набирал силу, она чувствовала, что ее «несет», и не сопротивлялась тому. «Держись твердо и нахально!» — звучали в ушах слова Вари. — Для чего вы меня вызвали? Сидите, сидите! Чего вскочили? Я тоже, как видите, сижу. Вы догадались, что обращаться невежливо с рабочими, тем более с женщинами, опасно? Другие времена, господин Шупанов.

— А что ты хотела бы сказать по существу?

— Вызывали — вы и говорите по существу.

— Увольняешься ты, по сокращению штата.

— Законы переменялись?!

— Какие?

— Матерей-одиночек тоже увольняют?

Шупанов поднял телефонную трубку.

— Антонова, ты что же мне подсунула? Вот у меня сидит Мыльников...

И в списке на сокращение — она. Оказывается, мать-одиночка. Может, и интересно, разберись. Но подобных фокусов не подстраивай. Выверяй. Железно! А потом уж — мне на подпись.

Начальник, казалось, обрадовался тому, что не придется ему убирать из цеха эту коломенскую версту, да еще с таким нахрапистым характером. В суд потянет. Он не знал, что Эсмеральда Мыльникова лишь на минуту отчаянного разговора, да и то по совету опытной подруги, набралась нахальства.

— Можно идти?

Она шла по цеху, спотыкаясь, цепenea от страха. Что же она наделала? Кадровичка, получившая нагоняй, землю будет рыть носом, а до Нинкиной могилки дороеся.

Ах, Варя! Ей-то просто советы давать.

Когда в пять часов вечера, перешагивая через засыпанные снегом канавы (опять чинили канализацию), Эсмеральда пробиралась к крыльцу своего подъезда, ее встретила соседка по квартире, всегда веселая старушка Алина Федоровна, удержала за руку.

— Ну, Эсенька, с прибытком!

— С каким-таким?

— Приходила с твоей фабрики женщина, добрая такая, вежливая. Про тебя расспрашивала, какую-то премию тебе хотят дать!

У Эсмеральды остановилось сердце, она даже хватанула побольше морозного воздуха.

— Премию? За что же это мне? Про что она расспрашивала?

— Все больше про твою Ниночку, упокой господи ее душеньку... — Старушка вытерла глаза платочком, вытянув его из рукава замасленной от времени дубленки. — Все про нее, птичку нашу любимую...

— И что же вы ей говорили? Этой доброй женщине?

— Плакала я, не могла говорить. Ниночки голосок и сейчас в душе звенит.

— Спрашивала, где я ее похоронила?

— Даже записала! Внимательная. Вот как теперь к людям относятся. А я ж знаю, где твои родители живут, где Ниночку ты похоронила. Подсказала ей.

На следующий день Мыльникова получила расчет. Без выходного пособия. В отделе кадров «добрая женщина» врубила ей: «Еще кланяйся в ножки, что судебное дело на тебя не завели. За попытку обмана государства, авантюристка!»

Сто двенадцать рублей «расчета» улетучились быстро, как ни экономила. Бросилась искать работу. Но в трудовой книжке, оказалось, было записано, что уволена она по статье, означающей недобросовестное отношение к работе. Кто с такой отметкой рискнет принять?

За две недели, что прошли после увольнения, Варя и ее муженек Игнаша переехали в купленную ими трехкомнатную квартиру. Прощаясь, Варя извинялась за свой совет, но Эсмеральда успокоила ее:

— Все равно бы вышвырнули, чего уж...

Варя оценила эту незлобивость подруги:

— Как-нибудь заеду, потолкуем, что тебе делать.

Положила на отремонтированную присланным ею столяром кровать пятьсот рублей:

— Может, пригодятся.

Прижалась своим гибким телом, облаченным в котиковую шубку, едва доставая Эсмеральде до плеча, всхлипнула и выбежала, дробно стуча каблуками сапожек из мягкой светло-коричневой кожи.

Подарок, пятьсот рублей, вместе с паспортом и злосчастной трудовой книжкой вытащили в троллейбусной давке из кармана куртки на другой же день.

Отнести бы что-нибудь в комиссионку. Но что?

Летнее платье! До лета еще вон как далеко, январь. Отнесла. Оценили в триста рублей. Стали оформлять — спросили паспорт.

— Нет... украли...

— Тогда извините. Вы говорите, паспорт украли, а может быть...

Дверь магазина хлопнула, будто прямо по затылку. «Неужели я на ровку похожа?»

В милиции обещали быстро помочь. Поверили, что положение у гражданки Мыльниковой пиковое... И действительно выдали новый паспорт через три дня. Но три дня Эсмеральда ничего не ела. Лишь, появляясь дома, кипятила в своем чайнике на коммунальной кухне воду и пила ее.

С новеньким паспортом, но без трудовой книжки, здрасьте... И что-то жесткое появилось в ее лице. Это не располагало к разговору с ней. В животе начиналось урчание как раз в те минуты, когда ей предлагали присесть, изложить свою просьбу. Черт бы побрал этот живот! Ну чего он музыку выдает в самые неподходящие моменты? Вышла, едва закрыла за собой дверь — хохот:

— Музыкальная шкатулка! Правда, великоватая...

Диагноз простой: живот пустой. Вот кишка кишке голос и подает. Так сказала бы мать.

Сбежать, что ли, во Владимир, к родителям? Ветхий домишко на окраинной улице. Дрова для печки нужно запастись. Воду из колонки носить. Хорошо бы и помогать старикам. Но отец и сам любит всем этим заниматься, еще крепкий, дрова колет — с одного удара толстенная плаха разлетается с треском. А где там на работу устроишься? Без трудовой книжки. Пойти на бывшую свою фабрику, упросить, может, сделают дубликат? Заодно и исправят зловредную запись о том, что уволена за недобросовестное отношение к работе. Уж она-то вкалывала на совесть. Подложила свинью кадровичка: ты, мол, пыталась обмишурить, получай и сама.

Пальто, хоть и не акти какое, но теплое, ухнуло в скупку. Зато есть деньги на хлеб. Отрезала от свежего белого батона три ломтя. Вскипятила чайник. Чаю нет, но ничего, не сразу его и купишь. Пила и жадно пробегала глазами объявления в рекламном приложении к «Вечерней Москве». Куплю дачу, куплю квартиру, можно — на СКВ, куплю автомобиль «Вольво»... А, вот! Приглашаем домашнюю работницу. Одедась, кинулась к автомату. Сделала несколько звонков. Всюду — отказ. «Голос осел, стал грубый, почти мужской? Может, думают, пьющая?» Последний звонок. Женский голос: «Приезжайте, познакомимся, поговорим». Дали адрес.

Сразу, в первой же беседе с будущими хозяевами, рассказала Эсмеральда о смерти дочурки, о том, как пыталась схитрить перед начальством, чтоб избежать увольнения под тем предлогом, что-де мать-одиночка. Конечно, и про трудовую книжку. Ее откровенность оценили. Однако хозяин, высокий, давно растолстевший, с венчиком пуха вокруг лысины, долгим взглядом прощупал ее и изрек:

— Не беспокойтесь, я наведу о вас справки.

Навел. Справки оказались в общем-то в пользу новой домработницы. И прижилась она у Елизаветы Антоновны и Александра Евграфовича. Старалась что было сил. Огромную пятикомнатную квартиру убирала, пылесосила ковры, протирала платяные и книжные шкафы, мебель, готовила пищу, мыла посуду, стирала. Пугало то, что она не умеет готовить хорошую, вкусную пищу. Но хозяйка ободряла ее, учила. С закупкой продуктов сложностей не было. Хозяин давал деньги и посылал на рынок, Черемушкинский, поблизости. Инструктировал при этом:

— Пожалуйста, не торгуйтесь, бесполезно. Покупайте лучшее из всего, что надо купить, — мясо, овощи, рыбу, фрукты, все прочее.

Отчитывалась перед ним.

— Елизавета Антоновна в цифрах не смыслит: экономист по образованию, между прочим, — шутливо пояснил он.

Эсмеральда к концу дня готовила ужин, и перед ее уходом хозяйка, худощавая, величаво-плавная, с крашенными хной короткими волосами, отпуская прислугу, всовывала ей в руку пакет:

— Вечером перекусить.

Посуду, оставшуюся после ужина хозяев, мыла утром, когда часам к восьми появлялась в их доме. Окрепла Эсмеральда, щеки зарозовели, в голосе уже не звучал тромбон и, если продолжать это банальное сравнение, возникли ноты флейты. Идиллия! Работы невпроворот, зато и тысяча рублей в месяц на руки, и питание то же, что и у хозяев, с той лишь разницей, что отдельно от них, не в столовой с горками, полными хрустала и серебра,

а на кухне. Так бы и пережила трудное время, да хозяйина вдруг увезли в больницу. Сделали операцию...

Недели через три пришла дочь, грузно полнеющая дама лет за сорок, с красивым лицом, чуть поблескивающим кремом.

— Мы совершаем родственный обмен,— сказала она.— Моя семья переезжает сюда. Вам придется искать другое место.

Искать так искать. Прежде пошла на фабрику. Новости: та слилась с другой фабрикой тары, в отделе кадров, в цехах новые начальники, о какой-то там трудовой книжке и слышать не желают. Все старые документы сожгли, хранить негде да и ни к чему.

А трудовую книжку по-прежнему, куда ни сунешься, спрашивают.

Не попытать ли счастья в этой самой древней профессии, которой занимается Варя?

«Несоразмерная», только для негров?.. Может, Варька и права, профессионалка, но почему бы не попробовать?

Натянула черные шерстяные колготки, сувенир. Куртка прикрыла лишь бедра, а ноги, роскошной красоты ноги, пусть в старых сапожках, но притягивали взгляды мужчин, проходивших по Тверской мимо отеля «Националь».

Холод сковывал голодное тело. Куртка с капюшоном — удобно. Сбросить капюшон, открыть голову? Еще холодной.

Но что холод, когда темно-зеленое небо над углом Тверской и Охотного ряда играет огнями и рекламой и слегка кружит голову быстрый свет машин, мчащихся потоком! Вечерняя улица, бурная, яркая, разноголосая, вызывала в душе Эсмеральды чувства восторга и надежды. «Мне повезет, сегодня мне обязательно повезет!» — думала она.

Подскочила пунцовощекая толстушка лет восемнадцати:

— Мать, дай сигареточку!

Мать... Явно неспроста сказано.

— Я не курю.

— И не пьешь?

— И не пью.

— А чего ж ты здесь опиваешься?

— Друга жду.

— Кто же твой друг?

— Президент Африки.

— Черненький?

— Ага, я обожаю черненьких.

Пунцовощекая отскочила, вскоре вернулась с двумя подругами.

— Тебе кто разрешил тут возвышаться, башня ты Эйфелева?!

Все трое напали на нее и молча, хищно оскаленные, били, царапали, пинали, не обращая внимания на людей — и спешащих мимо москвичей, и иностранцев, шедших к подъезду отеля. Эсмеральда, хоть и ослабела от голода, довольно легко отбивалась от озверевших девчонок. Она была похожа на верблюдницу, своими длинными ногами отшвыривающую вертких шакалов.

Вдруг подбежал спортивного вида человек с обнаженной головой и в очках, одетый в матово-желтую куртку с меховым воротником. Девчонки отскочили и исчезли в темных подъездах Тверской.

Эсмеральда стояла перед своим спасителем, тоже высоким, как и она.

— Ду ю спик инглиш? — сказал молодой человек, ему можно было бы дать лет тридцать пять.

— Ноу.— Это она знала, как знала и «да», то есть «йес».

— А ю рашен?

— Йес.

— Пачиму это... файтинг?

Прочитав недоумение в глазах собеседницы, молодой человек по-боксерски пояснительно взмахнул рукой, сжатой в желтый лайковый кулак, — и улыбнулся, как показалось, наивно и вместе с тем горько.

Эсмеральда мучительно соображала, чем можно объяснить нападение на нее и — каким словом. Наконец нашла:

— Конкуренция!

— О! Йес, конкуренция!

— Наверное, это ихний участок работы.— Улыбнулась и поняла, что русские слова не дойдут.

— Рапота! Конкуренция! — догадался собеседник.— Велл.

— Я не обижаюсь...— Она вспоминала то, что так плохо учила в средней школе.— Насинг... Ноу!

Пошатнулась, он подхватил ее за локоть:

— Вотс хэппэнд?

— Спасибо, все в порядке. О'кей! Сенк ю!

Он взял ее под руку и повел к машине. Обыкновенные «жигули». Тронулись вниз, за угол Тверской, на Моховую.

— Эт хоум?

— Дом? Конечно, есть, не дом, а комната. Направо! — указала рукой.

— Ту райт? — Он повернул на Новоарбатский проспект.— На-пра-во!

Одобрительная улыбка.

«Вежливый. А в машине холодно. Хоть коленки бы ладонью погрел...»

Так, направо, налево, добрались до улицы, где стояла, пригорюнившись, темно-серая пятиэтажка Эсмеральды.

— Лифт — ноу! Пардон! Ничего, второй этаж.

Приложила палец к губам, указала на ноги, давая понять, чтоб шагал по коридору квартиры тихо. Впустила в комнату. Помогла снять теплую кожаную куртку. Сбросила свою черную «аляску». Все — молча. Лишь сказала, ткнув себе пальцем в плоскую, широкую грудь с маленькими бугорками:

— Эсмеральда.

— О! Роберт.

Раскрыла кровать. Стала раздеваться, стаскивая колготы и улыбкой приглашая гостя к тому же. Но он сказал:

— Пи-пи?

Боже мой, как же его провести в уборную? Обязательно Алина Федоровна встретится в коридоре, а то и занято...

Взглянула из комнаты, прошмыгнула к уборной. Везет: свободно. Вернулась, взяла Роберта за руку:

— Плиз!

Повела. Выглядывала из кухни, пока не прошумел бачок. Втолкнула его в комнату. Вскочила сама туда, откуда он только что вышел.

Наконец они в постели. Только бы не постучала соседка. Ветренными зимними ночами ее комнату продувало насквозь: в углу, обращенном к улице, давно уже, года три тому назад, образовалась щель: строители плохо соединили плиты. И в эту щель врвался не только ветер, но иногда и снег... Старушка жаловалась доступным ей властям, и на убеленный инеем угол наложили «пластырь» из досок и шлаковаты, но щель все расширялась. Часто среди ночи соседка скреблась в дверь Эсмеральды и, сбивчиво лопоча о ее святой доброте, благодарно всхлипывая, раскладывала на полу свою постель и устраивалась на ночлег.

Роберт лежал на спине, Эсмеральда прильнула к нему. «Вот, Варя, а ты говорила: «несоразмерная», разве лишь негр и позарится...» И такой повеяло от нее страстью, что гость вздрогнул, повернулся к ней, встретился с ее желтыми, горящими в полутьме глазами да так и не смог отвернуться...

Отдыхая, он промокал пододевальником пот на мускулистой груди. Ей он очень понравился: сильный, сноровистый какой-то, и так и этак, молчаливый, только зубами скрипит. «Неужели деньги с него брать? Были б у меня, сама бы ему платила». Ни с мужем-бедаголой, погибшим в нечаянной драке, ни еще... Ну, сколько еще мужиков были с ней близки, подсчитала запросто. А ни один так не припал к душе, как этот иностранец. «Мастера все ж они, и в этих делах тоже...» Так пусть знает, что русская баба гордость имеет.

— Роберт, — сказала она, вспоминая подходящие английские слова, но тут же решила: когда он будет уходить и протянет ей деньги, она откажется, это и без объяснений станет понятно.

— Никакой я не Роберт... — раздалось в ответ.— Если хочешь познакомиться, Вася.

Эсмеральда вскочила на постели, почему-то прикрывая ладонями свои маленькие груди.

— Вася?..

- Не гони волну, баба ты первоклассная, не ожидал.
- Почему поехал со мной?
- Вмешался б в твою драку с девчонками какой-нибудь случайный мент...
- Нельзя ронять рейтинг фирмы.
- Какой такой фирмы?!
- Возле каждого отеля своя команда...
- «Команда «Космоса» — самая престижная», — вспомнились слова Вари.
- А кто же ты?
- Я? Вроде как бригадир... И охраняю их.
- Притворился иностранцем...
- Иначе как бы я тебя на ум-разум наставил? Вот мы лежим, разговариваем, не на морозе. Ты посягнула на чужое для тебя место, зарабатывать пришла... Поехала бы ты со мной, если б я сказал, что я Вася? Молчишь? Не-ет, не клонула бы. Сказала бы: вались ты... Ну? Я не прав?
- Ладно, прав.
- Теперь — о самом главном. Забудь, что ты можешь зарабатывать... ну... тем, чем те девчонки, что колошматили тебя сегодня. Эта работа — не для тебя.
- Странно. То называешь меня первоклассной бабой... то вдруг... Мне жить не на что! Я голодаю!
- Уж чего не люблю, так это скандалов...
- Вася, или, вернее, тот, кто так себя назвал, быстро вынырнул из постели и начал поспешно одеваться.
- Помоги мне!
- Разве я тебе уже не помог?
- Чем?
- Ты погорела бы, если б... Милиция, протокол. Тебя били, или ты первая подносить начала? Вот что, деточка... — Вася, так не похожий на Васю в своей кремовой из плотной ткани сорочке с погончиками, в отлично сшитых коричневых брюках, в ботинках из какого-то, наверно, престижного забугорного обувного магазина, медленно протирал очки специальной мягкой замшей, извлеченной из пакетика, лежавшего в нагрудном кармане сорочки. — Хочешь, я буду с тобой? Долго.
- Мужем, что ль?
- Мужем ей! Да уж поистине форма — самый коварный враг содержания.
- Муж! Что это такое? В народе говорят: объелся груш. Тут и весь муж!
- Я ничего не понимаю, хоть убей! — Она заходила по комнате и так неосторожно, что Вася едва успевал поджимать ноги.
- Стой! Насколько я сумел заметить, у тебя нет телефона. Это не годится. Если приходишь к тебе, то надо же договориться — когда, в котором часу. Буду у тебя прятаться от жизни...
- Только ли от жизни?
- По коридору между тем шла, натужно дыша, и несла перед собой свернутый матрас, подушку и одеяло, Алина Федоровна, соседка. Постучала.
- Кто это? — прошептал Вася и быстро коснулся кармана брюк. — Я зашел к тебе по старой дружбе. Виталий Иванович Пыжов.
- Хорошо, Виталий Иванович. Кто там?
- Я, Эсенька, я... — раздалось за дверью.
- Извините, Алина Федоровна, я не одна. Здесь у меня старый друг.
- А-а, тогда пойду. Прости, что помешала.
- Соседка, старушка. В ее комнате, в углу, дыра наружу, холодом несет.
- Отлично строят! Идея телефона тебя, я надеюсь, радует?
- Нет, — ответила Эсмеральда и сама испугалась твердости своего отказа.
- Почему?
- Принадлежать тебе? Покупаешь?
- Лучше — принадлежать многим?
- Самой себе.
- Ну, покупаю! — напористо повысил голос Пыжов. — Все куплены или проданы.
- Да ты дикарь, Виталий — Вася.
- Я тебе мог бы серию лекций прочитать, как люди из дикости выбирались и в еще более мерзкую дикость опускаются. И этот процесс никто и никогда не остановит. Между прочим, я кандидат философских наук. Но кому

нужна философия в нашей стране? Все! Твоего «нет» я не слышал. Через неделю тебе поставят телефон. И я буду приходить.

— Извини... не нужно... не обижайся...

— Хорошо, пропадай одна!

Он подчеркнuto решительно надел свою теплую кожаную куртку, косаясь через очки: не передумает ли упрямая?

— Уходишь?

— Как видишь.

— Оставил бы хоть... ну, рублей пятьдесят... Совершенно нет денег...

— Должен уплатить? За что? Ах, как целомудренно дрожат ваши ресницы, мисс! Повторяю: я выручил тебя от ментов. Кто же кому должен?! Ты мне, деточка.

— Ты со мной спал...— Эсмеральда чувствовала, что вот-вот сорвется на крик, на истерику.

— Уж я-то не спал! — В циничном бахвальстве Пыжов вздернул голову, сверкнули очки, и единственная лампочка в трехрожковой люстре смущенно мигнула.

— Дай мне... ну... Двадцать пять рублей дай, двадцаты! Копейки же... Я куплю хлеба.

— Тут — принцип. Твое «нет»...

— Плати, гад! — закричала Эсмеральда и свирепо двинулась на него в распахнутом на голом теле халате.

Пыжов отступил к двери комнаты.

— Я тебя... я не выпущу! — Бросилась к нему, но лишь успела схватить глазом взмах его руки и сразу куда-то провалилась.

— Отключил я тебя не надолго... пожалел...— послышалось затем как бы издали.

Болело под грудью, отрывался живот. «Хоть не в лицо двинул, философ, сиячков не будет...» — Она пыталась приподняться на локтях. Ее гость в эту минуту стоял над кроватью и острым ножом с кнопкой на рукоятке резал и разрывал простыню и пододеяльник.

«Псих, что ли?» — подумала она, но ни слова не сказала.

Превратив постельное белье и одеяло в безобразные лоскуты, он вспорол подушку, вытряхнул ее — и по комнате разлетелся пух.

— Меня здесь не было. И... узнал я, что женщина горше смерти! — бросил через плечо и быстро ушел.

Пух еще легал, оседал на волосах, на лице. Эсмеральда, едва держась на ногах, стала над кроватью, над кучей изрезанного тряпья.

Чем укрываться? Одеяло было единственное, второго пододеяльника тоже нет, отвезла родителям.

Пропадать?.. Зачем?

Вышла на кухню. Включила свет. Со всех сторон бесшумно и быстро бежались тараканы. Эти умные насекомые мгновенно исчезали, едва на кухне появлялись Варя или Игнаша, когда жили здесь, прятались и от Алины Федоровны. Стоило же войти Эсмеральде, как они стекались стайками и поодиночке. Она на них никогда не охотилась, не давила их — и они это знали. Среди них был царь-таракан, коричневый, огромный и, наверно, самый умный. Он взмахивал на стол, когда Эсмеральда пила на кухне свой кипяток с хлебом. Она подсыпала ему мелкие хлебные крошки, и он ел не торопясь, а черные бусинки-глаза настороженно светились из-под малюсеньких козыречков лба.

Сегодня хлеба не было. Царь-таракан побегал по столу, потом спустился на пол и из щели между батареей парового отопления и общим шкафом для кастрюль наблюдал за Эсмеральдой, по-видимому, с недоумением.

А та сняла с крючков веревку, служившую для сушки полотенец и белья, подергала, чтобы понять, достаточно ли крепка, стала на табуретку и тщательно привязала конец веревки к металлическому штырю, одному из двух, державших штангу, на котором висела плотная, изрядно прокопченная занавеска. Нижний конец веревки преобразился в петлю.

«Ну, вот и все дела...— решила Эсмеральда.— Родители простят, а Нинку повстречаю на том свете».

Стала на табуретку, сунула голову в петлю и оттолкнула табуретку ногой. В макушку ударила страшная боль, и поразительная мелькнула картинка, словно на цветном телевизоре: Нинка бежала в высокой зеленой траве, ее

беленькая головка натыкалась на большие красные цветы — и Эсмеральда рванулась, чтобы догнать дочурку, спасти ее от этих опасных цветов...

Металлический штырь выдернулся из стенки.

Сколько пролежала на полу кухни?.. Очнулась от боли в горле. Сорвала с себя петлю. Стало легче. Штанга одним концом свисала вместе с занавеской. Нестерпимо болела голова. Первое, что заметила, когда глаза прозрели, — это коричневое существо, царь-таракан; он был неподвижен, словно от ужаса вжался в пол. Приподнялся и исчез.

Вялыми пальцами отвязала веревку от штыря, чтобы утром соседка не догадалась, что могло произойти ночью. Жадно глотала из-под крана холодную воду. Боль в горле приутихла. Проковыляла в свою комнату. Там, на полу, на пустом одежном шкафу, на подоконнике, будто снег, залетевший нечаянно, лежал пух.

Эсмеральда упала на кровать, набросала на себя разноцветное тряпье из одеяла, простыни, пододеяльника...

Ей приснилась Нинка. Держала ее на руках, а та лепетала: «Мам, врач говорит, дифтерит скоро пройдет!» — «Пройдет, миленькая, только ты не бойся уколов, ладно?» — «Мам, сегодня, когда был укол, я не жмурила попку, да, не жмурила?!»

Нинка была горячая, как живой уголек.



Лариса ПИЯШЕВА

Приватизация и мы

— В последнее время вокруг проблемы приватизации разгорелись жаркие дискуссии. Сталкиваются полярные точки зрения, раздаются обвинения в намерении задешево распродать Родину, создать возможности для легализации капиталов теневой экономики. Общественное мнение в значительной степени расколото, люди не знают, что же в итоге даст приватизация лично им, не будут ли они снова ограблены. Их опасения легко понять: слишком многое остается неясным в законодательном обеспечении приватизации, но на практике она уже началась. В чем же ее сущность? Почему именно сегодня проведение приватизации столь необходимо?

— Господствующая форма собственности — краеугольный камень любого общественного строя. Кому принадлежит собственность, тот и властвует, получает прибыль и ее расходует. Социалистическая экономика строилась на основе государственной собственности, и еще в «Манифесте коммунистической партии» было сказано, что коммунисты могут выразить свою теорию одним положением — это ликвидация частной собственности. Сущность либеральной реформы также можно сформулировать весьма кратко — это приватизация собственности, то есть возврат к частной собственности на средства производства. Данное понятие является фундаментом, на котором будут строиться все экономические отношения. Государственная экономика по сути своей неэффективна вследствие того, что отсутствует персональная ответственность за результаты, а коллективный разум, который призван управлять государственной собственностью, раздираем противоречиями внутри себя и не может найти оптимальное и правильное решение хозяйственных задач, которое возможно только при использовании очень тонкого механизма рыночных отношений. Поэтому нужно еще раз заявить, что возврат собственности людям и есть содержание экономической реформы. Когда говорят о том, что сначала следует провести финансовую стабилизацию, сбалансировать бюджет, либерализовать цены, за скобками

остается главный вопрос — о собственности. Если собственность не вернуть людям, то реализация всех остальных мер приведет лишь к понижению жизненного уровня и дальнейшему обнищанию населения, усилит развитие кризисных тенденций в экономике. Источников и резервов для существования в условиях государственной собственности больше нет. Продолжать жить продажей природных ресурсов, как было долгое время, уже невозможно — не хватает ни самих ресурсов, ни тех денег, которые за них можно выручить, хотя бы только на еду и на первоочередные цели социально-экономического развития. Поэтому все наши реформы буксовали и будут буксовать до тех пор, пока не вернут людям собственность.

— Наряду с термином «приватизация» сейчас употребляется также и термин «разгосударствление». Не могли бы вы пояснить, в чем заключается различие между ними?

— Те, кто вводил в оборот термин «разгосударствление», имели в виду, что не надо отдавать собственность в частные руки, а следует лишь провести незначительные экономические изменения, ввести некоторую долю частного владения собственностью, провести коммерциализацию государственной собственности и совершить еще некие манипуляции, которые как бы придадут данной реформе определенную рыночную направленность, не полностью противоречащую социалистическим принципам нашей жизни.

— Иначе говоря, это как бы паллиатив, попытка сохранить в скрытой форме старую государственную собственность?

— Отдельные противники приватизации, выступавшие тем не менее за разгосударствление, имели в виду нечто подобное. Другие же употребляли этот термин как синоним приватизации. Но тогда он просто не нужен. В западной научной литературе существует понятие «этатизм» — государственность. Значит, то, что делали, скажем, Тэтчер и Рейган, было деэтатизацией. У нас как терминологическую калку стали употреблять слово «разгосударствление». Я же предпочитаю говорить: возврат собственности

людям и переход к системе частной собственности на средства производства и на землю.

— Какой подход к проблеме приватизации является сегодня господствующим? И в чем заключаются особенности вашей позиции?

— Главная позиция по проблемам приватизации сейчас отражена в концепции правительства. В ней воплотились те идеи, которые в последнее время очень широко дискутировались. Правительственная концепция приватизации основывается на двух принципах. Первый — чтобы создать эффективного собственника, нужно собственность продать тому, кто ее купит. Поэтому предлагается осуществлять приватизацию методом аукционной продажи либо конкурсов. Основная идея здесь — сменить собственника. В своих публичных выступлениях представители правительства неоднократно заявляли, что ни трудовой коллектив в целом, ни отдельные работники не являются лучшими собственниками. Было сказано много неместных слов в адрес работающих граждан — они-де лентяи, все проедят, пропьют, не сумеют эффективно организовать производство и т. п.

Второй принцип состоит в том, что нельзя переходить к частной собственности в прямом и непосредственном смысле данного понятия. Нельзя предприятие отпустить на волю вольную и отдать его на откуп частным лицам. Базируясь на этой идее, правительственная программа приватизации нацелена на создание смешанных предприятий, сочетающих государственную и частную формы собственности. Правительство выбрало, на мой взгляд, совершенно непригодный способ приватизации в силу того, что оно ориентировано на смешанную форму собственности. И хотя она рассматривается как переходная, у нее фактически нет перспектив перерасти потом в полноценную частную собственность. Согласно правительственной программе, акции создаваемых акционерных обществ распределяются следующим образом: 25 процентов негосударственных акций передаются членам трудового коллектива; 10 процентов им разрешают выкупить; 5 процентов передаются администрации. Остальное принадлежит государству. Это составляет 60 процентов, из них государство оставляет себе контрольные пакеты акций каждого предприятия (20 процентов). Остальные акции государство реализует само. Как оно продает, мы все знаем. Но даже если отвлечься от государственной торговли акциями, 20 процентов акций все равно будут принадлежать государству и все, что оно не продаст, также останется в его собственности. Значит, государство будет заинтересовано в том, чтобы их не продавать. Сколько лет займет продажа государством части своих акций — неясно, поскольку денег на приобретение акций в экономике сейчас уже нет, нет даже тех 150 миллиардов руб-

лей, которые по оценкам, сделанным в 1991 году, могли быть использованы населением для участия в приватизации.

Главная проблема здесь заключается в том, что все пакеты акций по-прежнему принадлежат государству. Это означает, что государство остается распорядителем собственности, оно управляет предприятием и формирует коммерческую стратегию в качестве обладателя контрольного пакета акций. Следовательно, ответственность за результаты деятельности предприятия опять же лежит на государстве. И практически невозможно представить себе, чтобы рабочие — владельцы негосударственных акций — озаботились тем, чтобы предприятие сделать более эффективным, чтобы не проесть капитал, а направлять его на нужды реконструкции, модернизации производства. Граждане, которые не владеют голосующими акциями, не будут заботиться о процветании и о судьбе своего предприятия — это, я думаю, доказывать не надо. Приватизацией такой процесс назвать трудно. Может быть, здесь мы и приходим к разгосударствлению? Смешанная форма собственности, когда в каждом предприятии есть доля государственного и доля частного капитала, лишена преимуществ как государственного предприятия (когда оно четко и жестко управляется сверху), так и частного (когда оно действует по законам рынка и управляется как саморегулирующийся механизм). Поэтому я выступаю против этой концепции. В 1917 году собственность у граждан принудительно забирали, а не выкупали в отличие от западных стран, где собственность, приватизированная М. Тэтчер и Р. Рейганом, выкупается, если предприятие обанкротится, и государство выплачивает его стоимость владельцу, после чего предприятие действительно принадлежит государству. Затем государство имеет право продавать его через аукцион, по конкурсу, распоряжаться как хочет — оно государственное. Отношения собственности в России совсем другие. В нашей Конституции записано, что собственность является общенародной. Ее отняли у людей, назвали общенародной и неделимой.

— Какой смысл вы вкладываете в понятие «общенародная собственность»? Что оно, на ваш взгляд, означает?

— Общественная собственность — не государственная, скажем так. Государство — тот, кто распоряжается. Общественная собственность — значит принадлежащая всем, но она у нас неделима. Необходимо перейти к делимой форме собственности. Следовательно, нужно вернуть либо отдать гражданам их долю. Поскольку невозможно рассчитать долю и определить вклад каждого, группа экономистов, к которой принадлежу и я, предлагает наиболее простую модель возврата: разделить собственность приблизительно одинаково, примерно поровну и вернуть ее людям бесплатно, безвозмездно, причем сделать это в течение не-

скольких месяцев, грамотно и законно, по всем технологическим цепочкам и во всех отраслях и сферах перейти от 100- или 98-процентной государственной собственности к частной собственности на 75—80 процентов.

— Возможно ли подобную операцию осуществить в столь короткий срок, как вы предлагаете — в течение нескольких месяцев, — учитывая, скажем, опыт тех же Англии или Франции, где продажа принадлежавших государству компаний в частные руки занимала несравненно более длительное время?

— Характер процесса приватизации в нашей стране и в западных странах принципиально разный. Различие заключается в том, что у них государство продает государственную собственность. Ему спешить некуда. Оно в отличие от нашего не находится в состоянии глубочайшего кризиса, грозящего перерасти просто в общий развал и хаос. Одно дело — продавать пять предприятий в рыночной среде в течение любого времени, когда ничто не заставляет тебя спешить, и совсем другое — перейти к совершенно иной системе собственности. К смене строя, будем говорить так. Невозможно менять строй в течение десяти лет. Это можно сравнить с хирургической операцией. Нельзя ее проводить на протяжении года, постепенно. Вначале сделали разрез, через месяц посмотрели, еще через месяц начали что-то потихонечку удалять, по маленькому кусочку. Так же и с приватизацией. Собственность нужно либо возвращать, либо вообще не трогать. Тут наша позиция полностью расходится с господствующей сегодня. В результате проводимой политики приватизации происходит натуральное разрывывание общественной собственности, присвоение ее всякими псевдокоммерческими и государственными структурами, чиновниками и теми, кто имеет власть и распоряжается собственностью, с последующей эксплуатацией ее уже как частной собственности.

Мы уже подошли к осознанию того факта, что наша страна действительно переходит к рыночной экономике и приватизация становится жизненно необходимой. Представьте себе: дети в семье уже выросли, и отцу нужно отдать им часть принадлежащего ему имущества. Либо умер отец и нужно разделить между детьми то, что им было нажито. Вот по аналогии с такой ситуацией просто взять и вернуть. Вернуть одним шагом, одним жестом, одним действием. Мы все очень любим заявлять, что у нас теперь демократия, значит, и экономическая демократия, то есть право каждого владеть собственностью, равное с правами других, ведь суть демократии — в равных стартовых условиях для всех, а не в равных конечных результатах, как было при социализме. Нет никаких иллюзий относительно того, что все, получив свою долю, сразу станут равны друг другу. Кто был беднее, от приватизационной акции не

станет богаче по отношению к уже богатым. Это еще и некий акт, некий жест со стороны государства, возвращающего несправедливо отнятое, прощающегося с прошлым, акт и покаяния, и милосердия, и отказа от всех злодеяний, в том числе творившихся через отношения собственности.

— Как вы относитесь к реприватизации, то есть возврату собственности ее прежним владельцам? Сейчас данная идея практически воплощается уже и в странах Восточной Европы, и в прибалтийских государствах, вызывая неоднозначное к себе отношение.

— Для России это исключено. В России вся экспроприация произошла в 1917 году, и на сегодня практически (уже сменилось третье поколение) не сохранилось тех, кому можно было бы собственность возвращать. Поэтому я такой вопрос применительно к России вообще не ставила бы. Было бы очень трудно объяснить, почему, скажем, правнуки тех людей, которые жили и зачастую родились уже за границей и не имели никакого отношения к созданию той собственности и тех ценностей, которые сейчас делятся, должны принять участие в процессе приватизации. В Прибалтике несколько иная ситуация. Там физически живы люди, у которых отнимали эти земли, или их зарубежные наследники.

— С какими трудностями сталкивается сейчас практическое осуществление приватизации? Все-таки она идет, было даже опубликовано сообщение о том, что правительство собирается административными методами ускорить ход приватизации на местах вплоть до рассылки специальных инструкций и квот по районам, что очень напоминает времена коллективизации. Развернем ли мы теперь борьбу за процент приватизации, чтобы процесс, что называется, пошел? Как вы относитесь к перспективам подобного подхода?

— Я думаю, что приватизация по Чубайсу и Гайдару столкнется с очень сильным сопротивлением на местах как властных структур, так и самих приватизируемых. На мой взгляд, аукционно-конкурсная распродажа собственности просто не пойдет и будет в каждом случае встречать активное противодействие со стороны тех, кого приватизируют. Процесс приватизации должен протекать исключительно на добровольной основе, по возможности без смены собственников на данном этапе и с участием всех граждан России.

— Располагаете ли вы информацией об отношении россиян к приватизации?

— Как только в Нижнем Новгороде стала проводиться приватизация магазинов через аукционы, сразу началась забастовка торговых работников. После аналогичной приватизации двух небольших заводов занятые на них в полном составе уволились, разрушив оборудование. Это акт сопротивления со сторо-

ны населения, и нужно быть безумцем, чтобы вступить с ним в такой конфликт вместо того, чтобы сделать людей соучастниками процесса приватизации и привлечь их на свою сторону. Надо отметить, что и при реализации нашей программы также неизбежны конфликтные ситуации, но она опирается на добровольный выбор людей. Что касается отношения к приватизации различных социальных групп населения, вначале предпринимательские круги очень хорошо восприняли идею Гайдара, так как они предполагали, что смогут использовать для этих целей накопленный ими капитал. Но, во-первых, их деньги оказались частично обесцененными вследствие инфляции, во-вторых, предприниматели поняли, что имеющихся у них капиталов недостаточно для приобретения предприятий в собственность, в-третьих, они осознали, что при массовом сопротивлении работников особой пользы от покупки заводов и фабрик не будет, поскольку, если рабочие уволятся, новому собственнику достанется одно только здание с оборудованием. Хочется довольно резко возразить против возможной продажи собственности иностранцам — ведь вся она создана руками нашего многострадального народа. Требуется еще доказать, что иностранные владельцы окажутся более эффективными собственниками. Да и почему вообще нужно продавать собственность самым эффективным?

— Как вы в этой связи относитесь к часто встречающимся в прессе и на митингах утверждениям о распродаже национального достояния под флагом приватизации, к опасениям, что более богатые и опытные зарубежные компании по дешевке скупят те хозяйственные объекты, которые окажутся не по зубам молодому российскому бизнесу?

— Я никогда не принимала участия в таких митингах и не могу понять тех, кто на них ходит. Я не разделяю подобный псевдопатриотизм, но полностью поддерживаю идею о необходимости отдавать предпочтение и создавать благоприятные условия для отечественных предпринимателей. Безусловно, я ни в коей мере не возражаю против появления в нашей стране, к примеру, магазинов, принадлежащих иностранцам, но этот процесс должен как бы дополнять нормальную приватизацию с участием российских граждан. Пусть иностранцы приобретают право на новую застройку, незавершенные объекты, но предприятия, уже построенные трудом граждан России, должны в первую очередь предлагаться им. Парадокс здесь заключается в том, что многие из иностранных граждан, желающих приобрести собственность в России, являются бывшими ее гражданами. Сколотив капитал на Западе, они пытаются у нас его выгодно вложить. Я ничего не имею против, но им надо не готовые сооружения продавать, а землю под застройку, пусть создают новые производства в дополнение к уже имеющимся.

— Возможно ли использование приватизации в интересах теневой экономики, и если такая опасность существует, что ей можно противопоставить?

— Данный тезис относится еще к 1985 году. Теневые структуры действовали до начала перестройки, но с тех пор все, кому нужно было «отмыть» свои деньги, успешно это сделали через биржи, коммерческие банки, широкую сеть коммерческой торговли, а также используя облегченный режим выезда за границу. Сейчас теневых структур, за исключением наркобизнеса и торговли оружием, практически нет, поэтому я не буду возражать против того, чтобы «отмытые» деньги были вложены в производство и начали приносить какую-то пользу обществу. Поскольку для подобного использования теневого капитала условий создано не было, его владельцы сумели большую часть своих денег перевести в западные банки, где эти средства и хранятся сегодня на валютных счетах.

— Если приватизация будет проводиться в соответствии с предлагаемой вами и вашими коллегами схемой, то есть будут бесплатно розданы приватизационные чеки или акции на определенную сумму, удостоверяющие право гражданина на владение фиксированной долей бывшего общенародного имущества, что с такой акцией станет делать обыкновенный, не искушенный в бизнесе человек? Могли бы вы предложить возможные сценарии его поведения?

— Каждый получает акцию на часть собственности того предприятия, где трудится. Право на свою долю имеют и пенсионеры, которые раньше работали на данном предприятии. Мы учитывали и различную фондовооруженность предприятий, определив средний размер пая гражданина в общенародной собственности в 12 тысяч рублей в ценах 1990 года. Эта стоимость передается гражданам бесплатно. Ее величина умножается на число работников предприятия, пенсионеров и ранее уволившихся. Если полученная сумма равна или больше стоимости предприятия, оно переходит в собственность работников бесплатно, если меньше — на недостающую сумму дается кредит, при помощи которого трудовой коллектив может полностью выкупить свое предприятие. Сами акции продаются на открытом рынке, часть вырученных средств, полученных по рыночным ценам, пойдет в бюджетные фонды: детский, пенсионный, страховой, — чтобы обеспечить участие в приватизации работников бюджетных предприятий, а другая часть вернется на само предприятие в виде инвестиционного фонда, фонда конверсии или какого-либо другого. С владельцами предприятия становятся все купившие его акции на открытом рынке, включая иностранных граждан. По такой схеме предприятия с высокой стоимостью основных фондов крайне заинтересованы в скорейшей продаже своих акций, так

как они очень нуждаются в крупных вливаниях капитала. Но, например, коллектив Дома моды В. Зайцева в этом не заинтересован, для него главное — выкупить занимаемое им здание и стать полноценным собственником всего, что в нем находится. Если у работников Дома моды не окажется достаточных средств, им придется брать кредит.

— **Какова роль государства в вашей схеме приватизации, будет ли оно руководить этим процессом или только направлять и корректировать его?**

— Государство разрабатывает правила проведения приватизации, условия акционирования, следит за предоставлением равных прав при приватизации как бюджетным организациям, так и предприятиям других форм собственности. Никаких иных функций у него в ходе дальнейшего развития данного процесса нет, поскольку по нашей схеме государство вообще не будет являться владельцем приватизационных акций. Более того, мы хотим предусмотреть положение, по которому государство лишается права выкупа даже обанкротившихся предприятий. Иначе не удастся избежать так называемой номенклатурной приватизации, когда на деньги бывшей КПСС, в том числе и находящиеся за границей, представители старых партийно-бюрократических структур будут приобретать различные хозяйственные объекты.

— **Но заинтересованы ли государственные органы в подобной приватизации, ведь их роль в конечном счете сведется к нулю? С их точки зрения, выполнять такую программу означает рубить сук, на котором сидишь. В то время как сейчас они имеют возможность распоряжаться огромной государственной собственностью. Не приведет ли реализация вашей схемы к резкому росту сопротивления и даже саботажу со стороны государственных чиновников?**

— Это как раз и есть ключевой вопрос нашей радикальной экономической реформы. Во имя чего шестой Съезд народных депутатов России проголосовал против частной собственности на землю? Чтобы реальная власть осталась у тех, кто и сейчас имеет право распоряжаться землей, — у колхозно-совхозной номенклатуры и местных аппаратчиков. В промышленности мы тоже сталкиваемся с очень сильным сопротивлением нашим предложениям, и не только там, но и на уровне правительства.

— **Как сейчас в целом по России идет приватизация жилья? Насколько известно, ее темпы оказались намного ниже планировавшихся.**

— Проблемы здесь те же, что и при приватизации предприятий. Жилье покупали в первую очередь желающие эмигрировать либо старики, которые хотели оставить свои квартиры детям или внукам. Другим категориям граждан не было смысла выкупать квартиры, поскольку

они все равно продолжали бы в них жить. Зачем же еще платить за это деньги? Но как только была принята модель бесплатной приватизации жилья, дело сдвинулось с мертвой точки. Здесь, правда, тоже не со всем можно согласиться. В частности, непонятно, почему владельцы кооперативных квартир должны платить за документ, удостоверяющий их права на квартиру, которую они и без того полностью выкупили. Но главное в приватизации жилья — населению необходимо осознать, зачем она нужна, и, безусловно, знать все ее условия. К сожалению, закон «О налогах на имущество физических лиц», включающий и ставку налога на недвижимость в размере 0,1 процента от ее инвентаризационной стоимости, был принят только 9 декабря 1991 года, неизвестна и стоимость земли. Другими словами, нам предлагали играть в игру, правила которой сообщались по ее ходу. Разве в таких условиях можно выиграть?

— **В случае принятия новой программы приватизации что делать тем предприятиям, которые были приватизированы по старым схемам, впоследствии отмененным? Не окажутся ли они в проигрыше?**

— В каждом конкретном случае данный вопрос будет решаться по-своему. Не следует думать, что те, кто приватизировал свои предприятия первыми, проиграли. Они получили возможность действовать при весьма льготных для бизнеса условиях, покупая сырье и комплектующие по низким государственным ценам и продавая готовые изделия по договорным ценам или просто занимаясь перепродажей, используя разницу между фиксированными государственными и договорными ценами. Так что свою прибыль они получили. Если же каждому гражданину России откроют приватизационный счет, как сейчас предполагается, тогда никакого различия между теми, кто уже приватизировался, и теми, кто это сделать не успел, не будет.

— **Есть ли какой-либо иной путь преобразования нашей экономики помимо приватизации?**

— Приватизация — отправной пункт всего процесса реформ, необходимое, но недостаточное условие их успешного осуществления. Затем начнется длительная структурная реформа экономики, сопровождающаяся значительным высвобождением рабочей силы, формированием полноценной рыночной инфраструктуры, борьбой нарастающих новых форм экономической деятельности с отмирающими старыми. В такой перспективе приватизацию можно рассматривать как стартовый механизм радикальных экономических реформ, но отнюдь не как самостоятельную, долговременную цель. Приватизация — единовременный акт, который нужно провести в максимально короткие сроки.

Задача новой рубрики «Октябрь» — познакомить читателя с текстами, которым, по нашему мнению, уже принадлежит важное место в истории западной гуманитарной мысли XX века. Имена их авторов, как правило, малоизвестны (хотя и не обязательно вовсе не знакомы) читающей публике в России. Эти философы, теологи и социологи поднимают темы, недостаточно разработанные или даже вовсе отсутствующие в русской интеллектуальной традиции, однако явно имеющие отношение к нашей жизни, что значит: помогающие ее осмыслению.

Пользуясь терминологией Фридриха Ницше, можно заметить, что за годы новейшей российской свободы «творцы нового шума» явно заглушили «создателей новых ценностей». Однако нынешнее восприятие гуманистов как рупоров совести русского народа и учителей нравственности, а не как создателей текстов, в которых читатель может встретить новые мысли, появилось в нашей культуре уже давно.

И все же: вопреки недавним, вроде бы обоснованным прогнозам, читателя все больше начинают занимать содержания, имеющие непреходящий, фундаментальный характер, не зависящие ни от какой политической конъюнктуры и относящиеся к общему интеллектуальному достоянию человечества. Поэтому появление в литературно-художественном журнале раздела, посвященного современной гуманитарной мысли, представляется не просто уместным, но и необходимым.

И все же, слегка изменив слова героя Кафки, можно смело утверждать: все на свете имеет отношение к политике. Но ведь и к самому «политическому» можно и нужно отнестись как к предмету гуманитарного знания.

В следующих номерах «Октября» планируется публикация работ Ханни Арентс, Пауля Тиллиха, Дитриха Бонхёффера, Мартина Бубера, Эрнста Кассирера, Карла Лёвина, Эриха Фромма, Эммануэля Левинаса, Жана-Франсуа Лиотара, Жака Деррида, Карла Поппера, Ханса Альберта, Лешека Колаковского, Жака Эллюля, Питера Бергера, Роберта Беллы. Этот список будет дополняться.

Консультант рубрики — хорошо знакомый нашим читателям историк и культуролог Сергей Лёзов, автор работ по истории современной христианской мысли.

Харви КОКС

Религия в мирском граде

Мы приобрели бесценный опыт. Теперь мы научились видеть великие события мировой истории, снизу, с точки зрения отверженных, не внушающих доверия, угнетенных, бесправных, угнетенных, оскорбленных. Другими словами, с точки зрения страдающих.

Дитрих Бонхёффер

Когда пробуждаются угнетенные во всем мире, их протест обращен прежде всего не против религии, а против угнетающего их социального порядка и той идеологии, которая его поддерживает... А так как эти идеологии содержат элементы религии, то религия должна стать объектом критики... Учитывая это обстоятельство, мы не можем начинать с вопроса о том, как нам говорить о Боге в совершеннолетнем мире. Сначала нужно ответить на вопрос: как сказать людям, которые ведут негочеловеческую жизнь, что любовь Бога делает всех нас единой семьей?

Густаво Гутьеррес

Я написал книгу «Религия в мирском граде»¹, потому что пришел к убеждению, что великий эпос под названием «современная теология», где либеральная теология составляла одну из самых блес-

тящих глав, уже завершен. Однако в отличие от некоторых консервативных и радикальных критиков либерализма я не считаю, что современная либеральная теология была ошибкой или предательством. Это был великодушный и подчас вдохновенный период в истории христианства. Конечно, я уверен, что мир, идущий

¹ Cox H. Religion in the Secular City. N. Y., 1984.

щий на смену Новому времени, потребу-ет принципиально иной теологии, и я высказываю здесь свои соображения о том, как она может формироваться и какой может стать. Но я также считаю, что эта теология не добьется успеха, если не усвоит наследие современной либеральной теологии. Только та теология, которая по-настоящему осмыслила Новое время, сможет всерьез осмыслить следующую эпоху. Невозможно идти дальше мирского града, не пройдя через него.

Закончилась ли эпоха «современной теологии»? Все вокруг настойчиво указывает на это. И нетрудно понять, почему это так. Ведь современная теология возникла в том культурном сообществе, где религия отступала, а скептицизм, казалось бы, побеждал на всех направлениях. «Проект» современной теологии состоял в том, чтобы сделать веру убедительной для творцов нового интеллектуального мира, которые с ней расставались. Современная теология обращалась, по точному определению Шлейермахера, к «образованным людям, презиращающим религию». По мнению Вильгельма Паука², Шлейермахер, как и все последующие современные теологи, надеялся «вновь сделать религию, которой грозит забвение... неотъемлемой частью интеллектуальной жизни современности».

Но сегодня отступает и сдает позиции как раз то культурное сообщество, в котором зародилась современная теология. И сейчас, когда начинается период, называемый «эпохой постмодернизма», забвение грозит уже не религии, а самому современному миру. Очевидно, что появилась потребность в **постмодернистской** теологии. Но какой должна быть эта теология? И каким должен быть ее проект?

Я считаю, что постмодернистская теология необходима, но не думаю, что ее нужно изобретать. Ее существенные элементы и ее характерный «проект» обнаруживаются уже сами. Однако я убежден также и в том, что, хотя историческая миссия **современной** теологии в основном завершена, она породила такие идеи, без которых никакая постмодернистская теология существовать не сможет. Постмодернистская теология нужна нам для того, чтобы решать задачи, связанные не с упадком религии, а с ее новым расцветом; не со смертью Бога, а с возрождением богов; не с распространением скептицизма, а с новым восприятием сакрального; не с индивидуальным благочестием, а с политической верой. Но в то же время не должны быть утрачены великие достижения **современной** теологии: ее исторический подход, ее критическая направленность, ее стремление к концептуальной ясности.

² Вильгельм Паук — историк теологии, автор работ о Трельче, Гарнаке и Тиллихе.

I

Сегодня и религия, и теология испытывают переориентацию. Если раньше теология создавалась в центре для последующего потребления на окраинах, то теперь направление движения меняется на противоположное. Сейчас именно периферия влияет на центр. Если раньше религиозная истина провозглашалась «наверху» и затем по иерархическим каналам передавалась «вниз», то теперь концы этой вертикали поменялись местами.

Это все переворачивающее движение потребует от теологов, работающих в центре, научиться «слушать окраины». Когда это произойдет, они обнаружат, что большого внимания с их стороны требуют два явления, которыми мало интересовалась **современная** теология: это многообразие религий (особенно в их политических проявлениях) и огромная, но смутная сила народного благочестия, — того, что по-испански называют *religión popular*. Что касается других религий, то наиболее настойчивый вызов исходит от тех из них, что вступают в соприкосновение с христианским миром, то есть находятся как бы на его окраинах. И как раз снизу и с краев бунт народной религии подрывает фундамент величественного здания **современности**.

Современная теология достигла замечательных интеллектуальных результатов. Она предложила большой набор вполне удовлетворительных ответов на вопрос, который она перед собой поставила: «Как интерпретировать христианскую веру для человека, разделяющего «современное» мировоззрение?». И дело не в том, что предложенные ответы стали неудовлетворительными. Дело в том, что изменились сами вопросы.

Всякая современная **теология** имеет два полюса — **теос** и **логос**: представление о Боге и теорию «современного» мира. Однако, хотя неортодоксия, неосхоластика и теология процесса по-разному определяли эти полюса, в свете ситуации после конца Нового времени эти различия выглядят не столь значительными, как это представлялось во время создания соответствующих теологий. Все эти непохожие друг на друга теологические школы объединяло общее для них горячее стремление сказать нечто важное мыслящему, образованному, скептически настроенному «современному человеку». Ни Барт, ни Маритен, ни Тиллих не писали для массового читателя и уж никак не для массы простых верующих. Пожалуй, они писали для той части самих себя, которая знала изнутри, что значит быть скептически настроенным «современным человеком».

С приходом постмодернистской культуры оказались под вопросом все три составляющие современной теологии: представление о Боге, представление о мире и, что особенно важно, предполагаемый адресат теологии. Когда последствия вто-

рой мировой войны были до конца известны, само представление о современном мире, сформировавшее современную теологию, перестало быть удовлетворительным: оно начало утрачивать достоверность. В современной истории открылось нечто злое, о чем не знала современная теология. В самом деле: разоблачение того, что произошло в Освенциме, не помешало современному миру и дальше творить геноцид, а то, что случилось в Хиросиме, не заставило человечество отказаться от производства ядерного оружия. И тогда что-то начало меняться. Теологи все больше стали воспринимать современное представление о мире (логос) не как нечто ценное, куда следует вернуть религию, а как безнадежно порочное мировоззрение. Современный человек оказался для теологии не адресатом, а неожиданной трудностью. Современная теология утратила тот полюс, на котором располагался ее образ мира.

Затем зашатался также и другой полюс — теос. Конечно, у теологов никогда не было единства относительно деталей разных «учений о Боге». Однако все они сходились в том, что Бог универсален, всем одинаково доступен и открыт для всех. Современная теология едва ли допускала мысль о пристрастном Боге, принимающем чью-то сторону в исторической борьбе, или же о таком Боге, к которому члены разных социальных и этнических групп должны идти принципиально разными путями. Теперь, однако, эта презумпция универсальности тоже оказалась под вопросом.

На окраинах современного мира, в гетто и трущобах, возник резкий протест против этого представления о Боге: ему был противопоставлен образ Бога, который принимает сторону обездоленных, а не властвующих, и для познания которого необходима принадлежность к определенной социальной, этнической и т. п. группе. Все **современные** теологии претендовали на принципиальную универсальность, они обращались ко всем верующим и здравомыслящим людям. Но теперь эта претензия на универсальность была поставлена под сомнение. Негры и женщины, бедняки и те, кто не принадлежит к западной культуре, — все настаивают на том, что эти якобы всеобъемлющие теологии на самом деле узкие и ограниченные, что это теологии белые, мужские, западные и буржуазные; и они неудовлетворительны потому, что явно пребывают в неведении относительно собственной близорукости. И вот свойственный современной теологии образ Бога, покачнувшись, рухнул перед лицом того, что многие «современные теологи» восприняли как почти политеистический всплеск пристрастных и даже несовместимых воззрений. Кто же Бог: негр, нищий, индеец или женщина? Каждый из этих образов был основан на сугубо частном опыте.

Однако самый сильный удар по проекту современной теологии нанесло не ос-

паривание достоверности двух ее полюсов. Решающим ударом стало крушение ее (не всегда отчетливо выраженное) представления о собственном адресате. Теологи нового поколения, среди которых много женщин, негров, жителей Африки, Латинской Америки и Азии, не согласились с тем, что их работа должна прежде всего произвести благоприятное впечатление на «образованных людей, презирающих религию». Вместо этого они начали разрабатывать теологию в диалоге с презираемыми, с «сердитыми бедняками» и с культурно подавляемыми слоями общества. Именно это реально изменило ситуацию.

Правда, сначала «современные» теологи в большинстве своем не поняли, что эта перемена адресата нанесла смертельный удар по их теологическому проекту. Привыкшие сосредоточивать все внимание на содержании теологии и не продумывавшие ни условия, из которых возникает теологическая продукция, ни социальное значение теологических идей, они не могли осознать, что это новое понимание теологией своих задач оказалось самым важным изменением. Однако именно так оно и было. Можно было бы и дальше спокойно обсуждать новые представления о Боге и о мире в привычных для современной теологии рамках. Но как быть, если меняется социальный и институциональный контекст, в котором существует теология? Если под вопросом оказываются адресат и мотивы теологии, хотя и то и другое предполагалось очевидным? Что происходит, когда теологи обращаются не к презирающим, а к презираемым? Когда случаются такие перемены, это означает, что сдвинулось нечто существенное. Теперь изменились сами правила игры, а не просто ее приемы. Современная теология, знаменитая своей изобретательностью, легко пережила бы даже самый радикальный пересмотр образов Бога и мира. Но она не смогла устоять перед принципиально новым определением своих целей и задач, перед решающим вопросом о том, к кому она должна обращаться и перед кем нести ответственность. Иначе говоря, она не смогла пережить тотального неприятия своего проекта. И тем не менее я не считаю, что достижения современной теологии бесполезны для проекта новой, постмодернистской теологии.

II

Станет понятнее, почему постмодернистская теология должна усвоить подлинные достижения современной критической теологии, если от структуры мы перейдем к вопросам содержания. Наступающая эпоха будет «религиозной» в том же смысле, в каком современный буржуазный мир можно назвать безрелигиозным. Но это вовсе не обязательно хорошо. Те, кто с тревогой наблюдал возврат к клерикальному террору в Иране, продолжающееся кровопролитие на почве

межконфессионального конфликта в Ольстере, зловещий союз политически реакционных христианских фундаменталистов с американскими телекомпаниями, понимают, что религиозная ориентация польской «Солидарности», партизан в Центральной Америке и всемирного движения против ядерной войны — это всего лишь светлый фрагмент весьма сложной картины. Известие о возрождении религии всегда радует одних и огорчает других. Возможно, религия и в самом деле возвращается в мирской град. Но серьезной ошибкой с нашей стороны было бы заключить, что миновали те недобрые времена, когда священное было объектом манипуляции, и критическое острие современной теологии теперь можно спрятать. В эпоху, наступающую вслед за концом Нового времени, религия будет существовать. Это не вызывает сомнений. Следовательно, нам понадобится весьма критически настроенная теология (а может, иногда даже секуляризация), чтобы религия оставалась честной.

Это не означает, что теология должна — подобно тому, как это делала порой современная либеральная теология, — ограничиваться проблемами «религиозного опыта» или первоначальной керигмы³, оставляя в стороне важнейший вопрос о том, какие функции — положительные и отрицательные — реально исполняет религия в сегодняшнем мире. А означает это вот что: главная интеллектуальная задача, которая стоит сейчас перед христианской теологией, ее важнейший проект заключается в том, чтобы продумать вопрос: что значит сегодня быть христианином в мире, где сам проект Нового времени уже исчерпал себя? Возможно ли постмодернистское или «демодефицированное» христианство?

На первый взгляд, перспектива не обнадеживает. Институты, учения и нравственные предписания христианства в большинстве своем настолько укоренены в уходящем современном мире, что трудно себе представить, как они смогут послужить «постсовременному» будущему. Но и здесь есть основания для надежды. Мы сможем вновь обрести освобождающее ядро христианства, разорвав его союз с **современным** миром, если посмотрим на христианство с точки зрения тех, кто одновременно и христианин и в то же время в некотором смысле «не-современны». Это подразумевает необходимость заново продумать Евангелие в свете опыта тех людей, которых не принял или распоттал **современный** мир и которые поэтому никогда не были полноправными участниками в союзе христианства с ним. Только эти «другие» и «аутсайдеры», так и не усвоившие синтез христианства с **современностью**, который составляет содержание современной либеральной теологии, — только они могут испровергнуть

или трансформировать христианство и его теологию.

Этим объясняется то обстоятельство, что сегодня главный импульс, стимулирующий обновление христианства, исходит не из центра, а с краев и снизу. Он исходит из тех частей христианского мира, которые оказались за пределами современного либерального сообщества. Из тех мест, где христиане живут в нищете, особенно в Латинской Америке; из стран, где они составляют меньшинство, окруженные нехристианской культурой, как, например, в Азии; из церквей, испытывающих политические гонения, как в коммунистическом мире и в некоторых странах Южной и Центральной Америки; из негритянских общин, а также из общин белых бедняков в США; от женщин, которые вместе мучительно пытаются понять, что значит быть христианкой и женщиной в Церкви, которая в течение двух тысячелетий утверждала патриархат. Это совершенно разные социальные и этнические группы, но их объединяет то, что они оказались за пределами **современности** и ее религиозной сферы. Именно потому, что **современное** общество вытеснило их на обочину (точнее, в подвалы, кухни, трущобы и колонии), они могут теперь предложить понимание христианства как освобождающего начала, ибо это понимание не было искажено той ограниченной функцией, которую **современный** мир отводил религии и теологии.

Жизнеспособная постмодернистская теология не может быть создана теми, кто совершенно удался от современного мира, или теми, кто безоговорочно утверждал его правоту. Ее создадут те, кто жил в этом мире, но никогда целиком к нему не принадлежал. Ее вырабатывают те, кто — подобно чернокожим христианам США — не принял Евангелие своих работодателей, но в то же время не захотел отказаться от христианства. Однако требуется вовсе не умеренная середина, не сбалансированный учет достоинств и недостатков современной либеральной теологии — нужна теология, созданная теми, кого религия Нового времени одновременно вдохновила и оскорбила, взволновала и распоттала.

Современную теологию занимала душа. Она уделяла главное внимание миру идей, ее особенно волновала проблема добра и зла. Постмодернистская теология сосредоточит внимание на теле, на природе человеческого сообщества и на проблеме жизни и смерти.

Это не просто прогноз. Тот, кто изучал теологическое содержание проповеди разных маргинальных христианских общин, знает, что в ее центре всегда находится Воскресение или нечто очень близкое. Латиноамериканцы утверждают «антифетицистскую теологию жизни» в противовес тому, что они считают культурой лишенного жизни потребления и серой смерти. Христиане Азии говорят о присутствии космического Духа Христа

³ Керигма (греч. «весть») — содержание самой ранней христианской проповеди, известное нам из Нового Завета.

в общинах их соседей — индуистов и буддистов. Негры обвиняют белый мир в том, что он утратил «душу». Женщины часто говорят о необходимости вернуть христианству живое человеческое тело, наделенное многообразием чувств, — христианству, которое стало сухим и рассудочным. Члены нищих белых конгрегаций много об этом не рассуждают, но посетителей, принадлежащих к среднему классу, всегда поражает в общинах бедных пятидесятников бурлящая там жизненная энергия, танцы, экзотические восклицания.

Религиозную основу для новой мировой цивилизации изобретать не надо. Она уже существует. Мыши уже бегают среди мамонтов. Малочисленные общины Коринфа, Рима и Эфеса разрастались в разломах и трещинах распадавшейся империи. Маленькая группа христиан собиралась даже в «Кесаревом доме» (Флп 4:23). А в другую эпоху монастыри, а затем молитвенные собрания Радикальной Реформации стали питательной средой для нового исторического периода. Сегодня же побег «постсовременного» христианства прорастают на обочинах и в расщелинах.

1. На уровне **личного стиля жизни** можно наблюдать возникновение «мирской духовности», «деятельного мистицизма», которые приходят на смену благочестию монашеского и пнетистского типа, унаследованному от Средневековья и Нового времени. Они появляются в тех общинах, культурах и этнических группах, которые всегда сохраняли верность христианской Вести, однако отказывались принять господствующую современную интерпретацию смысла Евангелия. Неудивительно поэтому, что среди типичных «святых» постмодернистского мира мы видим негра (Мартина Лютера Кинга), женщину (Дороти Дей⁴) и латиноамериканца (Оскара Арнульфо Ромеро⁵). Все они были людьми большой веры и, вместо того чтобы искать уединения или принять предлагаемую Церковью дистанцию, которая отделяет большинство теологов от мучений мира, целиком погрузились в заботы этого мира. Но они делали это не просто как «активисты», или «носители перемен», а как ученики Иисуса, готовые бесстрашно следовать за ним.

2. На **теологическом** уровне новое понимание можно обнаружить в горячих дискуссиях, ведущихся внутри общин христиан, которых мы называли «другими». Теологии, создаваемые этими общи-

нами, можно — хотя и очень нестрого — обозначить термином «теология освобождения». Однако единая «школа» отсутствует. Объединяет же все эти теологии общая для них решимость порвать с господствующими направлениями, которые пестуются в университетах Европы и США, разрабатываются почти исключительно белыми мужчинами и должны отвечать религиозным запросам образованных, «думающих» (читай: сомневающих, вопрошающих) читателей.

Разные теологии освобождения объединяет также стремление заново взглянуть на христианство и другие религиозные традиции с точки зрения тех, кто в силу исторических причин был лишен возможности участвовать в создании теологии и формировании религиозных символов. При всех различиях все эти теологии хотя бы осуществляют то, что в Латинской Америке называется *ruptura* — принципиальный разрыв с методами, символикой и задачами ныне господствующих теологических школ. Это попытка порвать не с христианской теологией вообще, а с теми ее составляющими, которые так или иначе способствуют дискриминации. Поэтому женщины, негры и христиане Азии расходятся в мнениях о том, от каких именно элементов теологического наследия следует освободиться. Этими расхождениями и объясняется большинство их конфликтов.

Однако, несмотря на эти трения, я не думаю, что разным вариантам теологии освобождения обязательно присущ взаимный антагонизм. Скорее им свойствен партикуляризм. Они претендуют не на универсальность, а на осмысление очень специфической ситуации. Это заставляет думать, что теология эпохи постмодернизма не будет такой последовательной и строго систематизированной, какой стремилась быть современная теология. Она будет допускать большую фрагментарность и отсутствие единства. На это есть серьезные причины. Все, кто когда-либо принадлежал к подавляемой части любого общества, знают, что системы и символы, утверждающие универсальность и всеобщность, в конце концов очень часто уничтожают разнообразие и индивидуальность. Как бы они ни декларировали беспристрастность и общезначимость, реальная жизнь обычно превращает унифицирующие системы мысли в идеологии подавления. Стремление современной теологии быть всем для всех и повсюду, вероятно, тоже обусловлено ее временем («современностью») и вряд ли сохранится в постмодернистскую эпоху, сердцевинной которой будет возрожденные партикуляриности. Видимо, то же самое относится и к почти маниакальной страсти современной теологии все систематизировать и приводить к внутренней последовательности, хотя это обедняет содержание и краски религиозного выражения. Систематизация разрушает поведение. Рассказы блекнут и превращаются в понятия.

⁴ Дороти Дей (1897—1980) во взрослом возрасте пришла в католическую церковь. Начиная с 1933 г. стала известна в США как организатор ряда приютов для бездомных и безработных.

⁵ Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдасес (1917—1980) — архиепископ Сан-Сальвадора. Выступал против диктаторского режима, затем против правящей хунты и Национальной гвардии, а также осуждал действия левых партизанских групп, участвовавших в гражданской войне. Активно отстаивал права бедных. После ряда покушений на него был убит в своей церкви во время мессы.

3. На уровне **форм организации** постмодернистскому христианству тоже не надо ничего изобретать: их ростки уже пробиваются сквозь трещины в асфальте **современности**. Никакое религиозное движение в истории не может долго питаться только идеями. Религия в отличие от философии всегда неотделима от ритуалов и символических действий, от песен и повествований. Религиозное движение становится влиятельным, лишь когда его идеи соединяются с такой общинной практикой, которая возникает из идей и воздействует на них. Христианские низовые общины Третьего мира и их аналоги в других местах стали сегодня тем местом, где новые религиозные идеи соединяются с новой культовой практикой.

Подобно теологическим расхождениям разных теологий освобождения цели общественной деятельности христианских общин эпохи постмодернизма тоже различаются, так как речь идет о борьбе с разными искажениями, которые усматриваются в современном либеральном христианстве. Естественно, женщины добиваются такого изменения церковного устройства, которое позволило бы им занимать ведущие позиции в церквях. Негритянские церкви оберегают и поддерживают традиционные афро-американские особенности литургии и проповеди, — черты, от которых часто отказываются конгрегации, где большинство составляют белые. Низовые общины Южной Америки обличают традиционный союз церковной иерархии с олигархией. В Европе низовые общины делают все возможное, чтобы миряне могли активно участвовать в церковной жизни там, где влияние духовенства было особенно значительным. Таким образом, все упомянутые группы в своей практической деятельности добиваются того теологического **разрыва**, к которому теология освобождения стремится на теоретическом уровне.

Подобно тому, как Воскресение Христа и человеческого тела будет централь-

ным мотивом теологии постмодернизма, воскресение «мистического тела», возрождение подлинного сообщества верных станет главным организующим началом новых общин. В Новое время христианские церкви превратились в конгломерат индивидов. Конгрегация стала собранием не связанных друг с другом людей, в лучшем случае — семей, которые создавали церковь посредством своего рода общественного договора (сама эта идея — характерное порождение Нового времени). А в возникающих низовых общинах связи между людьми характеризуются одновременно и большей узостью, и большей широтой. Женщины обретают новых сестер. Негры утверждают духовное родство с теми, чья история тоже была обусловлена цветом их кожи. Бедняки находят взаимопонимание с другими немущими. Слово «солидарность», пришедшее из рабочего движения, иногда употребляется для описания этих вновь обретенных связей, которые, по словам первых христиан, делали их «членами одного тела» (ср. 1 Кор 12:12—27; Рим 12:4—5; Еф 4:25). В классической христианской теологии эта необычная связь понималась не как следствие кровной близости, а как нечто, становящееся возможным благодаря дарам Духа и присутствию Воскресшего. Теологии постмодернистского движения в христианстве утверждают торжество жизни над смертью. Предлагаемый ими стиль жизни противопоставляет общинность индивидуализму, органические принципы общинной жизни — механистическим. Их духовные наставления призывают покинуть монастырские кельи и окунуться в бурлящую вихрь жизнь. И повсюду звучит пасхальная Весть, которая одушевляла раннюю Церковь и которая стала также главным провозвестием церковей постмодернистского периода.

1984

Перевод и примечания Ольги БОРОВОЙ

Харви Кокс: религия после конца Нового времени

Читатель статьи «Религия в мирском граде», вероятно, впервые встретится с творчеством американского теолога Харви Кокса. Между тем вот уже четверть века Х. Кокс, автор опубликованной в 1965 г. книги «Мирской град» [1], остается, быть может, самым читаемым писателем на религиозные темы в США. Судьба «Мирского града» необычна для книги по систематической теологии (а именно так следует определить жанр этого экстравагантного по своей композиции сочинения). Книга, написанная тридцатипятилетним баптистским пастором и профессором теологии, в течение двух-трех лет разошлась миллионным тиражом

и была переведена на одиннадцать языков.

Х. Кокс начинает эту работу с характеристики современного «мирского града» — «технополиса». Его жителя он определяет как «прагматика» и «профана», который вообще не испытывает потребности задавать так называемые последние вопросы в их экзистенциалистской трактовке: ведь эти вопросы (как и сам экзистенциализм) принадлежат ушедшей эпохе. «Секулярный человек попал в город уже после того, как религиозная картина мира была похоронена. У него нет ощущения утраты и ему нечего оплакивать... И дело не в том, что он не питает уважения к религии. Просто он чувствует, что вопросы, которые его занимают, относятся к другой сфере... Поэтому

¹ Cox H. The Secular City. Secularization and urbanization in theological perspective. N. Y. 1965.

пытаться заставить секулярного человека задавать религиозные вопросы — бессмысленно и нечестно. Сначала мы должны научиться с ним разговаривать. Прежде всего нам следует принять прагматика таким, как он есть...» [2], — писал Х. Кокс.

В формулировке проблемы «христианская Весть (Евангелие) и безрелигиозный человек» Х. Кокс сознательно следует за Дитрихом Бонхёффером, одним из важнейших религиозных мыслителей XX века, но в разработке этой проблемы он идет гораздо дальше. «Мирской град» — это главным образом опыт разговора с религиозным человеком о «совершеннолетнем мире» (по терминологии Бонхёффера), но затем Х. Кокс начинает разговор о Евангелии непосредственно с гражданином «технополиса».

В отличие от *civitas terrena*, «земного града» Августина, у Х. Кокса сам «мирской град» становится образом царства Божьего. Такой поворот мысли подробно аргументируется уже в одной из глав книги «Мирской град». Я думаю, читатель «Мирского града» сможет убедиться, что не конъюнктурные соображения, а изучение того смысла, которым обладает евангельский символ «царство Божье», привели Х. Кокса к выводу: «Царство Бога, выраженное в жизни Иисуса из Назарета, остается наиболее полным проявлением сотрудничества Бога и человека в истории. Пытаясь влиять на жизнь мирского града, мы тем самым проявляем верность Царству сегодня» [3].

Именно тут возникает основа для принципиально нового разговора христианской теологии с «секулярным человеком». По мнению Кокса, христианство Нового времени находилось в состоянии круговой обороны и отступления [4]. В результате Церковь просто подчинилась «духу времени», пошла к нему на службу. Что же касается Бонхёффера, то он первый увидел теологическую возможность всерьез принять «совершеннолетний мир» таким, как он есть, и при этом не приспосабливать Весть к потребностям мира. Для зрелого Бонхёффера очевидно, что Иисус должен стать Господом нерелигиозных людей, — вопрос лишь в том, как могут христиане помочь Ему в этом.

И этот вопрос, оставшийся у Бонхёффера без ответа, становится главным в творчестве христианского теолога Харви Кокса.

В размышлениях над этим вопросом Х. Кокс исходит из общей у него с Бонхёффером веры в то, что настанет день, «когда люди будут снова призваны проповедовать слово Бога так, что под его воздействием изменится и обновится мир» [5].

В перспективе этого главного вопроса становится понятным, в каком смысле Х. Кокса можно считать «радикальным теологом», коль скоро такое обозначение прочно ассоциируется с его работой. В книге «Совращение духа. Употребление народного благочестия и злоупотребление им» Х. Кокс замечает: «Я терпеть не могу ярлыков, но согласен называться «радикальным» теологом, если мне будет предоставлено право самому определить, что это значит» [6].

Напомню читателю, что не только вчерашние наши специалисты по критике буржуазной идеологии создавали злобно-карикатурные изображения современной «неклассической» (или «радикальной») христианской мысли. Нечто подобное мы находим и у защитников традиционного образа христианской ортодоксии, у идеологов христианского холизма (например, в книгах покойного К. С. Льюиса, которые издаются у нас сейчас в русских переводах). Видимо, и современные христианские апологеты не в состоянии спокойно наслаждаться полнотой своей истины и чувствуют потребность опорочить тех, кто думает иначе.

Во всяком случае, Х. Кокса тоже обвиняли в разрушении основ веры, хотя именно в его теологической работе нельзя не заметить того, на что надеялся Бонхёффер, — перехода христианской Вести от обороны к наступлению, стремления «проповедовать слово Бога так, что под его воздействием изменится и обновится мир». Как раз в таком смысле Х. Кокс считает себя «радикальным» теологом. Разумеется, «переход в наступление» предполагает новое осмысление христианской Вести: об этом и говорится в опубликованной здесь статье Кокса.

Для понимания этой работы, да и всего творчества Х. Кокса, важно указать еще на одну линию его преемственности с Бонхёффером. Вся западная интеллектуальная традиция приучила нас к тому, что правильная мысль должна предшествовать разумному социальному действию. «Радикальная» теология Кокса в какой-то мере меняет эту посылку на противоположную. Х. Кокс исходит из того, что «ортопраксия» (или, как сказал бы Д. Бонхёффер, «страдание вместе с Богом в мирской жизни») — это как раз та ситуация, в которой происходит становление социально ответственного мышления.

Итак, по мнению Х. Кокса, эпоха обороны и отступления христианства закончилась: оно снова может стать творческой силой, формирующей западную культуру. И эту возможность Х. Кокс связывает с концом «современности».

Тут мы вступаем в область сегодняшних историсофских споров вокруг понятия «постмодернизм» (нем. *Die Postmoderne*, англ. *postmodernity*). В фи-

² Там же, с. 93.

³ Там же, с. 124.

⁴ Ту же мысль находим и у Бонхёффера: «Главная проблема: Церковь защищается. Никакого риска ради других» (См «Вопросы философии» № 11, с. 144. — М., 1989).

⁵ Там же, с. 122.

⁶ Cox H. The seduction of the Spirit. The use and misuse of people's religion. N. Y., 1973. P. 169.

лософском сообществе, как известно, наибольшим признанием здесь пользуются два направления: 1. французский постструктурализм Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Деррида и М. Фуко; 2. концепция, разработанная в рамках Франкфуртской школы М. Хоркхаймером, Т. Адорно и Ю. Хабермасом. Что же касается Х. Кокса, то он учитывает все эти точки зрения, но для его **теологических** целей более всего подходит отождествление «современности» с Новым временем (такое определение тоже существует в философской литературе). Тогда «постмодернизм» (или «постсовременная эпоха») — это период, наступивший после «конца Нового времени».

Публикуемая здесь статья Х. Кокса представляет собой тезисное изложение главных идей его книги 1984 г. «Религия в мирском граде: к постмодернистской теологии» [7], в которой социологическое исследование сегодняшнего религиозного возрождения (в том числе и за пределами западного культурного круга) сочетается с теологически-нормативным подходом.

В этой книге Х. Кокс дает развернутое определение уходящего «современного мира», выделяя пять его конститутивных признаков:

1. Суверенные национальные государства как компоненты мирового политического порядка.

2. Основанная на науке технология и научная картина мира, ставшая источником важнейших культурных символов.

3. Бюрократический рационализм как главный способ организации человеческой деятельности.

4. Стремление извлечь максимальную прибыль, ставшее главной мотивацией в трудовой деятельности, а также в обмене товарами и услугами.

5. Секуляризация и тривиализация религии: священное ставится на службу профанному, религия нужна современному миру для поддержания личной морали и публичного порядка.

«Модернизм» (modernism) Х. Кокс определяет как интеллектуальную деятельность (в искусстве, философии и религии), порожденную этими специфическими условиями **современного мира** [8].

Как считает Х. Кокс, все эти пять опорных конструкций **современности** (modernity) на наших глазах «разлагаются изнутри». В кратком послесловии я могу лишь резюмировать аргументацию Х. Кокса, не пытаясь оценивать ее убедительность. Надо лишь заметить: затронувшие весь мир сегодняшние перемены помогают заново продумать эту аргументацию (как, впрочем, и целокупную философскую проблематику «постсовременного мира»), но не опрокидывают ее как заведомо устаревшую.

Вот в чем Х. Кокс видел в 1984 г. признаки конца **современной эпохи**.

Система суверенных национальных государств изживает себя, появляются основы новой организации мирового сообщества. Идущее в последние десятилетия обсуждение «пределов роста» и «ограниченности научной парадигмы» показывает, что роль научной технологии в **постсовременном мире** должна сильно измениться, хотя убедительные ответы на вопросы о месте науки и технологии в новую эпоху еще не найдены. Бюрократический рационализм тоже исчерпывает свои возможности, и на смену ему идут новые, спонтанно возникающие «снизу» формы взаимодействия людей при решении общих задач. Неограниченный рыночный либерализм (принцип максимальной прибыли как единственный регулятор) вытеснил большую часть человечества — бедные и голодающие нации, а также значительные социальные группы в западных странах — на «окраины **современного мира**. Этот факт, а также неизбежное «движение коммунистических стран к рыночной экономике» [9] заставляют задать вопрос о новой, «посткапиталистической» мировой экономической системе. Наконец, эпоха «тривиализированной» и «прирученной» религии закончилась. Х. Кокс подробно анализирует возрождение агрессивной фундаменталистской религиозности. Как социолог он констатирует: **религия возвращается в «мирской граде**». Как теолог он говорит об опасностях и надеждах, связанных с превращением религии в самостоятельную политическую величину.

«Я не хочу сказать, что одно лишь христианство создаст религиозную основу для постсовременного мира. Однако я верю, что христианство может и должно внести решающий вклад в создание новой мировой цивилизации. Этот вклад будет принципиально отличаться от тех функций, которые христианство выполняло в Новое время. Но лишь радикально преобразованное и «демодернизированное» христианство в состоянии выполнить такую задачу. Итак, возможно ли «постмодернистское» или «демодернизированное» христианство?» [10] — такой вопрос задает Х. Кокс, говоря о своей надежде. Некоторые подходы к ответу на этот вопрос представлены в опубликованной здесь статье.

Стремясь познакомить читателя с творчеством Х. Кокса, я исхожу из того, что его голос значим для российской политико-культурной ситуации 90-х годов. Все мы знаем: в России христианство привычно ассоциируется с вполне определенным, консервативно-националистическим, типом политического мировоззрения. Получается, что политическое «место в жизни» для христианства в нашей стране, т. е. его политическое назначение, определено заранее. Мы наперед знаем, чему нас будут **учить** наши сегодняшние православные христианско-де-

⁷ Cox H. Religion in the Secular City. Toward a postmodern theology. N. Y., 1984.

⁸ Там же, с. 183 слл.

⁹ Там же, с. 190.

¹⁰ Там же, с. 207.

мократические (или недемократические) мыслители, поэтому нам, читателям и слушателям, едва ли удастся завязать с ними серьезный разговор.

Между тем в Западной Европе, США и Латинской Америке политическое измерение христианства выглядит иначе.

Поэтому я думаю, что сейчас для русского читателя будут особенно интересны такие христианские подходы к политике, которые далеки от стремления к реставрации прежних, «более христианских», образов социальной жизни, — например, от ностальгии по утраченному мифическому раю «великой России, которую мы потеряли».

Так, Х. Кокс, обсуждая политические аспекты сегодняшнего христианства, говорит в своих работах о «теологии социальных перемен» и о «теологии революции». Важно понять, что речь идет не о христианском оправдании изменения социального порядка (в частности, об оправдании **революции**), а о том, какие возможности политического поведения открываются для христиан в ситуации резких социальных перемен.

Кроме того, знакомство с западным христианством, активно формирующим свое социальное измерение, позволит нам продумать и современную (т. е. «неностальгическую») христианскую критику либерально-демократического государства и общества — критику, сформированную не радикальными вариантами мар-

ксизма, а стремлением уже сейчас взять на себя долю политической ответственности за **будущее** либеральной демократии. Ярчайший пример здесь — творчество, жизнь и судьба Мартина Лютера Кинга, с которым Харви Кокс сотрудничал в 60-е годы, в эпоху Движения за гражданские права. Видимо, для нашей собственной ситуации эта христианская **критика либерализма во имя будущего** важнее, чем христианская (в стиле «Вестника РХД», А. Солженицына и И. Шафаревича) критика безбожного коммунизма, которая мало что добавляет к тому, что мы и так неплохо знаем. Опять же, здесь мы можем сделать шаг вперед и по сравнению с надоевшей пропагандой на тему «свободный рынок — хорошо, социализм — плохо».

И, наконец, последнее — и, быть может, самое важное — замечание об актуальности творчества Х. Кокса для сегодняшней русской публики. Я уверен, что лишь стремление христианского автора разделить с читателем (по большей части «прагматиком» и «профаном») **открытые вопросы самого христианства** поможет передать этому читателю представление о живом смысле веры — о том, что должно быть главной ценностью в мире христианского автора. А вербовка, сопровождаемая посулами и угрозами, всегда отталкивает свободного человека.

Сергей ЛЕЗОВ

Бенедикт САРНОВ

Что же спрятано в «Двенадцати стульях»?

1

Литературовед Людмила Сараскина, известная своими работами о Достоевском, неожиданно обратилась к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»¹. Она решила прочесть роман заново. Пересмотреть, так сказать, репутацию этого произведения. Доказать, что оно вовсе не заслуживает того восхищения и той любви, которую питали к нему многие поколения читателей. Оказывается, это восхищение и эта любовь были основаны на недоразумении. На том, что все годы мы читали эту книгу неправильно, не понимая ее сокровенного смысла, той главной цели, ради которой она была написана. Цель же эта состояла в том, чтобы ошельмовать старую русскую интеллигенцию, не признавшую советскую власть и потому обреченную на вымирание или жалкое прозябание.

Нельзя сказать, чтобы эта идея так уж ошеломляла своей новизной. Впервые ее высказал Аркадий Белинков в своей книге об Олеше. Высказал он ее походя, разбирая роман Юрия Олеша «Зависть»:

«В эти же времена был написан другой роман, в котором другой интеллигент говорил тоном, заставляющим насторожиться».

Он говорил подозрительным по ямбу тоном... «Это глупо... Это бунт индивиду-

альности», — кричат интеллигенту. «И этим я горжусь», — ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. — Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции»...

Васисуалий Лоханкин был опровержением Кавалерова. Ильф и Петров спорили с Юрием Олешей. Они осмелили «Васисуалия Лоханкина и его значение», «Лоханкина и трагедию русского либерализма», «Лоханкина и его роль в русской революции». Вместе со значением, трагедией и ролью осмеян лоханкинский ямб. Авторы осуждали Лоханкина со всей решительностью эпохи, в которую создавались их книги... У Ильфа и Петрова интеллигенты освистаны за то, что они думают, будто революция посвящает на демократию...» (А. Белинков «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»).

Книга Белинкова была издана в Мадриде в 1976 году, уже после смерти ее автора. Но глава из этой книги (она называлась «Поэт и толстяк») по счастливому недосмотру тогдашнего начальства была опубликована еще при жизни автора на его родине (журнал «Байкал», 1968, № 1, № 2). И публикация эта наделала тогда много шума.

В том же духе о романах И. Ильфа и Е. Петрова примерно в то же время высказалась Н. Я. Мандельштам:

«Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой ты не было цели — к добру не приведет?.. Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал... Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелых» на «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет

¹ Сперва Л. Сараскина высказалась на эту тему в «Московских новостях» (23.6.1991) в небольшой статье, хлестко озаглавленной: «Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского, или Что спрятано в «Двенадцати стульях». Там же сообщалось, что «большая статья на эту тему будет опубликована в журнале «Октябрь». Прошло немногим меньше года, и вот эта большая статья тоже появилась. Как и было обещано, в журнале «Октябрь» (1992, № 3).

в голову, что унылый идиот, который пристает к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятих годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются» (Надежда Мандельштам «Воспоминания»).

Потрясенные этими откровениями, некоторые интеллигенты 60-х годов сразу же готовы были отречься от некогда любимой ими книги. Со стыдом признавались они в этой своей легкомысленной, необдуманной любви. И оправдывались:

«Да увидь мы хоть намек «доноса на интеллигенцию», хоть клочок... — пусть не для всех, но для многих и тех именно, кто узаконил славу романов, были бы они скомпрометированы навеки, заглохли, увяли, перестали бы существовать» (М. Каганская «Наследники Толстовского, или Шестидесятые годы». — «Время и мы», 1977, № 6).

Ну, а те, у кого не было этих интеллигентских комплексов, даже и не пытались оправдываться и, не задумываясь, бодро пригвоздили своих вчерашних кумиров к позорному столбу:

«Для того, чтобы в 1937 году войти в доверие к Сталину... нужно было совершить какие-то действия... Илья Ильф и Евгений Петров сочиняли заказанные пасквилы на русскую интеллигенцию...» (М. Поповский «Идеальный советский писатель». «Континент», 1980, № 24).

Таким образом, к концу 70-х оригинальная идея Белинкова уже стала расхожей истиной, чуть ли не трюизмом. Правда, пока еще не у нас, а в эмиграции. В зарубежной русской печати.

Людмила Сараскина решила восполнить этот пробел в нашем образовании, доведя эту идею до сознания соотечественников.

Однако я не стал бы все-таки утверждать, что ее статья целиком и полностью может быть отнесена к литературе того сорта, которая — по презрительному слову Евгения Баратынского — «плодит в полемике журнальной давно уж ведомое всем».

Справедливости ради надо признать, что эту идею, отнюдь не блещущую новизной, Сараскина не просто повторила. Она постаралась всячески ее развить и обогатить новыми упреками и претензиями:

«Не стану перечислять все, над чем так зазорно смеялись сатирики, и ограничусь их особым пристрастием — дворянской дореволюционной культурой, которая стала объектом комического осуждения и десакрализации. «Любит человек падение праведного и позор его» — этим «достоевским» откровением во многом определялись подходы сатириков к духовной проблематике. Следы их «любви» обнаруживаются там, где нужно сбросить с пьедестала и так уже побежденного, но все еще притягательного высокого и прекрасного... Высмеять, вышутить —

да так, чтобы эпизод жестокого надругательства вишневым клопов над гусаром-схимником Алексеем Булановым, вынужденно прервавшим свое двадцатипятилетнее постничество (притча, рассказанная Остапом Бендером), стал ассоциацией со старцем Тихоном, или Зосимой, или «Отцом Сергием»...

Чтобы пассажиры отплывшего в море «философского парохода», как в капле воды, отразились в жалкой, убогой фигуре безработного интеллигента Васисуалия Лоханкина, нахлебника и паразита при работающей супруге» (Людмила Сараскина «Ф. Толстовский против Ф. Достоевского, или Что спрятано в «Двенадцати стульях»).

Ни Белинков, ни Н. Я. Мандельштам в своем осуждении Ильфа и Петрова так далеко не заходили. Их задел за живое Васисуалий Лоханкин, в котором они увидели (тоже, как мне кажется, без достаточных к тому оснований, но об этом — позже) фигуру, типизирующую «основные черты старого русского интеллигента». Но от этого все-таки, согласитесь, еще довольно далеко до утверждения, что Лоханкин, который «до физики Краевича так и не дошел», — пародия на интеллектуалов такого высокого ранга, как Бердяев, Франк, Лосский, С. Булгаков и другие пассажиры «философского парохода», которых Ленин в 1922 году выслал из России.

Я уж не говорю о том, что в отличие от своих предшественников Людмила Сараскина не сосредоточивается только на злополучной фигуре Лоханкина. Она существенно расширяет круг своего внимания:

«...Речь пойдет о пределах нравственно допустимого в сатире и юморе. Можно ли смеяться над гонимыми и преследуемыми, особенно — во исполнение идейной установки? Свободен ли смех, добывающий жертву?..»

«Лично мне неохота смеяться над людьми, которых революция лишила дома и родины. Мне не смешно, что «умственная» интеллигенция, не принявшая режим, влачила жалкое существование и была обречена на вымирание. У меня не вызывают смех «бывшие» люди — дворяне, пережившие 1917-й, и крестьяне, пережившие 1929-й (трагедии которого нет и следа в «Золотом теленке», написанном в 1931 году). Какие уж тут шутки...»

Трагедия крестьян, переживших ужасы коллективизации, в романах Ильфа и Петрова действительно не отражена. (Упрек этот, кстати, живо напомнил мне рассуждения вульгарных социологов 20-х годов, попрекавших Пушкина тем, что в «Евгении Онегине» не отразились ужасы крепостного права.) Но над крестьянами Ильф и Петров по крайней мере не смеются. Что же касается дворян... Да, фигура одного из «бывших» людей — дворян, по которым жестоко и больно ударил 1917-й год, — действительно выведена в их первом романе. И выведена, так

сказать, крупным планом. Это — фигура бывшего «старгородского льва», бывшего предводителя дворянства, а ныне регистратора загса Ипполита Матвеевича Воробьянинова. По всей видимости, это его (а кого же еще? Больше некого!) имеет в виду Людмила Сараскина, говоря, что, глумясь над униженными «бывшими» властителями жизни, авторы романов удовлетворяли свою низменную потребность радоваться «падению праведного», «сбросить с пьедестала и так уже побежденное, но все еще притягательное высокое и прекрасное».

Впрочем, дело было не только в удовлетворении этого «низменного», «достоевского» желания. По убеждению Сараскиной, Ильф и Петров глумились над поверженными, сброшенными с пьедестала «бывшими» людьми «во исполнение идейной установки». То есть выполняющая определенный социальный заказ.

Тема эта слишком серьезна, чтобы говорить о ней скользко. К рассмотрению этого вопроса нам еще придется вернуться. Пока же отмечу только, что даже писатель, придерживающийся самых независимых взглядов, не может быть во все свободен от настроений, которые царят в современном ему обществе. Вот и Людмила Сараскина тоже — не в обиду ей будь сказано, — сочиняя эту свою статью, явно испытывала мощное воздействие тех идей и настроений, которые нынче носятся в воздухе.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак торжественно принимает «Главу Российского Императорского Дома, Его Императорское Высочество, Великого Князя» Владимира Кирилловича Романова. «Комсомольская правда» с упоением сообщает, что в Саратове найдена шинель, которой был укрыт смертельно раненный Богровым Столыпин. Мало того — сообщение это называется так: «Все мы вышли из этой шинели». В другой газете публикуется фотография с прошедшей где-то в Сибири демонстрации с портретами адмирала Колчака, Никита Михалков (в той же «Комсомольской правде») всерьез предлагает нам вернуться к помещицкому землевладению. А вот последняя, самая свежая сенсация:

«К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ. В 1993 ГОДУ В РОССИИ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 125-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО. Об этом сообщил Константин Самарин, вице-предводитель Всероссийского дворянского собрания...»

Радостное известие это появилось в вечернем выпуске «Известий» (11 марта 1992) на первой полосе — там, где обычно публикуются сообщения о наиболее важных событиях минувшего дня.

Мудрено ли, что под впечатлением всех этих — и им подобных — событий давно уже носящуюся в воздухе и подхваченную ею идею Людмила Сараскина обогатила многими в высшей степени интересными соображениями, решив не только Васисуалия Лоханкина, но и быв-

шего предводителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова поднять на недосыгаемо высокий пьедестал.

Но не только это сообщает ее статью подлинную новизну.

Концепцию, заимствованную у А. Беллинкова и Н. Я. Мандельштам, она сильно трансформировала, внося в нее по настоящему оригинальный, а главное очень личный мотив.

2

У каждого из помянутых мною литераторов, обрушивших свой не совсем праведный гнев на Ильфа и Петрова, был для этого свой побудительный толчок, свой стимул.

Белинков был одержим слепой ненавистью ко всем официально признанным советским литераторам. Он был уверен, что к ним ко всем без всякого различия применима яростная формула Мандельштама: «Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю...» (О. Мандельштам «Четвертая проза»).

А если кто-нибудь пытался осторожно внушить ему, что некоторые из официально признанных удостоились этого признания по недосмотру властей предержавших и потому никак не могут быть отнесены к категории продавшихся, что, рассуждая о литературе целой эпохи, следует к каждому художнику и каждому художественному явлению подходить индивидуально, Аркадий неизменно отвечал с каким-то почти садистским сладострастием:

— Но я не хочу рассуждать! Я хочу глумиться!

У Н. Я. Мандельштам такого сладострастного стремления глумиться не было. Но у нее было другое. По причинам, объяснять которые вряд ли есть нужда, она часто бывала несправедливой, судила о современниках надменно, не без основания считая судьбу Мандельштама (а тем самым и свою) уникальной и потому дающей ей право на это высокомерие. Мало для кого из современников Мандельштама нашла она добрые слова. Даже о лучших из них говорила пренебрежительно, свысока:

«Хорошие люди, вроде Тынянова, занимались мелким изобретательством. Пастернак сочинял поэмы. Все самоутверждались и, как актеры, играли придуманную для себя роль...»

«Зощенко сохранял иллюзии... Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газам, после войны — псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ...» (Надежда Мандельштам «Воспоминания»).

Не найди добрых слов для Зощенко и

Пастернака, могла ли она найти их для Ильфа и Петрова?²

М. Каганская, вероятно, просто поверила — то ли Белинкову, то ли Надежде Яковлевне, а скорее всего им обоим. Они, так сказать, открыли ей глаза.

Ну, а что касается М. Попова — тут дело обстоит еще проще. Некогда был он советским писателем и соответственно высоко ценил все советское. Оказавшись в эмиграции, он стал писателем антисоветским и по естественной логике вещей тут же проклял все советское. (Даже на Булата Окуджаву, песнями которого прежде восхищался, вылил ведро помоев.)

Этот психологический феномен еще в давние времена был отмечен известным анекдотом. Два еврея решили креститься. Тот, кто еще не успел совершить обряд, спрашивает у того, кто уже совершил его: «Хаим! Вода холодная?» Новообращенный реагирует соответственно своему новому статусу: «А пошел ты, жидовская морда!»

К Людмиле Сараскиной этот анекдот, разумеется, никакого отношения не имеет. Во-первых, у нас нет ни малейших оснований утверждать, что романы Ильфа и Петрова раньше ей нравились, а потом вдруг разонравились. А во-вторых, у нее для антипатии к этим романам были свои, особые причины. У нее к Ильфу и Петрову — свой, личный счет.

Она на них обиделась за Достоевского. Основная идея ее статьи сводится к тому, что Ильф и Петров радостно и даже с некоторым сладострастием выполняли главный социальный заказ эпохи. Суть же этого заказа состояла в том, чтобы (тут она цитирует одну из идеологических установок того времени) «преодолеть Достоевского, разоблачить иллюзорность возведенной им художественно-идеологической системы, вскрыть внутреннюю бедность того идеала, который он в конце концов в результате мучительных исканий противопоставил сияющему идеалу социализма...»

² Самому Мандельштаму это высокомерие, кстати говоря, было совсем не свойственно. Сознание уникальности своей судьбы — было. «Я один в России работаю с голосом, а вокруг густопсовая сволочь пишет», — вырвалось у него в «Четвертой прозе». Но там же: «У нас есть обилья труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценко... А я требую памятников для Зоценко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем Саду». И первую книгу Ильфа и Петрова он тоже успел заметить и оценить: «...Приведу совсем уже позорный и комический пример «незамечания» значительной книги, — писал он в статье «Веер герцогини», написанной в 1929 году. — Широчайшие слои сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов Ильфа и Петрова, называемой «Двенадцать стульев». Единственным отзывом на этот брызжащий весельем памфлет были несколько слов, сказанные Бухаринином на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна. Доберутся, конечно, и до нее и отбредут как следует». Последняя фраза, как мы знаем, оказалась пророческой.

Задача такая перед «работниками идеологического фронта» и в самом деле была поставлена. Правда, поставлена она была перед историками литературы, филологами, литературоведами, и не совсем понятно, с чего бы это вдруг за выполнение этой узкой и весьма специфической задачи с совершенно необъяснимым рвением взялись сатирики, взгляд которых, казалось бы, всегда был направлен на совсем другие стороны окружающей их реальности.

Сараскина легко находит ответ и на этот невольно возникающий вопрос. Ильф и Петров, оказывается, взялись за выполнение этой задачи, потому что были лучше к ней подготовлены. «Литераторы, обслуживающие режим, — пишет она, — «мобилизованные и призванные» революцией, бросились выполнять эту задачу, стараясь порой даже не знакомиться с первоисточником, чтобы невзначай из него не отравиться... Но среди революционных критиков первого призыва были первоклассные, как мне кажется, знатоки «архискверного» Достоевского...»

Именно такими «первоклассными знатоками» Достоевского, по ее мнению, оказались Илья Львович Ильф (Файнзильберг), закончивший в 1913 году техническую школу и работавший после ее окончания в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе, а потом статистиком, и Евгений Петрович Петров (Катаев), бывший до того, как стать профессиональным литератором, инспектором уголовного розыска.

Среди многочисленных псевдонимов, под которыми выступали молодые Ильф и Петров в сатирическом журнале «Чудак», Л. Сараскина выделяет один: Ф. Толстоевский. В отличие от всех прочих их литературных имен, как она говорит, «простодушных и непритязательных», в этом выбранном ими прозвище «просматривалось намерение, созвучное настроениям эпохи, — освободиться от угнетающего авторитета корифеев». То обстоятельство, что в звучании этого «кентавра», составленного из фамилий двух корифеев отечественной словесности, имя Толстого слышится гораздо отчетливее, чем имя Достоевского, Сараскину не смущает. С этой трудностью она справляется легко. «Внимание соавторов к дореволюционным классикам, «мещанам и злым врагам жизни», как окрестил их Горький, — уверяет она, — распределялось отнюдь не поровну. Львиная доля относилась к гораздо более «вредному» Достоевскому».

Никаких свидетельств в пользу того, что, выбирая этот свой псевдоним, Ильф и Петров руководствовались знаменитой дореволюционной статьей Горького, разоблачающей «мещан» Толстого и Достоевского, разумеется, нет. С равным основанием можно утверждать, что, подписывая некоторые свои фельетоны псевдонимом «Дон Бузилио», молодые сатирики ставили перед собой злостную цель

дискредитировать оперу Россини «Севильский цирюльник».

Вернемся, однако, к Достоевскому, «первоклассными знатоками» творчества которого якобы были молодые литераторы, легкомысленно, не думая о последствиях этого беспечного шага, придумавшие себе псевдоним «Ф. Толстовский».

«Надо отдать должное начитанному Ф. Толстовскому, — приступает к докладу главному своему тезису Л. Сараскина, — «он», зная Достоевского отменно, ударял по вершинным точкам творчества опального писателя и как бы демонстрировал нищету и убожество его художественной идеологии. «Идейный Никудыкин» — так назывался ранний (1924 г.) рассказ Е. Петрова, герой которого, Вася Никудыкин, своего рода черновой набросок Васисуалия Лоханкина, совмещал черты известнейших «достоевских» персонажей. «Долой штаны и долой юбки! Мы все выйдем на улицы и площади без этих постыдных одежд!.. Мы будем останавливать прохожих и говорить им: «...Вы должны оголиться!» — так проповедовал идейный Вася Никудыкин, передавая героев «Бобка», и, попав в ситуацию, лишенную философского флера, твердил ключевую фразу из «Сна смешного человека»: «И пойду, и пойду...»

Прежде чем заглянуть в рассказ «Идейный Никудыкин», чтобы убедиться в совершенной — мягко говоря — необоснованности всех этих литературоведческих домыслов, хочу обратить внимание читателя на тот факт, что рассказ этот был написан не «Ф. Толстовским», то есть не двумя соавторами, а одним только Е. Петровым. Написан он был в 1924 году, когда Евгению Петровичу только только пошел двадцать первый год. Всего лишь за год до этого он приехал в Москву из Одессы, где, как уже было сказано, работал инспектором уголовного розыска:

«Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске, в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал. Он остался один, не успев даже окончить гимназию... Где-то в степях Новороссийска он гонялся на обывательских лошадях за бандитами...» (Валентин Катаев «Алмазный мой венец»).

Приехав в Москву — «уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, — сообщает далее о своем младшем брате Катаев, — он решил поступить на службу. Но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в Московский уголовный розыск, где ему предложили место — как вы думаете где? — не больше не меньше как в Бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении».

От такой перспективы старший брат, естественно, пришел в ужас.

Забывая о будущем младшего брата, он стал уговаривать его бросить это жуткое занятие и заняться каким-нибудь более «чистым» и высокооплачиваемым трудом. Например, журналистикой. Посоветовал ему написать что-нибудь на пробу. Но тот не соглашался. И чем больше старший настаивал, тем сильнее младший упирался:

«— Но почему же?

— Потому что я не умею, — почти со злобой отвечал он.

— Но послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать?

— Что именно?

— Бог мой, ну что-нибудь...»

О том, с помощью каких сложных и хитроумных уловок старший брат все-таки сделал из младшего фельетониста, желающие могут прочесть в книге В. Катаева «Алмазный мой венец». Ограничусь лишь тем, что процитирую еще несколько строк, завершающих эту драматическую историю:

«Брат оказался мальчишкой сообразительным и старательным, так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров: писал фельетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах, давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, навещаясь в «Гудок», сдал казенный наган в Московское отделение уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнил, брился и стригся в парикмахерской с оделоном...» и т. д.

Я позволил себе эту довольно длинную выписку из книги старшего брата Евгения Петрова для того, чтобы читатель в свете всех этих фактов сам, положив руку на сердце, ответил на вопрос: велика ли вероятность, что изображенный здесь молодой человек читал «Бобок» и «Сон смешного человека»? А если даже и читал и если даже и остались у него об этих сочинениях Ф. М. Достоевского какие-то смутные воспоминания, можно ли всерьез утверждать, что он, «зная Достоевского отменно, ударял по вершинным точкам творчества опального писателя»?

Впрочем, это тоже лишь домыслы.

Обратимся все-таки непосредственно к самому рассказу Евгения Петрова «Идейный Никудыкин», появившемуся в № 21 юмористического журнала «Красный перец» за 1924 год:

«Вася Никудыкин ударил себя по впадой груди кулаком и сказал:

— К черту стыд, который мешает нам установить истинное равенство полов!.. Долой штаны и долой юбки!.. К черту тряпки, прикрывающие самое прекрасное, самое изящное, что есть на свете, — человеческое тело!.. Мы все выйдем на улицы и площади без этих постыдных одежд!.. Мы будем останавливать прохо-

жих и говорить им: «Прохожие, вы должны последовать нашему примеру! Вы должны оголиться!» Итак, долой стыд!.. Уррррра!..

— И все это ты врешь, Никудыкин. Никуда ты не пойдешь. И штанов ты, Никудыкин, не снимешь, — сказал один из восторженных почитателей.

— Кто? Я не сниму штанов? — спросил Никудыкин упавшим голосом.

— Именно ты. Не снимешь штанов.

— И не выйду голым?

— И не выйдешь голым.

Никудыкин поблдевел, но отступление было отрезано.

— И пойду, — пробормотал он уныло, — и пойду...

Прикрывая рукой большой синий чирый на боку, Никудыкин тяжело вздохнул и вышел на улицу».

Далее события разворачивались следующим образом.

Никудыкин таскался в голом виде по улицам в надежде, что его появление вызовет бурю. Но прохожие спешили по своим делам, не обращая на отважного «демонстранта» никакого внимания. Тогда, чтобы привлечь к себе внимание толпы, он решил влезть в трамвай. Строгий кондуктор потребовал, чтобы он взял билет. Никудыкин ткнул рукой в то место, где у нормальных людей бывают карманы, но наткнулся на свой чирый. Началась перебранка, в результате которой Никудыкина из трамвая выперли. Но отнюдь не за то, что он выступал с лозунгами против ложного стыда, и не потому, что влез в трамвай в чем мать родила, а всего лишь оттого, что норовил проехать без билета.

Очутившись на мостовой, голый Никудыкин попытался еще раз «сделать демонстрацию». Но и тут был понят превратно. Какой-то прохожий деловито сунул в его ладонь гривенник и строго сказал:

— Работать надо, молодой человек, а не груши околачивать! Тогда и штаны будут... Работай и не будешь голый!..

Вот, собственно, и весь рассказ.

Заключает его эпическая фраза: «Ночевал Никудыкин в милиции».

Могут ли быть какие-нибудь сомнения насчет того, куда направлено, как любил говорить в таких случаях Михаил Зощенко, жало художественной сатиры? «Соль» рассказа (если допустить, что в нем есть хоть какая-то соль) состоит в том, что Вася Никудыкин ощущает себя героем, готовым пострадать за свои убеждения, но никто его героизма даже и не замечает. И даже в милицию он попадает отнюдь не как страдающий за свои убеждения «диссидент», а потому, что его принимают за побирушку, промышленного подаянием сердобольных прохожих, жалеющих человека, не умеющего заработать даже на пару штанов.

Подоплека же этого сюжета такая.

В 20-е годы существовало общество «Долой стыд». Члены этого общества и в самом деле предприняли несколько

попыток прогуляться по Москве нагишом. Никто их не трогал и разгуливать в таком отвлеченном виде не запрещал. Реакция «властей» на эти демонстрации ограничилась выступлением в печати наркома здравоохранения Н. А. Семашко. Нарком гулять нагишом не рекомендовал. Не по каким-нибудь там идеологическим или моральным мотивам, а потому, что «неподходящий климат, слишком низкая температура Москвы грозит здоровью населения, если оно увлечется идеями общества». Быть может, именно это соображение наркома побудило автора рассказа выпустить голого Никудыкина на улицу не в погожий летний день, а в холод и дождь:

«Накрапывал колючий дождик.

Корчась от холода и переминаясь кривыми волосатыми ногами, Никудыкин стал пробираться к центру...»

А может быть, остроумная мысль заставить своего героя дрожать от холода пришла Евгению Петрову и самостоятельно, независимо от рекомендаций наркома. Надеемся, что будущие исследователи творчества Евгения Петрова более точно установят генезис этой замечательной «художественной находки». Одно могу сказать с уверенностью. Статья наркома Семашко в любом случае даст им больше материала для всякого рода интересных наблюдений и сопоставлений, нежели сочинения Ф. М. Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека», упоминаемые в этой связи Л. Сараскиной.

Чтобы продемонстрировать всю вздорность предположений Сараскиной, будто этот, в сущности, довольно пустяковый фельетон представляет собой пародию на «вершинные точки» творчества Достоевского, достаточно было просто отослать читателя к этим двум сочинениям классика. Перечитав их (или просто вспомнив, о чем там идет речь), каждый мало-мальски здравомыслящий читатель с легкостью убедился бы, что ни намерения Васи Никудыкина, ни поступки его, ни лозунги, ни — тем более! — злополучная реплика: «И пойду!» — с л у ч а й н о совпавшая с «ключевой фразой» из «Сна смешного человека», ну решительно ничего общего с намерениями, поступками, душевными терзаниями и душевными изъятиями героев Достоевского не имеют и иметь не могут.

Быть может, в этом можно было бы убедить читателя даже и еще более простыми средствами, не затрачивая на доказательство столь очевидной истины так много усилий и так много драгоценной по нынешним временам журнальной площади. Но я все-таки осмелился чуть дольше, чем это было необходимо, задержаться на этом «сюжете» внимание читателя, потому что тут, как мне кажется, с наибольшей наглядностью проявился самый механизм всех построений Людмилы Сараскиной, вся, так сказать, методология предпринятого ею разоблачения. Система доказательств «антидостоев-

ской» направленности двух главных романов Ильфа и Петрова сделана по той же мерке, по какой «белыми нитками» сшито дело несчастного Васи Никудыкина, в смутных чертах которого исследовательница, уж не знаю почему, ухитрилась увидеть «черновой набросок Вассисуалия Лоханкина».

3

Прекрасно понимая, что на одном «Идейном Никудыкине» концепции не построишь и даже мало-мальски приличного компромата не соберешь, Сараскина резонно замечает:

«В конце концов сатириков Ильфа и Петрова знает весь мир не по газетным фельетонам, а по знаменитой дилогии «Двенадцать стульев» — «Золотой теленок». Где там Достоевский?»

В самом деле — где?

Обнаружить в пестром калейдоскопе персонажей двух знаменитых романов карикатуру на Достоевского и в самом деле непросто. Это, пожалуй, даже потруднее, чем на знаменитой загадочной картинке «найти охотника». Картинку придется вертеть и так, и эдак... Но при той, уже знакомой нам методологии, которую Сараскина разработала для себя, рассуждая о рассказе «Идейный Никудыкин», задача эта оказывается уже не такой сложной. Вот, скажем, есть у Достоевского в его знаменитом романе «Бесы» глава «У наших», где изображается тайная сходка сподвижников Петруши Верховенского. И в «Двенадцати стульях» тоже описывается тайная сходка, созданная по инициативе Остапа Бендера. Мало того! Собирая будущих заговорщиков, Остап задает вопрос: «НАШИХ в городе много?» Смекаете? У Достоевского — НАШИ, и тут тоже — НАШИ.

Эта плодотворная дебютная идея наталкивает автора исследования на такую смелую догадку:

«Может быть, лавры знаменитого романа и его центральная сцена «У наших» особенно вдохновляли сатириков, и они создают для мошенников советского времени свой эквивалент тайной сходки. «НАШИХ в городе много?» — спрашивает Остап Бендер, как бы закрепляя ассоциацию. «Вы, надеюсь, КИРИЛЛОВЕЦ?» — намекает он...»

Совершенно очевидно, что, вкладывая в уста Остапа вполне естественную в описываемой ситуации реплику насчет «наших», авторы «Двенадцати стульев» даже и не думали «закреплять ассоциацию» с «Бесами». (С гораздо большим основанием мы могли бы обвинить в этом сегодня А. Невзорова, который, быть может, и «Бесы»-то никогда не читал, но словом «наши» пользуется куда как чаще, чем Остап Бендер.) Что же касается другой реплики Остапа («Вы, надеюсь, КИРИЛЛОВЕЦ?»), в которой Сараскина, по-видимому, усматривает намек на одного из героев «Бесов», тут, как сказал бы поэт, ясно даже и ежу, что авто-

ры романа имели в виду отнюдь не КИРИЛЛОВА (который у Достоевского), а — КИРИЛЛА, великого князя, отца ныне покойного Владимира Кирилловича. Как раз в то время он объявил себя «Главой Российского Императорского Дома», расколов этим своим заявлением стройные ряды русских монархистов: кто-то из них считал притязания Кирилла законными, кто-то же, наоборот, предпочитал ему другого претендента. Многозначительный вопрос Остапа показывал, что он в курсе всех этих эмигрантских разногласий, и служил как бы еще одним подтверждением его тайных полномочий.

В чем же еще можно усмотреть сходство «тайной сходки» у Ильфа и Петрова с «тайной сходкой» в «Бесах»?

А вот:

«В точном соответствии с распределением ролей в «Бесах» Великий Комбинатор т. Бендер наделяет подручного аристократа функцией инкогнито — «гиганта мысли, отца русской демократии и особы, приближенной к императору», а также приписывает ему особое поведение: «Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки... Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет» (вспомним: «...Вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны, — вот ваша роль... Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин... Побольше мрачности...»).

Сходство, по правде говоря, невелико. А если уж совсем честно, — никакого сходства тут нету и в помине. Но, как было сказано, ищите — и обрящете. Сараскина упорно ищет это несуществующее сходство ситуаций и — находит:

«Предельной сатирической трансформации подвергся один из основных «бесовских» мотивов — шпионизма и доносительства. Слухи, в провокационных целях пущенные о Шатове, стоили ему жизни — «наши» пошли на убийство, по-нуждаемые групповой дисциплиной и взаимными обязательствами. Общий грех совместного злодеяния так спаял пятерку, что следствие могло бы зайти в полный тупик, — если бы не Лямшин, который не выдержал. «Просидел он, однако, взаперти почти до полудня и — вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостойн целовать даже сапогов стоявших перед ним сановников». Так вот: члены эфемерного «Тайного союза меча и орала», не совершив ничего предосудительного, кроме денежного вклада «для детей-беспризорников», без всякого внешнего повода, понукаемые «внутренним голосом» и опережая друг друга, все как один явились к губернскому прокурору, повторив и приумножив «подвиг» Лямшина. И когда гражданин Кислярский, мучимый мыслью о своей принадлежности к тайному обществу, пришел наконец каяться, надеясь оказаться первым, он столкнулся с совершенной неожиданностью: «Письменный стол, за которым сидел прокурор, окру-

жали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем».

Помилуй Бог! Какое же тут сходство? В чем оно? «Наши» у Достоевского на самом деле совершили преступление. И еще какое — убийство! Члены «Меча и орала» невинны, как младенцы. Лямшин как-никак был заподозрен в причастности к совершенному преступлению и даже посажен в кутузку. Кислярский и вся его компания пришли самодоноситься сами: их никто ни в чем даже и не подозревал. Какие же тут основания утверждать, как это делает Сараскина, что, описывая сцену коллективного покаяния членов «Союза меча и орала», сатирики пародировали сцену из «Бесов», создавали, как она говорит, «карикатуру на карикатуру»?

Но если даже допустить, что коллективное самодоносительство членов «Союза меча и орала» в чем-то схоже с истерическим покаянием Лямшина, не прошли ли предположить, что в основе патологического страха Кислярского перед ГПУ и готовности Лямшина лизать жандармские сапоги лежит общность не литературных, а совсем других традиций — унаследованных и стократ приумноженных Советской властью традиций полицейского государства?

Что же касается главных героев «Двенадцати стульев», то, сопоставляя их с главными героями «Бесов», Сараскина, конечно же, не могла не отметить, что Остап Бендер все-таки не похож на Петрушу Верховенского, а Ипполит Матвеевич Воробьянинов уж и вовсе решительно ничем не напоминает красавца Ставрогина. Но это несходство ей ничуть не мешает. Наоборот: помогает! Оказывается, тут-то как раз и зарыта собака! В том-то, оказывается, и фокус, что сама эта очевиднейшая, сразу бросающаяся в глаза, безусловная, не вызывающая сомнений непохожесть персонажей Ильфа и Петрова на героев Достоевского, именно она-то как раз и служит самым наглядным и убедительным подтверждением обоснованности подозрений Людмилы Сараскиной насчет тайных намерений авторов «Двенадцати стульев». Ведь именно благодаря этому несходству мы (цитирую):

«...можем увидеть, как потускнело, постарело, пообтрепалось блиставшее некогда аристократическое окружение, во что превратился красавец барин, «герой-солнце», искуситель, соблазнитель и демон Ставрогин. И как не похож на него бывший дворянский предводитель, а ныне скромный служащий уездного загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов, который пустился-таки в авантюру, связался с мошенником, поддался его шантажу и стал невольным, вынужденным компаньоном. Как снизился, девальвировался сам сговор-торг, каким инфляциям подверглись таинственные, полные мистики слова Петруши, обращенные к Ставрогину: «Почему, почему вы не хотите? Бойтесь?»

Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен? Теперь они звучали пошло и буднично: «Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость».

Любопытно, что, начав с предположительного «может быть», Сараскина очень скоро забывает, что поначалу предлагала нам всего лишь смелую гипотезу. Теперь дело ей представляется уже иначе.

Уже не предположительно, а как о несомненном факте сообщает она, что слова, обращенные Остапом к Ипполиту Матвеевичу, — это те же самые слова, с которыми Петруша Верховенский обращался к Ставрогину. Вся разница лишь в том, что раньше они были «полны мистики», а теперь звучат «пошло и буднично». А уж в том, что сам Ипполит Матвеевич — это не кто иной, как Ставрогин, и вовсе не может быть ни малейших сомнений. Непохож? Так тем более! Ведь задача глумливых сатириков в том и состояла, чтобы показать, как низко пал, облез, вырожден, в какое жалкое и убогое существо превратился блистательный герой Достоевского:

«...опошлена «тайна», фальшивой краской испорчено благородство облика, непролазной бедностью испохаблены утонченные когда-то манеры и привычки...»

Следуя этой логике, с не меньшим основанием можно было бы предположить, что Ипполит Матвеевич Воробьянинов — пародия на Онегина, или на Печорина, или — еще того лучше! — на старого князя Болконского, который, строя куры мадемуазель Бурьенн, добился большого успеха, чем бывший старгородский лев в своей попытке соблазнить Лизу Калачову.

Будь Сараскина пушкиноведом, лермонтоведом или специалистом по Толстому, она, надо полагать, именно это и доказывала бы. Но ее специальность — Достоевский. Отсюда и эта ее святая уверенность, что читателями 20-х годов чуть ли не каждый персонаж Ильфа и Петрова воспринимался как злая карикатура на какого-нибудь героя Достоевского.

К некоторым другим персонажам «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» мы еще вернемся. Что же касается Ипполита Матвеевича Воробьянинова, то он читателям 20-х годов скорее всего напоминал (во всяком случае, некоторыми чертами своего облика) героя совсем иной книги.

В январе 1927 года в Берлине, в издательстве «Медный всадник», вышла в свет книга «Три столицы», в которой ав-

тор ее, известный белоэмигрант, монархист В. В. Шульгин, рассказывал о своей тайной поездке в СССР. Книга эта наделала тогда много шума, и молодые авторы «Двенадцати стульев», как раз в то время сочинявшие свой первый роман, конечно, ее читали. Железный занавес тогда еще не был воздвигнут, и книги эмигрантских авторов в Советском Союзе в ту пору были куда более доступны, чем даже во времена самого широкого распространения «тамиздата», когда этот уже дряхлеющий занавес стал терять свою былую герметичность.

Говорить о том, что книга Шульгина была Ильфу и Петрову знакома не понаслышке, можно не предположительно, а с полной уверенностью, потому что некоторые яркие подробности тайного путешествия В. Шульгина переключались на страницы «Двенадцати стульев», подвергшись лишь самой минимальной «творческой переработке».

Так, например, фальшивый паспорт на имя Конрада Карловича Михельсона, который раздобыл для Ипполита Матвеевича Воробьянинова Остап Бендер, наверняка был изготовлен тем же способом, каким был изготовлен фальшивый паспорт на имя Эдуарда Эмильевича Шмитта, которым пользовался в своем тайном путешествии по Союзу Василий Витальевич Шульгин.

Конечно, то, что у Воробьянинова, как и у Шульгина, его новое конспиративное имя, отчество и фамилия оказались немецкими, могло быть и случайным совпадением. Но вот совпадение, которое простой случайностью уже не объяснишь:

«Он вышел с кастрюлечкой, в которой шевелилось нечто бурое. Это бурое он стал поспешно кисточкой наносить на мои усы и острую бородку. День был серый, кресло в глубине комнаты, и в зеркале было не особенно видно, как выходит. Намазавши все, он вдруг закричал:

— К умывальнику!

В его голосе была серьезная тревога. Я понял, что терять времени нельзя. Бросился к умывальнику.

Он пустил воду и кричал:

— Трите, трите!..

Я тер и мыл, поняв, что что-то случилось. Затем он сказал упавшим голосом:

— Довольно, больше не отмоете...

Я сказал отрывисто:

— Дайте зеркало...

И подошел к окну, где светло.

О, ужас!.. В маленьком зеркальце я увидел ярко освещенную красно-зеленую бородку...» (В. Шульгин «Три столицы»).

С Ипполитом Матвеевичем приключилась точь-в-точь такая же история. Даже цвет бородки совпадает: и там и тут зеленый.

Совпадение на этом не кончается. Бородка Шульгина подверглась вторичной обработке, после чего «из зеленой она стала лиловой... лилово-красной». То же случилось и с Ипполитом Матвееви-

чем. С той только — прямо скажем, несущественной — разницей, что у него бородка и усы после вторичной обработки окрасились «в краски солнечного спектра».

Но и это еще не все:

«Что было делать? Единственный исход! Надо было сбрить к черту всю эту мазню. Я сказал коротко:

— Режьте!..

— И усы?

— И усы!..

Нельзя же было оставить лиловые усы!..

Машинка заиграла, и лиловые перья, как листья в сентябре, падали вниз» (В. Шульгин «Три столицы»).

У Ильфа и Петрова эта драматическая сцена слегка оживлена неиссякаемым юмором великого комбинатора:

«— Таких усов, должно быть, нет даже у Аристиды Бриана, — бодро заметил Остап, — но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить!..

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол».

Из всего этого с очевидностью следует, что Ипполит Матвеевич Воробьянинов скорее уж был пародией на Шульгина, нежели на Ставрогина. Догадка эта представляется мне тем более обоснованной, что Шульгин ведь и в самом деле был, во всяком случае в какой-то мере, «особой, приближенной к императору». Ведь это не кто иной, как он, принял из рук Николая Второго текст его отречения от престола.

Я далек от того, чтобы утверждать, будто вся фигура бывшего предводителя дворянства представляет собой пародию на Шульгина или еще на какого-нибудь конкретного деятеля той эпохи. Я говорю лишь о том, что в романе Ильфа и Петрова действительно присутствуют элементы пародии на некоторые ситуации, описанные Шульгиным. Как, впрочем, и другие, даже и еще более очевидные пародийные элементы.

Мне уже случалось отметить однажды, что едва ли не каждая страница знаменитой дилогии Ильфа и Петрова несет на себе отчетливые следы пародии³. Читая «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», мы то и дело наталкиваемся на ситуацию, или фигуру, или даже просто отдельную реплику, отрывочную фразу, которые что-то или кого-то пародируют.

Так, например, текст телеграммы Остапа Бендера подпольному миллионеру Корейко — «Графиня изменявшимся лицом бежит пруду» — взят из телеграфного сообщения корреспондента газеты «Речь» о некоторых обстоятельствах, сопутствовавших уходу Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Не дочитав оставленного мужем письма, Софья Андреевна побе-

³ Б. Сарнов. Тень, ставшая предметом. В кн. «Советская литературная пародия», т. 1, М., 1988.

жала к пруду, в котором накануне утонули две девушки, и кинулась с мостков в воду, чтобы утопиться. Ее с трудом вытащили дочь Александра, студент Булгаков, лакей Ваня и повар. Вот об этом то поваре и говорилось в телеграмме: «Увидавший повар побегал дом сказать: графиня изменившимся лицом бежит пруду» («Смерть Толстого: по новым материалам». М., 1929).

И тут надо сказать, что среди множества крупных и не слишком крупных фигур, так или иначе спародированных Ильфом и Петровым в их романах, был и Достоевский.

В той моей статье — там, где речь шла о пародийной подоплеке многих страниц диалогии Ильфа и Петрова — главная роль была отведена как раз пародии на Достоевского. Объектом пародии в том описанном мною случае явилась книга «Письма Ф. М. Достоевского к жене» (Центрархив, 1926), вышедшая в свет как раз в то время, когда Ильф и Петров сочиняли свой первый роман.

«Листая эту книгу, — писал я, — я обратил внимание на то, что одно из писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне подписано — «Твой вечно муж Федя». Естественно, я сразу вспомнил комическую подпись под письмом отца Федора к жене: «Твой вечно муж Федя». Совпадение, разумеется, не могло быть случайным. Перечитывая письма Достоевского под таким — не скрою, совершенно новым для меня — углом зрения, я без труда установил, что сходство на этом отнюдь не кончается. Постоянный лейтмотив писем отца Федора («Вышли денег...», «Продай пальто брата твоего булочника и срочно вышли...», «Продай все, что можешь, и немедленно вышли!..») почти дословно совпадает с постоянными просьбами Достоевского к жене. Совершенно так же, как Достоевский, отец Федор в письмах то и дело жалуется на дороговизну, сообщает, сколько приходится платить за номер в гостинице, как удается ему экономить буквально на каждой мелочи. (Достоевский пишет, что перестал ходить обедать в трактиры, а готовит дома — так выходит дешевле, да и вкуснее. Отец Федор сообщает жене, что сам стирает себе белье, а утром надевает его на себя еще влажным, непросохшим. «Но в такую жару, — оптимистически замечает он, — это даже приятно».)

Есть и более прямые совпадения...»

Не буду утомлять читателя примерами этих «более прямых совпадений», приводившихся в той моей статье. Скажу только, что было их действительно много и что каждый из этих примеров в отдельности, а тем более все они вместе взятые не оставляли сомнений в том, что перед нами — действительно пародия, и не на кого иного, как на Ф. М. Достоевского.

Весь этот «сюжет» Л. Сараскина аккуратно перенесла в свою статью. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Мож-

ла она разве пройти мимо такого бесспорного подтверждения справедливости главного своего постулата! Я бесконечно далек от того, чтобы упрекать Л. Сараскину в присвоении моего «открытия». Упрекаю я ее совсем в другом: в том, что даже из этого наблюдения она сделала совершенно неверные выводы.

Доказывая, что переписка отца Федора с супругой в романе Ильфа и Петрова представляет собой очевидную пародию на письма Ф. М. Достоевского жене, я так комментировал это свое предположение:

«Для юмориста, для сатирика, как давно известно, нет ничего «святого». Примером тому может служить художественный опыт самого Достоевского.

В «Идиоте» генерал Иволгин рассказывает о Лебедеве, который уверяет, будто потерял левую ногу и «ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище», и говорит, что поставил над нею памятник с надписью с одной стороны: «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева», а с другой: «Покойся, милый прах, до радостного утра».

Ю. Н. Тынянов обратил внимание на то, что этот ёрнический пассаж представляет собой отражение в «кривом зеркале» пародии подлинного и трагического факта из жизни самого писателя: «Андрей Михайлович Достоевский вспоминает о памятнике над могилою матери: «Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра». И эта прекрасная надпись была исполнена» (Ю. Тынянов. «Достоевский и Гоголь: К теории пародии», М., «Опояз», 1921).

Моя нехитрая мысль состояла в том, что стремление Ильфа и Петрова пародировать частную переписку великого писателя, хоть оно и отдает, мягко говоря, непочтительностью к памяти гения, не должно нас коробить. Оно не должно нас особенно коробить по той простой причине, что вызвано это стремление было не какими-то злонамеренными (скажем, продиктованными «социальным заказом», как считает Сараскина) целями, а с а м о й п р и р о д о й их художественного дара.

Художник сатирического дарования, сатирического склада и н с т и н к т и в н о исходит в своем творчестве из того, что «смеяться, право, не грешно, НАД ВСЕМ, что кажется смешно».

О том, что пародийные стрелы авторов «Двенадцати стульев» вовсе не были нацелены в какую-то одну мишень, что мишенью сатириков могло стать — и становилось! — ВСЕ, ЧТО УГОДНО, независимо от какого бы то ни было «социального заказа», ярко свидетельствует, быть может, самая язвительная из всех пародийных сцен романа: описание

спектакля, поставленного «ультра-левым» режиссером Ник. Сестриним по «Женитьбе» Гоголя. Пародийная афиша («Текст Н. В. Гоголя, стихи — М. Щершеляфамова, литмонтаж — И. Антиохийского, музыкальное сопровождение — Х. Иванова, автор спектакля — Ник. Сестрин...») явно намекала на В. Э. Мейерхольда, который часто именовал себя в афишах «автором спектакля». (Так, например, в афише спектакля «Горе уму» значилось: «Комедия А. С. Грибоедова, автор спектакля В. Э. Мейерхольд».)

Мейерхольд в те времена вовсе еще не был гонимым, преследуемым. Совсем напротив! Он был признанным вождем «Театрального Октября», удостоенным всех мыслимых и немыслимых наград, постоянно прославляемым, чуть ли не единственным признанным мэтром нового, революционного искусства. Именно в 1926 году, когда молодые Ильф и Петров задумывали и сочиняли свой роман, театр, руководимый Мейерхольдом, стал официально именоваться Государственным Театром имени В. Э. Мейерхольда.

Для сервильных (даже репильных) литераторов, какими Сараскина изображает Ильфа и Петрова, фигура Мейерхольда должна была стать неприкосновенной. Но в том-то вся и штука, что сатириками они были «не корысти ради», а «токмо волею» от Господа Бога доставшегося им художественного дара. Сама природа этого дара побуждала и даже вынуждала их — точно по поговорке — ради красного словца не щадить родного отца.

Нельзя сказать, чтобы Л. Сараскина так-таки уж совсем игнорировала эту особую природу дарования молодых сатириков. Не отрицает она и их несомненной талантливости. Она даже снисходительно похваливает их за то, что они не загубили свой дар до конца и — более того! — удостаивает их в этом смысле аналогом с самим Достоевским:

«...Достоевский, которого сто лет подряд злобно шпыняли за его обращение к наследнику престола и якобы верно-подданное признание («Я, конечно, слуга царю»), роман о врагах престола написал безоглядно, повинувшись своему видению и мироощущению, никем не ангажированному».

Может быть, и «Двенадцать стульев» остаются живым и увлекательным чтением благодаря тому, что идейная установка не властвует здесь безраздельно, что остроумные циники и нигилисты Ильф и Петров, подчиняясь порой букве закона, не восприняли его дух и не погубили свой дар».

Этот снисходительный тон продиктован не столько естественной жаждой справедливости, сколько ясным пониманием того несомненного факта, что даже и сегодня, когда беспощадно выкидываются на помойку все мнимые (впрочем, и не только мнимые) ценности минувшей

эпохи, у Ильфа и Петрова скорее найдутся защитники, чем у какого-нибудь Фадеева или даже Катаева.

«Я достаточно хорошо представляю себе, — говорит она, — ученого-ильфоведа» или читателя, которые примутся «защищать» от меня Ильфа и Петрова. Я и сама знаю все аргументы этой защиты и, наверное, сумела бы их правильно выстроить. Да, «все равно они талантливы», да, «они писали очень смешно», да, «не следует смешивать Божий дар с яичницей». И т. д.

Я ни в коей мере не могу претендовать на сомнительную честь именовать себя «ученым-ильфоведом». По правде говоря, я даже и сам склонен с той же жалостливой иронией, что и Сараскина, отнестись к тем будущим защитникам Ильфа и Петрова, портрет которых она так выразительно нарисовала. Но в отличие от нее, я полагаю, что у Ильфа и Петрова найдутся и другие «защитники», поумнее этих.

Уверенность Людмилы Сараскиной в том, что ей наперед известны все аргументы этой защиты, что она могла бы с легкостью их «правильно выстроить», — эта ее наивная уверенность говорит как раз о том, что сама она, по-видимому, весьма слабо представляет себе, что же на самом деле спрятано в «Двенадцати стульях».

5

О знаменитых романах Ильфа и Петрова писали и говорили многие. Но среди этих многочисленных отзывов один представляет, как мне кажется, совершенно особый интерес. Он принадлежит Владимиру Набокову.

Отзыв этот представляет особый интерес уже хотя бы потому, что суждения Набокова о собратьях по перу, все его литературные оценки обычно носят резко негативный характер. Больше того! Они почти всегда высокомерно презрительны.

Вот, например:

«Для меня рассказ или роман существует только, поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением... Все остальное, это либо журналистская дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну» (из послесловия к американскому изданию «Лолиты»).

Или:

«...Не знаю, кого сейчас особенно чтят в России — кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баблоней западной буржуазии. Зарубежные же русские запоем читают советские

романы, увлекаясь картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках или тем лирическим доктором с лубочно-мистическими поэмами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской, который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты» (из постскриптума к русскому изданию той же книги).

От человека, придерживающегося такого снобистского взгляда на признанных корифеев мировой и отечественной словесности, казалось бы, трудно, даже невозможно ожидать сколько-нибудь снисходительной оценки двух романов-фельетонов, ставших некогда бестселлерами. (Послесловие к русскому изданию «Лолиты», содержащее столь убийственную оценку «Тихого Дона» и «Доктора Живаго», было написано в 1965 году, когда громкая слава «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» была уже на ущербе.)

Тем большее изумление вызывает отзыв этого великого сноба об Ильфе и Петрове в его интервью Альфреду Аппелю (сентябрь 1967 г.). Пожалуй, не лишним будет отметить, что отзыв этот не был произвольной импровизацией. В примечании к своему интервью Аппель замечает: «Поскольку г. Набоков не любит говорить экспромтом, магнитофон не использовался: г. Набоков либо диктовал свои ответы, либо отвечал письменно».

Среди вопросов на литературные темы речь, естественно, зашла и о советской литературе. Набоков достаточно высоко оценил Андрея Белого и вполне пренебрежительно А. Н. Толстого («Он был довольно талантливым писателем, от которого осталось несколько рассказов или романов в жанре научной фантастики».) После этого последовал вопрос, что называется, на засыпку:

«Нравятся ли Вам какие-нибудь писатели, целиком относящиеся к советскому периоду?»

Ответ стоит того, чтобы привести его полностью:

«Были писатели, которые поняли, что если избирать определенные сюжеты и определенных героев, то они смогут в политическом смысле проскочить, другими словами, никто их не будет читать, о чем им писать и как должен оканчиваться роман. Два поразительно одаренных писателя — Ильф и Петров — решили, что если главным героем они сделают негодяя и авантюриста, то, что бы они ни писали о его похождениях, с политической точки зрения к этому нельзя будет придраться, потому что ни законченного негодяя, ни сумасшедшего, ни преступника, вообще никого, стоящего вне советского общества — в данном случае это, так сказать, герой плутовского романа, — нельзя обвинить ни в том, что он плохой коммунист, ни в том, что он коммунист недостаточно хороший. Под этим прикрытием, которое им обеспечивало полную независимость, Ильф и Петров, Зощенко и Олеша смогли опубли-

ковать ряд совершенно первоклассных произведений, поскольку политической трактовке такие герои, сюжеты и темы не поддавались».

Я привел это рассуждение не для того, чтобы с удовлетворением констатировать: вот, мол, смотрите, даже Набоков, высокомерно третировавший Бальзака, Горького, Томаса Манна, Хемингуэя, Фолкнера, Пастернака, не постеснялся назвать Ильфа и Петрова «поразительно одаренными писателями», а их романы — «совершенно первоклассными произведениями».

Интересно тут, на мой взгляд, совсем другое. То, что Набоков воспринял эти романы как создания художников, ухитрившихся каким-то чудом обеспечить себе полную независимость. Независимость не только от официальной цензуры, но и вообще от какого бы то ни было давления насквозь политизированного, тоталитарного общества.

Предложенное Набоковым объяснение разгадки этого «чуда» не кажется мне убедительным. Как мы знаем, в Советском Союзе не существовало таких героев, сюжетов и тем, которые не поддавались бы политической трактовке. Какую бы тему и какого бы героя ни выбрал себе художник, он ни в коем случае не мог быть застрахован от того, что его станут читать, о чем ему писать и предписывать ему, как должен оканчиваться его роман. (Я уж не говорю о том, что сама ограниченность свободного выбора героя и темы уже существенно ущемляет свободу творчества.) Однако в случае Ильфа и Петрова — как, впрочем, и в случае Зощенко — этот феномен действительно имел место. Этим писателям и в самом деле удалось в 20-е годы, как выразился Набоков, «в политическом смысле проскочить». Во всяком случае, читать, о чем и как они должны писать, их стали позже — в 40-е годы. Зощенко тогда был еще в расцвете сил, поэтому он испил свою чашу до дна. Ильфа и Петрова в то время уже не было в живых, поэтому удар был направлен не столько против них, сколько против издателей, осмелившихся включить «Двенадцать стульев» и «Золотого тельца» (в 1947 году) в юбилейную серию самых выдающихся произведений советской литературы.

Точности ради тут следует отметить, что и в 20-е годы Ильф и Петров никакими ухищрениями не могли обеспечить себе полную независимость. Хоть никто тогда еще и не учил их, как должен оканчиваться их роман, они и сами прекрасно понимали, что ни в коем случае он не может окончиться торжеством «жуликов», которым на протяжении всей книги читатель уже привык сочувствовать. Торжествовать — в той или иной форме — должно было новое общество, отбросившее этот «человеческий мусор» прочь со своего победного пути. В крайнем случае такого героя полагалось пе-

ревоспитать, на что, собственно, и намекает заключающая второй роман реплика Остапа Бендера: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется пере-квалифицироваться в управдомы». Реплика, не нарушающая стилистическую, художественную цельность романа, ни в малейшей степени не отдающая фальшью, поскольку всем и каждому было ясно, что «переквалифицироваться в управдомы» Остапу не светит, а если бы даже это ему и удалось, такая перспектива никого из читателей книги отнюдь не обрадовала бы.

Л. Сараскина исходит из того, что Ильф и Петров были ревностными поборниками коммунистической идеологии. «Предприимчивые и талантливые авторы, — уверяет она, — были... теми из литераторов, кто, во-первых, воспринял революцию горячо и восторженно, во-вторых, ревностно следил за ее успехами и, в-третьих, приравняв перо к мечу, сражался с ее врагами».

Она не упускает ни одного факта, ни одного свидетельства, которые могли бы служить подтверждением бесспорности этой ее версии. Приводит и знаменитую (шуточную) реплику Ильфа: «Полюбить советскую власть — это мало. Надо, чтобы советская власть тебя полюбила». И слова Е. Петрова, который «спустя пять лет после смерти друга... весьма проникновенно и с чувством полной ответственности писал», что Ильф был — «настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины... Он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему».

Не хотелось бы подозревать Евгения Петрова в неискренности, но сама стилистика этих суконных фраз внятно говорит о том, какова истинная цена всем этим «полагающимся по штату» дежурным заверениям в верности и преданности режиму.

Впрочем, несколькими страницами раньше Сараскина и сама дает нам понять, что пресловутая верность коммунистическим идеалам была для обоих соавторов лишь маской, что все это было чистой воды притворством.

«Тот факт, — пишет она, — что поприщем новых растиньков советской формации оказалась сатира, был исполнен глубоким практическим смыслом. С первых дней советской власти сатира стала самым приоритетным литературным жанром, всемерно поддерживаемым правительством и партией».

Что верно то верно. На словах «правительство и партия» всегда поддерживали сатиру, уверяя, что им — ну прямо позарез! — нужны Гоголи и Щедрины. На деле же, как было сказано в знаменитой эпитаграмме Юрия Благова, нужны им были «подобнее Щедрины и такие Гоголи, чтобы их не трогали».

Удивляет, впрочем, в этом рассуждении Людмилы Сараскиной не столько да-

же ее трогательная вера в то, что сатира для советской власти была «приоритетным жанром», всемерно этой властью поддерживаемым, сколько странно для профессионального литературоведа представление, будто писатель (настоящий, талантливый писатель) может по собственному произволу выбрать любой, наиболее выгодный для него в данный момент («приоритетный») жанр. Слово такой выбор может определяться чем-нибудь еще, кроме склада ума, характера дарования, сложного сочетания самых разных, но всегда индивидуальных особенностей личности художника.

Вдаваться в обсуждение вопроса — были Ильф и Петров искренними приверженцами коммунистической идеологии или «молодыми растиньками», служившими этой идеологии корысти ради, — я думаю, смысла не имеет. Это в данном случае совершенно неважно. Важно другое: то, что эта самая коммунистическая идеология совершенно не затронула живую основу их романов.

На всю дилогию, на оба романа, вкупе образующих солидный том, приходятся только две фразы, в которых отчетливо видна зависимость авторов от социального заказа. Это — финальный аккорд, заключающий их первый роман: «Крик его, бешеный, страстный и дикий, — крик простреленной навывлет волчицы, — вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал гложуть и в минуту зачах».

Особенно диссонирует тут со всем тоном романа уподобление Ипполита Матвеевича «простреленной навывлет волчице»: на протяжении всей книги читатель уже привык относиться к нему с известной долей добродушия и даже сочувствия. «Киса Воробьянинов» мог быть в наших глазах и жалок, и смешон, но никогда он не казался нам злобным и опасным хищником.

Во втором романе таким же, даже еще более резким диссонансом звучит фраза, относящаяся к участникам настоящего автопробега, промчавшимся мимо спрятавшихся на обочине дороги, чуть было не разоблаченных самозванцев:

«Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями».

Диссонанс этот усилен словом «жулики»: «Жулики пританлись в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну».

Если судить по всей строгости закона, они, конечно, жулики. Какие тут могут быть сомненья! Но как-то это слово коробит слух читателя, успевшего уже если не полюбить, то, во всяком случае, преисполниться искренней симпатией к милому, застенчивому Козлевичу, славному Шуре Балаганову, жалкому, несчастному Паниковскому и уж тем более — к их обаятельному «командору», велико-

му комбинатору. Я уж не говорю о том, что в этих сверкающих лаковыми крыльями лимузинах, символизирующих «настоящую жизнь», как в гоголевской тройке — Чичиков, сидят-то, небось, какие-нибудь там Польшаевы, Скумбревичи и прочие «Геркулесовцы», — подлинные и бесспорные хозяева этой «настоящей жизни».

Но это — так, к слову.

Главное же — то, что за вычетом этих двух-трех фраз на протяжении всей своей дилогии авторы совершенно свободны. Ни малейшее давление какого бы то ни было «социального заказа» там не ощущается. Они смеются над всем, что кажется им смешным. Мало того! За вычетом этих нескольких фраз на протяжении обоих романов они смеются над тем, что действительно заслуживает осмеяния.

Особенно ясно это можно увидеть, взглядевшись чуть пристальнее в фигуру Васисуалия Лоханкина. Да, конечно, Васисуалий Андреевич, с его «подозрительным по ямбу тоном», любимой книгой «Мужчина и женщина» и склонностью к иждивенчеству, — злая пародия на российского интеллигента. Но совсем не на того интеллигента, который упрямо противостоял человеконенавистническому режиму и удостоился за то высылки из страны на «корабле философов». (Этому у интеллигенту даже его традиционное народолюбие не помешало сохранить внутреннюю свободу, остаться независимым, не признать случившееся как некую историческую неизбежность.) В Лоханкине персонифицированы черты интеллигента как раз совсем другого, противоположного толка. Того, кто готов был принять и оправдать любое свинство, совершающееся в стране, в том числе и над ним самим. Объектом сатиры у авторов «Двенадцати стульев» тут стала не строптивость интеллигента, не исконно присущая ему жажда независимости, а прямо противоположная черта, к сожалению, многим российским интеллигентам тоже свойственная:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила...

(Борис Пастернак. «Высокая болезнь».)

Васисуалий Лоханкин, конечно, не был героем, он отнюдь не «горел во славу темной силы». Он всего лишь пытался увидеть в любых действиях этой темной силы «великую сермяжную правду». Но ведь пародия — она на то и пародия, чтобы заострить, окаринатурировать предмет, увидев даже и в том, что было подлинной трагедией, черты комические.

Пытаясь (подобно тому, как это делает Сараскина) в каждом предмете, ставшем для Ильфа и Петрова объектом сатирического осмеяния, разглядеть определенную прицельность, порожденную

социальным заказом, можно зайти очень далеко.

Взять хотя бы рассказанную Остапом историю гибели Вечного Жиды, зарубленного в 1919 году петлюровцами:

« — Жид? — спросил атаман с веселым удивлением.

— Жид, — ответил скиталец.

— А вот поставьте его к стенке, — ласково сказал куренной.

— Но ведь я же Вечный! — закричал старик.

Две тысячи лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить.

— Молчи, жидовская морда! — радостно закричал чубатый атаман. — Рубай его, хлопцы-молодцы!

И Вечного странника не стало...»

Можно решить, что жало этой художественной сатиры направлено против Петлюры. (Именно к такому выводу пришел один из слушавших рассказ Остапа журналистов.) Можно пойти дальше и обвинить авторов этой истории в стремлении поглумиться над христианством. Можно даже обвинить их в антисемитизме — как-то уж очень лихо, весело, без тени сочувствия «Вечному страннику» излагает историю его гибели ухмыляющийся Остап.

Но все объяснения такого рода — бесконечно далеки от понимания самой природы этого художественного феномена. Я бы даже сказал, от понимания его эстетической природы.

Подобно приятелю бухгалтера Берлагги, бывшему присяжному поверенному И. Н. Старохамскому, утверждавшему, что единственное место, где он может чувствовать себя свободным, это сумасшедший дом («Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице»), любой читатель 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов мог бы сказать, что дилогия Ильфа и Петрова — едва ли не единственная книга во всей советской литературе, наедине с которой он ощущает себя по-настоящему свободным.

Авторы «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» ухитрились создать художественное пространство, в котором каждый персонаж мог свободно думать и говорить все, что ему заблагорассудится. Точь-в-точь, как И.Н. Старохамский в сумасшедшем доме («Вся власть Учредительному собранию!.. И ты, Брут, продавался большевикам!..» и т. п.).

В какой еще книге тех лет вы могли встретить героя, который отважился бы вслух выговорить такое:

— Ну и наделали дел эти бандиты Маркс и Энгельс...

Или:

— Основной причиной ваших снов является само существование советской власти. Но в данный момент я устранил ее не могу. У меня просто нет времени... Я ее устрою на обратном пути...

Именно вот этим забытым ощущением полной, совершенной, абсолютной

свободы и пленяли эти две книги Ильфа и Петрова читателей, уже привыкших жить в мире ледяной тотальной несвободы.

Но художественное очарование «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», а тем более непреодолимая художественная ценность этих двух романов этим далеко не исчерпываются. Главным художественным достижением молодых сатириков было все-таки не это. (Иначе сегодня их книги сохранили бы для нас лишь исторический интерес.)

Главным их художественным достижением был — Остап Бендер.

6

«Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпираться из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним, как с живым человеком, и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал в каждую главу» (Евгений Петров «Воспоминания об Ильфе»).

Это признание, хоть и сделано оно в свойственной автору юмористической форме, свидетельствует, что создатели знаменитой дилогии были настоящими художниками. Ведь с Остапом Бендером у них, в сущности, произошел тот же казус, что у Пушкина с Татьяной, которая «удрала штуку»: неожиданно для автора и против его воли вышла замуж за генерала.

Даже убить своего героя они не смогли. С присущим этому персонажу нахальством он заставил авторов воскресить себя и — тоже против их воли — выбился в главные герои их следующего романа.

Это ни в коем случае не было случайностью. И дело, разумеется, отнюдь не объясняется только тем, что авторам просто стало жалко расставаться с полюбившимся им персонажем. Вернее, в этом их нежелании с ним расставаться проявился безошибочный художественный инстинкт, подсказавший им, что этот поначалу эпизодический персонаж, ставший так нахально «выпираться из приготовленных для него рамок», являет собою главное их художественное открытие.

Драма (в сущности, даже трагедия) Остапа Бендера — это трагедия неиспользованных — вернее, не востребованных — возможностей.

У В. В. Розанова в «Уединенном», среди множества совершенно замечательных наблюдений и соображений, которыми полна эта удивительная книга, есть одно — особенно ошеломляющее:

«Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Черны-

шевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием... Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий, где найти «энергии» и «работников», государственный механизм не воспользовался этой «паровой машиной» или, вернее, «электрическим двигателем» — непостижимо... Такие лица рождаются веками: и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это черт знает что такое... Черт знает что: рок, судьба, и не столько его, сколько России».

Эта мысль ошеломляет прежде всего потому, что о Чернышевском Розанов неизменно (как до процитированной записи, так и после нее) высказывался совершенно иначе. Например, вот так: «Отвратительная гнойная муха — не на рогах, а на спине быка, везущего тяжелый воз, — вот наша публицистика, и Чернышевский, и Благодетель...» («Опавшие листья»).

Но больше всего поражает все-таки не тот — сам по себе достаточно удивительный — факт, что эта неожиданная апология Чернышевского прозвучала из уст человека, всегда высказывавшегося о деятельности этого писателя резко отрицательно. Прежде всего в этом розановском рассуждении поражает заключающаяся в нем правда.

Эта мысль, никогда — ни до, ни после Розанова, — никем не высказывавшаяся, никому даже в голову не приходившая, ошеломляет именно своей несомненной бесспорностью: не использовать такую энергию — да ведь это и в самом деле «преступление, граничащее со злодеянием».

С полным основанием сегодня мы можем сказать, что преступно было не использовать для нужд общества и энергии Остапа Бендера. (Не его одного, разумеется, поскольку он — образ собирательный, а множества Остапов Бендеров.) Бесспорно, это тоже было «преступление, граничащее со злодеянием». И об этом, в сущности, и написана дилогия Ильфа и Петрова.

Фигура Остапа — это гимн (независимо от желаний и намерений авторов) самому духу предпринимательства. И главное ощущение (пусть даже неосознанное), возникающее у читателя дилогии, лучше всего может быть выражено вот этими, лишь слегка перефразированными словами Розанова. Настоящим преступлением было не использовать этот могучий творческий дар, загнать на обочину жизни, превратить в мелкого жулика человека, предназначенного, «задуманного» для совсем иного, неизмеримо более важного поприща.

К герою книги Ильфа и Петрова (пожалуй, даже в большей степени, чем к Чернышевскому) могут быть отнесены горькие розановские слова: «Черт знает что: рок, судьба, не столько его, сколько России».

Создав своего Остапа, Ильф и Петров отчасти искупили давний грех великой

русской литературы, где фигура предпринимателя являлась перед нами либо в образе жулика Чичикова, либо в худосочном, художественно убогом облике гончаровского Штольца.

В отличие от Штольца Остап — художественно полнокровен. А в отличие от Чичикова он — жулик не по призванию, а по несчастью. Жуликом его сделали обстоятельства, имя которым — социализм.

Может быть, кому-нибудь такое сравнение покажется слишком смелым и даже кощунственным, но я бы не побоялся уподобить Остапа художнику или поэту, которому (как некогда Тарасу Шевченко) запрещено рисовать и сочинять стихи. Разница лишь в том, что Шевченко было запрещено прикасаться к холсту и бумаге высочайшим повелением, относящимся к нему персонально, а Остапу (и таким, как он) не позволило заниматься «любимым делом» само устройство того общества, в котором ему выпало жить.

Наталья Роскина в своих — лишь недавно у нас опубликованных — воспоминаниях о Николае Заболоцком рассказывает:

«Он говорил мне, что начальник лагеря спрашивал его непосредственного начальника: «Ну, как там Заболоцкий — стихи пишет?» — «Нет, — отвечал начальник. — Какое там. Не пишет: больше, говорит, никогда в жизни писать не будет». — «Ну то-то».

И когда он в лицах изображал мне разговор этих двух начальников, в глазах его было что-то зловещее...

Он рассказывал про голод, холод, про другие тяготы, про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые человек перестает есть и спать; он мне рассказывал, что как только его арестовали в 1938 году, с ним сразу сделали нечто такое, от чего тут же пришлось отправить его в лазарет; и обо всем этом он говорил ровным тоном, не меняя выражение. И только когда он вспоминал, как начальник лагеря сказал — «не пишет, ну то-то», — в глазах его появлялся злой, отчаянный огонь...».

То ли из этого эпизода, то ли (скорее всего) из опыта всей своей жизни Заболоцкий сделал вывод, о котором в другом месте нам сообщает автор тех же воспоминаний:

«Я только поэт, и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть».

Романы Ильфа и Петрова (опять-таки, независимо от того, хотели этого авторы или нет, и даже независимо от того, сознавали или не сознавали они это сами) наглядно и неопровержимо показывают нам, что социализм несет смерть не только искусству, но во всем видам и формам творчества.

Эту формулу можно было бы даже и расширить, сказав, что социализм несет смерть во всем проявлениям живой жизни. Но это было бы, в сущности, тавтологией, ибо жизнь, лишенная духа творчества, — это уже не жизнь.

Содержанием обоих романов Ильфа и Петрова является погоня за деньгами. Главный герой дилогии Остап Бендер и в первом романе, и во втором предстает перед нами как человек, для которого эта погоня — главная цель его существования. Может даже создаться впечатление, что весь смысл своего бытия он видит только в обладании «золотым тельцом». Это вроде бы даже подтверждается шуточной эпитафией, которую он сам себе сочиняет: «Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка...»

На самом деле, однако, эта эпитафия неверна.

Остап — не стяжатель. Он — художник. Главное для него — не деньги, не результат этой бешеной погони, а — сам ее процесс. Не сам клад нужен ему, а именно вот этот бешеный азарт добычливания клада, вся эта увлекательная, хитроумная игра, с ее на ходу импровизируемыми поворотами, вдохновенными озарениями и экспромтами.

Стяжатель — не Остап, а Корейко. Он, быть может, для того и выведен в романе, чтобы читатель резче ощутил, как разительно непохожи они — серый, тусклый стяжатель и ослепительный, фонтанирующий искрометными идеями великий комбинатор.

Конечно, Остап, ставший обладателем миллиона, впадает в уныние и потому, что начинает уже торжествовать общество распределения, где деньги постепенно утрачивают свою волшебную роль всеобщего эквивалента. В этом новом мире «пиво отпускается только членам профсоюза». Не будучи хоть каким-нибудь членом (если не Политбюро или ЦК, так хоть Литфонда или другого какого-нибудь профсоюза), вы ни за какие деньги уже не получите ни кружки ледяного пива в жаркий летний день, ни номера в гостинице, ни автомашины той марки, какую вы хотели бы иметь.

Но все это — только одна сторона Остаповой драмы. Другая же состоит в том, что, в отличие от Корейко, сам факт обладания миллионом не насыщает его души. Не зря он даже порывается в какой-то момент отослать этот свой миллион Председателю Государственного банка. Он, конечно, быстро устыдился этого своего мимолетного порыва. Но в тусклой душе Александра Ивановича Корейко такой порыв не мог бы даже и возникнуть!

Мысль, что социализм несет искусству смерть, приходила в голову не только Заболоцкому. Эта ясная, чеканная, теперь уже самоочевидная формула бывала не только вытяжкой из собственного трагического опыта, как в случае Забо-

лоцкого. Иногда она возникала как следствие из некоего художественного исследования, из рассматриваемой художником конкретной жизненной коллизии.

Вспоминается в этой связи замечательный рассказ И. Грековой «Дамский мастер». Герой этого рассказа — юноша, почти мальчик. Он — натура в высшей степени художественная: тонко чувствует и любит музыку, тянется к литературе. Но главное в нем — то, что он истинный артист своего дела. Он — парикмахер, «дамский мастер». И именно здесь, в этом его ремесле, как раз ярче всего и проявляется его художественная одаренность. По ряду причин, кажущихся случайными, бытовыми (а на деле имя всем этим причинам — социализм), он решает «завязать» с этим своим малопочтенным, непрестижным в нашем обществе трудом и стать «как все», — выражаясь языком официальным, «влиться в ряды рабочего класса». Приняв это решение, он увольняется из парикмахерской, где, к слову сказать, и зарабатывал недурно, — и поступает на завод учеником то ли слесаря, то ли токаря.

Рассказчица, принимающая в юноше искреннее участие, слегка растеряна, даже расстроена этим его внезапным решением.

У нее спрашивают:

— Что с вами? Случилось что-нибудь?

— Да, — отвечает она. — Случилось.

— Хорошее или плохое?

— Не знаю. Кажется, хорошее.

Скорее всего она искренна: что ж мальчику оставаться белой вороной, пусть будет — как все!

Но читатель (такова художественная логика рассказа, весь его эмоциональный строй) чувствует и даже сознает, что на самом деле случилось плохое. Случилось то, что человека вынудили убить, задушить в себе художника.

То же самое, в сущности, «социалистическое» общество проделало и с Остапом Бендером. Вся художественная логика дилогии говорит об этом.

Герой Ильфа и Петрова, конечно, сильнее хрупкого юноши из рассказа И. Грековой. Его так просто не сломаешь. Он в оправдочные перекалифицируется. И даже в скучного Фемиди, которому Зося Синицкая дарит носки с двойной пяткой, не превратится. Но если бы такое превращение вдруг произошло, читатель, наверное, испытал бы чувство даже еще более горькое, чем тогда, когда Ипполит Матвеевич Воробьянинов полоснул своего компаньона бритвой.

Но есть и другое, более важное отличие книг Ильфа и Петрова от рассказа И. Грековой.

Рассказ «Дамский мастер» был написан в 60-е годы. А дилогия «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» — тремя десятилетиями раньше, когда с социалистическим экспериментом в нашей стране многие люди еще связывали столько надежд!

Я не исключаю, что авторы дилогии разделяли эти надежды. Но они были настоящими художниками. И с ними случилось то, что уже неоднократно случилось в истории литературы. Например, с Тургеневым, когда он сочинял свой роман «Отцы и дети».

«Тургенев, — писал об этом «казусе» А. И. Герцен, — был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги и, по-моему, очень хорошо сделал — шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую».

Ильф и Петров, быть может, тоже шли не в ту «комнату», в какую попали. Быть может, они тоже сбились с дороги. Но, как и Тургенев, «по ошибке» оказавшись вместо одной «комнаты» в другой, они безусловно попали в лучшую.

7

Сама по себе статья Людмилы Сараскиной, быть может, и не требовала бы столь развернутого опровержения. Но дело тут не в одной Сараскиной, и даже не только в Ильфе и Петрове.

Это — поветрие.

Приведу лишь некоторые из наиболее поразивших меня высказываний последнего времени:

«Есть дарование «от Бога», как, допустим, у Шукшина... и есть дарование, высосанное из книг; литературность писаний Горького наводит меня на мысль: он так много прочитал, что просто понял математически, как «шьется». Настоящих, свежих вещей, таких, как «Рождение человека», у него наперечет. Горький очень силен, с моей точки зрения, в качестве политического публициста («Несвоевременные мысли»), но художник он посредственный...» (Вячеслав Пьецух. В башне из словной кости, «Книжное обозрение», 28 июня 1991 г.).

А вот другой «модный» литератор размышляет о Михаиле Булгакове:

«Булгаков — выдающийся антисоветский писатель, посвятивший себя сатирическому разоблачению хамского строя... Булгаков талантливо высмеял советскую власть. Советская власть бездарно травил Булгакова... Булгакова создала советская власть...»

Вывод: советская власть рухнула, и вместе с ней «рухнул» Булгаков. «Чтобы спасти Булгакова, нужно снова его запретить» (Виктор Ерофеев. «Между двух юбилеев», «Московские новости», 7 июля 1991 г.)

Под вопросом нынче не только все, что так или иначе (пафосом утверждения или пафосом отрицания) связано с советской властью. Сомнительным оказывается также и художественное явление, корнями своими связанное с демократией.

Глубокий, тонкий, умный, блестящий Борис Парамонов на этом основании

сбрасывает «с парохода современности» — кого бы вы думали? — Карела Чапека:

«Чапек — явление демократической эпохи и не мог бы появиться в другую... И громадное литературное дарование Чапека не развернулось в гениальность именно по этой причине. Чапек был слишком предан идеалам свободы, равенства и братства, чтобы стать гением» (Борис Парамонов. «Чапек, или о демократии», «Звезда», № 1, 1990).

Не собираясь здесь полемизировать с авторами всех этих высказываний (это потребовало бы специальной статьи), хочу все-таки сказать об этом явлении именно как о явлении, поскольку статья Сараскиной идет, так сказать, в кильватере этих, ставших нынче модными идей.

Весьма пронизательное суждение по сходному поводу высказал Андре Жид в своей некогда знаменитой книге «Возвращение из СССР». Высказано оно было в связи с крайне нетерпимым отношением тогдашних советских властей к религии.

К самой идее борьбы с религиозным дурманом маститый французский писатель, как ни странно, отнесся с пониманием. Даже с сочувствием. Но у него были при этом и кое-какие сомнения:

«Что касается консервативного влияния религии на сознание, — писал он, — отпечатка, который может наложить на него вера, я знаю об этом и думаю, что было бы хорошо освободить от всего этого нового человека. Я допускаю даже, что суеверие, поддержанное священником, наносит страшный ущерб морали в деревне и повсюду (я был в апартамен-

тах царицы), и понимаю, что может возникнуть желание разом избавиться от всего этого, но... У немцев есть хорошая поговорка, я не могу подобрать схожей французской: «Вместе с водой выплеснули и ребенка». По невежеству и в великой спешке. И что вода в корыте была грязная и зловонная — может быть. Настолько грязная, что не пришло даже в голову подумать о ребенке, выплеснули все сразу, не глядя.

И когда я слышу теперь, как говорят, что по соображениям терпимости, по прочим разным соображениям надо отливать заново колокола, боюсь, чтобы это не стало началом, чтобы не заполнили снова грязной водой купель... в которой уже нет ребенка».

Сейчас общество наше вновь переживает эпоху великой переоценки всех ценностей. Без сожаления переворачиваются вверх дном всевозможные «купели» с застоявшейся, протухшей водой. Выплескиваются на помойку гниlostные, болотные воды, в которых некогда «крестили» только что родившихся горластых младенцев — новую пролетарскую мораль, новую историческую науку, новое, социалистическое искусство. Особенно много грязной, зловонной воды скопилось в литературном корыте. И по-человечески так понятно желание взять да и выплеснуть все его содержимое сразу, не глядя. Но хотелось бы все-таки, чтобы каждый из покушающихся на ниспровержение былых наших богов и кумиров не забывал мудрое предостережение Андре Жида. Как бы не оказаться нам с купелью, которая тоже будет до краев полна грязной водой, но уже — без ребенка.

Глава из жизни

ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА И. БАБЕЛЯ

47. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемая красавица. В области кинематографии у нас масса новостей — переставали всех заправил производства с 1, с 3 фабрики, из Пролеткино и т. д. Сидит и Капчинский. Вот так история. Мы думаем, что их обвиняют в бесхозяйственности. Эта история ужасно осложнила мои дела. Мне следует куча денег — я не знаю, с кого их получать, когда их получать и проч. Поэтому приезд мой в Ленинград — вещь неопределенная. Я думаю, что срок смогу сообщить только через несколько дней. Дачу ищи неустанно. Кое-какие деньги на будущей неделе у меня будут, п. ч. Воронский принял к напечатанию в «Кр. Нови» сценарий*. Он «потрясен» этим «произведением», но я-то знаю, что «потрясение» это проистекает от невежества и глупости. Все же деньги ему придется заплатить. Распиши мне совершенно точно, каковы твои денежные дела, сколько тебе нужно, хватит ли у тебя на задаток для дачи и проч. и проч. В отношении дачи надо проявить максимум энергии, ведь жить-то там придется долго, не штука — выбрать заезженное место, а штука — выбрать хорошее место. Извини за это письмо, столь деловое. Сейчас побегу по городу, как Добчинский и Бобчинский. Скучаю по тебе шибко. З. В. передай, что все поручения ее я выполнил. Справка от Стражкассы уже есть, Саша Лившиц пошел за удостоверениями в театр, если сегодня принесет — я перешлю тебе.

Твой И. Б.

М. 17/IV—26.

Лидия Николаевна не только прогуливала меня, но и непрерывно приглашала к себе. Там я познакомилась с Корнеем Ивановичем Чуковским, который предложил мне жить на даче рядом с ними (я как раз подыскивала, куда бы переехать от преследовавшей меня старухи-хозяйки, да и лето подошло — нужна была уже не городская квартира, а дача).

Бабель, извещенный о предложении Корнея Ивановича, категорически запретил мне селиться рядом с кем-либо из знакомых, которые-де ему всегда мешают.

48. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемая красавица средних лет. Спешное письмо получил. Весть о том, что ты из скудных своих достатков отдала долг Правдухину, привела меня в содрогание. Завтра вышлю тебе деньги по телеграфу, сколько — не знаю еще, сегодня поговорю о деньгах с Воронским.

Кинематографическая история все разрастается. В одной из превосходно обставленных московских санаторий отдыхают директора, бухгалтеры, режиссеры, администраторы, человек пятьдесят. Честных работников вроде меня эта «история» убила. Вот тебе плоды упорной и добросовестной работы! Когда я получу деньги, от кого получу — ничего не известно, и даже то неизвестно, получу ли я деньги вообще. Без опасения впасть в преувеличение можно сказать, что мы с тобой «разорены». Хорошо еще, что небо подослало этого дурня Воронского, который будет печатать сценарий. Блистательный вид имел бы я теперь, если бы послушался совета некоторых умных людей и ляпал этот сценарий почем зря. Судорожно ищи дачу, с квартирой вопрос обстоит не так срочно. Упаси тебя Боже от Чуковских и Правдухиных в качестве соседей. Если нельзя за 300, найми за четыреста. Как далеко отстоит Луга от Ленинграда, сколько часов езды? Помни, что дача должна быть с мебелью, со всеми удобствами. Ка-

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 5 с. г.

* Сценарий был опубликован в журнале «Красная новь», 1926, № 6, июнь.

кую рассрочку в платежах допускают дачевладельцы, это очень важно знать. Я теперь ничего не могу сказать о своем приезде, знаю только, что приеду, но когда — никто не может сказать. Удивительные дела, совершающиеся в Москве, требуют моего присутствия здесь. Поэтому, милая моя душечка, надейся на себя, пожалуйста, постарайся, бабочка, устрой все, право, я сейчас в ужасном переплете. Когда Зинаида с Таней приедут в Москву? У нас два дня весна, хоть сегодня переезжай на дачу.

Вчера был у Евдокимова*. Слухи о самоубийстве Миши Глезера подтвердились. Горе мое велико. Он был мне верный, непоколебимый друг с мужественной и нежной душой.

В письме твоим ты развела паническую главу о моих выпивках — за все время я всего только раза четыре вкусил вина, и это принесло пользу моему здоровью.

Итак, трудись, я теперь спутан независящими обстоятельствами, поэтому покажи твое умение. До свиданья, душа моя.

Твой И. Б.

М. 19/IV—26.

49. Из Москвы — в Ленинград

Достопочтенная Тамара. Вчера послал тебе по телеграфу 80 р. Пожалуйста, подтвердил получение их. Воронский обещает выдать мне некоторое количество денег в четверг или в пятницу, тогда я пошлю тебе с таким расчетом, чтобы ты могла заплатить за дачу задаток и обзавестись необходимыми вещами. Посылаю тебе бумажки для союза. Помни, что все дела твои с союзом должны быть упорядочены. Это очень важно. История с «кинематографом» все тянется, конца ей не видно, боюсь, что денюжки наши надолго плакали, не могу скрыть, что это обстоятельство приводит меня в дурное расположение духа. Для наших с тобой дел эта история действительно ни к чему.

Других новостей нет. Жду писем от тебя. Как ты себя чувствуешь? Что Зинаида, Таня? С нетерпением жду известий о подвигах твоих в дачном смысле. Пиши, глупое мое солнце, пиши почаще.

Твой И. Б.

М.21/IV—26.

50. Из Москвы — в Ленинград

Милая Татушенька. Посылаю тебе удостоверение. Не ленись и постарайся все уладить. Ежели старуха не уgomонится, я напишу ей более вразумительно. После моего отъезда они плату должны взыскивать только с тебя. В воскресенье напишу подробно. Это письмо отправляю с фабрики, здесь такой галдеж, что ничего не сообразишь.

Твой И. Б.

21/IV — 26.

51. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемый трибун. Огорчительное твое письмо получил. Единственная, правда, слабая надежда на то, что следующее письмо будет повеселее. Несчастья, падающие на тебя, бывают обыкновенно волнообразны — на каждое хорошее письмо приходится одно, а то и два плачевных. Будем думать, что волна и на этот раз не изменит себе, и приступим к делам. Если Луга отстоит от Ленинграда так далеко, то мысль о ней надо бросить. Я по-прежнему стою на том, что дачу надо снять хорошую и, прости меня, думаю, что это возможно. То, что цена высока, — это не так страшно, здесь важно, какую рассрочку в платежах допускают дачевладельцы; высокая плата, разложенная на несколько месяцев, не так уже страшна. Если ничего приличного в смысле дачном нельзя найти, то не вспомнишь ли ты мою мысль о Петергофе или Царском? Это прелестные маленькие города, соединяющие, если память мне не изменяет, некоторую природу и комфорт. Советовать отсюда трудно, но мне кажется, что предпринять поиски в этом направлении стоит. Жду твоих известий по этому поводу.

Относительно Зинаиды и Тани я спрашивал без всякой задней мысли. Я только не заинтересован в том, чтобы они приехали сюда, совсем напротив, конечно, лучше, если они пробудут с тобой как можно дольше.

Ты ничего не пишешь мне о том, получила ли ты высланные мною документы и деньги — 80 рублей. У меня есть основание предполагать, что в субботу, послезавтра, я вышлю тебе 300 рублей, после чего в денежных присылках насту-

* Евдокимов Иван Васильевич (1887—1941), писатель, в то время заведовал отделом художественной литературы Госиздата.

пит некоторый перерыв. Поэтому обдумай эти 300 рублей всесторонне, как бы их истратить поразумнее. Фраза моя о том, что мы «разорены», горькая, увы, истина, и надо, душа моя, надеяться, что нам придется туговато, ты-то живешь экономно, а на меня в этом смысле надежды плохи. Кинематограф подвел ужасно, в волнах ничего не видно, неприятность эта усугубляется тем, что дожидаться какого-нибудь результата я должен, а работать в Москве при душевном моем настроении — не могу.

Весть о твоём нездоровьи очень печалит меня. С чего бы это, или так полагается, или, может, это аппендицит? Пожалуйста, сходи к доктору и немедленно сообщи мне, что он скажет. Письма твои, Тamarочка, очень смешные. Они до такой степени испещрены скобками, кавычками, восклицательными знаками и многоточиями, что больше походят на детские рисунки, чем на произведение взрослого человека. Ну, да смотреть приятно!

Устрой свои дела в союзе. Хватит того, что у меня нет никаких документов. Будь гражданкой! Больше писать как будто не о чем. Низкий поклон твоим сожительницам. Татьяне обо мне труби поменьше, зачем ей знать о жалких дураках, успеется. Итак, как пишут в коммерческих письмах¹, — в ожидании приятных ваших заказов пребываю

Твой И. Б.

М.22/IV—26.

Если можешь, изложи мне, Татушенька, перспективы твоих расходов на ближайший месяц — полтора. Мне это надо знать, чтобы построить какой-нибудь финансовый план, хотя пока в качестве строительного материала у меня есть один только песок...

52. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемая Каширина. Послал тебе сегодня 250 рубл. Трехсот послать не мог, не вышло. Отдай Правдухину 100 руб., на остальные живи, как Плюшкин, потому что, стыдно сказать, дела наши день ото дня идут все хуже. В довершение всех бед Главрепетком² запретил постановку «Блуждающих звезд»³. Теперь выходит, что мне с фабрики ничего не получить, я ей должен кучу денег. Ничего в этом направлении предпринимать сейчас нельзя, место сие наболело, помолчим и подождем. Руководители сидят, очевидно, прочно, сегодня прошел слух, что назначат нового директора, может, что-нибудь в ближайшие дни разъяснится. Из всего этого следует с несомненностью, что деньги надо искать в других местах, а в каких, я еще не сообразил. Напиши мне, пожалуйста, какую рассрочку тебе дали в уплате за дачу? Есть ли там все «удобства». Из письма твоего заключаю, что сообщение с городом там очень неудобное, но если дача действительно хороша, то с этим можно примириться. О квартире пока помолчим, снять-то квартиру, конечно, беспроблемно надо, но сперва сообразим, как с деньгами. Спасибо за карточку. Вы все очень милые, но пока чтс красотой блещет одна только Татьяна. Раздумал ли Ник. Вас. уезжать из Москвы? Прочел начало новой повести Сейфуллиной. Она написана неизмеримо лучше прежних ее произведений, передай ей по этому поводу искренние душевные мои поздравления. Всеволод Иванов, тот был просто потрясен этой вещью, он не ждал от Л. Н. такой прыти, а я ждал, потому что сердце у нее все-таки исковерканное и горячее.

Какая погода в Петербурге? У нас после двух весенних дней и празднеств, связанных с наводнением, наступила пасмурная погода. Я очень тревожусь о Петербурге. Уж если паршивенькая Москва-река разлилась так величественно, то что же сочинит Нева? Как бы вас всех не вынесло в Северное море... Когда ты собираешься переезжать на дачу? Есть ли в этом строении печи? Видел ли кто-нибудь эту дачу собственными глазами или все красоты природы взяты из чужих слов? С тем — до свидания. Здоровьишко твое, очевидно, худо, это тоже не прибавляет лазури к дымному нашему небу. Была ли ты у доктора? Обо всем напиши и будь весела со чадами твоими и домочадцами.

Твой И. Б.

М.26/IV—26.

53. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемый трибун. Пишу на почте, толкотня здесь предпасхальная, поэтому не взыщи за краткость и стиль. Я просил тебя сообщить о денежных делах, в

¹ Намек на то, что Бабель обучался в Николаевском коммерческом училище и Киевском коммерческом институте.

² Главный комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Наркомпроса РСФСР).

³ Сценарий, написанный Бабелем по роману Шолом-Алейхема; фильм был снят в 1926 году на Одесской кинофабрике.

этой части письмо твое невразумительно. Пожалуйста, голубушка моя, разъясни толком, сколько надо внести за дачу до переезда — сто или двести рублей, что это значит, — следующий взнос через месяц — в конце мая или июня? Затем о квартире: дела таковы, что сразу заплатить крупную сумму мы не можем, по частям же это вещь возможная; я писал тебе, кажется, что репетком запретил к постановке «Блуждающие звезды», в смысле финансовом это, м. б., к лучшему, п. ч. есть предложение переслать сценарий в Вуфку. Ради этого дела я и сижу здесь. Чтобы ответить тебе совершенно точно относительно квартирных дел, мне нужно знать сроки и числа. Потом, Тамарочка, не увлекайся величественными квартирами, — хозяйственные способности мои невелики, но я соображаю, что их ведь топить надо, помесечная плата за них, вероятно, дорога, да и ремонт такой квартиры — нелегкая вещь. Хорошо бы, если бы вся история с квартирой не вышла за пределы 1000 рублей, неужели за эту цену нельзя подыскать помещения? 1000 рублей я пишу тоже наугад, но думаю, что эту сумму я при всяких обстоятельствах смогу добыть. Положение моих кинодел таково: полная безнадежность сменилась мутной неопределенностью, вот пока и все. Поэтому, Тамара, сообщи мне, каково твое финансовое положение в настоящий момент, и затем, если можешь, расписание на предбудущее время?

Мама вчера получила визу из Бельгии (вторичную). Конечно, для меня лучше всего, если она тихохонько будет проживать в Бельгии. Муж сестры получил, наконец, службу, благодарение небесам, они не нуждаются больше в моей помощи, и, конечно, мать лучше всего пристегнуть к ним, оседлым, тихим, сравнительно обеспеченным⁴. Для меня это громадное облегчение. Беда заключается в необыкновенной трудности получения заграничного паспорта. Это (после «Блуждающих звезд») вторая причина сиденья моего в постылой Москве. В первые дни после праздника паспортные перспективы проясняются совершенно. Тогда у нас будет все определено. Итак, вот что меня задерживает в Москве. Не буду говорить жалких слов, как мне тягостно, нудно, скучно, бессмысленно сидеть здесь, но по всем видимостям начатые дела надо кончать. В Петербурге я все-таки рассчитываю быть скоро, немедленно после того, как из Наркомфина и Моссовета мне дадут ответ о мамином паспорте. Посему, уважаемый трибун, на нахальный Ваш вопрос, увидимся ли мы, не может быть другого ответа, кроме как тот, что не увидимся мы только в том случае, если Вы падете под грузом Вашей глупости. Письмо это ты получишь, вероятно, с большим опозданием — почта два дня работать не будет, — поэтому ответь на него спешным. Была ли ты у доктора, а если не была, то почему, злодейка? Приготовила ли ты весь снаряд для Пасхи? Поздравляю тебя, душенька, с праздником. Надеюсь, что я толково изложил все обстоятельства. Не скучай, Татушенька. Мы еще увидим небо в алмазах и даже пересчитаем эти алмазы в нашем кармане.

Твой И. Б.

30/IV—26. Москва.

54. Из Москвы — в Ленинград

Милая Татушенька. Письмо твое, не дуже веселое, очень все же обрадовало меня. От тебя так давно не было вестей. Поговорим о делах. В связи с запрещением «Блуждающих звезд» возникла возможность передачи их в Вуфку для постановки на Украине. Я сделал кое-какие шаги в этом направлении (это, увы, единственный наш денежный шанс) и жду ответа, думаю, что вопрос этот разрешится в ближайшие дни. Очень гнусно, что в Петербурге такая скверная погода. Здесь не лучше, после нескольких солнечных дней наступила форменная осень. На дачу надо, по-моему, переехать как можно скорее, но не раньше лета, конечно, а когда оно бывает в ваших северных краях, неизвестно, поэтому, я думаю, ты не ошибешься, если заплатишь старухе за две недели. Деньги, рублей сто, я вышлю тебе «при первой возможности», возможность эта представится, надеюсь, скоро. Вчера я подал в Мосфинотдел прошение об освобождении маминого паспорта от сбора, который теперь установлен в 220 рублей, цифра грозная, будем надеяться, что я чего-нибудь добьюсь. Хозяйственные вещи я могу тебе прислать, и даже мебель; напиши, в чем ты нуждаешься.

Условия твои с хозяйкой дачи, по-моему, очень приемлемы. О деньгах, пожалуйста, не тревожься. Ты знаешь, что я этого пункта стараюсь из виду не упускать, тем более что в отношении денег я всегда настроен очень панически, т. е. думаю о каждой получке, что это последняя получка. Хорошенькая будет история, если моя паника превратится в действительность в тот момент, когда ты разрешившись двойняшками женского пола.

Зинаиде я писал, что с Лившицем все условлено. Я звонил ему только что, но не застал. Передай Зин. Вл., что беспокоиться ей не об чем, Лившиц обо всем предупрежден.

⁴ Сестра Бабеля, Шапошникова Мария Эммануиловна (1897 (8?)—1987), с 1924 г. жила в Бельгии.

Очень скучаю по тебе и хочу тебя видеть, вырваться мне в эти дни отсюда нельзя, будь они прокляты, нудные дела. Как только в «деловой» моей жизни наступит просвет, я протелеграфирую тебе и приеду. Образ жизни веду чрезвычайно уединенный, пытаюсь работать, часа по три-четыре в день расхаживаю по комнате, не знаю, правильные ли у меня мысли или нет.

Вот и все дела. О новостях сообщу немедленно. Будь весела, мой дружок. Болезни твои выходят от дурости, а дур много, ты не хвастайся и не становись в их ряды. До свиданья, душечка, будем рассчитывать — до скорого.

Твой И. Б.

М.6/V—26.

55. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемая корреспондентка. Через полчаса после отправления спешного письма я получил от тебя малообоснованный вопль, а вчера нагрянула Ита⁵ с категорическим требованием писать тебе не реже трех раз в день после каждого приема пищи. Ты ополумела, мать моя. Несмотря на все мое к Вам благорасположение, я на Итино требование ответил отказом. Раза три в неделю обещаюсь писать, а больше не буду — на три письма и то фактов не хватает, а беллетристику разводить да еще совершенно бесплатно — где это видано? Живу я тихо, погруженный в глубокие размышления, из которых выводит меня периодически жажда денег — вот и все события, о чем Вы тревожитесь, сударыня? Очень глупо.

Поговорим о фактах, факты, положим, относительные. С Вуфку о «Блуждающих звездах» продолжают интенсивные «телеграфные» переговоры. В режиссеры они прочат Грановского⁶ — другого у них нет, — вот какой получается заколдованный круг. Грановский со своим театром уезжает сегодня в Киев на гастроли, не исключена возможность, что и меня вызовут для окончательных переговоров на Украину. К концу будущей недели я в Москве освобожусь, поеду к тебе в Петербург, и, м. б., потом в Харьков или Киев, куда позовут. Вытекут ли из этого деньги — гадательно. Вот ведь какие времена — и следуют тебе деньги, и нельзя просить, режим свирепствует. Кинематографическое дело дойдет, очевидно, до суда, многие люди очень боятся разоблачений — напр., Мейерхольд, Таиров⁷ и др. Они нахапали авансов и ничего не сделали.

Погода у нас тянется за петербургской — вчера был снег, сегодня осень, холодно. Что будет с твоей дачей? Ежели ты не спишь от нервности, от головной боли, то ты преступница и дуреха — пожалей бедных девочек — Марфу и Феклу!

Итак, уповаю на Господа, что в конце будущей наступающей недели я смогу прочитать тебе суровый реприманд⁸ лично. На этом, душа моя, кончаю. Длинных писем я теперь писать не буду, ведь мне после обеда снова надо строчить. Не разрешишь ли ты мне, Татушенька, отправить тебе несколько писем с одним содержанием? Я буду их копировать и опускать в ящик по одному. Передай, пожалуйста, прилагаемое письмо Л. Н. Я не знаю, какой у них номер дома по Миллионной. Деньги в начале будущей недели обязательно тебе вышлю. Не будь душой, а будь умной. Это очень трудно, но ты, солнышко мое, понатужься.

Твой И. Б.

М. 7/V — 26.

56. Из Москвы — в Ленинград

Гражданочка. От Вас давно нет писем, я очень беспокоюсь. Ввиду того, что я не подвержен несчастьям в такой степени, как Вы, мне можно писать редко, Вам же это непозволительно. Завтра буду в Госкино окончательно отвоевывать для Вуфку «Блуждающие звезды», в пятницу мне должны дать ответ по поводу мамингого паспорта, в субботу вечером рассчитываю выехать в Петербург. Деньги мне обещаю дать в среду или в крайнем случае в четверг, так что ты можешь рассчитывать на то, что не позже четверга ты получишь телеграфный перевод на 100 рублей. Ближайшие два дня буду «ходить с ходатайствами» по всяким официальным учреждениям, это мне на руку, п. ч. переутомленная моя голова сегодня взбунтовалась и забастовала. Я займусь другими делами, тем временем, может, голова пройдет.

Тамарочка, очень нехорошо, что так долго от тебя нет письма. Я не пишу потому, что у меня все благополучно и сообщать, в общем, не о чем, я ведь люб-

⁵ Ахрап Ита Климентьевна, знакомая Бабеля по одесским временам.

⁶ С Грановским Бабель встречался во время работы над фильмом «Еврейское счастье».

⁷ Таиров Александр Яковлевич (1885—1950), режиссер, организатор и руководитель Камерного театра.

⁸ Упрек, выговор (франц.).

лю в писаньях факты, а твое молчание ввергает меня в истинную тревогу. Пиши, Трибуни, пиши.

Твой И. Б.

М.10/V—26.

57. Из Москвы — в Ленинград

Милая Тамара. Сегодня поздно вернулся домой и застал записку Зинаиды. Очень жалею, что не видел ее. Она будет у меня завтра в 6 ч. дня. Надеюсь, что все у вас благополучно. Заседание о мамином паспорте будет не в среду, а в четверг, все же я во что бы то ни стало хочу выехать в субботу в Ленинград. О приезде моем прошу никому не говорить, я предвижу, что визит мой будет очень короткий, теперь у меня куча дел, связанных с денежным вопросом, а это для нас теперь важный вопрос. Очень возможно, что мне придется просидеть в Пб. дня два-три и сейчас же укатить в Харьков. Сегодня или завтра переведу тебе телеграфно 100 рублей, немного денег постараюсь привезти с собой. Перспективный денежный план мне самому неизвестен, и это, конечно, скверно. До конца этой недели я должен получить 300 рублей, из которых рассчитываю дать тебе 200 рубл., а затем все надежды на Вуфку. Больше денег неоткуда получать. Если с «Бл <уждающимися> звездами» лопнет, тогда... тогда надо будет придумывать меры экстраординарные. С письмом твоим, в которое было вложено заявление в Рабис⁹, произошла замечательная вещь — никакого такого письма я не получал, и только сегодня, узнав от тебя, что ты ждешь от меня ответа по поводу какого-то заявления, я бросился наводить справки и обнаружил твое письмо от 24/IV в пыли, в архиве достолюбезных наших дворников. За эту подлость я отчитал их основательно. Завтра попрошу Зинаиду заняться твоими делами в Рабисе, я, по правде, загружен свыше всякой меры.

Письма твои я получил и успокоился, или, вернее сказать, встревожился по-новому. Ох, уж эти мне грустные письма! Стоило бы посетовать, да не хочу, может, несправедливо будет. Более подробные разговоры откладываю до моего приезда, и не плачь ты, за ради Бога, какая неугомонная баба! Целую тебя, милая Тамарочка, до скорого свидания. До отъезда я напишу тебе еще и протелеграфирую.

Твой И. Б.

М.11/V—26.

Редкие наши встречи с Исааком Эммануиловичем оборачивались не радостью, а драмой. Ведь то, что можно домыслить, читая письмо, рассыпается прахом, если человек при личном свидании уклоняется от прямых ответов или дает такие, которые никак не могут удовлетворить спрашивающего.

Но окончательно поссориться мы не могли. Многое обуславливалось моей безремениностью, обоих нас связывая: меня невозможностью действовать и даже передвигаться (в смысле перемены города или возвращения в Москву), а его такой же невозможностью бросить меня в подобном положении.

Да мы еще и любили друг друга, хоть и в разной степени (я больше, он меньше) и вообще по-разному, но любили. Однако чем ближе дело шло к развязке — т. е. к родам, тем тяжелее мне было переносить и свою неустроенность, и постоянную разлуку с Исааком Эммануиловичем...

58. Из Москвы — в Ленинград

Дорогая мученица. Приехал в Москву¹⁰ благополучно. Здесь жарко, превосходная погода. Представитель Вуфку уехал, не оставив для меня ни слова. Если он таким образом выражает свой гнев, — то это идиот. Я телеграфировал в Харьков, жду ответа.

Маме в паспорте отказали или, вернее, чуть было не отказали. Я пустил в ход Евд <окимова>, и он добился того, что дело будет пересмотрено, но ответ дадут только 6 июня, это основное плачевное обстоятельство. Весь сегодняшний день ушел на это дело. С лихорадочным нетерпением жду известий о твоём здорье. Не оставляйте меня в неведении.

Твой И. Б.

М.21/V—26.

⁹ Профсоюз работников искусства.

¹⁰ После непродолжительного визита в Ленинград, окончившегося ссорой и болезнью Т. В.

59. Из Москвы — в Ленинград

Татушенька. Только что, в 7 часов утра, получил телеграмму от Одесской фабрики Вуфку. Они предлагают мне немедленно приехать в Одессу. Вуфку предполагает отобрать постановку у Грановского, который выставляет idiotические требования, и передать ее Гричеру¹¹, б<ывшему> помощнику Грановского, человеку, мной рекомендованному и неизмеримо, в кинематогр. отношении, более талантливому. Обстоятельству этому я очень рад. Я ответил телеграммой, что прошу выслать мне деньги, во вторник выеду в Одессу. Буду ждать ответа на телеграмму. Если действительно придется поехать, я тебе протелеграфирую. Письмо твое получил. Лежи, Татушенька, лежи, не двигайся. Будет ужасно, если ты не оправишься до конца.

Твой И. Б.

М.23/V—26.

60. Телеграмма из Москвы — в Ленинград

25/V — 1926 г.

Еду Одессу

61. Телеграмма из Одессы — в Ленинград

28/V — 1926 г.

Пишите гостиница Пассаж

62. Из Одессы — в Ленинград

Татушенька. Сегодня телеграфировал тебе мой адрес — гостиница «Пассаж», № 85. Буду ждать письма с нетерпением. Веду переговоры с Вуфку о постановке «Бл<уждающих> зв<езд>» на одесской кинофабрике. В понедельник рассчитываю отправить тебе по телеграфу 100 рубл., а через несколько дней, может быть, выцарапаю из Вуфку более крупную сумму. Благодаря «прижму экономии» неудобно сразу просить денег. В Одессе у меня множество жалких знакомых, все хотят перехватить червонец и просят службу, но море прекрасно по-прежнему и акация цветет опьяняюще чудовищно. Чувствую себя хорошо. Письмо отправь мне спешное, а то не дождешься его. У меня здесь работы куча — и моей (душевной), и кинематографической, но писать буду, — лето здесь удивительное, все так напоминает детство и юность, я второй день хожу, грущу и радуюсь.

Твой И. Б.

Одесса, 28/V — 26.

63. Из Одессы — в Ленинград

Получил, милый трибун, спешное письмо, очень меня обрадовавшее. Живу здесь хорошо, купаюсь и греюсь под солнцем, которое тебе, озябшая моя московская душа, не часто снится. Все было бы хорошо, если бы мне не приходилось возить по всем городам глупые мои нервы, не умеющие работать и не умеющие спать. Я их обучаю этим ремеслам, но со средним успехом. Деньги переведу тебе телеграфно не позже второго июня. Думаю, что это не будет слишком поздно. Живи хорошо, человек затем и родился на божий свет.

Любящий тебя, душенька моя

И. Б.

Од. 31/V — 26.

Чадам твоим — поклон. Напиши мне адрес дачи.

64. Из Одессы — в Ленинград

Татушенька, только что перевел тебе по телеграфу 150 рубл. С деньгами вышла задержка, которую я не мог преодолеть. Дело в том, что по условию я гонорар должен получать в Правлении Вуфку в Харькове, а не в Одессе на фабрике. Мы заканчиваем с режиссером разработку сценария, надеюсь, что дня через

¹¹ Так же, как и с Грановским, с Г. Гричером-Чериковером Бабель сталкивался при работе над фильмом «Еврейское счастье». Фильм «Блуждающие звезды» был поставлен этим режиссером.

три-четыре я смогу выехать для расчетов в Харьков, а потом в Москву. С нетерпением жду телеграммы от мамы, которая 6-го (вернее, 7-го) должна узнать, дадут ли ей заграничный паспорт.

Нервное состояние мое улеглось, и я работаю маленько продуктивнее, чем раньше. К сожалению, пользоваться благами Одессы мне не приходится, целый день торчу с режиссером в гостинице, все же купаюсь исправно каждый день. Из Харькова надеюсь выслать тебе более солидное денежное подкрепление. О всех своих передвижениях я буду тебя оповещать. Напиши мне спешное письмо — переехала ли ты на дачу и как себя чувствуешь? Пишу на адрес Правдухиных, п. ч. не знаю, застанет ли тебя это послание в городе. Кланяйся Правдухиным, скажи В. П., что я скоро отошлю ему долг. Желая тебе веселья без конца без края, а уж после тебя и я возвеселюсь.

Твой И. Б.

Од. 5/VI — 26.

65. Телеграмма из Одессы — в Ленинград

7/VI — 1926 г.

Пятницу еду Харьков Деньги переведу телеграфно Харькова Телеграфируйте здоровье

66. Телеграмма из Одессы — в Детское Село

12/VI — 1926 г.

Получите Правдухина переведенные телеграфно сто

67. Из Одессы — в Детское Село

Уважаемый феномен. Телеграмму твою и письмо с сообщением о двойне получил. Что касается переезда в Д. Село — мне кажется, это поступок разумный, о двойне же сказать нечего — или как у Шол. Алейхема — человеческие уста и стальное перо не в состоянии выразить чувства, меня трясущие. В малопочтенном нашем роду такого фарса еще не бывало. Постыдись людей, Тамара, побойся бога, неужели ты отмочишь такое колено?

Известие же о грыже несколько меня не удивило, второй день я обучаюсь у местной библиотекарши карточной системе, по этой системе я буду вести запись и регистрацию твоих болезней. Все же, любезный инвалид, позволительно надеяться на то, что твоя грыжа не серьезнее аппендицита — или серьезнее? Убиться мало, — как говорит мой новый одесский знакомый — шулер и приятнейший прохвост. В Харьков я еду в субботу, не в пятницу. Протелеграфируйте мне в Харьков, Вуфку, куда тебе переслать деньги. Можешь даже немедленно по получении сего написать в Харьков по адр. Вуфку, Пушкинская, 91, — м. б., твое письмо застанет меня в Харькове. Надеюсь, что из Харькова смогу тебе выслать деньги по телеграфу. У меня все течет сравнительно благополучно, плохо только то, что не хватает времени и сил для собственной работы, но это уже моя вина, и, значит, так мне и надо. Хорошо бы получить от тебя благую какую-нибудь весть в Харькове — и плюнь ты, за ради бога, на гомерические твои болезни — вывернешься, на то ты баба. Желая тебе, милый феномен, благодетельства и юмористического отношения к чудачествам нашего господа бога.

Твой И. Б.

Од. 10/VI—26.

68. Из Одессы — в Ленинград

Милая Тамара. Только что отправил Правдухину для тебя 100 р. по телеграфу. Я не решился отправлять прямо в Детское Село, через Правдухина будет вернее. Вчера должны были выехать с Гричером в Харьков, но у него не готова еще смета по постановке, он эту смету должен представить в Харькове в Правление. Если не успеет закончить смету сегодня, то выедем в 5 ч. 40 м., если нет — завтра. Задержка эта мне ни к чему и даже вредна. Только в Харькове выяснятся мои материальные дела, и тогда можно будет сделать какой-нибудь план на ближайшие месяцы. Пока же все получки мои были эпизодическими, случайными, — от этого и «перебой в снабжении». Надеюсь, что из Харькова я смогу перевести долг Правдухину, да и ты сможешь тогда расплатиться с ним. Письма твои получил. Каждый человек имеет право принимать всерьез (в трагический серьез) нескончаемые изменения, которые несет нам каждый день, каждый час, годы, но ты, надо думать, используешь эту грустную человеческую особенность чрезмерно. Утихомирься, душа моя, право, стоит. О передвижениях

моих я буду извещать тебя по телеграфу, так же сообщу адрес, куда мне надо писать. Очень бы мне хотелось знать, как вам живется в Царском, плату за квартиру я нахожу непомерной. В Одессе живу грустно, но очень хорошо. Воздух родины вдохновляет — на плодотворные, простые, важные мысли. Желаю тебе, Татушенька, здоровья и хоть малость благополучия, но, очевидно, самого пламенного моего желания мало, нужно, чтобы и ты пожелала. Экая ты выдалась у нас дура. Будь счастлива, милая дура.

Твой И. Б.

Одесса. 12/VI—26.

69. Телеграмма из Одессы — в Детское Село

15/VI—1926 г.

Выезжаю Харьков

70. Из Харькова — в Детское Село

Милая Тамара. Вчера вечером приехал в Харьков. Сейчас отправляюсь лопать дела. Думаю, что к завтрашнему вечеру выяснится, кто кого ломает, — дела меня или я их. Завтра напишу. Чувствую себя удовлетворительно. Харьков — пыльный, душный город, к которому я, как и большинство людей, отношусь с предубеждением. Постараюсь сократить здесь мое пребывание. Хочется думать, что у тебя все благополучно. Если мне удастся получить здесь деньги, то я вышлю их на адрес Правдухина, для того чтобы он 100 р. из этих денег оставил себе. Целую тебя, необыкновеннейшая дура.

Твой И. Б.

Харьков, 15/VI—26.

71. Телеграмма из Харькова — в Детское Село

18/VI—1926 г.

Получите Правдухина 250 еду Москву

72. Из Москвы — в Детское Село

Милая Тамара. Вчера приехал в Москву. Надеюсь, что Правдухин передал тебе деньги, высланные мною телеграфно. Я послал сто рублей перед отъездом из Одессы и триста пятьдесят рублей из Харькова. Из этих 350 рубл. Правдухин должен был взять себе сто рублей. Очень прошу, сообщи мне твои соображения относительно дальнейшего твоего бюджета. Дела теперь, как тебе известно, трудные, и надо жить с расчетом. Я не предвижу значительных сумм до тех пор, пока не сдам серьезной литературной работы, а заниматься литературой в такой суете и беготне невозможно. Мне придется, вероятно, согласиться на настоячивые предложения Вуфку присутствовать при постановке картины, придется это сделать, п. ч. других источников к существованию при моей литературной бездеятельности я не вижу, да кроме того, если меня не будет, режиссер все испортит радикально. С нетерпением жду писем о твоём здоровье, об общем вашем состоянии. В Москве у меня еще одно нелегкое дело — выпроваживать маму за границу. Надеюсь, что мне удастся это сделать в течение ближайших десяти дней. Чувствовал бы я себя хорошо, если бы можно было работать. Ну, да когда-нибудь придет это время. Низко кланяюсь Э. В. и Татьяне. Напиши мне обо всем подробно и толково. Постарайся, милая дура, быть здоровой, очень тебя прошу.

Твой И. Б.

М. 20/VI—26.

73. Из Москвы — в Детское Село

Милая Тамара. Вот уже несколько дней я живу в Москве обыкновенной моей, т. е. униженной и трудно переносимой жизнью — поиски денег, вынужденные свидания с «деловыми» людьми, невозможность работать настоящую работу и проч. Рассчитываю на то, что мама уедет в конце будущей недели, тогда и мне придется ехать в Одессу, перспектива невеселая, потому что я боюсь, что мне и там не удастся работать. Был вчера у Воронского, встретил у него Лидию Никол. Она очень толстая, весела ли она — не разобрал. Жду от тебя писем, ответа на мое письмо о деньгах. Хорошо бы, чтобы все у тебя текло сравнительно хотя бы благополучно, дай тебе бог. Будь здорова, душа моя.

Твой И. Б.

М. 24/VI—26.

74. Из Москвы — в Детское Село

26/VI—1926 г.

Милая Татушенька. Письмо твое от 23/VI получил. Живу благополучно. Благополучием я называю то, что мне благодаря жесткому режиму удастся выкроить часа три каждый день для размышления о более радостных вещах, чем сценарии, редакция, надоевшие, ненужные люди и проч. В городе маленько досаждают жара, она у нас египетская. «Бюджет» ты составила, бедняжка, с предельной экономией, действительно, ниже этого минимума спускаться нельзя, ненормально в этом бюджете только то, что 33% уходит на квартиру, ну да с этим пока ничего сообщить тебе не могу. Предполагать и болтать легко; теперь все надо подгонять так, чтобы хотя на несколько месяцев вперед обеспечить регулярный и порядочный заработок; совершенно очевидно, что кино в нынешнем его положении не может дать одновременно крупную сумму, посижу еще в Москве, «ситуация» скоро проявится. Ты что-то сгоряча написала о судах¹². Избави тебя бог, ни при каких условиях не отягощай себя этой гадостью, только дуракам потеха.

Вот и все дела. Будь благословенна в женах! В каждом письме ты упоминаешь о каких-то «ребенках»? Спятила ты, мать? Не пугай, за ради бога, а то как прочитаю — сердце переворачивается вверх ногами. До свиданья, душа моя.

Твой И. Б.

75. Из Москвы — в Детское Село

Уважаемая дура. Твой набат от 25/VI получил. Относительно мрачности моей ты ошибаешься. Я пребываю в превосходнейшем расположении духа, это, главным образом, касается души, беспокоят меня только материальные дела, но от беспокойства до несчастий далеко, уважаемая дура, не надо извращать, раздувать, распирать незначительные события. Я предвижу резкое понижение заработков. В отношении меня это хорошо — заживу лучше и буду заниматься делом, а не пустяками, в отношении тебя плохо. Я в Москве еще посижу, буду работать и изыскивать способы получить более или менее крупную сумму, сумма эта нужна нам для покупки квартиры в Ленинграде. Это основное дело, но и тут катастрофы пока нет, п. ч. в Детском Селе можно беспечно прожить еще месяца три. На текущие же расходы деньги будут. Все, что ты болтаешь о службе для тебя и Зинаиды, — сущий вздор, это известно тебе так же хорошо, как и мне, пока ты не родишь это столь медлительное чудище, пока ты не оправишься от родов — толковать не об чем, все это мы в свое время устроим; для того, чтобы обзаконить младенца, есть еще тысяча лет — я знаю человека лет двенадцати, родители которого несколько дней тому назад ходили в ЗАГС для того, чтобы выправить ему необходимые бумаги. О «прибытии» моем в Ленинград можно говорить только после отъезда мамы. Спокойствие, друг мой Тамара, силой воли, сказал Эдгар По, можно победить даже смерть, а тут такие пустяки, на которые и силы воли надо израсходовать полтора золотника. Так-то! Итак, будь великолепно, чудная и чудная моя Татушечка!

И. Б.

М. 28/VI—26.

Постепенно все уже обратилось в рутину: мои письма, мое ожидание, его письма, делавшиеся почти отписками.

Исаак Эммануилович объяснял мне необходимость отправки своих родных за границу так: жену он разлюбил, но осознает свой моральный долг перед ней. В СССР ей без него совершенно нечего делать, а во Франции она будет учиться живописи, там это можно делать в любом возрасте. Что же касается матери, она-де связывает его по рукам и ногам, за границей же, в Брюсселе, живет его замужняя сестра (уже отправленная им туда), там и нужно организовать для матери «оседлость».

По словам Исаака Эммануиловича, все эти отъезды (хотя они и были задуманы задолго до нашей встречи) были связаны с возникновением его чувства ко мне.

В июле 1926 года мне показалось, что он уже завершил в основном эти целиком его поглощавшие хлопоты: жена уже за границей, к отъезду матери все готово. Однако он меня попросту не посвятил в то, что все еще хлопочет о родителях Евгении Борисовны, которая с тем только и уехала, что он обещал ей отправить их за границу, да и сам, несомненно, пообещал приехать. Я этого ничего тогда не знала, и мне думалось, что настало наконец время заняться ему вплотную нами, т. е. собой и мной.

Но в том-то и была моя роковая ошибка, что для него не существовали **мы**, а существовал он (сам по себе) и я (сама по себе).

¹² По поводу обмена жилплощади — московской на ленинградскую.

77. Из Москвы — в Детское Село

Татушенька. Только что вернулся из Сергиева, где дела задержали меня на два дня, и застал твое письмо, чему я очень обрадовался, п. ч. писем от тебя давно не было. С необыкновенным нетерпением жду «разрешения». Что это ты никак не можешь раскачаться? Вести о животе по-прежнему беспокоят меня, почему ты напираешь на эти слова «чудовищный» и проч.? Неужели, Татушенька, ты способна выкинуть что-нибудь экстраординарное? Я твердо верю, что все окончится превосходно, это предчувствие верное, не надо бояться вещей, которые претерпевает ровно половина человеческого рода. У меня ничего нового, вожусь с мамой, из-за тысячи мелочей никак не могу ее выпроводить, все же она скоро уедет. Ввиду того, что состояние духа у меня спокойнее, ввиду того, что я осуществил наконец давнишнее мое желание — порвать все старье, нудные знакомства, — я помаленечку работаю. Поэтому, дружок, никак я не могу писать тебе длинно. Подожди, скоро запишу. Очень хочу послать тебе на будущей неделе деньги. Обязательно это надо сделать. Надеюсь, что ухвачу где-нибудь кленовый листочек. Итак, не журись, как говорят на Украине, великолепно ты это все делаешь, в лучшем виде, чего я тебе желаю, душенька моя, от всего сердца.

Твой И. Б.

М. 3/VII—26.

78. Из Москвы — в Детское Село

Милочка. Философическое твое послание от 4/VII получил. Лидия Николаевна передала тебе вздорные новости. Выгляжу я превосходно и чувствую себя не менее превосходно. Насчет «свиданий» виноваты мы оба в одинаковой степени. Л. Н. прислала мне открытку, в которой сообщала, что до воскресенья будет на даче, я собрался к ней в воскресенье, но она, оказывается, укатила в субботу в Пб. По этому поводу я написал ей негодующее письмо.

Касательно корреспонденции ты, по-моему, не права. Пишу я так часто, как только могу, а дела у меня сейчас излишне много. Помимо «душевной» работы, которую я продолжаю, несмотря на противодействие всех стихий, мне приходится еще участвовать в монтаже на 1 Госкинофабрике несчастной и неумелой картины Капчинского «Коровины дети». Произведение это сумбурное, я по договору обязан составить к нему надписи и обязательно это выполняю потому, что эта работа значительно уменьшит сумму моего долга фабрике. По логике вещей я обязан вернуть полученный в Госкино гонорар, т. к. гонорар этот я получаю вторично в Вуфку. А ежели возвращать — то... все понятно. Итак, надо монтировать и делать надписи к «Коровиным детям». Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана¹³ и Ш. Алейхема¹⁴, кроме того, я должен исполнить кое-какие работы для Вуфку, кроме того, я снаряжаю многотрубный Корабль, который называется моей мамой, и проч., и проч. Работы эти скучные, но деньги пойдут на благие цели, поэтому работать надо; единственно удручает меня то, что многие проблемы (лошадиная и проч.), изучение которых совершенно необходимо для моего душевного равновесия, из-за недостатка времени остаются безо всякого изучения. Ну да чем скорее я исполню заказы, тем скорее можно будет приступить к проблемам. Дня через два в Москву должен приехать один из директоров Вуфку, и я узнаю тогда, состоится ли моя вторичная поездка в Одессу, и вообще разберусь в дальнейших перспективах. Итак, сетовать на меня за «малое писание» грешно. Других новостей нет. Все новости должны идти от тебя. Когда это случится, дорогой Монблан? Сколько сердец бьется в твоём животе — два или одно? Доктор, говорят, может это определить. Живи получше и философствуй поменьше, потому что философия *post factum* прощительна только у людей, извлекающих доходы из литературного труда.

Итак, цветы, милый друг, мы еще развернем дела.

Твой И. Б.

М. 7/VII—26.

79. Из Москвы — в Детское Село

Татушенька. Пишу второпях на почте. Только что отослал тебе 200 р. Боязнь денежных катастроф превратилась у меня в манию — каждая получка кажется мне последней. Поэтому будь скупа. Оно хотя тебе и не приходится говорить об этом, но все же без расчета можно подохнуть.

Новостей мало. Вуфку телеграфно требует спешного отъезда в Одессу, я в Одессу ехать не могу, п. ч. обязан по договору присутствовать при монтаже пар-

¹³ Сочинения Гюи де Мопассана в трех томах (М.-Л., 1926—1927) вышло под редакцией Вабеля, для этого издания писатель перевел три новеллы.

¹⁴ Шолом-Алейхем (наст. имя и фамилия Шолом Нохумович Рабинович) (1859—1916), еврейский писатель.

шивых «Коровинных детей». Скверная работа. Посмотрим, как это все образуется. Жду от тебя блистательных вестей.

Доколе, о Господи?

Твой И. Б.

М. 9/VII—26.

80. Из Москвы — в Детское Село

Любезная Тамара. Пробыл в Сергиеве три дня, запустил все дела, дела пристали с ножом к горлу, поэтому буду краток. Относительно Зинаиды¹⁵ я немедленно предприму шаги у Примакова¹⁶, который назначен в Ленинград командиром корпуса, и у Чагина¹⁷. Думаю, что надо нажать на Лид<ию> Ник<олаевну>. Она может очень много сделать в каком-нибудь бабском или журнальном учреждении. Мне кажется, что службу Зинаиде надо начать этак через месяц, когда вся «история»¹⁸ уляжется.

Мама уезжает в ближайшем будущем, м. б., в субботу.

Мое будущее темно — пока надо кидаться от одной работы к другой. Когда обнаружится просвет — приеду к тебе. Чувствую себя удовлетворительно, чего и тебе желаю. Беспокоиться обо мне не следует — пожалуйста, не делай этой глупости, а вот от тебя мы с трепетом ждем известий (доколе, о Господи?), в ожидании каковых пребываем.

С совершенным уважением

И. Б.

М. 13/VII—26.

Миша родился 13 июля. Исаак Эммануилович (на расстоянии) преисполнился отцовским энтузиазмом. Но только на расстоянии. От Москвы до Ленинграда ночь езды. Однако он опять не ехал и не ехал. Разрешение от бремени само по себе окрыляет женщину. Я хотела этого ребенка. Я его получила. К тому же я хотела обязательно мальчика и родила мальчика. Словом, настроение у меня было отличное, хотя роды оказались очень тяжелыми. Все обошлось благополучно лишь благодаря счастливой случайности.

81. Телеграмма из Москвы — в Детское Село

14/VII—1926 г.

Поздравляю Пишите спешно

82. Из Москвы — в Детское Село

Ночью получилась долгожданная телеграмма. Молодец, Тамара! Хорошо, что мальчик. Девочек, как поглядишь, хоть пруд пруди, а мужчина, может, кормить будет. Вчера, 13 июля (по старому стилю 30 июня), был день моего рождения, и парень этот родился 30 июня. Как я ни далек от фатализма и суеверия, но перст божий указывает здесь ясно — удивительное совпадение и трогательное.

Ужасно хочется знать, как это все произошло, как ты себя чувствуешь, где ты разродилась. Пожалуйста, сообщайте мне обо всем спешно. Ужасно горько ничего не знать, но я здесь связан крепкими веревками и вырваться пока не могу, хотя сегодня утром ввиду столь торжественного события у меня дурное желание бросить все эти мелкие и нудные дела к черту. Итак, будем ходить в папашах. Очень смешно привыкать к этому состоянию. Дай тебе бог, милая Татушенька, оправляйся поскорее, а я, когда приеду, порадуюсь на вас. Писем, писем, писем! Целую тебя крепко, милая душа моя.

И. Б.

М. 14/VII—26.

¹⁵ Переехав в Ленинград, сестра Т. В. Ивановой З. В. Каширина оказалась без работы.

¹⁶ Примаков Виталий Маркович (1897—1937, репрессирован), военачальник, в гражданскую войну командовал кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом. После войны был начальником и военкомом Высшей кавалерийской школы, военным атташе, командиром и военкомом стрелкового корпуса. Автор работ по тактике кавалерии и военной истории. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

¹⁷ Бабель интересовался не только «конской проблемой», он любил высокопоставленных знакомых.

¹⁸ Чагин (наст. фамилия Болдовкин) Петр Иванович (1898—1967), издательский работник, друг Есенина. В 1926—1929 гг. ответственный редактор ленинградской «Красной газеты».

¹⁹ Т. е. родится ребенок.

83. Из Москвы — в Детское Село

Милый друг Тамара. Проходил вчерашний день в отцовском состоянии и потерпел на этом деле червонцев пять убытку, потому что от важности ничего не мог делать. Здесь теперь Митя Шмидт, мы вчера в твою честь выпили, и Митя самозабвенно плясал, провозглашая почтенное твое имя. Быть отцом на расстоянии — вещь удобная и гигиеническая, но до смерти хочется знать, что у вас происходит, — как ты себя чувствуешь, как все это произошло. Татушенька, как только ты оправившись, напиши мне несколько строк. Передай Зинаиде Владимировне всеинжайшую и лихорадочную просьбу извещать меня о течении событий. Очень буду ей обязан.

Пишите, пишите, друзья мои. Живу я здесь в чаду и опьянении. Пожалуйста, поправляйся поскорее и будь совершенно здорова.

И. Б.

М. 15/VII—26.

84. Из Москвы — в Детское Село

Спасибо милой Зинаиде Владимировне. Она истинная наша благодетельница. Как много она для нас сделала. Только что получил ее письмо. Я ждал его с нетерпением. Насчет имени собственного мнения не имею, предоставляю важное это дело твоему усмотрению, надо назвать попроще. Откуда у этого парня черные волосы? Разве я брюнет? Я, кажется, шатен. В столь нежном возрасте цвет волос, говорят, изменяется. Сколько в нем было фунтов при рождении? Очень ли велик у него рот? Такой ли он противный, как у Ксении¹⁹? Как хорошо, что ты рожала на дому. Тамара, милая, веди себя разумно, тогда все пройдет как нельзя лучше. Что слышно насчет молока? Очень ли этот мужчина кричит? Тамара, очень хочется думать, что ты будешь лежать спокойно, неосторожных движений делать не будешь и скоро встанешь. Когда оправившись, напиши мне, очень ли тебе трудно пришлось, ты, я думаю, здорово кричала.

Пишите мне, милые мои, почаще. В здешней жизни письма ваши несут мне истинную отраду. У меня все благополучно. Будь счастлива, Тамарочка. Зинаиде Владимировне и Тане низко кланяюсь.

И. Б.

М. 15/VII—26.

85. Из Москвы — в Детское Село

Татушенька. Из того непостижимого факта, что ты сама написала мне, я заключаю, что все идет благополучно. Очень хорошо. Ты удивительная женщина. Дай тебе бог, Маркс и ангелы его счастья! Об имени. Можно назвать этого гражданина Мишей, имя без претензий и незамысловатое. Пожалуйста, напиши мне о нем еще; следует сказать, что этот новый человек интересует меня живейшим образом. Ты об нем больно хорошо не думай — будет парень с прыщами и причудами, насчет причуд — это дважды два, есть от кого набраться. Некрасив он, наверно, как тысяча чертей, заgrimированных в летнем дачном театре, ну, да выправится. Я и приехать-то хочу тогда, когда он примет «человеческий» вид. Срок моего приезда выяснится на будущей неделе. Работу мою на 1 фабрике я закончу в середине будущей недели.

Относительно Зинаиды я отправил письма во все концы и здесь хлопочу — толк выйдет, я в лепешку расшибусь, а добуду, п. ч. Зинаида удивительный, чудный человек. Мои молитвы не доходчивы, но я молюсь за нее.

Относительно денег помню, очень помню, постараюсь на будущей неделе выслать. На сколько времени тебе хватит твоих скудных средств? Письмо твое, милочка Тамара, привело меня в счастливое, нелепое, туманное состояние, пиши мне побольше, у тебя новостей много, а у меня никаких нет, и новости твои очень уж потрясающи.

Твой И. Б.

М. 16/VII—26.

86. Из Москвы — в Детское Село

Мама категорически не помнит, когда я появился на свет божий — днем или ночью. С несомненностью установлено только одно, что случилось это шаблонное событие 30 июня. Совпадение это до сих пор кажется мне исполненным глубокого значения — вот какой я дурак. Во всяком случае, дурак этот за всю свою скудную жизнь не получал ко дню рождения такого необыкновенного подарка.

¹⁹ Приятельницы Т. В. Ивановой — К. И. Гольцевой.

Письма твои — главы из самого захватывающего романа, какой я когда-либо читал, — проглатываю с жадностью. Вот когда пришла пора пожалеть о том, что я «миниатюрист», — чувствую много, а написать не могу. Татушенька, для того чтобы я всем сердцем жил с вами, мне нужно знать все, что у вас происходит. Разговаривай со мной почаще, Татушенька.

По неисповедимой моей дурусти мамин отъезд отложен на несколько дней. В паспорте у нее был указан пограничный пункт Негорелое, т. е. направление на Польшу, а ей нужно на Ригу. Исправление паспорта возьмет два дня — понедельник и вторник, а в среду она уедет.

Жизнь у меня такая, что я сам на себя удивляюсь, — сижу дома, работаю, напеваю, улыбаюсь неведомо чему, и никакие Левидовы мне не нужны! Завтра высокаторжественный день Дерби²⁰. Я на ипподром заберусь с утра и пробуду там до вечера, очень волнуюсь о судьбе многих лошадей. Сейчас рассвет — второй час утра, — я очень вас люблю, но голова моя клонится долу. Будь умницей, Тамара, ты ведешь себя чудно, кланяйся новому гражданину и расскажи мне о нем еще. До свидания, друг мой.

И. Б.

М. 18/VII—26 г.

87. Из Москвы — в Детское Село

19/VII—26 г.

Мать!

Вчера на Руси на великой было Дерби. Я пропал на ипподроме до 10 ч. вечера, выиграл малую толику и ужинал с Виктором Андреевичем Щекиным, приехавшим на Дерби в Москву. Еще приехал Калинин²¹, Сергей Иванович. Они изо всех сил зовут меня в Хреновое. Поехать туда, конечно, хорошо и надо бы до зарезу, но, как говорят людишки на этой неусовершенствованной земле, — «нет возможности».

Спишь ли ты уже, мать? Когда предполагаешь встать с постели? Серьезная ли это штука с грудью? С этим, кажется, никак нельзя шутить. Есть ли у вас прислуга, была, кажется, такая женщина, звали ее Пашей, что с ней?

Путешествовать начну с будущей недели — не зови ты меня, душа моя, сам прискачу.

Задержка с маминым отъездом вышла оттого, что проезд через Латвию теперь закрыт, а ее бельгийская виза находится в Риге; пришлось телеграфировать в Ригу и Брюссель — надеюсь получить ответ не позже 21-го. У мамы все готово к отъезду.

Татушенька, ты должна кормить сына непоколебимым молоком, человек должен быть крепок во все дни живота своего, поэтому извольте, душа моя, находиться в наилучшем состоянии духа, берите пример с меня, который, правда, не кормит грудью и спит исправно, чего и тебе бурно желаю. До свиданья, ангелы мои.

И. Бабель

88. Из Москвы — в Детское Село

Милочка Тамара. Вчера начал строчить тебе послание, но меня прервали — приехали, сообщили о смерти Дзержинского и увезли меня.

Как тебе покажется имя Лев? В рассуждении инородческого отчества оно может, вышло бы подходяще. Михаил — тоже хорошо. Алексей — имя превосходное, но с отчеством больно расходитя. Каково твое последнее слово?

Послезавтра кончаю работу в Госкино, работу, которая мне, конечно, ни копейки не принесет, а только немножко скостит долг; остающийся долг все еще велик. Жду ответной телеграммы по поводу перевода маминой визы в Берлин. Вот дурацкое обстоятельство. Предвидеть его никак нельзя было. Завтра должны были выясниться мои денежные дела, но в связи с похоронами Дзержинского дело отложится на день-два, все же рассчитываю выслать тебе деньги еще на этой неделе. Относительно поездки моей по делам Вуфку в Харьков — Одессу — жду телеграммы. По всему судя, надо посидеть в Москве еще несколько дней, а мне не очень-то сидится. То, что я приеду в Пб. попозже, — это, по-моему, к лучшему. Я всех вас застану в состоянии полного расцвета. Жизнь моя течет однообразно, потому что она рабочая жизнь, и только вести из Детского Села оживляют, воодушевляют, восторгают ее.

²⁰ Ипподромные состязания 3-летних скаковых чистокровных лошадей на дистанцию 1,5 мили, также дерби называются главные соревнования сезона для 4-летних рысаков.

²¹ Щекин Виктор Андреевич, Калинин Сергей Иванович — знакомые Бабеля по Хреновскому конному хозяйству.

Когда ты собираешься встать с одра плодородия? Всему твоему разросшемуся семейству кланяюсь низко, от всего сердца. До свидания, голуби мои.

М. 21/VII—26.

И. Б.

89. Из Москвы — в Детское Село

Я не писал тебе два дня. Был очень занят. Получил, наконец, от бельгийского консула в Риге извещение о том, что виза будет послана в Берлин. Теперь в связи с близким отъездом много суеты.

Очень меня обрадовало известие о том, что денег тебе хватит до конца месяца. У меня получки предвидятся, в этом отношении все благополучно, но если бы получать сегодня или завтра, то это вышло бы насильственно, а к концу месяца выйдет в срок по договору, очень хорошо.

Откуда это к тебе, мать, привалило столько молока? Я думал, ты будешь победнее. Насчет всяких желудков беспокоиться, кажется, не стоит. Или стоит? Ведь эти вещи — было и прошло, не правда ли? О приезде моем в Детское, о точных сроках я извещу тебя не ранее середины будущей недели, к концу, надеюсь, приеду. Тогда поговорим и Зинаиду постараемся устроить, без этого не уеду.

Больше событий никаких. «Кинематографическое дело», очевидно, рассасывается. Вчера выпустили Капчинского, он три месяца просидел в одиночке, неизвестно, за какие прегрешения. Письма твои читаю с наслаждением, ты пишешь лучше Льва Толстого, не оставляй, душенька. Отпрыску твоему и прочим милым домохозяевам поклон. До свиданья, Татушенька.

М. 23/VII—26.

И. Б.

90. Из Москвы — в Детское Село

Татушенька. Пишу тебе впопыхах несколько строк, так как несмотря на воскресенье должен ехать на Кинофабрику просматривать мои надписи к картине. Завтра ее обязательно должны сдать в цензуру.

Как уже окончательно выяснилось, мама уезжает в среду, следовательно, я буду в Царском еще на этой неделе, в конце, м. б., в субботу, если успею — в пятницу. О приезде я тебя извещу. Очень радует то, что от тебя получаются хорошие вести, я чувствую себя счастливым и очень хочу тебя видеть. Кланяйся съезжающему тебя человеку. Как у вас обстоят дела молочные и проч.?

М. 25/VII—26.

Твой И. Б.

91. Из Москвы — в Детское Село

Татушенька. Госиздат может произвести со мной расчет только второго, т. е. во вторник. «Юнармия» разошлась целиком в 1½ месяца, с 1 июня по 15 июля, т. е. в так называемый мертвый сезон. Я заключил договор на второе издание²², получу во вторник деньги и постараюсь в тот же день выехать. Все твои поручения исполню. Мама уехала в четверг, только что получил от нее телеграмму, она сегодня утром приехала в Берлин и завтра, надо надеяться, будет в Брюсселе. Раstabарывать о всяких делах сейчас не стоит, потому что скоро увидимся. Письмо твое получил. Долгое молчание очень меня обеспокоило, я хотел телеграфировать, но письмо подоспело вовремя. Ужасно грустно, что поездка отложена на несколько дней, но обстоятельства непреодолимы — во 1) деньги, во 2) лечу зубы и лечение с трудом можно закончить только во вторник, в 3) все еще вожусь с картиной Капчинского, которого, кстати, выпустили из тюрьмы.

До свиданья, милые мои. Хорошо бы до отъезда получить от тебя письмо.

М. 30/VII—26.

Твой И. Б.

92. Телеграмма из Москвы — в Детское Село

31/VII—1926 г.

Приеду будущей неделе Пишу

Долгожданная встреча опять оказалась драматичной. Я так долго ждала его. Поступала только так, как он советовал. Поселилась, как он хотел, вдали от

²² «Юнармия», издание 2-е. М.-Л., Госиздат, 1927.

всех своих и его знакомых, в Детском Селе. Правда, я и там, как до того в Ленинграде, сняла очень неудачное помещение. Хозяева дома сдавали худшую его часть, плохо обставленную, неудобную и в общем-то очень неудобную. Мой выбор пал на эту квартиру ввиду ее относительной дешевизны, а также близости к пленившим меня паркам. И вот Исаак Эммануилович, наконец, приехал, но в первый же день заявил, что тут же и уезжает. Может быть, он с тем и приехал, чтобы тут же уехать. А может быть, ему не понравилось, что, приехав, он застал у нас Николая Васильевича. Говорю «может быть», потому что в некоторых своих делах, а также и в чувствах, таких, как, например, ревность, Исаак Эммануилович был крайне скрытен.

Я же не видела никакой причины запретить Николаю Васильевичу, с которым я сохраняла вполне дружеские отношения, приехать повидаться с Таней: у него кончался отпуск, и он не мог дольше откладывать свой приезд к нам.

Едва разрешившись от бремени, я уже изо всех сил рвалась к работе. Она была мне совершенно необходима и потому, что я не переносила бездеятельности, и потому, что мне было нестерпимо не иметь своих собственных заработанных денег.

Но какая же работа в Детском? Ее нужно было искать в Ленинграде, да и помещение в Детском не годилось для зимы, хоть и были там печи. Я уже не верила в возможность «оседлости» Исаака Эммануиловича, а зимовать одна, без него, ни в коем случае не хотела.

Мне нужно было все это накрепко с ним обсудить. Не говоря уже о том, что еще нужнее мне было попросту его присутствие. Но он уехал, как всегда мотивируя свой отъезд необходимостью работать. Я опять впала в отчаяние. Однако постепенно взяла себя в руки — жертвенность моя не знала разумных границ — и изо всех сил старалась не обижаться на то, что для работы Бабелю обязательно надо было быть где угодно, но только не со мной.

93. Из Москвы — в Детское Село

Милая Тамара. Телеграмму и письмо получил. Описывать состояние мое не стоит. Я считаю, что в нашу жизнь должно быть внесено, наконец, спокойствие.

Деньги я перевел тебе на несколько часов позже, чем предполагал, п. ч. всего не предусмотрел, мне должны были выдать деньги утром, а получил я их в седьмом часу вечера. Вместо твоих метаний и поисков денег ты должна была просто мне протелеграфировать и успокоиться на этом, ты ведь знаешь, что я в таком случае сделаю все, что в моих силах. Завтра утром отправляю тебе сундучок, я положил в него стеганое одеяло и кое-какое тряпье, которое попало под руку. Вещи я отберу в другой раз, мне сейчас не до них.

Я поручил управдому нашему, верному человеку, получить за меня в Госиздате деньги и немедленно отправить тебе. Он переведет тебе 150 или 200 рублей. По условию с Госиздатом деньги должны быть выданы 20 августа. Дома я нашел извещение от фининспектора о подоходном налоге, надо немедленно уплатить 100 рублей. На деньги, которые пришлет тебе Гилевич²³, ты постарайся жить до половины сентября, никаких получек у меня до этого времени не будет.

В Москве я окунулся в омут невыносимых моих дел. Раздумав трезво, я пришел к убеждению, что больше возиться с халтурой и унижаться я не могу, и мне стало легче и веселей. Я встретил здесь Митю Шмидта, он повезет меня завтра в совхоз под Киевом, в сосновый лес, где я собираюсь проработать, сколько смогу, и потом только поеду в Одессу к окончанию «Блуждающих звезд». Мне выгоднее не участвовать в позорной этой постановке. Немедленно по приезде я сообщу тебе адрес. Ольге Ефремовне²⁴ я написал. Зинаида немедленно должна зайти к ней. О результате уведомите меня. С Примаковым я возобновил связь, если не выгорит с О. Ефр., то я пришлю письмо Примакову и он обязательно устроит. Ну, да этот вопрос впереди. Я сделаю все, что надо. Мною задумано одно дело, я рассчитываю, что через месяц оно даст мне сумму, нужную для покупки квартиры в Ленинграде. Пока же надо жить в Детском. Выше себя не прыгнешь. И еще надо соблюдать спокойствие. Я решил попробовать себя. Это будет серьезная проба²⁵.

Татушенька, я надеюсь, что следующие твои письма будут веселей. Я бы мог много еще сказать тебе, но ты все понимаешь сама.

Твой И. Б.

М. 14/VIII—26.

Пишу на почтамте. Только что отправил сундук. Прилагаю квитанцию и ключик. Дня через два Зинаида должна наведаться на станцию. Уезжаю сегодня в

²³ Гилевич — управдом, с которым Бабель поддерживал дружеские отношения и давал ему всяческие поручения.

²⁴ Знакомая Бабеля. Работник (директор?) банка. И. Э. просил ее взять З. В. на работу.

²⁵ Речь идет о замысле пьесы «Закат».

7 ч. 10 м. Пиши пока Киев, главный почтамт, до востребования. Спешу на вокзал. Постарайся быть умницей. Подумай, как облегчится тогда жизнь твоя и еще многих людей.

И. Б.

М. 15/VIII—26.

95. Из Ворзеля — в Детское Село

Живу в совхозе в 40 верстах от Киева, недалеко от станции Ворзель Ю. З. Ж. Д.²⁶. Хотя ожидания мои в смысле лошадей и тишины обмануты, но думаю, что я смогу здесь поработать. Кровных лошадей в этом совхозе нет, толчеи, благодаря уборке урожая, много, но так как я живу здесь бесплатно, то выбирать не приходится. Мой адрес: Ворзель, Киевского округа, до востребования. Я буду два раза в неделю ездить на почту. Что слышно у вас? Я просил Гилевича известить меня телеграммой об отсылке тебе денег, жду этой телеграммы с нетерпением. Была ли Зинаида у Ольги Ефремовны? Я хочу написать Примакову, но мне нужно знать, вышло ли у нее что-нибудь с банком. Получила ли ты сундук? Пригодится ли тебе одеяло? Я думаю, милая моя, что если ты понатужишься и будешь умницей, то ключ молока снова забьет в тебе. Как чувствует себя мальчик? Парень очень превосходный, я все думаю о нем, и очень хочется, чтобы ему жилось лучше.

Особенных новостей не жди от меня, давай Господи, чтобы их у меня не было и чтобы судьба подарила мне месяц-два хотя бы относительного спокойствия. Очень я захвачен сейчас коммерческим делом²⁷ (правда, тряхнул кровью предков), которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро. Кланяюсь от всей души Зинаиде и Татьяне и целую тебя с прямым твоим дополнением.

Твой И. Б.

Ворзель, 19/VIII—26.

97. Из Ворзеля в Детское Село

Милая Тамара. Провел неделю в ужасном беспокойстве. Очевидно, с кем поведешься — от того наберешься. Раньше я, по правде говоря, никаким беспокойствам подвержен не был. Старею. Одна из главных причин моего волнения — деньги. Позавчера получил от Гилевича телеграмму о том, что ордер ему уже выписан, думаю, что деньги ты уже получила. Пожалуйста, сообщи мне, на сколько времени хватит тебе 200 рубл. Следующая полчка у меня в середине августа, 15—20 числа. Хорошо бы продержаться. Гилевич — чрезвычайно верный человек, а Госиздат — бедственное учреждение.

В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. Этот опыт еще более укрепил меня в убеждении, что я себя знаю лучше, чем кто-либо. На мне лежит большая ответственность. Я должен сделать все, чтобы иметь возможность нести эту ответственность. Прошу тебя, никому не говори о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло. Во всяком случае, счастливый этот казус поправит материальные наши дела, думаю, что к концу сентября это улучшение примет осязательные формы.

Голова моя очень устала. Девять дней я худо спал и свету божьего не видел. Сегодня поеду по Днепру, пошатаюсь по селам дня три, вернусь — и буду снова работать. Я написал Виктору Андреевичу Щекину, просил сообщить — на ходятся ли еще лошади на летнем положении, жду от него ответа, м. б., съезжу на некоторое время в Хреновое. Пора мне приниматься за дела.

Напишу Примакову, нажму на него изо всех сил, он превосходный человек, что-нибудь да сделает.

Пиши мне теперь в Киев, до востребования, п. ч. если получится письмо от Щекина, то я, не заезжая в совхоз, поеду прямо в Хреновое.

Последние твои письма веселее предыдущих. Поэтому и я воспрянул духом. Обвинять меня во всех бедствиях, сыплющихся на нас, — ужасная несправедливость. Когда-нибудь ты это поймешь.

Очень рад, что мальчик не обращает особенного внимания на свою мудрую мать и живет, как может. Насчет улыбки его ты очень наивно заблуждаешься — это усмешка презренья играет на его устах. Хорошо, что Зинаида поправилась. Кланяюсь ей и Тане низко. С дороги напишу еще, а сейчас голова трещит, никак не могу собрать мыслей да и на пристань надо, пароход отходит через полтора часа.

Твой И. Б.

Ворзель, 26/VIII—26.

²⁶ Юго-западной железной дороги.

²⁷ Вабель в шутку постоянно называл «Закат» «коммерческим делом».

То обстоятельство, что Бабель занят уже не изнурительными (и для него и для меня) хлопотами об устройстве отъезда за границу своих родных, а настоящим делом — пишет пьесу, — примирило меня с нашей новой, довольно длительной разлукой, и я в письмах старалась даже всячески его ободрить. Известие же о том, что он едет в Хреновое даже как-то приблизило меня к нему. Ведь в Хреновом мы прожили год назад пусть и короткое, но незабываемо для меня счастливое время. Он поселился в том же доме, и мысленно я была там с ним.

101. Из Хреновой — в Детское Село

Милая Царскосельская узница.

Получил твое письмо. Очень был рад. Новостей, как тебе известно, в Хреновом не бывает. Я работаю до обеда, потом ухожу на завод или наоборот. Обедаю у прошлогодней нашей поварихи, хожу к ней на дом. Условия для работы здесь превосходные, тем более превосходные, что здесь мозгам можно дать роздых в любую минуту, а мозги мои теперь не в лучшей форме. Сообщение твое о деньгах привело меня в панику. Завтра разошлю во все концы письма — буду просить, чтобы деньги выслали тебе по телеграфу 15 сентября. Одна надежда на Гилевича. Я знаю, он сделает все, что может. Во всяком случае, приготовь себе возможность извернуться в течение нескольких дней. Неужели ты никак не сможешь этого сделать?

Я думаю, что после моего письма Примаков вспомнит о Зинаиде и ускорит ее хождение по мукам.

Ты ничего не пишешь о «молочных» делах. Все ли уладилось, прикармливаешь ли ты еще коровьим молоком? Мальчик худ, мне кажется, — это пустяки, здоров ли он и так ли смешно купается, как прежде?

Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложилось дурное отношение к моим «произведениям». Раньше они мне нравились по крайней мере во время написания, а теперь и этого нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится.

Для того, чтобы не беспокоить Виктора Андреевича, можешь писать прямо — Хреновая, Воронежской губ., Коннозаводская Слобода, дом Толбинских.

Пожалуйста, пиши мне. Здесь, в глуши, письмо заменяет людей, книги и еще много вещей, о которых мне позволительно только мечтать. Я скоро напишу еще. Будь благополучна, дружок мой, со всеми твоими чадами.

И. Б.

Хр. 8/IX—27.

При всем моем желании я не могла не писать ему о деньгах, тем более что как раз в это время изменились мои взаимоотношения с Лидией Николаевной, которая одна лишь поддерживала меня в моменты денежных крахов.

Теперь же она начала убеждать меня одуматься и «не губить свою молодую жизнь». Она вдруг в корне переменяла свое отношение к Бабелю. Призывала меня порвать с Исааком Эммануиловичем, усиленно предлагая всяческую свою помощь, даже звала переехать к ней жить с обоими моими детьми и Зиной. Меня ее уговоры обидели, я перестала бывать у нее. Исааку же Эммануиловичу написала, что ввиду ссоры с Лидией Николаевной о новых займах у нее не может быть и речи, поэтому мне пришлось занять деньги у Варшавских, но это такой долг, который требует немедленной отдачи.

103. Из Хреновой — в Детское Село

Живу по-прежнему. Сегодня пошел дождь. Будет он идти, вероятно, не один день. Работаю в меру сил. «Мера»-то не больно велика. Мозги мои требуют очень частых передышек, не по сезону. Получил от Примакова письмо. Он сообщает, что Зинаида устроена, выражает сожаление, что не знаком с ней, при личном свиданье можно бы лучше договориться. Почему она не пошла к нему? Он человек очень приветливый. Правда ли, что есть служба?

Очень рад, что тебе удалось занять 50 р. Я всегда негодую на тебя за твои денежные тревоги. Это из рук вон. Худо, когда денег нет и не будет, а когда знаешь, что придут не сегодня — завтра, тогда легче обернуться и в панику никак впадать не следует. Гилевича я бомбардирую, просил выслать по телеграфу. Будем надеяться — делает.

Ссориться с Л<идией> Ник<олаевной>²⁸ — не стоит, глупо. Со своей точки зрения, а может быть, со всех точек зрения, она права. Жить в Царском теперь худо. Что же делать, если денег нет? Заработаем — тогда переедем. Плохо то, что я зарабатываю с такой отвратительной, бессмысленной, изнуряющей мед-

²⁸ Л. Н. Сейфуллина написала Бабелю письмо, в котором предупреждала, что всячески будет уговаривать Т. В. Иванову порвать с ним.

ленностью. Голова у тебя болит от глупости, тут и гадать нечего. Пора поумнеть, мать моя. Очень радуюсь хорошим вестям о сыне. У меня есть мудрая привычка — не ждать ничего хорошего от близких, поэтому всякую хорошую новость я принимаю как счастливый дар судьбы. К сожалению, мудрость моя единственной этой привычкой исчерпывается.

Последних твоих писем, посланных в Киев, не получил, не успел. Жаль. Напишу в Киевский почтамт, м. б., мне их пришлют.

Вот и все дела. До свиданья, милый друг мой. Пьесу начну переписывать через несколько дней. Никому я ее еще не читал. Мальчика, правда, не худо бы сфотографировать. Если сможешь урвать рубль-два, сделай это и пришли мне карточку. Жить мне станет веселей. Кланяюсь всем вам низко, тысячу раз.

Твой И. Б.

Хреновая, 17/IX—26.

106. Из Хреновой — в Детское Село

Письмо твое, в финансовом отношении столь плачевное, получил. Ты знаешь, как обстоят дела. Если земля не поглотила Москву, если Госиздат не объявил себя банкротом, — ты деньги должна была уже получить. Хожу по степям, как тигр, и жду вестей от проклятого, невозмутимого Гилевича. Доверенность он получил 23-го вечером, значит, денег надо ждать с часу на час. Я все сделаю, чтобы эти денежные перебои были последними. В Москву рассчитываю выехать первого, в первую же неделю октября вышло тебе денег дополнительно. Планы мои таковы: в Москве в возможно короткий срок (не хочется мне там сидеть) заработать как можно больше денег и умчаться в Детское, устроить переезд в Петербург, осесть, как полагается приличным людям, а там можно и планы делать. Весь вопрос теперь в том — хлебную ли пьесу я сочинил? Беда, что к революции пьеса не имеет никакого отношения, как ни верти, она чудовищно дисгармонизирует с тем, что теперь в театре делают, и в последней сцене дураки могут усмотреть «апофеоз мещанства». А так как цензура не может не состоять из дураков, то... поживем, увидим... Вообще же к пьесе этой нельзя относиться серьезно. К сожалению, я мало смыслю в драматургии и вышел, кажется, легковесный пустячок. Очень жаль, что мне не с кем посоветоваться.

Не понимаю, что вышло с Зинаидиной службой. Была ли она у Примакова? Обязательно надо сходить. Он ведь писал мне совершенно определенно.

Здесь уже осень, дожди каждый день, и я очень хорошо понимаю, как худо живетесь вам в Детском. Я даже и письма твои вскрывать боюсь, все деньги проклятые. Но правда, Тамара, мы исправимся.

Лид<ии> Ник<олаевне> я написал.

Очень рад хорошим вестям о нашей «смене». До смерти хочется посмотреть на него. Буду гнать свои дела изо всех сил.

Миленьякая, не умирай с голоду, в каких-то делах ты ведь умница, додержи до подкрепления. Я бы, не глядя ни на что, выехал в Москву немедленно, но во 1) не на что. Гилевич и мне должен выслать денег на отъезд, и во 2) я все-таки твердо знаю, что все уладится.

Целую тебя крепко.

Твой И. Б.

Хрен. 25/IX—26.

Исаак Эммануилович умел, когда хотел, и очаровывать и убеждать. Написав Лидии Николаевне, он не только примирил ее с собой, но даже и вызвал ее раскаяние. Она примчалась ко мне в Детское, умоляя забыть все ее «глупые» угоры и не сердиться за них на нее.

108. Из Хреновой — в Детское Село

Пишу все еще из Хреновой. Никак не удастся исполнить расписание. Хотел написать здесь (очень уж тихо) несколько рассказов, подготовил их вчерне, но времени не хватает. Я занят незначительной переделкой последнего акта пьесы, окончу и уеду. Не позже 10/X буду в Москве.

Только что получил телеграмму от одесской фабрики Вуфку о том, что постановка «Блуждающих звезд» закончена и режиссер 10/X везет фильму в Харьков, в Правление. Не знаю, обязывает ли меня к чему-нибудь такая телеграмма, все же перед выходом в свет мне надо картину видеть, пишу об этом в Харьков.

Гилевич телеграфировал мне, что перевел тебе 200 р. Немедленно по приезде в Москву я достану еще денег и пошлю тебе.

Ужасную глупость я сделал, написал тебе, что уеду 1-го. Теперь от тебя никаких вестей, и так как я тобой заражен, то «беспокоюсь». О себе могу только сказать, что все мои дела я проделяваю с предельной торопливостью (в литера-

турном отношении, чувствую, это очень вредно) для того, чтобы скорее поспеть в Детское. Очень хочу вас видеть, ужасно. До свиданья, милые мои.

И.

Хреновая, 4/Х—26.

Когда будешь писать мне в Москву, не забывай адресовать так: Москва, 34, говорят, что без номера почт. отд. письма теперь не доставляются.

110. Из Москвы — в Детское Село

Милая Татуша. Приехал в Москву только вчера. Ехать пришлось сутки 4 классом — скорый отменен. Тяжелое путешествие. Дела начну завтра. Если они затянются — чего я не предполагаю, — то я улечу не в счет абонемента один-два дня для того, чтобы вырваться к вам. Завтра постараюсь выслать тебе по телеграфу малую толику — предварительно. Теперь, когда я в Москве, пожалуйста, милая, не беспокойся о деньгах. При всяких обстоятельствах, дурных или хороших, мы наш плачевный прожиточный минимум повысим. Хочу думать, что простуда твоя — дело скоропреходящее. Вести о мальчике приводят меня в телячий восторг. Я пишу на нашей злосчастной почте «34», которую через две минуты закрывают. Поэтому завтра я продолжу это письмо. А пока, милая, до свиданья, действительно, до свиданья, до скорого.

Твой И.

М. 11/Х—26.

112. Из Москвы — в Детское Село

Пишу впопыхах, Татушенька, п. ч. хочу, чтобы письмо ушло сегодня. В последние дни у меня случилась неприятность. Я как-то чувствовал себя не совсем здоровым и поручил моему «кузену» Володе (ты его, кажется, знаешь) зайти в Госиздат за 300 рубл. Он получил эти деньги и скрылся. Конечно, это удар; ты знаешь, как нам теперь нужны деньги. Из-за этой грустной истории я не смог выехать к тебе вчера, как хотел. Следующие деньги получу только 21-го. Сегодня постараюсь занять 50 р. и выслать их тебе по телеграфу.

Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художеств<енного> театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту, с какой я написал ее, то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои «художественной законченности» плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса исправлена, а счастье это я могу черт меня знает когда.

Матери²⁹ я не звонил, п. ч. лишенный трехсот рублей — на что я годен? У меня не было ни копейки. Подождем 21-го.

Во всяком случае на этой неделе я приеду в Детское. До скорого свидания. Будь счастлива ты и потомство твое!!!

Твой И. Б.

М. 18/Х—26.

В конце октября Бабель приехал в Детское и заявил, что намерен там осесть. Но я этому заявлению несколько не обрадовалась. Выше я уже писала, что квартира была мною снята неудачно. Во всех отношениях она была неудобна, а для зимы и вовсе не приспособлена.

Впоследствии Исаак Эммануилович упрекал меня, что я «вспугнула» в Детском его вдохновение. Но, во-первых, не говоря уже о непригодности квартиры, оставаясь в Детском, ни Зина, ни я не могли бы работать, а во-вторых, и это самое главное, утверждение Бабеля, будто Детское всего больше подходит ему, было как раз из порядка тех слов, которые расходятся с делом. Об уединении Исаак Эммануилович мечтал только на словах. А выдерживал его лишь на очень короткий срок. Он совершенно не мог долго жить без людей, без новых и новых знакомств и впечатлений. Так и тогда, приехав-таки ко мне и уверяя, что ему, кроме тишины и моего общества, ничего не нужно, он тут же начал сбегать из Детского в Ленинград.

Опять начались ссоры. Одна из них особенно запомнилась и потому, что была она необыкновенно глупой, и потому, что от нее осталось два письменных свидетельства: письмо ко мне Правдухина и шуточный «конduit», составленный Исааком Эммануиловичем.

В одну из ленинградских отлучек Бабеля Лидия Николаевна и Правдухин пригласили его и меня на какой-то определенный день к себе в гости. Исаак

²⁹ Матери Т. В., Марии Потаповне.

Эммануилович забыл сказать мне об этом приглашении, но в тот самый день, случайно, зашел к Лидии Николаевне и остался там на всю ночь (не известив меня). Я очень беспокоилась, не могла уснуть — думала, что с ним приключилась какая-нибудь беда...

Он же приехал на другой день как ни в чем не бывало и еще даже «кондуит» настроил.

КОНДУИТ
арестанта № 1 И. Э. Бабеля

	2/XI	3/XI	4/XI
проснулся:	9 ч. утра	—	8 ч. утра
когда ушел:	3 ч. дня	—	3 ч. дня
куда ушел:	якобы в Ленинград	—	якобы на вокзал
зачем ушел:	якобы по делам	—	якобы за газетами
когда пришел:	не явился	6 ч. вечера	4 ч. 10 мин.
температ<ура>:			
утром:	36,4°	39,9°	38°
днем:	—	—	—
вечером:	—	—	—
Количество принят. пищи:	нормально	не выяснено	нормально
калории:	—	—	—
витамины:	—	—	—
поведение:	неудовлетворит.	невynosимое	неудовлетворит.
	Под предлогом неотложных дел вышел 2/XI в 3 ч. дня, достиг вокзала, приехал в Ленинград к Правдухиным, где провел в пьянстве, распутстве и поношении семейных добродетелей до 4 ч. дня 3/XI, причем в это же время заболел без предупреждения; утверждает, что блевал с кровью, но в то же время образцов крови не представил. Умудрился также нанести непоправимое оскорбление Т. В. Кашириной, отделенной от него расстоянием в 20 верст, довел до проказы сына, причинил общую слабость З. В. Кашириной. Явился домой в 6 ч. вечера. Был приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение.		Проснувшись — с невыясненными намерениями расхаживал по комнатам, причем утверждая, что не может опомниться от последствий примененной к нему высшей меры наказания. Следов раскаяния не обнаруживает, поведения заносчивого. Ввиду непредставления им образцов крови от 2/XI признан больным язвой желудка с вытекающими последствиями — диета. Лишен в течение 2-х недель права прогулки. Писание рассказов поручить Антону ³⁰ , освободив его от обязанности торговать морожеными яблоками.

Старший надзиратель уголовн. отделения
Т. Каширина

Мы, конечно, помирились. Но мои переживания привели к тому, что у меня пропало молоко. Исаак Эммануилович согласился наконец со мной, что надо искать квартиру в Ленинграде. Он уверял, что непременно будет жить со мной в этой квартире, поэтому квартира начала искаться фундаментальная. Бабель сам возглавил поиски, причем оказался в этом смысле еще менее практичен, чем я. Мы едва не поселились в Петропавловской крепости. Квартира была донельзя не подходящей. Пленила она Исаака Эммануиловича местоположением. Чего стоит — поселиться в Петропавловской крепости! Сама же квартира, из пяти больших комнат, была темной, мрачной, сырой. На такую квартиру с ее пятью печами

³⁰ Муж домработницы Паши.

нужен бы был специальный истопник и несметное количество дров. В последний момент, когда уже договаривались о задатке, я вдруг поняла все безумие этой авантюры. Бабель, как ни странно, крепко держался за Петропавловскую крепость и даже обиделся (а может быть, вид сделал, что обиделся?) на меня за отказ там поселиться.

Лидия Николаевна и Правдухин тоже негодовали на мой отказ. Лидия Николаевна подарила мне свою фотографию с надписью: «Коварной Тамаре, разрушившей новый вариант фильма: «Дворец (их квартира находилась на ул. Халтурина, бывшая Миллионная, в бывшем дворце) и крепость».

Я приняла решение переехать обратно в Москву, взяв за начальную базу переселения комнату Бабеля в Чистом переулке, благо и жена и мать его уже отправлены им за границу. Он, как всегда, спешно уехал, но мы договорились, что я приеду следом за ним. Дети с Зиной остались в Детском, где мы утеплили одну комнату.

Исаак Эммануилович, как всегда, сразу исчез, сославшись на срочное дело ехать в гостиницу, к нему нельзя: «Нагрянула тетка и заняла комнату». Было это чистой воды выдумкой, но я этого тогда не поняла. Однако тут же придумала ложь (научилась-таки с чрезвычайным, надо сказать, запозданием этому искусству, такова, увы, жизнь — с кем поведешься, от того и наберешься), будто я забыла взять паспорт: как же в гостиницу без паспорта?

Тогда Исаак Эммануилович сказал, что повезет меня к друзьям, и отвез к Анне Павловне и Всеволоду Вячеславовичу Ивановым. Жили они на Тверском бульваре в маленькой, неудобной (так мне показалось, да так, наверное, и было) трехкомнатной квартирке, в которой все комнаты были проходными. Всеволода Вячеславовича дома не оказалось. Анна Павловна приняла нас не очень радушно, но и не отказала в просьбе временно приютить меня.

Исаак Эммануилович, как всегда, сразу исчез, сославшись на срочное дело и сказав, что придет к вечеру. Вскоре пришел хозяин дома (тут я впервые познакомилась со Всеволодом, который мне с первого взгляда не понравился), он начал сводить с женой какие-то свои счеты, не обращая никакого внимания на мое присутствие. Я почувствовала себя окончательно неудобно и стала звонить по телефону знакомым. Одна из них, Белла Зорич, пригласила меня к себе. Я тут же к ней и переехала, поблагодарив обрадованную избавлением от меня Анну Павловну и оставив Бабелю записку.

Исаак Эммануилович «забегал» каждый день, но дело, по которому я приехала, — подыскание жилища, — не двигалось ни на шаг. Бабель только все меня спрашивал, затребовала ли я свой паспорт и когда мне его наконец пришлют. Исаака Эммануиловича мой паспорт интересовал из-за гостиницы: «Невозможно побыть с тобой с глазу на глаз». А я выдерживала характер, хотя тоже очень стремилась побыть с ним не на людях.

Но надо всем главенствовало у меня беспокойство о детях, которые могли в Детском если не замерзнуть, так простудиться уж наверняка. Исаак же Эммануилович, по-моему, и тогда надеялся, побыв со мной «с глазу на глаз», потом опять отправить меня в мою ссылку — в Детское. Тут я приняла «чрезвычайные» меры, разыграла болезнь, и Исаак Эммануилович, которого только так и можно было пронять, пошел к Розе Львовне, хозяйке квартиры, где он снимал комнату, просить о приюте для «жены приятеля» — так он меня отрекомендовал.

Когда я разыграла болезнь, Исаак Эммануилович мне сказал: «Наконец удалось выгнать тетку. А скоро выедут соседи, и у нас сразу станет две комнаты».

Водворившись в комнату Исаака Эммануиловича, я быстро подружилась с Розой Львовной, и тут подтвердилось, что искать никакого жилища не нужно, — оно уже есть. Роза Львовна вскоре должна была переехать в отдельную квартиру. Она предложила явочным порядком занять ее огромную (40 метров) комнату, которую она освобождала. Ей казалось, что это можно проделать, попросту открыв заклеенную дверь, соединявшую ее комнату с бабелевской. Подобное действие было бы явно незаконным, но нам обеим оно представлялось вполне осуществимым и разом решало все мои проблемы. Исааку Эммануиловичу ничего не оставалось, как соглашаться с нами. Впоследствии через Цекубу, членом которой он являлся, ему удалось узаконить это «пиратство».

Я дала Зине телеграмму, чтобы та готовилась к отъезду, и выехала в Детское забрать оттуда ее и детей.

Везя детей в Москву, я решила, что к Исааку Эммануиловичу я возьму только Мишу, а Таню с Зиной до отъезда Розы Львовны поселю у Николая Васильевича. На вокзале нас встретили оба отца моих детей и каждый получил своего ребенка. Миша плохо перенес перемену прикорма, у него сделалась диспепсия, и он непрерывно жалобно плакал. Исаак Эммануилович не мог слышать его плача и переехал к Слоनिмам³¹, где и жил все время, до самого своего отъезда за границу, ко мне же лишь наведываясь. Поскольку Исаак Эммануилович

³¹ Слоним Лев Ильич (1883—1945), Слоним Анна Григорьевна (1887—1954), близкие друзья Бабеля, знакомы с ним с 1916 г., когда писатель снимал у них комнату в Петербурге. А. Г. Слоним была его доверенным лицом, что всегда подчеркивал сам Бабель.

все равно не мог жить вместе со мной и Мишей, я забрала к себе Таню с Зиной, — им было неудобно у Николая Васильевича, а мне скучно без Тани.

Новый, 1927-й год я встречала в Москве и вместе с Исааком Эммануиловичем. Я хотела верить, что новый год принесет мне наконец счастье. В общем-то, так и случилось, потому что именно в конце этого года началась моя жизнь со Всеволодом — началась наша с ним любовь. Но до этого (до октября 1927 года) я еще хлебнула горя полной мерой.

Вскоре после Нового года Исаак Эммануилович опять уехал в Киев (он все возился с родителями Евгении Борисовны).

114. Из Киева — в Москву

Телеграмму получил. Надеюсь, что ты исполнила все поручения. Главу для «Огонька» написал. Завтра pošлю тебе ее, и доверенность для получения денег, и письмо Кольцову³².

«Блуждающие звезды» еще не видел, говорят — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом. К «Бене Крику» (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни настроение скверное. Что у вас? Напиши о здоровье и всем прочем.

Письма для Зинаиды настрою завтра — теперь вечер, я очень устал. Была ли она у Ольшевца³³?

Поклон всем чадам моим и домочадцам.

Твой И.

К. 5/1 — 27.

Получила ли ты нужные бумаги в Цекубу?

115. Из Киева — в Москву

Письмо твое от 4/1 получил. То, что ты немедленно не передала открытки Гилевичу, — неестественно глупо. Пришлось это сделать мне — много дней потеряно, и перевод, вероятно, не будет отправлен. История эта оттягивается минимум на два месяца. Необъяснимо глупо.

Прилагаю доверенность на получение гонорара из «Огонька». Кольцов в разговоре со мной сказал как-то, что мне заплатят 200 р. за главу, я решил требовать 250 р. Остается, значит, 150 р. Если он **очень** будет упорствовать — возьми 100, ты себя этим накажешь. О службе я ему писал, следовательно, ты можешь с ним об этом говорить. Домашний его телефон 2-74-61, телефон его в «Огоньке» можно узнать, позвонив 2-96-12.

Была ли Зинаида у Ольшевца? Была ли ты в аукцион<ном> зале? Повторяю, если они дадут за ковер меньше 100—120 р. чистых, то его надо забрать.

От предположенных тобой расходов временно воздержись. История с форточкой — ничего не понимаю, у них открывается целое окно. Сколько надо заплатить за телефон? Дальше: Роза Львовна обещала часть мебели временно оставить, не оставит ли она свою тахту?

Громовой твой план наполнил меня ужасом. Во-первых, 14 я не смогу приехать, постараюсь приехать 18—20. Затем, в последний момент, я считаю нужным обьявить Гилевичу о моих планах, скажу, что меня специально вызвали и проч. Далее, было ведь условие, что для домоуправления Роза Львовна не выезжает совершенно, у нас будет время исподволь вступить во владение, пока будет прописан Борис Миронович³⁴. Напиши мне обо всем спешно.

О каких намеках на работу ты говоришь?

Очень рад, что мальчику полегчало. Надо думать, что все наделало это проклятое пахтанье!

Желаю всем «успеха в делах ваших».

И. Б.

К. 8/1—27.

116. Из Киева — в Москву

Письмо твое от 8—9/1 получил. Грустно. У меня было не лучше. «Муза», отлетевшая от меня в злополучные царскосельские дни, не хочет возвращаться. Самое ужасное — мне не хочется писать. Этого я боялся больше всего, и это наступило.

20-го я приеду обязательно. Надо настоять на том, чтобы Р<оза> Л<ьвов-

³² Кольцов (Фридрих) Михаил Ефимович (1898—1940, репрессирован), писатель, журналист, член редколлегии газеты «Правда», основатель и редактор журналов «Чудак», «Огонек», «Крокодил», возглавлял журнально-газетное объединение.

³³ Ольшевцев Марк Осипович, журналист, редактор одесских периодических изданий, впоследствии работал в журнале «Новый мир».

³⁴ Муж Розы Львовны.

на > 16-го выехала якобы на несколько дней и уступила тебе комнату временно, а когда я приеду, мы постараемся все устроить. Она не должна вывезти всю мебель.

Была ли ты в аукцион <ном> зале? Получила ли деньги в «Огоньке»? Всем спрашивающим меня, знакомым и издательствам, говори, что я уехал в неизвестном направлении на неизвестный срок.

■ И.

К. 11/1—27.

Чем провинился перед тобой коварный Гилевич?

В Ленинграде я страдала от чего угодно, но не от «нелегальности» своего положения. Деление отношений на «законные» или «незаконные» я считала мешанством. Так же относились к этому и в окружении Лидии Николаевны. Но, переехав в Москву, в комнату Исаака Эммануиловича, я вдруг оказалась в положении «незаконно вторгшейся на чужую жилплощадь полюбовницы». Конечно, Исаак Эммануилович не мог «нести ответственности» (как он написал мне) «за речи прачки Галины», а возможно, и своей тетки тоже. Но вот за то, что он излишне откровенничал с препаршивым типом, управдомом Гилевичем, он, несомненно, должен был быть в ответе, потому что разводимые этим субчиком сплетни не только были мне неприятны, но и осложняли «операцию» по захвату комнаты Розы Львовны.

117. Из Киева — в Москву

Письмо твое от 10/1 получил.

Приеду в Москву 22-го утром. За речи «прачки Галины» ответственности нести не желаю. Тетке написал, что всякие отношения с ней считаю оконченными. Воспитывать в ней любовь к моему ребенку считаю излишним. Не знаю, почему тебя интересует этот вопрос. Гилевичу я как-то сказал, что хочу поехать за границу. Никакого отношения к добавочной комнате это мое желание не имеет. Ты отлично могла подать в домоуправление заявление без Гилевича. Все его заявления и советы в этом деле — вздор. Это отлично можно было понять и без меня. Заявление в домоуправление посылаю. Ссориться с Гилевичем до моего приезда ни в каком случае не следует.

Обычное действие твои письма неукоснительно производят. Работать я не могу, постараюсь в остающиеся мне семь дней хоть что-нибудь «заработать».

И.

К. 13/1—27.

Роза Львовна задержала свой переезд до возвращения Исаака Эммануиловича, и мое вселение в ее комнату благополучно состоялось.

Я все еще не хотела понять, что на совместной жизни с Бабелем надо поставить крест. Поэтому, вселившись в комнату Розы Львовны, я сделала последнюю попытку наладить семейную жизнь с Исааком Эммануиловичем. Мне не стоило особого труда уговорить его переехать ко мне от Слонимов, ему и самому понравилась роскошная сорокаметровая комната Розы Львовны. Я заново перетянула мебель из родительской гостиной и приобрела (в долг, денег, как всегда, не было) двухспальную тахту. Нашла для Миши няню, Марию Егоровну Трунину, ставшую большим моим другом и вынянчившую не только Мишу, но за ним еще и Кому³⁵ и последовательно всех моих внуков. Исаак Эммануилович переселился к нам. Из этого ничего не получилось. Чересчур шумная квартира (а раньше-то он ведь жил в ней, правда, часто сбегая то в Сергиево, то в другие места), плачущий Миша (плач любимого сына оказался особенно непереносимым).

Исаак Эммануилович опять переехал к Слонимам, на этот раз уже окончательно. И отношения наши тоже окончательно разладились.

Последней каплей, переполнившей меру моего терпения, явился, как это обычно и бывает, совсем малозначительный эпизод. Когда мы встречали Новый год, я познакомилась с другом Бабеля, Лазарем Юльевичем Шмитом, он был тогда главным редактором журнала «Прожектор». Лазарь Юльевич зачистил ко мне, а однажды пришел с фотографом. Снимал нас всех, а Исаака Эммануиловича снял с Мишей на руках.

Эта фотография — Бабель с Мишей — была помещена на обложке «Прожектора», что вызвало бурный протест Исаака Эммануиловича. Я уж не помню, появился ли этот номер «Прожектора» или только должен был появиться, но протест Бабеля так меня оскорбил, что я его прогнала. Он всегда и во всем хотел, чтобы последнее слово оставалось за ним. И тут тоже. Уже будучи «выгнанным», прислал мне такое письмо:

³⁵ Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929), лингвист, переводчик, литературовед. Сын Т. В. Ивановой и Вс. Иванова.

118. Из Москвы — в Москву

Все отношения между нами, кроме деловых, я считаю прекращенными. Под деловыми отношениями я понимаю вопрос о сохранении квартиры, о деньгах, службе и проч. Относительно этих дел я готов в любое время поговорить с тобой или с лицом, тобою уполномоченным. Позвони мне — 22-62-70 — о дне и часе. Я думаю, что не следует сообщать посторонним о нашем разрыве. Внешне все должно остаться неизменным. Это поможет нам безболезненнее устроить все дела.

И. Б.

М. 6/II—27.

И все же мы опять помирились. Это было кошмарное для меня время. У меня сохранилась фотография: я с Мишей и Таней. У меня не лицо, а трагическая маска, и выгляжу я не 27-летней, а совсем старой женщиной.

Потерпев полное поражение во всех своих попытках наладить семейную жизнь с Исааком Эммануиловичем, я переключилась на не менее отчаянные поиски работы, начатые еще в Ленинграде и прерванные из-за переезда в Москву. Не могу понять, почему я не пошла тогда с повинной к Мейерхольду, он бы, наверное, взял меня обратно в театр...

Исаак Эммануилович начал писать сценарий («Китайская мельница») ³⁶ в соавторстве со Всеволодом. Для совместной работы оба приходили обычно ко мне. Они придумывали, а я записывала. На этот сценарий я возлагала большие надежды. Мне казалось, если его примут к постановке, Исааку Эммануиловичу удастся устроить меня ассистентом режиссера (так оно и получилось).

Надо отметить, что Всеволод продолжал не обращать на меня решительно никакого внимания. А обо мне и говорить нечего: светом в моем окошке был один Бабель, и только на него я и смотрела.

Его опять вызвали в Киев.

119. Из Киева — в Москву

Мой адрес — Киев, гостин. «Континенталь».

Поездка была тяжелой. Тяжкие московские «впечатления» и ожидание киевских привели к тому, что в вагоне у меня разразилась жесточайшая мигрень с рвотой, невыносимой головной болью, слабостью и проч. Невеселая была поездка. Теперь оправился. Старик ³⁷ очень плох.

Осмотрюсь — напишу подробнее.

И. Б.

К. 1/III—27.

120. Из Киева — в Москву

Милая Тамара. Телеграмму твою и красноречивое письмо получил. Чувства наши изменчивы, а дела пребывают вовек. Поговорим поэтому о делах. На Всеволода надо нажимать, ему ж это надоест, и он напишет. О судьбе сценария и о твоём участии в постановке будем говорить тогда, когда получим сценарий. Я совершенно согласен с тобой, что сдавать его должен я, но, когда я смогу приехать, — неизвестно. Бедный старик буквально борется со смертью. Положение его совершенно неопределенное. Получила ли ты деньги в Госиздате? Если получила, то на сколько времени тебе этих денег хватит? Прислали ли извещение о плате за квартиру? Хлопочет ли Зинаида о вступлении в Союз? Это очень важное дело. Им надо заниматься неустанно. Достигла ли она каких-нибудь успехов в этом отношении? Звонила ли ты в Госиздат Бывалову о том, чтобы ускорили печатание третьего издания рассказов? Надо узнать, в каком положении это дело, и время от времени позванивать.

Анна Григорьевна ³⁸ писала мне о том, что она деньги в «Экон. жизнь» внесла. Следовательно, судебный исполнитель д. б. оставить нас в покое. Напиши мне об этом. Действует ли радио? Сереже ³⁹ надо сообщить о том, что я скоропостижно уехал; не должны ли мы ему денег?

Адрес мой — гостиница «Континенталь», но лучше все-таки писать до востребования, п. ч. за номер я плачу по 5 рубл. в сутки (надеюсь, что Вуфку возьмет этот расход на себя), но все же надо подыскать более дешевое помещение.

Очень рад, что мальчик чувствует себя лучше. Кланяюсь всем домочадцам.

Твой И.

Киев, 5/III—27.

³⁶ Фильм по сценарию «Китайская мельница» был поставлен в 1927 г., премьера состоялась в июле 1928 г. Режиссер А. Левшин, асс. режиссера Т. В. Иванова.

³⁷ Б. В. Гронфайн, отец Евгении Борисовны.

³⁸ А. Г. Слоним.

³⁹ Радиотехник.

Страница редактора

К нашим подписчикам!

В пятом номере «Октября» мы рассказали о больших финансовых трудностях, которые возникли с изданием журнала — не по нашей вине. Прошлогодня подписная цена одного номера составляла 2 руб. 50 коп. Но, начиная с 3 января 1992 года, цена на бумагу, затраты типографские и всякие иные возросли более чем в десять раз. Подписных денег хватило редакции всего лишь на выпуск двух с половиной номеров. Мы принимаем отчаянные меры, чтобы сохранить журнал и донести до вас обещанное: и вот вы держите в руках шестую книжку «Октября» за нынешний год. Нам помогает правительство, хотя и оно не в состоянии компенсировать все затраты на издание журнала, так что без вашей финансовой поддержки «Октябрю» не обойтись. Поэтому мы просим доплатить разницу в стоимости уже вышедших пяти номеров «Октября», которая составляет 51 руб. 50 коп.

Без такой доплаты журнал может закончить подписной год на седьмом или восьмом номере, и те интересные произведения, которые редакция имеет в своем портфеле и сбежала опубликовать, не дойдут до читателя.

Сразу же после обращения, опубликованного в № 5, в редакцию стали поступать от вас деньги. Мы признательны вам за то, что вы так быстро, с такой готовностью и пониманием откликнулись, поддержали журнал. Это вселяет уверенность, что мы вместе с вами переживем трудные времена, сохраним «Октябрь» и сбережем замечательную российскую традицию «толстых» литературных журналов.

Напоминаем для тех, кто еще не успел отправить доплату: деньги можно послать почтовым переводом на адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11, либо перевести через местное отделение Сбербанка на наш расчетный счет: 609481 в Шаболовском отделении МББ г. Москвы, МФО 201467. С обязательной пометкой: «Октябрь»-92, доплата», а также указанием вашего адреса и фамилии.

Еще раз благодарим всех вас.

Анатолий АНАНЬЕВ

«ОКТАБРЬ» — 1993

Не каждая книга становится настольной. И все же из потока современной литературы мы стараемся выбрать и донести до читателя лучшие произведения наших и зарубежных авторов. История и современность, вихревые сюжеты и плавное, домашнее течение жизни; любовь и ненависть, политика и религия — все, что входит в круг жизненных интересов каждого из нас, мы надеемся, предстанет перед вами в художественном исполнении как мир красоты и как мир ущербности, потому что нет в природе однозначных явлений, и тем, видимо, и интересны и природа, и человек в ней. Мы надеемся, что многие из произведений полюбятся вам, принесут вашей душе удовлетворение, обогатят нравственно.

Вот круг авторов, которых редакция предполагает представить в следующем году на страницах нашего журнала:

А. АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.**

Б. ВАСИЛЬЕВ. **Дом, который построил Дед** (Время выбора). Роман, книга вторая.

Э. ВИЗЕЛЬ. **Ночь** (перевод с французского). Роман.

Юрий ВЛАСОВ. **Тайная Россия.** Роман.

В. ВОЙНОВИЧ. **Замысел.** Роман.

И. ВОЛГИН. **Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах.** Книга вторая.

А. ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты.** Тт. IV—V.

Г. ИВАНОВ. **Шесть рассказов.**

Б. КЕНЖЕЕВ. **Мытари и блудницы.** Роман.

Р. КИРЕЕВ. **Песни Овидия.** Повесть.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный.** Роман-эссе.

И. МИТРОФАНОВ. **Новая повесть.**

Н. МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

В. СУХНЕВ. **Погребение кентавра.** Роман.

Ю. ЭДЛИС. **Сия пустынная страна.** Повесть.

Для «Октября» работают: Г. БАКЛАНОВ, В. БЫКОВ, А. ГЕНАТУЛИН, Н. ИЛЬИНА, Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ, В. КОНДРАТЬЕВ, В. МАКАНИН, Б. МОЖАЕВ, Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ, В. ПОПОВ, Е. ПОПОВ, В. ПЬЕЦУХ, М. РОЩИН, А. САЛЫНСКИЙ, В. СУББОТИН, В. ТОКАРЕВА, Т. ТОЛСТАЯ и другие как широко известные, так и пока еще не знакомые читателям авторы.

Продолжение см. на 4-й стр. обложки.

«ОКТАБРЬ» — 1993

В ПОЭТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ ЖУРНАЛА — самый широкий спектр направлений, стилей, манер. Читатели познакомятся со стихами **О. БЕШЕНКОВСКОЙ, Е. ВИНОКУРОВА, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, С. ГАНДЛЕВСКОГО, Ю. МОРИЦ, И. ПОМЕРАНЦЕВА, В. СОСНОРЫ, Л. ФИЛАТОВА, А. ЦВЕТКОВА**, прочно завоевавших место на поэтическом Олимпе.

РАЗДЕЛ ПУБЛИЦИСТИКИ будет представлен новыми работами самых авторитетных публицистов современной России. Среди них **Сергей АНДРЕЕВ, Леонид БАТКИН, Юрий БУРТИН, Михаил ГЕФТЕР, Игорь КЛЯМКИН, Сергей ЛЁЗОВ, Юрий ПИВОВАРОВ, Лариса ПИЯШЕВА, Максим СОКОЛОВ, Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ, Григорий ПОМЕРАНЦ, Юрий ЧЕРНИЧЕНКО.**

Продолжат сотрудничество с «Октябрем» лучшие публицисты русского зарубежья: экономист **Игорь БИРМАН** (США), политолог **Михаил ВОСЛЕНСКИЙ** (ФРГ), философ **Александр ЗИНОВЬЕВ** (ФРГ), политолог **Кронид ЛЮБАРСКИЙ** (ФРГ), философ **Борис ПАРАМОНОВ** (США), историк **Александр ЯНОВ** (США).

На страницах журнала будут продолжены публикации рубрики **«Товар — деньги — товар»**. Темы этой рубрики — деятельность биржи и становление фермерского хозяйства, денежное обращение и налоги, малый бизнес и недвижимость, приватизация и социальные аспекты реформы...

«Октябрь» открывает еще одну новую рубрику — **«Гуманитарный факультет»**. Здесь будут публиковаться комментированные тексты культурологов, философов, социологов и психологов, ставших классиками XX века, но известных у нас в основном лишь понаслышке: **Теодор АДОРНО, Мартин БУБЕР, Жак ДЕРРИДА, Жан-Франсуа ЛИОТАР, Пауль ТИЛЛИХ, Арнольд ТОЙНБИ, Эрих ФРОММ, Эрих ХОФЕР, Карл ЮНГ** и другие.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА представит современный литературный процесс и историю литературы в статьях и эссе **Л. АННИНСКОГО, А. АРХАНГЕЛЬСКОГО, А. БОЧАРОВА, М. ЗОЛТОНОСОВА, Вл. НОВИКОВА, Б. САРНОВА.**

В рубрике **«Литературное наследие»** — неопубликованные произведения **Л. Добычина, Вс. Иванова, М. Лоскутова, Тэффи, В. Шкловского, неизвестный сценарий-пародия С. Эйзенштейна «Базар похоти».**

Неординарные, спорные размышления критиков об отдельных произведениях и целых периодах советской литературы — в рубрике **«Советская литература — новый взгляд».**

В рубрике **«Воспоминания, документы»** — переписка **И. Н. Голенищева-Кутузова с Вяч. Ивановым, Ходасевичем, Ремизовым.**

Перспективные планы «Октября» будут уточняться.

Следите за нашей рекламой!